Вера Панова

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1987

Вера Панова

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 1

Спутники
ПОВЕСТЬ

Кружилиха
РОМАН

Евдокия
ПОВЕСТЬ

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1987

ББК 84. Р7
П 16

Вступительная статья и примечания
А. НИНОВА

Составление и подготовка текста
А. НИНОВА и Н. ОЗЕРНОВОЙ-ПАНОВОЙ

Оформление художника
Н. НЕФЕДОВА

П $\frac{4702010200\text{-}067}{028(01)\text{-}87}$ подписное

ВЕРА ПАНОВА. ТВОРЧЕСТВО И СУДЬБА

Весной 1945 года, на исходе Великой Отечественной войны, рождалась одна из лучших книг советской литературы о только что прожитом времени — «Спутники» Веры Пановой. Мало кто знал это писательское имя. Настоящая литературная судьба нового автора была еще на самом взлете.

Вера Панова стала писателем не только в силу своего большого природного дарования. Она была предуготовлена к творчеству нелегким опытом жизни и глубокой, возраставшей с годами любовью к литературе. Из испытаний, посланных ей судьбой, Панова вышла нравственно закаленной, сохранившей мужество и оптимизм, свойственные советскому человеку. И эти качества сполна проявились в самых разных ее произведениях.

В прозе прежде всего, а также и в драматургии, Панова сохраняла художественную объективность и верность действительности. Жизнь в ее произведениях узнаваема, люди — реальны, по их характерам, сознанию и бытию можно судить о многих сторонах жизни советского общества за первые полвека его существования. А время Великой Отечественной войны, отцы и дети, пережившие эти невероятные годы, остаются главными действующими лицами всего ее творчества. Панова показала себя зрелым мастером, чутким стилистом, способным выразить увиденное и пережитое в оригинальной и емкой форме.

После публикации повести «Сережа» Корней Чуковский утверждал в письме к автору: «Дорогая Вера Федоровна, Вы, может быть, и сами не знаете, что Вы написали классическую книгу, которая рано или поздно создаст Вам всемирное имя. Не сомневаюсь, что ее переведут на все языки. Дело не только в том, что впервые в истории русской литературы центральным героем повести поставлен шестилетний ребенок, но и в том, что сама эта повесть классически стройна, гармонична, выдержана во всех своих — очень строгих! — (подлинно классических) пропорциях. ...Для меня точно так же классичны и „Спутники“»[1].

[1] Письмо от 23 нояб. 1955 г.//ЦГАЛИ, ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 368.

Творческое развитие писательницы не было бескризисным и одинолинейным. Пановой были знакомы минуты неуверенности, сомнений, глубокой неудовлетворенности собой, попытки перешагнуть через старое и все начать заново. Способная самокритично судить о собственной работе, она умела преодолевать себя и находить более глубокие решения тех художественных проблем, которые ставило перед нею время.

В шестидесятые годы Панова много трудилась для театра и кино. Ее пьесы обогатили современную театральную культуру. Творчество Пановой остается одним из значительных явлений советской литературы и искусства. Книги Пановой изданы на многих языках и получили заслуженное признание читателей в разных странах мира.

Вера Федоровна Панова родилась 20 марта 1905 года в Ростове-на-Дону. Когда дочери шел шестой год, отец ее, Федор Иванович, утонул в Дону. Семья осталась без средств к существованию. Матери пришлось пойти на службу конторщицей. В бедности и нужде прошли детские годы писательницы. Она хорошо узнала жизнь городской окраины, трудовой быт простых людей.

Впечатления детства были противоречивы. Рядом с пестрыми картинами праздничного Ростова Панова с юных лет запомнила будни скудной провинциальной жизни. Она застала еще, пусть на исходе, старую Россию, описанную Чеховым, Горьким, Куприным. Сама Панова подтвердила это в своих воспоминаниях «О моей жизни, книгах и читателях», воздав должное Чехову, который «всю тогдашнюю нашу серенькую жизнь живописал со всеми ее подробностями».

Октябрьская революция и гражданская война потрясли уклад жизни старой России. Ростов испытал на себе все превратности бурного времени. Власти в городе несколько раз менялись, и только в начале 1920 года под ударами Первой Конной армии контрреволюция на юге была разгромлена и Ростов снова стал советским. Драматические события гражданской войны не остались для Пановой только литературным воспоминанием. Они были частью прожитой жизни. Панова встречала людей, о которых читала потом в «Конармии» Бабеля — несколько бойцов Первой Конной квартировали у них во дворе.

Семнадцати лет Панова поступила работать в редакцию ростовской газеты «Трудовой Дон». Журналистика на долгие годы становится ее основной и любимой профессией. Первые шаги Пановой в газете очень напоминали начало журналистской карьеры Севастьянова, описанной позднее в «Сентиментальном романе», книге во многом автобиографической, построенной на соединении художественного вымысла и реальных фактов собственной жизни.

В 1926—1927 годах Панова вела регулярный отдел фельетона в газете «Советский Юг». Из номера в номер появлялись в газете короткие,

остроумные, точно бьющие в цель статьи и заметки, подписанные псевдонимом Вера Вельтман. Преследуя бюрократов, волокитчиков, самодуров, подхалимов, самодовольных мещан, она умела находить характерные, точные штрихи, разом схватывающие натуру. Лучшие фельетоны Веры Вельтман написаны в немногословной язвительной манере, которая — пусть отдаленно — уже предвещает кое в чем антимещанские, критические мотивы повестей и рассказов Веры Пановой.

В Ростове Панова впервые вошла в литературную среду. Она работала здесь вместе с Александром Фадеевым и Николаем Погодиным. Панова слышала первые главы фадеевского «Разгрома» в чтении автора на заседании Ростовской Ассоциации пролетарских писателей. Южный край всегда был богат талантами, а в советскую эпоху отсюда вышло особенно много одаренных людей, пополнивших молодую советскую литературу. Писательская молодость М. Шагинян, А. Фадеева, М. Шолохова, Г. Шторма, В. Киршона, Н. Погодина, В. Ставского, Ю. Юзовского так или иначе была связана с Ростовом. В гостях у ростовчан бывали М. Горький, В. Маяковский, В. Хлебников, И. Бабель, С. Есенин, М. Светлов. Наиболее яркие впечатления молодости связываются у Пановой с этими именами.

При всей калейдоскопичности литературного быта двадцатых годов город юности дал Пановой ту культурную и профессиональную среду, в многосторонних связях с которой получило полноценное развитие ее художественное дарование. Он дал ей также немалый запас жизненных впечатлений, необходимых любому писателю.

Панова принимала близкое участие в детских изданиях Ростова — газете «Ленинские внучата», в журналах «Костер» и «Горн». Собственно, здесь, на ниве детской литературы, она предприняла первые робкие попытки перейти к беллетристике, к художественной обработке жизненного материала. Первые опыты оказались слабыми. Панова так и не стала детской писательницей, но интерес к детям, к их психологии, судьбам, к их отношениям со взрослыми не покидал ее в дальнейшей литературной работе. И лишь благодаря этому пристальному интересу, живым наблюдениям, копившимся в течение десятилетий, могли возникнуть лучшие страницы ее зрелой прозы, посвященной подросткам и детям.

В 1937 году Панова навсегда покинула Ростов. Вместе с детьми и матерью она несколько лет жила на Украине в селе Шишаки Полтавской области. Отсюда выезжала в Ленинград и Москву искать свою «синюю птицу». Литературное счастье долго не давалось ей в руки, хотя перед войной две ее пьесы —«Илья Косогор» и «В старой Москве» были отмечены премиями на республиканском и всесоюзном конкурсах драматургов.

В Москве Панова сблизилась с Александрой Яковлевной Бруштейн, известной писательницей и драматургом, автором популярных в свое

время пьес для детей и юношества. Она встретила на редкость отзывчивого, умудренного жизнью человека и опытного, разностороннего литератора. Много лет спустя, в письме к А. Я. Бруштейн по поводу ее новой книги, Панова с благодарностью скажет: «Читала и вспоминала, как я к Вам пришла первый раз, и второй, и третий, как Вы меня обласкали и как мне было тепло от Вашей ласки. И как Вы меня поставили на ноги, и пошла я по тернистому пути литератора. Спасибо Вам еще и еще»[1].

Отечественная война застала Панову в городе Пушкине, захваченном в сентябре 1941 года немецкими войсками. Изгнанная вместе с другими жителями из города, она была обречена на лагерную голгофу. Однако на пути в Эстонию ей удалось уйти вместе с дочерью и, преодолев многие сотни километров по захваченной врагом земле, достигнуть зимой 1941 года далекого села Шишаки на Полтавщине, где оставалась ее семья — две бабушки с малолетними сыновьями. Самые тяжелые времена оккупации Панова провела в этом украинском селе.

После освобождения Украины в конце 1943 года Панова переехала на Урал, в Пермь. Здесь она работала в редакции местной газеты и на радио.

Бедствия военных лет закалили Панову. Она проявила недюжинную силу характера и личное мужество, чтобы пережить потрясения, пройти тяжкий путь скитаний в оккупации, спасти себя и свою семью от гибели или угона в Германию. Она подошла к своим главным литературным замыслам, собирая опыт и знания, необходимые писателю. И все накопленное памятью сердца сумела высказать как художник — искренно и свободно. В Перми были завершены первые крупные произведения Пановой — повесть «Спутники», роман «Кружилиха», пьеса времен войны «Метелица».

Уже став известным писателем, Панова в 1946 году переехала в Ленинград, с этим городом связаны для нее десятилетия напряженного, насыщенного труда и деятельное участие в общественной и литературной жизни страны.

Повесть «Спутники» и роман «Кружилиха», отмеченные Государственными премиями СССР в 1947 и 1948 годах, впервые увидели свет на страницах журнала «Знамя». Панова очень сблизилась тогда со «знаменской» редакцией, которую возглавлял Всеволод Вишневский.

С первой половины пятидесятых годов Панова стала постоянным автором журнала «Новый мир», где был напечатан ее роман «Времена года» (1953). С главным редактором журнала А. Т. Твардовским Панова поддерживала творческую дружбу и состояла в многолетней переписке. По поводу обещанного журналу «Сентиментального романа» Твардовский писал Пановой весной 1958 года: «...Хочу сказать Вам, что жду Вашего нового сочинения с горячим интересом и надеюсь читать его в числе первых поклонников Вашего таланта»[1].

[1] Письмо В. Ф. Пановой к А. Я. Бруштейн от 1 февр. 1958 г.// ЦГАЛИ, ф. 2546, оп. 1, ед.хр. 470, л. 29.

Художественные интересы Пановой никогда не замыкались только литературой. Она любила театр и много работала для него. Пьесы Пановой ставили в разные годы выдающиеся театральные режиссеры — Ю. А. Завадский, А. Д. Попов, Н. П. Охлопков, Г. А. Товстоногов и другие. Встречи с ними оставили в жизни Пановой глубокий и яркий след. Не менее увлеченно Панова сотрудничала с киностудиями Москвы и Ленинграда. Мир кинематографа стал ее миром.

В 1960 году на XII Международном кинофестивале в Карловых Варах советский фильм «Сережа» получил главную премию — Хрустальный Глобус. С тех пор почти все герои Веры Пановой прошли через экран. Особый успех выпал на долю кинофильма «Вступление», поставленного режиссером И. Таланкиным по рассказам Пановой «Валя» и «Володя». На международном кинофестивале в Венеции (1963) фильм «Вступление» вместе со специальной премией получил приз Венецианского комитета цивилизации и культуры.

Мировое признание лучших фильмов, поставленных по произведениям Веры Пановой (всего их снято двенадцать), было закономерным. Писательница принесла в кино глубокое знание души своего современника, своеобразие индивидуального видения жизни, развитое чувство формы и стиля, то есть те качества, без которых не может существовать настоящее искусство.

За годы неустанного литературного труда Панова кровно сроднилась с Ленинградом, его искусством и культурой, с прошлым и настоящим любимого ею города.

Постоянное внимание к начинающим писателям, требовательный взгляд на их творчество (а Пановой приходилось ежегодно читать и рецензировать десятки рукописей) несомненно повлияли на литературную смену пятидесятых-шестидесятых годов. Многие писатели — Ю. Казаков, В. Конецкий, А. Битов, Р. Достян, В. Голявкин, В. Ляленков, Г. Ходжер и другие обязаны Пановой добрым словом, своевременным напутствием, умным писательским советом.

В конце 1960 года в составе писательской делегации Панова совершила продолжительную зарубежную поездку по Соединенным Штатам Америки. Программа поездки была насыщенной. Вашингтон — Новый Орлеан — Спрингфильд — Чикаго — Буффало — Бостон — Нью-Йорк. Это была одна из первых после долгого перерыва писательских поездок в США, целью которой являлось восстановление прерванных и налаживание новых контактов в области художественной культуры.

[1] Письмо А. Т. Твардовского В. Ф. Пановой от 6 мая 1958 г.// ЦГАЛИ, ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 343.

Американские впечатления лишь частично отложились в рассказах и путевых заметках Пановой («США, Нью-Орлеан, Улица Бурбонов», «Буффало. Всякая всячина», «Нью-Йорк. У старого художника», «Перемещенное лицо» и другие). Все многообразие наблюдений и встреч, связанных с этой большой поездкой Панова так и не успела объединить в нечто целое, хотя много раз в мыслях и разговорах возвращалась к этому путешествию.

Весной 1962 года вместе с А. Твардовским, А. Сурковым, М. Бажаном и Назымом Хикметом Панова участвовала в Международном конгрессе писателей и деятелей кино, радио и телевидения во Флоренции. Заседания конгресса, на который съехались писатели из двадцати шести европейских стран, проходили в Палаццо Веккио, старом дворце Медичи. Панова оставила несколько выразительных страниц, посвященных этому событию.

Творческие планы писательницы в шестидесятые годы еще больше раздвинулись: вместе с современными темами Панову увлекают сюжеты из русской истории; она работает в области драматургии и кинодраматургии, создает последнюю редакцию романа-сказки «Который час?», обдумывает план автобиографической книги, для которой исподволь накапливались заметки и материалы.

Летом 1967 года, после участия в работе IV Всесоюзного съезда советских писателей, Панова вернулась из Москвы в Ленинград крайне переутомленной, но продолжала работать, не соразмеряя сил и не щадя себя. Последствия оказались катастрофическими: Панова перенесла тяжелый инсульт, от которого так и не смогла оправиться до конца жизни. Однако и в эти последние годы, омраченные тяжкой болезнью, она проявила необыкновенную силу воли и способность к творчеству. Некоторые страницы ее мемуарной прозы были созданы именно в это время.

Вера Федоровна Панова скончалась 3 марта 1973 года и похоронена в Комарове под Ленинградом.

В рассказе «Трое мальчишек у ворот» Панова когда-то любовно описала «старинный дом на Марсовом поле, желтый, с белыми колоннами». Теперь на фасаде этого дома по Марсову полю, 7, установлена гранитная памятная доска, гласящая, что здесь с 1948 по 1970 год жила и работала писательница Вера Федоровна Панова. Одна из красивейших площадей Ленинграда навсегда приняла память о писательнице в свой строгий и стройный ансамбль.

Повестью «Спутники» (1945) начинается большая писательская судьба Веры Пановой, ее второе рождение. Многие восприняли эту повесть как литературный дебют. Тем разительнее было отточенное мастерство писательницы, уверенность ее манеры, самостоятельность

художественной позиции. Все эти качества свидетельствовали о зрелости таланта.

Прочитав повесть «Спутники», А. Фадеев в 1946 году отметил в записной книжке: «Прекрасная, чистая и суровая, правдивая и поэтичная повесть» [1].

В «Спутниках» рассказана рядовая и вместе с тем удивительная история небольшого коллектива военно-санитарного поезда. В первой же главе Панова вводит в повествование почти всех своих героев — их немного, они все на виду, но путь к душе каждого не так прост. Вместе с комиссаром Даниловым мы совершаем ночной обход мчащегося военно-санитарного поезда и глазами героя видим разных людей, присматриваемся к выражению их лиц, их манере держаться, их сложившимся отношениям друг с другом. Точка зрения Данилова, сквозь которую нам впервые открылся этот своеобразный автономный мир на колесах, освещает не только резкие, бросающиеся в глаза свойства окружающих, но, прежде всего, самого героя, его психологию, характер видения, отношение к происходящему.

Внутренний мир человека постепенно раздвигается, приобретает объемность и глубину. Переход от одного героя к другому — это одновременно переход в мир новых психологических измерений, индивидуальных оттенков, характерных подробностей. «Данилов», «Лена», «Доктор Белов», «Юлия Дмитриевна» — каждому герою посвящена специальная глава, и вместе с развитием сюжета незаметно перемещается психологический «фокус» повествования. «Спутники» строятся как цикл законченных портретных новелл, особым образом связанных и сопоставленных друг с другом. Среди них есть развернутые, проходящие через всю повесть, есть и совсем короткие человеческие истории. Все они по-своему, с разной степенью подробности и глубины, отвечают на один и тот же общий вопрос: что такое советский человек, как складывались судьбы и формировались типические характеры, в чем источник нравственной силы, проявленной самыми обыкновенными людьми в тяжкий момент истории.

Это были главные вопросы, стоявшие перед советской литературой сороковых годов. И Панова с особой заинтересованностью вникала в опыт предшественников и современников. В черновых набросках к статье «Заметки прозаика» (1952) она называла два произведения, глубоко повлиявшие на ее собственную работу: «Молодая гвардия» А. Фадеева и поэма А. Твардовского «Василий Теркин».

Панова вовремя заметила повести В. Овечкина, Б. Полевого, Э. Казакевича, П. Вершигоры, Г. Николаевой, несшие новое осмысление судьбы человека на войне. Она хорошо знала своих литературных спут-

---

[1] Фадеев А. За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., 1957. С. 825.

ников, и их опыт так или иначе переосмыслен в ее первых больших повестях и романах.

«Спутннки» отмечены глубоким вниманием к тому, что составляет внутреннюю суть человеческих поступков.

Герои повести вошли в вагоны своего поезда уже сложившимися людьми. Панова и раскрывает их как вполне определившиеся индивидуальности. Прошлое широко включено в рассказ о настоящем, оно помогает лучше понять и оценить то, что руководит жизиенным поведением Данилова, Лены Огородниковой, доктора Белова, Юлии Дмитриевны и других героев, соединенных вместе военной судьбой и проживших бок о бок четыре долгих военных года.

«Я ие перестаю удивляться иашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва. Удивляться и завидовать, и желать подражать им...»— записал в своем дневнике доктор Белов. В испытаниях войны он по-иовому увидел советских людей и удивился им. То, что казалось неожиданностью, иа самом деле было закономерным. Панова чутко уловила эту закономерность в многообразии целостного жизненного опыта своих героев.

Панова сознает сложную, противоречивую природу каждой индивидуальности, умеет раскрыть эту противоречивость в естественном потоке жизни. Писательница видит решающую грань между живым и мертвым в людях; одни вносят в жизнь нечто творческое и обогащают ее, другие — отравляют жизнь обывательским эгоизмом, черствостью, своекорыстием.

К людям второго типа Панова беспощадна. Так беспощадна она к Супругову, который тоже бок о бок с другими проходит всю войну, но проходит как трусливый попутчик, в конечном счете равнодушный и к людям, и к цели, которая объединяет их всех. Супругов сталкивается с Даниловым в первой же главе повести. Это герои-антиподы, психологический конфликт пронизывает насквозь их отношения, хотя нигде этот конфликт не вырывается наружу и не принимает открытой формы. Панова обнаружила в Супругове обывателя, отгородившегося от окружающего мира в самые трагические, роковые его минуты.

Полную противоположность Супругову представляет характер старшей медицинской сестры Юлии Дмитриевны. И это лицо повести написано с поразительной точностью. Сквозь внешние черты характера этой женщины, пугающе дурной по внешности, склонной к менторству, резкой в суждениях, строгой к окружающим, подчеркнуто, до мелочей щепетильной, и в общем не очень приятной в повседневном житейском обиходе, проступает своеобразная поэзия сильной самоотверженной натуры. Самое замечательное в Юлии Дмитриевне — это ее преданность своему делу, высокое, почти жреческое отношение к своей профессии, истинный артистизм, с которым она выполняет свои скромные обязанности хирургической сестры.

Панова группирует героев таким образом, что одна индивидуальная биография взаимодействует с другой, самостоятельные человеческие истории перекликаются по мотивам, дополняют друг друга, сближаются по сходству или разнятся по контрасту, составляя все вместе единую повесть о судьбе современников, о разнообразии и сложности их исторического бытия.

Как это свойственно Пановой, некоторые конкретные, вещественные мотивы ее повествования имеют и более широкий, обобщенный смысл. Герои «Спутников» впервые открываются нам поздней ночью, во время обхода поезда, которым Данилов заканчивает свой обычный трудовой день. И вместе с тем «ночной» колорит первой части отражает наиболее мрачную пору войны — горечь отступления, боль первых потрясений, разлук, утрат, всеобщую тревогу, вызванную непредвиденным, трагическим разворотом событий.

Во второй части («Утро») время обозначено новыми приметами и чертами. От первых недель войны действие передвинуто на лето 1942 года. Война стала повседневным бытом. Этот быт приобрел устойчивость, в нем обнаружилась своя закономерность, своя повторяемость, свой ритм. Так в «Спутниках» появляются главы, дающие своего рода типологию жизни военно-санитарного поезда в дни войны. Все подробности порожнего рейса («С востока на запад») и рейса груженого («С запада на восток») воспринимаются как своеобразные меры времени, которыми отсчитывается для героев тяжелый пульсирующий ритм их жизни. Время для них измеряется не сутками, не неделями, не месяцами, а именно рейсами, периодически возвращающими их к бесконечному потоку человеческого горя, страданий, крови, которые оставляет за собой война.

Заключительная часть «Спутников» («День») не только замыкает портретные новеллы, подводит итоги войны для каждого из героев, но и передает напряженное ожидание развязки. Ощущение общности судьбы так или иначе входит в сознание каждого героя и, растворяя горечь тяжелых личных утрат, помогает находить новые жизненные силы.

Через все испытания войны Панова приводит своих героев к кануну мирного дня, и эта общая историческая развязка естественно завершает пережитое. Война никому не прибавила счастья — это герои Пановой чувствуют очень остро. Но великое время сделало людей опытнее и сильнее, чем они были раньше. Жизнь не останавливается. Жизнь продолжается. И не случайно стремительный образ поезда, проносящегося через громадную страну, поднявшего, как знамя, свои красные кресты на белом поле, оказывается сквозным поэтическим образом «Спутников», символом жизни, движущейся наперекор смерти.

Роман «Кружилиха» Панова начала писать еще во время Отечественной войны, находясь на Урале. Затем работа над романом была прервана и закончена только после войны, когда уже были написаны и опубликованы «Спутники». Таким образом, «Кружилиха» была, по существу, первым большим произведением Пановой, задуманным в форме романа. В то же время события и лица этого романа были доведены до конца, домыслены и дописаны уже на основе того художественного опыта, который накопился в процессе работы над «Спутниками».

Панова завершала «Кружилиху», сознавая себя уже «другим человеком», более требовательно оценивая и свои художественные задачи, и свои писательские возможности, и свой жизненный материал. «Горы материала,— писала она В. В. Вишневскому,— от раскрывающихся просторов жизни захватывает дух. Бросаться на все, пробовать все формы — значит растерять и потерять себя. Перевожу дух, стараюсь утишить биенье сердца и выбрать прежде всего ту форму, в которой смогу передать волнующий меня материал» [1].

В больших романах и повестях Веры Пановой, как правило, нет центрального лица, но зато всегда есть центральный мотив, который объединяет и уравновешивает все частные сюжетные параллели. И в романе «Кружилиха» Панова не ограничилась изображением психологического конфликта между властным директором большого уральского завода Листопадом и председателем заводского комитета Уздечкиным, человеком вспыльчивым, уязвленным, бьющимся среди людских неурядиц, как рыба об лед.

Отношения Листопада и Уздечкина, резкий контраст их характеров, конфликт между ними составляют важнейший общественный нерв романа, сохраняющий за «Кружилихой» злободневное значение до сегодняшнего дня. Писательница ценит в Листопаде силу энергичной, жизнедеятельной натуры; она видит в нем человека, целиком погруженного в свое дело, отдающего ему все силы и незаурядные способности крупного организатора.

По словам одного из героев романа, такие, как Листопад, «ничем не жертвуют, они за собой и долга-то не числят, они о долге и не думают, они со своей работой слиты органически, чуть ли не физически... Успех дела — его личный успех, провал дела — его личный провал, и не из соображений карьеры, а потому, что ему вне его работы и жизни нет».

Писательница уловила, однако, и другие черты Листопада, которые перекрывают отчасти самые яркие и очевидные его достоинства. Секретарь горкома партии Макаров замечает в романе: «Да не всякому, видите ли, дан простор по его темпераменту... А Листопаду есть где разгуляться».

[1] Письмо от 1 янв. 1947 г.//ЦГАЛИ, ф. 1038, оп. 2, ед. хр. 462, л. 4 об.

Сознание «простора», который открывается положением, породило в Листопаде преувеличенные представления о своей роли, своих правах, границах влияния и авторитета своей личности. Здесь во многом лежит причина его столкновений с Уздечкиным, выражающим в какой-то мере непосредственные интересы рабочей общественности в ее взаимоотношениях с администрацией.

На исходе сороковых годов Панова чутко уловила издержки «волевого» и авторитарного стиля руководства, хотя сильный характер Листопада ей несомненно нравился.

Советская литература в своем последующем развитии усилила критику сходного социально-психологического типа — достаточно назвать секретаря райкома Борзова в «Районных буднях» В. Овечкина, директора завода Дроздова в романе В. Дудинцева «Не хлебом единым» и других героев, переступавших принципиальную грань между единоначалием и единовластием в своих собственных или в узковедомственных интересах. Пановой принадлежит важное художественное открытие в эволюции этого характера, занимающего нашу литературу на протяжении нескольких десятилетий.

Развитием других линий романа Панова хотела передать прихотливое кружение человеческих судеб, противоречия разных индивидуальных интересов, отодвинутых войной на задний план, а в мирное время вновь настойчиво заявивших о себе. Так появляются в орбите большого производственного мира «Кружилихи» свои особые, малые человеческие миры: староуральский уклад потомственной рабочей семьи Веденеевых, быт заводской интеллигенции и людей, заброшенных на Урал эвакуацией, жизнь новых рабочих кварталов, шумное общежитие юнгородка, принявшего в свои стены самую юную поросль рабочего поколения Кружилихи.

Картина жизни, созданная Пановой в «Кружилихе», противостояла некоторым упрощенным схемам «производственного романа», подменявшего социально значимые конфликты и проблемы сугубо технологическими столкновениями и недоразумениями. В то же время этот роман продолжал литературные традиции первых пятилеток, сохраняя человека труда в центре художественного изображения жизни. Панова хорошо узнала рабочий индустриальный Урал в дни войны, сделавший все возможное и невозможное для Победы.

Время показало, что тема труда — генеральная в советской литературе — неотделима от самых главных, коренных и злободневных вопросов общественной жизни, от истории и политики развивающегося социалистического общества. Вот почему роман «Кружилиха», созданный в русле этого направления и запечатлевший один из этапов нашей истории, продолжает жить и сегодня.

———

Повести Пановой «Ясный берег» (1949) и «Сережа» (1955) близки по материалу и тесно связаны одна с другой в сюжетном отношении. Их объединяют общие герои, место и время действия. Но по существу они строятся на разных художественных принципах и отражают разные этапы творческой эволюции автора.

В деревенских зарисовках «Ясного берега» есть талантливые и живые страницы, написанные с юмором и любовью. И вместе с тем в общем колорите повести проявилось нечто от районной идиллии, созданной, может быть, и с добрыми намерениями, но без достаточно трезвого представления об остроте реальных проблем, с которыми столкнулась послевоенная деревня. И в обрисовке героев ощутимо наметились две тенденции. Одна — идущая от непосредственного знания действительности, зорко подмеченных особенностей быта и психологии людей, и другая — восходящая к канонам той самой «бесконфликтной» литературы, которая по сути своей явно претила вкусам и взглядам автора «Спутников» и «Кружилихи».

Недостатки «Ясного берега»— сглаженность и облегченность — не есть исключительное качество одной только повести Пановой. Они характерны для определенной литературной обстановки и могут быть прослежены в еще более наглядной форме по ряду других произведений конца сороковых годов.

Однако именно в «Ясном береге» намечены исходная ситуация, очерки характеров, стилевая тональность повествования, оказавшиеся весьма перспективными в дальнейшем. Речь идет о взаимоотношениях директора совхоза Коростелева, молодой учительницы Марьяны и ее маленького сына — основных персонажей будущей повести «Сережа». Главы, рисующие работу Марьяны с детьми, ее первые уроки в школе, ее отношения с сыном, ее душевные колебания перед вторым замужеством,— все это написано в «Ясном береге» с полным знанием психологии героев и обстоятельств их жизни.

Возникшая ситуация заключала в себе новую нравственную проблему, решение которой составило предмет особой повести. «Сережа» возник как продолжение и одновременно автополемика с «Ясным берегом»— тем более отчетливая, что она была осуществлена на прежнем жизненном материале. Изменились принципы освещения, и мир, населенный знакомыми героями, открылся с неожиданной объемностью и новизной.

Из эпизодической фигурки Сережа превратился в центральное лицо повести, средоточие ее основного психологического содержания. Весь мир теперь преломлен через «субъективность» очень маленького мальчика, окрашен его восприятием.

Вещественный мир открывается взгляду ребенка иначе, чем глазам взрослых, и Панова высоко ценит характерные подробности, доступные детскому взгляду. Именно через них писательница прокладывает путь к внутренней правде характера. Автор знает, конечно, о своем герое несравненно больше того, что он сам знает и может сказать о себе. Но это знание выражено сжато, в формах лаконичного и концентрированного повествования. Каждое слово взвешено, немногие подробности говорят о многом.

Рассказ о Сереже ведется в третьем лице, но интонация повествования приближена к формам речи и мышления ребенка. Стиль повести замечателен прежде всего искусным обнажением наивности детского взгляда, проникновением в причудливую и неожиданную логику детского сознания. Светлый, любовный юмор, пронизывающий «Сережу»,— это юмор доброго, проницательного художника, умеющего безошибочно схватить строй мыслей и чувств шестилетнего человека.

При всей сжатости повести, ее основные проблемы поставлены глубоко, возведены к своеобразной философии становления личности. Мы видим, как формируется отношение ребенка не только к ближним, но и к миру в широком смысле слова — к миру людей, вещей, природы, к ее «явлениям»— простым и сложным, ясным и загадочным.

Еще совсем недавно для Сережи не имели смысла слова: смерть, разлука, печаль. Теперь он впервые, прямо или косвенно, знакомится со смыслом этих и других трудных слов. В отношениях Сережи со взрослыми и с окружающим миром появляются первые действительно драматические ситуации. Это приобщение очень маленького мальчика к драматизму жизни, формирование его характера и составляют главную внутреннюю тему повести.

Прочитав «Сережу» в журнале, А. Твардовский верно оценил значение этой небольшой по объему книжки в общем развитии авторского дарования: «С истинным удовольствием,— писал он Пановой,— прочел в «Новом мире» Вашу новую вещь... новую в смысле даже Вашего собственного развития. Это новая и значительная сторона Вашего таланта» [1].

Повесть «Сережа» написана в лучших традициях русской литературы, обращавшейся к детям, к анализу детской психологии и детского сознания с самыми серьезными общественно-воспитательными целями. Преемственная связь с классической литературной традицией ощущается и в проблемном содержании повести, и в ее стилистике — прозрачной и безукоризненно выдержанной во всех своих элементах.

Роман Пановой «Времена года» (1953) несет на себе явственные следы внутренней ломки, расчета с некоторыми иллюзиями. Это роман переходный по своим основным чертам. Драматизмом и остротой жиз-

---

[1] Твардовский А. Т. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. М., 1983. С. 52—53.

ненных коллизий «Времена года» решительно отличаются от предыдущей повести «Ясный берег». Там преобладала обманчивая ясность решений. Здесь жизнь открылась запутанной сложностью своих узлов.

Сюжет «Времен года» строится на психологических и социальных контрастах. Еще на заре формирования советского общества, в годы юности отцов, противоречивые обстоятельства ведут по разным путям Дорофею Куприянову и Сергея Борташевича. Дорофея захвачена общим революционным и культурным подъемом, приобщившим к новой жизни самые темные и угнетенные в прошлом социальные низы. Борташевич, напротив, быстро теряет то, что ему дала революция, погрязает в тине мещанского своекорыстия, нравственно перерождается, встает на путь прямых преступлений против морали и законов социалистического общества.

Развернутые ретроспекции призваны объяснить нынешний облик героев романа. Двадцатые годы — пора молодости Дорофеи Куприяновой и Степана Борташевича — интересуют Панову в той мере, в какой эти годы стали истоком биографии, завязкой характера, началом судьбы. Характеры героев младшего поколения — Геннадия Куприянова и Сережи Борташевича — развертываются в послевоенное время, причем «дети» по своим нравственно-психологическим качествам во многом противоположны «отцам». Сопоставление судеб Куприяновых и Борташевичей в старшем и младшем поколении составляет сердцевину романа. Начала и концы, предпосылки и результаты, причины и следствия, разделенные иногда годами и десятилетиями,— такова общая художественная постройка «Времен года».

В своем романе Панова сосредоточила основное внимание на сфере общественной нравственности, изображений семейных связей, анализе конфликтов и осложнений, возникающих по разным причинам между родителями и детьми. Далеко не все вопросы, затронутые во «Временах года», были решены автором с достаточной последовательностью и полнотой. И не случайно эта книга послужила предметом острой дискуссии перед II Всесоюзным съездом советских писателей (1954).

Догматическая критика обвиняла Панову в сгущении красок, в чрезмерно откровенном обнажении общественного зла (перерождение и коррупция Борташевича), сама же писательница считала, что социально-исторические причины возникновения негативных общественных явлений надо было исследовать еще острее и резче. Время показало, кто тут был прав.

Как чуткий художник, Вера Панова раньше других обратилась к таким проблемам социального развития и нравственного воспитания, которые продолжают волновать нашу общественность. Но в пору создания романа ей не удалось еще обнажить всю сложность реальных условий и обстоятельств, с которыми эти проблемы связаны. Вот почему

после «Времен года» Панова неоднократно возвращалась к тем же жизненным ситуациям, которые раньше уже занимали ее внимание, но так или иначе должны были быть пересмотрены вновь более точно, проницательно и глубоко.

Художественная ретроспектива двадцатых годов по-настоящему удалась Пановой в «Сентиментальном романе» (1958), где картины прошлого, выпуклые и живописные, просвеченные горячим солнечным светом юности, заняли почти все пространство произведения. Шире, чем в каком-нибудь прежнем своем сочинении, Панова использовала биографический материал. Однако она предложила читателям не мемуары в собственном смысле слова, а именно повесть о юности — воспоминания, отданные герою и рисующие его во всей конкретности человеческого окружения и быта южно-русского города первых послеоктябрьских лет и времен нэпа.

«Когда я его написала,— рассказывает Панова о «Сентиментальном романе»,— мне казалось, что я сбросила с плеч многопудовый груз самых юных моих впечатлений, человеческих образов и неодушевленных предметов, которые носила в себе чуть не полвека... Какой это был груз, какой тяжести, можно представить себе почти наглядно, если учесть, что в него вошли многие здания моего города — Ростова-на-Дону, его церкви, магазины, рынки, его мостовые с булыжником крупным и расшатанным, как старые зубы, не говоря уже о людях всевозможных классовых групп и занятий, начиная с политического карьериста Ильи Городницкого до благонамереннейшей и тишайшей комсомолочки Зойки и от старого спекулянта старика Городницкого до «левака» Фильки Сторчука — со всей своей одеждой, судьбами, чертежами характера».

В «Сентиментальный роман» вошли также герои, духовно близкие автору, повторяющие в чем-то собственный путь и опыт писательницы, профессиональный и нравственный,— Шурка Севастьянов, Зойка-маленькая, Семка Городницкий. Искренно и правдиво рассказала Панова о первых столкновениях молодого послеоктябрьского поколения с прозой мещанского быта, о начале духовных исканий своих сверстников, юность которых совпала с первыми шагами нового социалистического общества.

Если в «Сентиментальном романе» Панова вернулась к молодости своего поколения, то в последующих повестях и рассказах —«Валя», «Володя», «Конспект романа», «Сестры» и др. ее больше всего занимает судьба послевоенной молодежи. В таком соотношении творческих замыслов и планов есть своя последовательность, своя внутренняя логика.

Отношение взрослых к детям и детей к взрослым, связь людей разных возрастов и поколений, их общий язык или взаимное непонимание —

все это составляло кровную, лично выношенную и прочувствованную тему писательиицы. Паиова находит в ией свою поэзию, свои исторические светотеии, свой неподдельиый драматизм. К юным героям она отиосится с особой чуткостью, соединяющей в себе душевную доброту и высокую требовательность. Панова хорошо сознавала пластическую гибкость формирующейся души, закономерности ее развития в добрую или дурную сторону — в зависимости от влияний, испытаииых с первых шагов жизни.

В рассказах «Валя» и «Володя» перед нами судьбы подростков, встретивших начало Отечествеиной войны детьми, а коиец ее — вступлением иа путь самостоятельиой жизни. Тыловой быт в этих рассказах преломлен через психологию рано повзрослевших детей. На новом материале Панова продолжила и развила стилевую линию «Сережи» — маленькой повести о стаиовлении большой человеческой души.

Одну из своих коротких повестей Панова с некоторым вызовом озаглавила «Конспект романа». Она решила сжато рассказать о том, что могло бы составить содержаиие обширного художественного полотна. Легким и свободным штрихом здесь очерчены две-три обыкновенные жизни. Один мальчик, Женя Логинов,— из интеллигентной профессорской семьи; другой, Костя Прокопенко,— из семьи рабочей, потерявшей отца и кормильца в годы войны. В одном ленинградском доме с ними живет третий персонаж короткой повести — девочка Майка. Ее отец фронтовик, он горел в танке, но умер не на поле боя, а дома, от сердечного приступа. Казалось бы, герои взяты наугад и объединяет их только то, что они живут в одном старинном доме недалеко от Таврического сада. Но Панова так строит сюжет, чтобы через систему художественных контрастов и сопоставлений лучше объяснить судьбу каждого. И она трезво оценила не только благоприятные перспективы, открытые перед современной молодежью, но и ее неудачи, изъяны семейного и общественного воспитания, уроки несостоявшихся судеб.

Особая тема развита в коротком рассказе Пановой «Трое мальчишек у ворот». Один из самых прекрасных и величественных ансамблей Ленинграда — Марсово поле — любовно, со всеми бытовыми и поэтическими подробностями вписан в сюжет рассказа, составляя совершенно реальный, конкретный и в то же время символический, многозначительный его фон. Высокий настрой рассказа оттеняется лукавыми ироническими штрихами бытовых зарисовок с натуры, как всегда у Пановой очень точных и острых.

Писательница любит своих подрастающих героев, доверяет лучшему, что есть в них. Она твердо верит, что для каждого поколения приходит время осознания своей связи с теми, кто шел впереди. В конце рассказа — фигурки двух малышей, ничего не понявших из той торжественной церемонии у братских могил, которая произошла у них на глазах

в центре Марсова поля. Их время понимать еще не настало. Но это время наступит, как наступило оно для трех обыкновенных мальчишек, стоящих у ворот взрослой, сознательной жизни.

В числе любимых героев Пановой есть еще один — город, в котором она появилась впервые в 1934 году и к которому возвращалась из всех странствий и путешествий. Реальности ленинградского городского пейзажа вошли в некоторые очерки и рассказы Пановой, они одушевлены в ее пьесе «Проводы белых ночей»; историческая память о Петербурге живет в драме «Тредьяковский и Волынский». Любовь к Ленинграду была, несомненно, одним из сильных побудительных импульсов творчества Веры Пановой, ставшей ленинградским писателем по судьбе и по духу. И она умела найти слова, чтобы высказать свое чувство.

«На Марсовом поле цветет сирень. Полукружия кустов, обрамляющих могилы жертв Революции, объяты лиловым дымом. В белые ночи гроздья сирени светятся. Громадное небо распахнуто над Марсовым полем, громадное небо отражается в Неве, немеркнущий закат сияет на шпиле Петропавловской крепости.

Он прекрасен не только весной, не только в цветах и зорях, Ленинград, волшебный город, обожаемый наш город. Он прекрасен во все сезоны и в любую погоду, это одна из его особенных, неповторимых черт. Как хороши его набережные в инее. Как он красив в снегопад, вечером, когда кисеей несущегося снега завешена бесконечная перспектива фонарей на Невском и Кировском. И даже дождь ему к лицу — сквозь водяную пелену по-новому видится тогда Ленинград, потемневший, нахмуренный, в грозовых дымах заводских труб, величаво-стройный во всех своих линиях».

Особое место в творческой биографии Пановой занимает драматургия. После журналистики это самая ранняя ее литературная профессия, в которой она пробовала свои силы с 1933 года. Уже в довоенных пьесах «Илья Косогор» и «В старой Москве» Панова обнаружила незаурядное мастерство драматургической лепки характеров, живость диалога, лирический юмор. Пьесы военных лет — «Метелица», «Бессонница» и «Девочки» — являются своего рода параллелью к первым крупным произведениям прозы Пановой. Многое здесь совпадает, перекликается, растет из одного корня. Но не менее важны и отличия.

По самой природе жанра каждый персонаж драмы тяготеет к самостоятельности, требует максимальной художественной объективности воплощения. Мысль и талант драматурга должны открыть необходимый простор для свободного проявления характеров. Непосредственный голос автора понижается в драме до немногословных ремарок, с тем чтобы не заглушать живую полифонию голосов, звучащих со сцены.

Напряженно-скорбные сцены «Метелицы» сохраняют суровый и сумрачный колорит исторической трагедии 1941 года. Масштабы этой трагедии являются внутренним мерилом того, что происходит с героями

пьесы. Ее действующие лица — военнопленные, обыкновенные советские люди, испившие до дна всю горечь первого поражения, испытавшие на себе гнет вражеского нашествия. Люди разных национальностей, разных возрастов, разных профессий, они проходят через испытания плена, сохраняя то, что было заложено и воспитано в них всей нравственной атмосферой советской жизни. Своим внутренним пафосом «Метелица» обращена против философии предательства, разобщенности, против психологии национализма и антисемитизма, на которые делал ставку фашизм.

На протяжении шестидесятых годов Панова написала большой цикл пьес о современности —«Проводы белых ночей» (1960), «Как поживаешь, парень?» (1962), «Сколько лет, сколько зим!» (1966), «Надежда Милованова» (1967), «Еще не вечер» (1968): все они были поставлены на сцене, а последняя пьеса Пановой «Свадьба как свадьба» (1972) послужила основой телевизионного спектакля.

В проблемном и жанровом отношении эти пьесы неодноплановы и неоднозначны. В них есть и острые комедийные положения, и драматические ситуации, есть и некоторые признаки мелодрамы, традиционного театрального жанра, который издавна строился на динамичной интриге, известном упрощении психологических коллизий и, как отмечал Горький, определенном и ясном подчеркивании авторских симпатий и антипатий к тому или иному герою.

Во всех этих пьесах проявилась существенная черта дарования Пановой — зоркого бытописателя современности, «поэта обыкновенных людей» (Н. Погодин), не пренебрегающего повседневными происшествиями, житейскими отношениями, особенными жизненными красками, свойственными данной среде и сегодняшнему быстротекущему времени. В обыденном и повседневном Панова-драматург умела открыть и нечто неожиданное, парадоксальное, порою анекдотическое, умела найти и серьезное, трогательное, возвышенное; то и другое, как правило, соединяется в ее пьесах общей свободной композицией и получает ясно выраженную моральную оценку.

Под впечатлением от прочитанной пьесы «Проводы белых ночей» А. Твардовский писал ее автору: «Это благородно, публицистично в лучшем смысле и в души западает со всей силой неслучайности и этого Вашего выступления» [1].

Лучшие качества, свойственные драматургии Пановой в целом, нашли отклик в душах современников и несомненно повлияли на советский театр шестидесятых годов.

Появление первых исторических повестей Веры Пановой оказалось неожиданным и для читателей, и для критики. Ничто как будто бы в ее

[1] Твардовский А. Т. Указ. соч. С. 146.

творчестве не предвещало такого перемещения тематических и жанровых границ. При всем разнообразии мотивов главным объектом произведений Пановой на протяжении нескольких десятилетий оставалась современная жизнь в рамках пережитой ею эпохи.

После сборника исторических повестей «Лики на заре» (1966) художественные интересы писательницы значительно раздвинулись, обогатились. Ведь настоящая историческая проза всегда живет двумя эпохами: той, о которой рассказывает, и в еще большей мере своей собственной — тем временем, в которое создается. И если предмет исторического произведения находится в прошлом, то оценка его принадлежит настоящему; она диктуется реальными проблемами жизни, которые встают перед современной литературой.

Время, воссозданное в исторических повестях Пановой,— Древняя Русь: Русь Киевская, Владимиро-Суздальская и Московская. В «Сказании об Ольге» и «Сказании о Феодосии» это X—XI века, в повести «Феодорец, Белый Клобучок» — XII век, в повести «Кто умирает» — XVI, конец царствования Василия Ивановича, отца Ивана Грозного. Панова пишет о правителях и церковниках, о своеобразных отношениях между ними, о реальной практике власти и ее идеологических, религиозных покровах. В повестях раскрывается жизнь светская и духовная на Руси, как она закреплена летописным преданием, историей и осмыслена, прочувствована современным художником.

Герои двух первых «Сказаний»— киевская княгиня Ольга и игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий были канонизированы церковью и причислены к лику святых. Но повести Пановой меньше всего напоминают канонические жития. За потемневшими от времени иконописными ликами писательница взялась разглядеть живые лица человеческие, понять реальных людей с их политическими интересами, личными страстями, духовными порывами. Условия для такого подхода подготовлены достижениями исторической мысли и — в особенности — необыкновенно возросшим общественным интересом к искусству, к самобытной культуре древней Руси.

Венцом исторических произведений Пановой является небольшая, но, пожалуй, наиболее емкая по смыслу повесть «Кто умирает»— о последних днях московского самодержца, сосредоточившего к концу жизни в своих руках огромную власть. По мастерству портретно-исторической живописи, глубине и масштабности замысла эта короткая повесть может быть поставлена в ряд с лучшими образцами советской исторической прозы.

По признанию К. Симонова, глубокое впечатление на него произвела история Феодосия —«наверное, она, эта история, самая главная в этой книге. И самая поучительная для нас, грешных, живущих в нашу сложную эпоху. ...А в смысле прямой изобразительной силы удивительно хорошо написана кончина великого князя Московского. Некоторые страницы — да что там некоторые! — большинство страниц этой вещи чи-

тал с прямым восторгом и завистью. Это настоящая история, во всем жесточайшем сплетении ее противоречий, столкновений, судеб, взглядов, страстей. В общем, очень это хорошо, по-моему...»[1].

Уверенная рука художника-деталиста видна и в цикле рассказов-мозаик Пановой из эпохи Смутного времени. Интерес к этой эпохе традиционен для русской исторической мысли, научной и художественной. К событиям и лицам Смутного времени было приковано внимание Пушкина в пору его работы над «Борисом Годуновым» и А. К. Толстого, создателя замечательной драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

Высоко ценившая смелость поэтической мысли Пушкина и А. К. Толстого, многим обязанная гуманному и вольнолюбивому направлению их толкований русской истории, Панова пришла к сюжетам из эпохи Смутного времени собственным долгим путем. Новый цикл должен был называться «Смута» или «Начинался век семнадцатый». Панова не успела довести работу над последним замыслом до конца. Ею были написаны рассказы «Голод», «Гибель династии», «Черный день Василия Шуйского», «Болотников, каравай на столе» и небольшая повесть «Марина. Кому наибольший кусок».

Несмотря на незавершенный характер цикла, основные очертания замысла Пановой достаточно отчетливо выступают в перечисленных произведениях. Главные их герои — реальные исторические лица: Борис Годунов, Василий Шуйский, Иван Болотников, Марина Мнишек.

Если в повести «Кто умирает» о последних днях Василия Ивановича, отца Ивана Грозного, обнажены предпосылки исторической трагедии, разыгравшейся затем в пору опричнины и безмерного деспотизма, основанного на личной власти, то в рассказах о Смутном времени речь идет о последствиях этой трагедии, о преемниках того политического развала, который был оставлен после смерти Грозного и гибели его династии. Так в общих чертах соотносится повесть Пановой «Кто умирает» и ее последние исторические рассказы.

В цикле произведений Пановой, посвященных русской истории, особое место занимает драма «Тредьяковский и Волынский» (1968) о судьбах гонимого поэта и всевластного кабинет-министра, обезглавленного при Бироне в последний год царствования Анны Иоанновны. Эта пьеса соединила расширившиеся исторические и художественные интересы драматурга.

Создавая драматические образы своих героев, Панова стремилась показать несовместимость абсолютизма и просвещения, деспотизма и поэзии, постоянный внутренний конфликт между ними, усугубленный

---

[1] Симонов К. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе. М., 1976. С. 400—401.

трагическими обстоятельствами русской истории,— вот, собственно, главная мысль, последовательно развернутая в тринадцати коротких картинах пьесы.

В историческом жанре Панова освоила в последнее десятилетие жизни совершенно новую сферу творчества. Однако это не был разрыв с прежними художественными интересами. Великое значение развитой исторической памяти прекрасно сознавал уже русский летописец Нестор, который в «Сказании о Феодосии» Пановой произносит знаменательные слова: «Род человеческий на земле... прибывая, как река в половодье, без оглядки мчится к судьбам своим, мало склонный вникать в прошлое и искать в нем указаний на будущее. Между тем, что может быть полезнее уроков пережитого?»

Вера Федоровна Панова не прекращала литературной работы до конца дней и успела завершить большую автобиографическую рукопись «О моей жизни, книгах и читателях», опубликованную посмертно. Это не традиционная повесть, а воспоминания, безыскусственная хроника пережитого, особенно ранней долитературной поры, и авторский рассказ о своих произведениях. Книга, собственно, и возникла из двух источников — от автобиографических заметок, которые постепенно накапливались у Пановой по разным поводам, и мыслей о своем труде, которыми она охотно и щедро делилась. Воспоминания естественно соединили то и другое в одной последовательно выстроенной хронике. Многие эпизоды этой повести оставляют сильное впечатление своей обнаженной правдивостью.

К числу наиболее значительных посмертных публикаций из наследия Пановой относится и ее роман-сказка «Который час?», оригинальное по замыслу произведение, написанное в условной, сказочной форме. Как и другие произведения прозы Пановой, роман этот насыщен реальными наблюдениями, почерпнутыми в современности, он заключает в себе также размышления, подсказанные опытом истории. Проникнутый любовью к людям и чувством тревоги за их будущее в наш неспокойный век, роман Пановой таит в себе надежду, что силы добра в конце концов сильнее зла, если не поддаваться унынию, безнадежности и бездействию.

Особый интерес представляют литературно-критические статьи, публицистика и письма Пановой к товарищам по работе, к молодым литераторам, а также к деятелям театра и кинематографа. Многие ее письма написаны с блеском, с юмором, с большой человеческой откровенностью[1]. Они затрагивают разнообразные вопросы литературы и жизни,

---

[1] См.: «Как же все-таки надо писать?» (Письма Веры Пановой) // Дружба народов. 1985, № 5. С. 250—255.

являются ценными документами для характеристики целой литературной эпохи — с конца тридцатых до начала семидесятых годов.

Знаменательно, что последние работы Пановой особенно разнятся по характеру и манере: документальность автобиографического повествования соседствует с условностью философско-сатирической сказки; размышления о своей жизни и современной эпохе сопрягаются с сюжетами из русской истории семнадцатого и восемнадцатого веков.

Как у всякого ищущего художника, в творческой жизни Пановой были разные по глубине замысла и совершенству исполнения работы. Но от «Спутников» до последней биографической книги Панову не оставляло «чувство пути»— то особое внутреннее чувство, которое Блок считал достоянием органического таланта.

А. Нинов

Спутники

ПОВЕСТЬ



Часть первая
НОЧЬ

Глава первая
ДАНИЛОВ

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь. Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, и ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет.

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковровые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

— Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

— Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит, он, Данилов, должен спать. И наоборот.

— Я уже выспался. А вы?

— Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

— Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

— Да куда едем? — хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера — хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

— К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматривал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздохните глубже. Вздохните еще раз...»

— Можем попасть в переплет, как вы думаете?

— Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блестел в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

— Я не понимаю,— заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно.— Такой поезд пускать на фронт — это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

— Какая Фаина?

— Старшая сестра.

— Ее зовут Фаина? — Забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу-ты, нашел что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженые и завитые бараном. Туда же — Фаина.

— Это определенно вредительство,— сказал Супругов и сокрушенно закурил.

— Что вы предлагаете? — Скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла,— должно быть, гильза была рваная.

— Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркому: «Заступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

— Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

— Вы думаете?.. Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частные разговоры. С Фаиной, вообще с девушками, еще туда-сюда. Но с комиссаром — ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который помалкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее смешили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметав могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия,— дадут же любящие родители такое имя дочери. Молодцы девушки — все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами: растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распущенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках — полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безыменным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено; но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек — не машина.

Поезд шел к фронту, как знамя он нес свои красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня, в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был необычный. Ни обиды, ни горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

— Вот он где, видишь ты? — тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

— Его ищем! — сказал Сухоедов строго.— Ты ничего не слышишь?

— Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

— Лупит,— сказал он нехотя.— Ох, здорово где-то лупит...— И, вытащив из кармана кисет, стал скручивать папироску.

— Куришь? — спросил он, протягивая кисет Данилову.

— Нет, не курю.

— Это, между прочим, правильно,— сказал Сухоедов.— От табака нападает по утрам такой кашель — не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч — не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься — конец.

Данилов усмехнулся.

— Тридцать восемь лет прожил — не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

— Да неужели тебе тридцать восемь?

— Тридцать девятый весной пошел.

— Молодо выглядишь,— задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова.— Я бы тебе тридцать дал, ну — тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

— Легкая или нет — не знаю,— ответил Данилов,— но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

— Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с Фаиной. А может,— чем черт не шутит,— и ее когда-нибудь он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами... «Расчеши их, Ваня»,— скажет... Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван — неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим званием в поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла — нет ли пыли. Аптекарша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка,

сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную, стерильную чистоту, которой требовал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

— Что вы делаете? — спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

— Абажур,— сказала она с усталым вздохом.

— Еще один? На лампочку?

— Нет. На точку.

— На какую точку?

— Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

— Ага! — сказал он.— Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

— Да,— ответила она,— только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

— Да, конечно, шелк лучше,— усмехнулся он.— Но шелка, Клаша, нет. А бинт можно покрасить синькой — будет голубой.

— А то еще, знаете, если бы красные чернила,— сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо.— Развести водой — будет розовая краска.

— Купим красных чернил,— обещал Данилов.— До первого магазина доберемся — сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чуял беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папиросу в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

— Бью и наваливаю.

— Врешь, трефы козыри,— сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой квалификации — самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

— Бутылочек ищите, товарищ комиссар? — сказал Кравцов, наблюдая Данилова.— Не трудитесь, бутылочки — тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь... С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным — известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались, сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались... Арестовать недолго. А дальше что?

— Сдай-ка, ну? — сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому.— В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блестел золотой зуб. Выиграл и встал.

— Вот как играть надо. Довольно, или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

— Да нет, поспать надо.

— Ну, пойдем,— сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери — Низвецкий закрывал их. Громыхали колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вызвездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

— Смотри, что она придумала,— сказал Данилов Низвецкому.— Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое... Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

— Можно,— пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

— Что у тебя? — спросил он.— Почему тебя не взяли в строй?

— Геморрой,— отвечал Низвецкий, густо краснея.

Данилов удивился.

— Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

— Я шесть лет служил в поезде Москва — Владивосток,— сказал Низвецкий, волнуясь.— Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь...

— А в санитарном поезде,— сказал Данилов,— дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так и тебе скажу: что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелы. Херувимы и серафимы, да. Мы — братья и сестры милосердия... Этой водки, будь она проклята,— сказал он тихо и страстно, сжав кулаки,— не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.

Еще двух недель не было, как шла война, а казалось, что она длится годы.

Утром 22 июня Данилов проснулся поздно и рассердился на жену: почему не разбудила. Ему хотелось провести этот день с сыном. И чтобы день был большой, чтобы и он и сын насладились им. А жена пожалела разбудить и сократила праздничный, такой редкий отдых.

Сын влез на кровать, уселся верхом ему на ноги,— плюшевоголовый, в белом костюмчике, в синих носках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только началось, а уже был загар на щеках и на ножках сына.

— Папа, мы пойдем?

Он обещал сыну прогулку. Обещал рано встать и сразу же идти. Из-за жены он проспал. Мальчишка мучился все утро. Мальчишка усомнился в отце.

— Пойдем, сын, вот только перекусим чего-нибудь и сейчас же пойдем.

— Ой, зачем ты чистишь зубы,— говорил сын, стоя около него,— ведь ты сегодня не пойдешь в трест.

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород. Второй год он с женой жил в городе, он был директором треста, а жена все не могла привыкнуть покупать овощи в магазине и сажала свои. Для картошки и капусты земли возле дома не хватало, картошку и капусту она сажала где-то за городом. Она ездила туда поездом полоть и поливать. Руки у нее были темные, крестьянские. Данилов говорил:

— Все жадность, готова в могилу себя загнать, лишь бы не переплатить лишнюю копейку.

А она отвечала:

— Как же без своей картошки?

Но в это утро вид зеленых грядок был приятен Данилову. Он ходил между ними и смотрел, как развилась помидорная рассада, скоро ли можно будет рвать салат, а сын садился на корточки и спрашивал:

— Как ты думаешь, редиска уже есть?

Вот в эту минуту он запомнил себя и сына, как на фотографии: он, Данилов, стоит между грядками, небо солнечное, мирное и радостное, и сын сидит на корточках и спрашивает:

— Как ты думаешь, редиска уже есть?

Это была последняя минута прежней жизни, с сыном, с воскресным отдыхом, с ленивыми мыслями о прогулке и пироге.

На крыльцо выбежала жена:

— Ваня, война!..

Он вбежал в дом. Радио договаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Данилов поднял голову. Все стало другим. По-другому светило солнце. Другим стал его дом. Другое лицо было у жены. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. Все полетело и помчалось куда-то следом за его мыслями.

— Папа, а мы пойдем все-таки? — спросил сын.

Сыну было четыре года.

— Нет,— ответил Данилов, и сын заплакал...

В тот день Данилов разобрал свои бумаги, написал письмо отцу, сходил на почту и отправил старику денег.

Среди старых писем попался измятый конверт, из него торчали уголки фотографической карточки,— он не вынул карточку, бросил, не поглядев, на дно ящика.

Карточки сына он положил в бумажник.

Ночью жена плакала, тихо, чтобы не потревожить его. Он делал вид, что спит.

Она поймала какое-то его движение, приподнялась, сверху взглянула ему в лицо:

— Ведь тебе бронь дадут, Ваня?

Он отвернулся. Вопрос был решен утром, когда говорило радио. Завтра он пойдет в военкомат. А ей — меньше всего дела. Она — десятая спица в колеснице.

Наутро ему принесли повестку. Что ж, тем лучше. Не станут говорить, что он выскакивает. Пошел по мобилизации — и все.

В военкомате Данилова направили к Потапенке. Потапенко был приятель, директор санатория. В военной форме, наголо остриженный и помолодевший, он сидел за пустым столом, кругом толпились штатские люди. И хотя эти люди только что пришли и хотя все окна были открыты настежь, в комнате уже так накурили, что дышать было нечем.

Потапенко протянул Данилову пухлую теплую руку.

— Эге, пришел. Бронироваться будешь?

— Нет.

— Ладно, обожди,— сказал Потапенко.

Совсем не обязательно было, чтобы Данилов так долго ждал, Потапенко принял раньше даже тех, кто пришел позже,— но Данилов понимал: Потапенко хотел перед ним покрасоваться. Ему было приятно, что вот Данилов еще в штатском и дожидается, а он, Потапенко, уже в военном и к нему приходят за назначениями и распоряжениями. Бабье, атласно выбритое, с двойным подбородком лицо Потапенки сияло от удовольствия. Он хмурил белесые брови, хотел скрыть сияние,— ничего не получалось. Наконец он подозвал Данилова.

— Садись,— сказал Потапенко.— Ты в батальоне служил?

— В батальоне.

— Ладно,— сказал Потапенко, записывая в блокнот.— Пойдешь в санитарный поезд комиссаром. Постой,— сказал он, предупреждая возражения Данилова.— Все знаю, что скажешь. А все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд надо формировать. Ты знаешь, как это делается?

— Нет. А ты?

— Я тоже не знаю,— сказал Потапенко.— Не боги жгут горшки, Иван Егорыч.

— Не боги,— согласился Данилов.

— Инструкция есть, вот она. Ты грамотный — прочтешь. Людей бери каких хочешь, ссориться не будем — некогда.

— Кто начальник?

— Начальника еще нет,— отвечал Потапенко.— Будет и начальник, а ты формируй.

— Где поезд? — спросил Данилов.

Потапенко засмеялся.

— Поезда, брат, тоже нет. Поезд — в вагоноремонтном, еще не выпущен. А ты формируй.

— Есть формировать,— сказал Данилов, вставая.

У выхода он столкнулся с председателем месткома Григорьевым. Запыхавшись, Григорьев нес ему броню.

— Вы эту бумажку пришейте куда-нибудь,— сказал Данилов,— а Меркулову (это был его заместитель) скажите, чтоб вечером был в тресте, я приду сдавать ему дела.

Но в этот вечер он не пришел. Только 26-го дождался его Меркулов, уже получивший от наркомата официальное назначение на пост директора треста, на место Данилова.

Все эти три дня Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовалось много народу: врач-ординатор, военфельдшер, перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, бойцы, кочегары, машинист на электростанцию, электромонтер, проводники, вагонные мастера... Не один Данилов бегал по городу в поисках нужных людей — в городе формировали полсотни санитарных поездов, и в каждый были срочно нужны врачи-ординаторы, сестры, санитары, проводники...

На людей у Данилова был свой взгляд, этот взгляд многим казался странным.

Когда перед ним стоял вопрос: кого выбрать — уверенного, развязного городского фельдшера, шутника и здоровяка, или застенчивую, серенькую деревенскую фельдшерицу с двухлетней практикой, с молодым нервным, болезненным лицом,— он, не колеблясь, выбрал фельдшерицу.

И когда подошла к нему эта страшная, красная как индеец, горбоносая и подслеповатая Юлия Дмитриевна — перевязочная сестра,— он не испугался, а обрадовался. С первого взгляда он понял: это то, что надо.

Санитаров подбирали из мобилизованных бойцов. Красный Крест присылал девушек, окончивших курсы медицинских сестер.

Он приходил в казармы, где на узелках и чемоданах, как на вокзале, спали люди, и кричал:

— Военфельдшеры — есть? Фармацевты — есть? Кочегары есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты — есть?

И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженые волосы.

— Вы фармацевт? — спросил Данилов.

— Нет,— отвечала она.— Я учительница физкультуры.

— Физкультуры не надо,— сказал он.

Она засмеялась.

— Я знаю. Я пойду в санитарки.

— Идите вы,— сказал он.— Для этого посильнее нужен народ.

Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.

— Здорово! — сказал он.— Что здорово, то здорово.

Она стояла прямо, дыхание у нее было легкое.

— Как зовут? — спросил он.

— Лена Огородникова.

Труднее всего было получить работников технических специальностей. Электромашинистов и монтеров забирали из-под носа у Данилова. Транспорт не хотел отдавать ремонтных рабочих. «Обойдетесь и так,— говорили Данилову,— все равно ремонтироваться приедете к нам».

Самый поезд еще не вышел из ремонтного завода. Ждали начальника поезда, чтобы принял состав. Военврач Супругов, ординатор, отказался взять на себя такую ответственность.

— Я маленький работник, товарищи,— сказал он.

Был он вежлив, смеялся всякой шутке, навязчиво угощал папиросами. Чувствовалось в нем беспокойство,— видно было, что душа в этом щуплом штатском теле тоскует, не находит себе места.

Обедать и ночевать Данилов ходил домой. Жена встречала его с молчаливой растерянностью. Ему не хотелось ни о чем ей рассказывать. Она видела, что он уже без остатка принадлежит новому своему делу. Так было с совхозом, потом с трестом. Теперь с санитарным поездом. Эта душа никогда не жила дома. Дома для нее существовал только сын. Жена молча подавала Данилову еду, стелила постель. Лицо ее за эти три дня осунулось,

стало некрасивым. По ночам она не выдерживала, начинала шептать:

— Меркулову дали бронь, главному бухгалтеру дали, даже Григорьеву — и тому дали...

— Ну? — спрашивал он с притворным хладнокровием, подавляя злость.— Ну, дали, и прекрасно, и что дальше?

— Тебе никого не жалко. Ни меня, ни Ванюшки, никого.

Он отворачивался.

— Довольно, я спать хочу.

Он почти не вспоминал о тресте, захваченный новой работой. 26-го выдались часа два свободных, он пошел сдавать дела Меркулову. Завернул в знакомый переулок. Увидел черную доску с золотой надписью: «Республиканский трест молочных совхозов». Правый нижний угол доски был надтреснут, он был надтреснут еще тогда, когда Данилов пришел сюда принимать дела. Знакомая лестница, щелкают счеты в бухгалтерии, трещит арифмометр. Дверь налево, обитая черной клеенкой... Его дверь. Его трест.

Передав Меркулову дела, он обошел комнаты и попрощался со всеми. Старуха кассирша заплакала. Ему было приятно, что она плачет. Сморкаясь, она сказала:

— А у нас-то машину забрали, вы слышали? Меркулов завтра выезжает в район поездом, можете себе представить?

Все были огорчены его отъездом, кроме Меркулова. Данилов заметил, что Меркулов рад. Конечно, он рад не тому, что сидит в директорском кресле; не такой это человек. Просто дорвался до самостоятельной деятельности, почувствовал свободу... Неужели он, Данилов, мешал ему?

Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:

— Вот, знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.

Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?

Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:

— Ничего, товарищ начальник, сработаемся!

У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.

Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:

— Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь — будем воевать!

— Вместе,— сказал Потапенко и с наслаждением посмотрел на Данилова.

— Вот именно, вместе,— сказал старичок.

Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.

— Зачем вы валенки привезли? — спросил он.— Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?

— А я, видите ли, никогда не служил,— отвечал начальник,— и показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит — выдадут, кто — не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию; и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила... На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?

— Это конечно,— улыбнулся Данилов.

За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»

На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом — остальные работники были уже набраны,— а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:

— Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.

Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.

Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так — какой же человек без греха?..

— Он что, выпивает? — спросил Данилов.

— С кем не бывает! — ответили ему.

У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развевал седой хохолок над его лбом.

— Ну как? — спросил Данилов.— Согласны в санитарный поезд?

Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.

— В поезд? — переспросил Кравцов.— Я — хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.

— Что так? — спросил Данилов ласково.— Не поладили?

— Знаете что, товарищ комиссар,— сказал Кравцов,— давайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?

— Вполне,— сказал Данилов.

— Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы делали мне замечания.

Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.

— В стенгазете — Кравцов. На собраниях — Кравцов. Выговор в приказе — Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я — под колесо! — Кравцов усмехнулся, как Мефистофель.— А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?.. Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?

— Немножко,— осторожно сказал Данилов.

Кравцов покачал головой.

— Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот — будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свои замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мои условия.

Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.

— Я вас забираю,— сказал Данилов.

Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, стоял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-

зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана — красноармеец с винтовкой.

Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.

— Вот! — сказал он, показывая Данилову связку.— От всех дверей, от всех сердец.

— Все в порядке? — спросил Данилов.

— Ну, а как вы думаете! — сказал начальник.— Там, знаете, целая комиссия была при сдаче.

— И вы все осмотрели?

— Я?.. Да.

Данилов пристально поглядел на него. Начальник опустил голову.

Он не осматривал ничего. Ему дали связку ключей, он расписался в акте, влез в штабной вагон, прицепили паровоз, и начальник поехал, забавляясь мыслью, что он один едет в семнадцати вагонах. Поезд остановился перед серым забором. Паровоз свистнул и ушел, а начальник стал прогуливаться по коридору, нетерпеливо поджидая Данилова. К Данилову он уже чувствовал привязанность.

Данилов сам прошел по составу. В самом деле, все, повидимому, было в порядке. Так ему казалось по крайней мере. Кое-что было непонятно. Например, цинковый ящик с двумя отделениями и откидной крышкой в вагоне-кухне. Над ящиком находились краны, полочки и крюки. Данилов долго стоял и размышлял, для чего этот ящик. Позвал на консультацию Соболя, начальника АХЧ. Вдвоем сообразили: конечно, ящик — для мытья посуды.

В поезд начали сходиться люди. Поезд заселялся. Подъезжали грузовики с тюфяками, бельем, медикаментами. Данилов вместе с Соболем считал, осматривал, распоряжался — куда что поместить. Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, с алчным видом уносила в вагон-аптеку свертки с бинтами и ватой. Аптекарша залила йодом столик. И аптекарша, и Юлия Дмитриевна сразу надели белые халаты и повязали голову белым,— и стало казаться, что в вагон-аптеку невозможно войти без халата. Кочегары пробовали отопительные котлы кухни и воровали на станции уголь. Девушки стелили постели, запевали песни и посматривали на Богейчука, красавца старшину. Начальник АХЧ Соболь с Богейчуком и други-

ми людьми сходил на продовольственный пункт и принял продукты. Лена Огородникова шла впереди всех, маленькая, легкая и прямая, с трехпудовым мешком риса на плече.

Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло Данилов велел запереть отдельно. На ужин он приказал сварить для всего личного состава пшенную кашу.

Санитарный поезд вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции; по полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними, неторопливо и неотвратимо.

На станциях ставили его на дальних путях, в стороне от вокзальной суеты. На платформах бегали, прощались, ругались, целовались, плакали, махали платками.... И в угрюмом молчании смотрели на него люди, когда он проходил мимо них, нарядный и чистый, со своими красными крестами и белыми занавесками.

В ночь, описанную в начале этой главы, санитарный поезд приближался к Пскову.

Данилов шел через вагон команды, возвращаясь с обхода. Вдруг сильный толчок швырнул его в сторону. Он ударился плечом об угол верхней полки. Заскрежетали колеса. Поезд остановился.

— Что такое? — громко спросил впотьмах женский голос.

— Что такое? — спросил в темноту Данилов, высунувшись с площадки.

Покачивая фонарем, вдоль поезда шел кондуктор.

— Красный огонь,— объяснил он, проходя.— Путь закрыт.

Опять вырвался луч прожектора. Теперь, на фоне настоящей ночи, он был слепяще ярок. Беззвучный, перечеркнул он черное небо и медленно шатался вправо и влево, ища и не находя.

Глава вторая
ЛЕНА

За десять месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж.

В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов

должны были показать свои успехи и поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену.

Коммунхоз снарядил грузовик. Лена села в неуютный пыльный кузов на заднюю скамейку. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений.

Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах, с портфелями. А Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она засучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, и ее подбрасывало на каждом ухабе. Стриженые волосы секли ее по лицу.

Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то. На Лену они не обращали внимания.

День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженые волосы — все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головою своими пальто и плащами и что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала: «Какие они все хамы».

Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом.

— Давайте-ка вот так! — сказал он и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто.

Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто.

Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак.

Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свои стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой да кусок клетчатой подкладки пальто.

И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это билось сердце. Его сердце.

Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть билось, конечно, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно.

Почему оно так бьется?

Ей страшно захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвестно, какой он. Может быть, такой, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какой ни есть, а оно все равно пускай бьется.

Оно билось.

Двумя пальцами, не пошевельнувшись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и, осторожно повернув голову, снизу заглянула ему в лицо.

Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное. Черные глаза смотрели вниз, на Лену.

Она поскорее нагнула опять голову и больше не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца.

Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды — в себе и в нем.

Горячий вихрь поднимался в ней — стыд, и радость стыда, и гордость, и удивление, и восторг.

Дождь кончился, и он встал.

— Ну вот,— сказал он, улыбаясь как-то растерянно.— Кажется, подъезжаем... А вы сидите, сидите пока так! — добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо.— Простудитесь...

Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло. В грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой полынью,— чудесный был воздух. И лицо у *него* чудесное. А чудеснее всего был дождь, только зачем он так скоро перестал: шел бы себе и шел.

Приехали. И, ничего не видя, кроме того, что было в ней, забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика.

До сих пор Лена не любила никого на свете.

Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валей. В детском доме было шесть Валентин; для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену.

Она не любила вспоминать. Когда ей было лет шесть, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице,

в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. «Не ори, никакой тут боли нет!»— сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил:

— Это чей тут у вас ребенок?

Сиделка отвечала:

— Ничей, это детдомовский.

У матери было плохо. Мать любила выпить: чуть заводились деньги — появлялись водка и огурцы, и какие-то женщины пили, пели, хохотали и давали матери советы:

— А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать, и только.

Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар к какой-то нэпманской лавочке. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня; в ней, вкусно скворча, жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавочке был стол, на нем солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его и подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартуком.

— Ешь,— говорил он Лене, вздыхая.— Ешь, вот эта помягче будет,— и, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, с желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная.

Мать, вся в жире, как в слезах, говорила:

— Живо-жаль смотреть, одни дети чистые ходят, а другая осень и зиму без башмаков, а чем она хуже?

— Вы ешьте, вот эта помягче будет,— бормотал хозяин, подкладывая ей в тарелку.— А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Еще падчерица с детями приехала гостить, и налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего платить, из каких доходов... Баранина подорожала, клиентура плохая, иди в чистильщики, и только.

— Тогда не надо обольщать, не надо заманивать! — говорила мать.

Хозяин глубоко вздыхал и говорил как бы про себя:

— Если б вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор.

— Господи! — говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной.

Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но попросить боялась.

Перед прощанием хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дома опять собирались женщины, пили и пели, и мать, вся красная, кричала:

— Я ему дам, подлецу, доказательства, он у меня узнает, как завлекать, сукин сын, дегенерал собачий!

— В центр, в центр на него подавай! — советовал хор.— Им, брат, потачку давать — они еще не то будут делать!

Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась с каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал с краю, свесив почти до полу толстую руку. На руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука продолжала спать.

К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой.

— Сюда придешь,— сказала она.— Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь — сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нет.

Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, растрепанная, в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками.

— Судьба моя, любовь моя,— говорила она.— И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? Ежели б он, подлец, платил мне элименты какие следует, а то бараниной, сволочь, норовит отделаться, а я что за дура. У меня еще дети будут.

— Будут, будут, Паша, надейся! — кричал гость, и опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора.

Лена устала от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку от шила — свои игрушки. Потихоньку — никто не заметил — она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой.

— Я сирота,— сказала она двум большим стриженым девочкам, которые стояли у ворот,— у меня ни отца, ни матери, никого нет.

Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторила заученные слова. Одна девочка спросила:

— А тебе сколько лет?

Другая спросила у первой:

— Позвать Анну Яковлевну, да?

Лена заглянула в ворота. Там была площадка и качели, и зеленая травка кругом.

— Я сирота,— весело повторила Лена.

Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом.

Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать: кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие; чтобы разговаривать с нею, они посадили ее на стол, а она их все-таки перехитрила.

— Меня никто не научил,— отвечала она, болтая ногами.— Я нигде не живу.

Она понимала, что они хотят отправить ее домой. А ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой.

— Я хочу жить тут,— сказала она откровенно.

Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал:

— Надо заявить в милицию.

Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкупала ее в корыте и остригла ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было.

Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием:

— Я бы такую мать мордой об стол... Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь?

Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо: милиционер заберет в милицию.

— Ну и пусть! — ответила Лена.— Ну и пусть, а я не боюсь милицию.

И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет.

— А что твоя мама делает? — спросил милиционер.

— Собирает тряпки,— ответила Лена.

Все стали смеяться. Так или иначе, маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось: она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей.

Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к кому не привязываясь и ни от кого ничего не требуя, она прощала всем. То, что ей давали, она принимала с удовольствием, но без благодарности.

Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платья и готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед нею в ладоши и поют:

Мы своими ножками
Топ, топ, топ,
А потом ладошками
Хлоп, хлоп, хлоп...

Кроме того, они пели: «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятьем заклейменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности.

Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печки топили не углем, а дровами; а остальное было все так же.

Она росла. Девочка Валя — та была раньше, давно, та была другая. Теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома. Были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали.

Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали: она не любила, чтобы ее бранили. Когда ей было лет семь, к ним назначили нового заведующего, комсомольца.

— Отставить,— сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками».— Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас уже почти кретины. Им нужна физкультура.

Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить, это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили.

В седьмом классе преподавали Конституцию.

Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что эта статья — хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала: зачем он так старается объяснять то, что всем понятно?

Она жила уже в пятом детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры, ее звали Еленой.— Опять он о том же, только с другого конца взялся... Он доказывал, что Советское государство — самое правильное в мире... Для Лены не существовало никаких других государств, кроме Советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: товарищ. От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой,— она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел — она начинала дичиться и замыкалась в себе: она не привыкла к таким разговорам.

Два раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно.

Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии.

Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные глупые и добрые глаза и щеки — как окорока. К физкультуре она отношения не имела; от сидения в канцелярии оплыла жиром. Леной она восхищалась.

— Как ты живешь в общежитии! — говорила она.— Ни подать, ни принять некому...

Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы домик в три комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук пятнадцать подушечек, вы-

шитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу.

— Да, хорошо ты живешь,— сказала она с невольным вздохом.

— Переходи к нам жить,— сказала ей Катя.— Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься. А то ты — как скелет.

— Переходите, Леночка, к нам,— сказала и Катина мама.— Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышне в общежитиях этих. Не дай бог чего.

Катина мама была тихая, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими же добрыми, как у Кати.

Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Кати. Катя собственными руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец.

К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза.

Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах.

— Что ты? — спросила она с искренним участием.

— Ничего,— ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену.

Из соседней комнаты послышалось бормотанье Катиной мамы:

— Это уж я не знаю, что такое,— за добро так отплатить людям.

— Что у вас случилось? — спросила Лена.

— Коли со мной по-хорошему,— продолжала Катина мама, входя в комнату,— то и я обязана поступать по-хорошему, а не так.

— О чем вы? — спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней.

— Мы с вами, Леночка, поступили как с родной,— сказала Катина мама.— А вы вон чего делаете, это разве мыслимо, это только в нынешнее время стали барышни себе позволять.

— Я не понимаю,— сказала Лена,— о чем вы говорите. Я ничего плохого вам не сделала.

— Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщина виновата. Парень — что малый телок: его куда потянут, туда он и идет.

— Вы что думаете,— спросила Лена, удивившись,— что я влюблена в Катиного жениха? — Она засмеялась.— Я не влюблена в него!

— Никто, Леночка, вам и не говорит, что вы влюблены,— отвечала Катина мама.— А что он в вас влюбился, так это с вашей стороны — уж вы нас извините — вовсе нехорошо и непорядочно.

Катя упала головой на стол и зарыдала.

— Мне это неизвестно,— сказала Лена зазвеневшим от злости голосом.— Ну его к черту, на черта он мне сдался?

— А мы этого не знаем, на черта или нет. Молодой человек, непьющий, интересный, жалованье хорошее...

Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома.

Вошла Катя, подсела и обняла ее.

— Не сердись на маму,— сказала она.— Я знаю, что ты не виновата. Просто все мужчины — подлецы.

Лене вспомнился подлец с бараниной. Она засмеялась. Катя поцеловала ее, гордясь своим великодушием. Они пошли ужинать. Лена пила парное молоко и думала: «Не хочу. Уйду».

Через несколько дней она получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие.

Второй случай был за полгода до ее замужества.

В общежитии, в нижнем этаже, жили мужчины. Наверху, у женщин, было чисто. На плите стояли блестящие алюминиевые кастрюльки и небесно-голубые чайники. Мужчины жарили яичницу и грели воду для бритья в эмалированных кружках, закопченных до черноты. Они харкали, плевали и бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними.

Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то.

— Товарищ,— сказал он глубоким баритоном,— простите, у вас градусника нету?

— Какого градусника? — спросила Лена, остановившись.

— Обыкновенного, измерить температуру,— ответил баритон.— Чувствую, понимаете, что жар, и нечем измерить.

— Сейчас спрошу,— сказала Лена и пошла к себе наверх.

У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз. Баритон доверчиво ждал ее на том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней.

— Тридцать девять и четыре,— сказал он, как будто она его об этом спрашивала.— Вот, будь она проклята, никак с нею не развяжешься.

— А что у вас? — спросила Лена, в жизни не болевшая ничем, кроме аппендицита.

— Малярия.

Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое и вдохновенное лицо.

— И хина кончилась,— сказал он, мученически закинув голову, как Христос, говорящий: «Впрочем, не моя да будет воля, но твоя».— Но я сейчас схожу в аптеку. Я привык выходить с любой температурой,— сказал он и махнул рукой.

Была зима, градусов двадцать мороза. Лена сказала:

— Давайте рецепт, я схожу.

— Ну, что вы! — сказал он.— Зачем это?

— Как хотите,— сказала она.

— Это стоит рубль двадцать копеек,— сказал он и дал ей рецепт и рубль двадцать копеек. Пальцы у него были очень тонкие; доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец.

Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном. Ей было жалко его.

Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась; она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами.

— У меня была прекрасная квартира,— объяснил он.— Я оставил ее жене.

У него было четыре жёны. Все они; по его словам, ушли от него. Уходили они странно: квартира и все имущество оставалось у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое, холостяцкое жилье. От двух жен у него были дети.

— Чудесные девочки,— сказал он, вздохнув.

— Почему же,— спросила Лена,— вы ни с одной не могли ужиться?

В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из Четвертой симфонии Чайковского»,— объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева: «Нет, ты мне совсем не дорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного, ее знакомство с поэзией ограничивалось хрестоматией для седьмого класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение... Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю»— и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что этот хилый малярик стукнулся спиной о дверь.

— Сильно́! — сказал он после молчания.

Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом легким, быстрым шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него.

У себя в комнате она выполоскала рот. Этого ей показалось мало. Она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно она проглотила какую-то дрянь.

И вот пришла любовь.
Такой не было ни у кого.
— Поцелуй меня...
Кого еще целовали так?
— Спи, маленькая. Тебе не твердо на моей руке?
Кого еще берегли так?
— Поцелуй меня...

В первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего одна комната, но, господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья! И еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей, а она принадлежала Даниилу, Даниле, Дане, Даньке,— бывают же такие прекрасные имена! Двадцать лет она была ничья и теперь с восторгом шла под руку законного хозяина.

Она считала его пожилым: ему было уже двадцать восемь лет. Ей нравилось, что он уже не так молод: по ее мнению, это и ей придавало солидности.

Ему нравилось делать ей подарки: каждый пустяк она принимала с такой радостью! «У меня никогда не было таких туфель,— говорила она.— У меня никогда не было такого платья». И, тронутый, он говорил:

— Радость моя, у тебя должны быть десятки таких платьев...

Даже обыкновенный шоколад она съедала с таким наслаждением, что приятно было смотреть на нее.

Хозяйничая, она надевала передник, и у нее был такой вид, словно она всю жизнь только и делала, что занималась хозяйством в собственной квартире.

Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену: у нее была теперь другая походка, она по-другому держала плечи. Голос стал грудным и воркующим. Глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались иа улице, и это усиливало ее торжество.

Так прошло десять месяцев. Десять месяцев — триста дней, триста ночей.

Его мобилизовали сразу.

Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она.

Он двигался по комнате, собирая какие-то свои вещи, и рассеянно отвечал ей...

Она не обиделась. Дело было не в обиде. Просто впервые она увидела его с этой стороны.

Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело, сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а уже он ей не принадлежал.

Иначе не могло быть. Она закрыла лицо руками. Если б было иначе, она разлюбила бы его.

Нет. Не разлюбила — разлюбить невозможно; но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка, амазонка, победительница в состязаниях, она понимала такие вещи. Торжествовать можно только победу над сильным. Миого ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им.

Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла. Чтобы он ушел довольный ею.

Прежде всего надо скрыть свое отчаяние. Он хорошо держится — просто, спокойно. Шутит. Она тоже может так.

И надо помочь ему собраться. Уселась, сложила руки, как в гостях. Вот он кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговицы, она помнит.

— Постой, Даня, я сама.

Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и починила. Собрала провизию — немного, он так просил. Напомнила взять тазик и кисточку для бритья. И крем для сапог. И щетку. Уложила конверты, бумагу, спички.

Он сел и смотрел, как она укладывает его вещи. И это тоже так и должно быть: муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну.

А когда сборы были закончены и он подошел к ней, чтобы приласкать на прощанье,— она положила его голову себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством — бесконечной близости и нежности, от которой разрывалось сердце.

Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде она была его любовницей. Она была для него всем на свете.

Она проводила его на вокзал и простилась с ним без слез. Он спросил ее:

— Что ты будешь делать без меня?

Она ответила, виновато улыбнувшись:

— Я еще не придумала.

Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога:

— Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?

Она пообещала:

— Нет. Не очень.

— Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво.

— Я без романтики.

В последний раз они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала.

Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи... Ничего не нужно, когда его нет. Сколько продлится война? Года два, сказал он. Два года! Когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет с тоски. Чем жить? Можно задохнуться.

Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза. И губы серые. И вот губы улыбнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него.

Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала его, и надела старую голубую майку, заштопанную на локтях. Ключ — управдому. Другой ключ — Кате Грязновой, чтобы присматривала. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно: вдруг он вернется раньше нее? Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат.

Данилову понравилась Лена.

— Здорова,— говорил он о ней.— Свободно одна может на руках перетащить мужика.

И Данилов Лене нравился. Собственно, ие Данилов, а его фамилия. Все называли его: товарищ комиссар. Она обращалась к нему: товарищ Данилов. Ей было приятно произносить это имя, оно напоминало имя любимого. Данила, Даниил, Даня, Данька...

Данилов назначил было Лену в вагон-аптеку: ему представлялось, что она будет очень ловко подсаживать раненых на перевязочный стол. Но Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, сказала начальнику поезда:

— Прошу вас, товарищ начальник, дать мне другую санитарку.

— А что? — с готовностью осведомился со всеми предупредительный доктор.— Не нравится?

— Да, не нравится.

— Гм! — сказал доктор.— А знаете, мне самому она показалась такой это, а?

Юлия Дмитриевна поджала тонкие, по линейке прорезанные губы.

— Да, вот именно такой.

— Какой-то не такой, а?

— Легкомыслие на лице написано,— процедила Юлия Дмитриевна.

— Да, да, да, легкомыслие, да... Хорошо! — сказал доктор, начальственно кивнув головой.— Я подумаю над этим вопросом.

И он сказал Данилову:

— Как бы в аптеку поставить другую санитарку, а?

— А что? — спросил Данилов.— Не справится, думаете?

— Да, не справится. Мы с сестрой присмотрелись — не справится, знаете. Легкость, легкость. Туда надо посолиднее.

Данилов перечить не стал: медицине в таком деле виднее. В вагон-аптеку поставили Клаву Мухину, а Лену перевели в кригеровский вагон.

Она ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на оконные стекла, на лакированные полочки. Лена была немножко обижена, что ее удалили из аптеки. Конечно, это дело рук краснокожего черта — перевязочной сестры. Вот урод так уж урод, ничего не скажешь. Наверно, ее никто никогда не любил. Так ей и надо. За что она взъелась на нее, Лену? Вот назло же ведьме вагон Лены будет чище всех. И она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, как делала Катина мама, перетряхивала одеяла... Мухи, мухи, откуда они берутся! Ни еды, ни духа человечьего еще нет в вагоне, а вон — пролетела одна, за нею другая... Лена кралась за мухами. Одну поймала, а другая спряталась куда-то, Лена ее не нашла. Клава сделала из бинтов абажуры на лампочки. Абажуры были густо разукрашены фестонами. Лена завидовала: она не умела делать фестоны. Надо будет подружиться с Клавой, чтобы научила. Но Клава день и ночь проводила в вагоне-аптеке, а Лена старалась показываться там пореже, чтобы не встречаться с Юлией Дмитриевной.

...А муж всегда был рядом с нею, никуда не уходил. Правда, она не могла все время, как прежде, разговаривать с ним и рассчитывать каждое движение так, чтобы нравиться ему, у нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала о его присутствии и то и дело обращалась к нему. «Ну вот так, Даня»,— рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. «А теперь мы еще разок вымоем пол!»— говорила она ему. И только когда наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный и лукавый мир, где были только он, она и их любовь.

Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор Супругов читал лекцию о личной гигиене. По утрам комиссар Данилов собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи временные, и что в конце концов победит Красная Армия, а гитлеровцы будут разбиты в пух и прах... Лена слушала Данилова и думала: «Зачем так длинно говоришь,— без тебя знаю, что победим все-таки мы, Данька и я, иначе не может быть, иначе Даньку убьют и меня убьют, и нам никогда не будет счастья...» Ее не очень

беспокоило то, что немцы берут город за городом. Ну, взяли еще город. Что же делать. Все равно отобьем обратно. Только бы скорей отбить, чтобы скорее вернулась прежняя жизнь и вернулся Данька. Она не получила от него еще ни одного письма, но знала, что он жив.

Ночью Лена спала крепко, ее не разбудил ни обход, предпринятый Даниловым, ни толчок поезда. Она проснулась, когда уже рассвело. Что-то очень хорошее снилось ей под утро.

Она лежала, не открывая глаз, и улыбалась этому хорошему — и тут же, не открывая глаз, вспомнила: ничего этого нет, она в санитарном поезде, едет за ранеными, поезд стоит,— неужели приехали?

Она вскочила и высунулась в окно: железнодорожная будка, да луг, да лес, птички уже поют в лесу, заря на востоке, розовая-розовая, воздушная-воздушная, плакать хочется, такая милая заря! И по всему небу облака, как розовые перышки,— никогда она не видела такого неба...

«Опять стоим на разъезде. Не торопятся с нами...»

Рано она поднялась. Все спят. До подъема часа два еще... Можно лечь и посмотреть — может, опять приснится что-нибудь очень хорошее...

Но вот комиссар Данилов, он уже встал. Он выходит из вагона-кухни. Лена надела юбку и босиком вышла из вагона. Утро было свежее, птицы пели все громче. В палисаднике возле будки цвел куст жасмина. Лене захотелось стащить веточку, она стала подбираться к палисаднику.

— Эй, Огородникова! — крикнул Данилов Лене, которая протягивала руку к жасминовому кусту.— Залазь обратно — сейчас тронемся. Отстанешь.

Лена только выпятила губу. Тронемся! Экспресс какой, подумаешь. Что, она на ходу не вскочит, что ли? Она отломила ветку, и лицо ей брызнула свежая влага.

Поезд тронулся. Данилов полез в вагон. Лена нарочно дожидалась, стоя на полотне. Теплый ветер из-под колес бежал по ее босым ногам. Когда последний вагон поравнялся с нею, она схватилась за поручень, легко подпрыгнула и вскочила на подножку, которая приходилась ей выше колен. Стоя на подножке, она порадовалась на себя — как она ловко вскочила, какая она сильная, как хорошо обдувает ей встречным ветром лоб и грудь... «Видишь, Даня,— сказала она, усмехаясь,— видишь, какая я у тебя...» И, дав ему налюбоваться собою вдоволь, вошла в вагон.

Глава третья

ДОКТОР БЕЛОВ

В Ленинграде санитарный поезд остановился на станции Витебск-Сортировочная. Паровоз обещали дать через полчаса; прошло два часа, а его еще не было. Доктор Белов бродил около штабного вагона и бормотал:

— Это же ужас что такое...

Бормотанье относилось не к стоянке. Доктор телеграфировал жене, что будет проездом в Ленинграде, и просил ее приехать на вокзал. Но на какой вокзал их примут, он сам не знал до сегодняшнего утра. И вот теперь ее не было. Это было ужасно. Главное, что она, может быть, уже здесь. Бродит по этой раскаленной, перевитой железом земле и ищет его. А здесь десятки поездов, тысячи вагонов. Она не успеет найти его, как подадут паровоз и надо будет ехать. Доктор мучился. Несколько раз он собирался идти искать жену между составами. Уже отходил от штабного вагона. Но ему становилось страшно: вдруг поезд уйдет без него. Можно, конечно, догнать. Но что скажет Данилов? Данилова доктор побаивался.

Данилов шел мимо, козырнул: он еще не виделся сегодня с начальником. С утра было партийное собрание, выбирали парторганизатора. Выбрали Юлию Дмитриевну, и Данилов за нее голосовал, потому что больше не за кого было, а теперь его терзали сомнения. При всех своих мужских ухватках Юлия Дмитриевна все-таки женщина. А парторганизатору предстоит ой-ой какая возня с доктором Беловым. Про себя Данилов сформулировал задачу так: из доктора Белова надо сделать начальника поезда. Где уж слабым женским рукам осилить такое дело...

Данилов козырнул доктору и мысленно пожалел его. Доктор гулял на припеке в полной форме. Нагрудные карманы его гимнастерки выпирали чугунными четырехугольниками; чего он туда напихал? Из-под блестящего козырька фуражки торчал блестящий нос; по крыльям носа скатывались ручейки пота. Доктор был накален, как крыша.

— Жарко! — сказал Данилов.

— Не говорите,— сказал доктор.— Знаете, сквозь подошву чувствуется, какой горячий гравий.

Данилов внимательно посмотрел себе под ноги: он не знал, что это называется гравий; он любил узнавать такие вещи. Старички интеллигенты всегда что-нибудь такое скажут.

— Нет, куда это нас поставили? — продолжал доктор.— Это железнодорожные джунгли какие-то. Я — старый ленинградец, но совершенно не знаю этих мест.

Данилов не ответил: не все ли равно, где стоять? Важно ехать и приехать куда нужно. Он не знал, почему томится начальник. Он не знал, что начальник готов заплакать, как маленький ребенок.

— Иван Егорыч,— спросил доктор,— вы в хороших отношениях с вашей женой?

— Как это? — удивился Данилов.— Она жена; какие могут быть отношения?..

— Нет, знаете,— сконфузился доктор,— я хотел спросить — вы... Ну, одним словом, бывает, что люди прожили вместе тридцать лет, а настоящей дружбы нет все-таки,— ведь бывает?

Данилов отвел глаза.

— Бывает, конечно...

— А бывает и наоборот,— сказал доктор, и вдруг лицо его просияло, засветилось нежностью, гордостью, стыдливым восторгом; Данилов удивился окончательно.

Обогнув хвост соседнего состава, через пути переходила седая женщина, очень высокая, на голову выше доктора. Она была в сером простом платье и черной соломенной шляпе фасона двадцатых годов.

— Сонечка...— сказал доктор слабо.— Я думал, ты уже не придешь. Иван Егорыч, разрешите представить вас моей жене... Сонечка, это Иван Егорыч Данилов, я бы без него пропал.

Женщина взглянула в лицо Данилову и протянула ему руку. На другой руке у нее висела огромная, раздувшаяся от пакетов сетчатая сумка.

— Пойдем, я тебе покажу мое купе...— бормотал доктор, растерявшийся от счастья.— Ты одна... Дай мне сумку... Ну, конечно, одна... Всегда одна, всегда...

— Игорь на окопах,— отвечала женщина, идя за ним.— А Лялю не отпустили со службы. Я тебе захватила рукавицы, Николай, ты забыл рукавицы.

«Смотри, пожалуйста, как молодой»,— думал Данилов, глядя, как доктор подсаживает жену в вагон. У нее на руке от тяжелой сумки был глубокий красный рубец. Рука была морщинистая, бледная, худая.

В купе жужжал вентилятор.

Доктор и его жена сидели на диване. Он держал ее за руку. На столе лежали свертки, вынутые из сумки.

— Сонечка, ты замечаешь, мы с тобой сидим сейчас, как в вечер нашего прощанья, помнишь? А помнишь, я тогда сказал, что это, может быть, уже в последний раз. И вот мы опять так сидим, а? А ведь прошло всего полторы недели, а? Ты знаешь, что́ мне кажется? Мне кажется, что мы будем сидеть так еще много, много раз. А тебе?

Она поцеловала его в мокрый соленый лоб и сказала ласково:

— И мне кажется. Только дай мне воды. Холодной, и побольше.

Доктор вскочил и схватился за голову:

— Милая, прости! Я, по обыкновению, ни о чем не подумал! Ты измучилась! Блуждала по этим джунглям! Искала меня! Боже мой! Вот здесь в графине, я сейчас, только она теплая, противная...

Постучали в зеркальную дверь. Толстая румяная Фима в белом сборчатом берете, кокетничая, впорхнула с подносом. На подносе был кофейник, печенье, кувшин с морсом, в кувшине плавал кусок льда. Из-за Фиминого плеча выглянуло еще чье-то лицо. Всем было интересно посмотреть на жену начальника.

Доктор залился радостным смехом.

— Сонечка, это Данилов! Уверяю тебя, это Данилов! Что за человек! Фима, кто это прислал, Данилов?

Наливая кофе в чашки, Фима ответила чинно:

— Начальник АХЧ велел сказать, что через десять минут будет готова свиная отбивная.

— Сонечка, ты подожди пить кофе. Съешь сначала свиную отбивную. Это, конечно, Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ кормит нас, представь себе, исключительно пшенной кашей, исключительно, исключительно... Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой. Что за человек! Ах, человек!..Фима, несите отбивную, несите, несите...

Жена хотела, чтобы и он ел с нею. Слишком жарко, чтобы есть горячий жир, она столько не съест, он ведь знает, что она не может съесть так много. Он отказывался, но, когда она протягивала ему кусочек на вилке, он глотал

его, полный восторга. Нет, это удивительное, удивительное счастье, что она его нашла!

— Как же ты нашла все-таки? Я бы ни за что не нашел... Милая, я глупости спрашиваю, извини. Что и хотел сказать... Да! Ведь тебя не посылают на окопы?

— Нет. Не посылают.

— Ну, конечно, конечно. С твоим здоровьем...

— Меня никто не посылает. Я сама пойду.

Ее лицо задрожало.

— Бьют нас, ах, как бьют, Николай...

Он растерянно смотрел на нее.

— Бьют, да... Это пока...

— Ах, я знаю, что пока! Я видела человека из Вильны. Такой ужас, что... Я не хочу говорить. Спрашивай дальше. Что ты еще хочешь спросить?

— Ляля и Игорь...

— Ляля служит. Говорит, что их, должно быть, тоже на днях пошлют. Игорь уехал с первой партией.

— Куда?

— На Псков.

Она плакала. Он выпустил ее руку и смотрел на нее со страхом. Прежде она никогда не плакала. Прежде он ревновал ее к сыну. Сын был неудачный — лентяй, грубый, вечно шатался бог знает где; доктора обижало, что она все прощает сыну и оставляет для него лучшие куски, обделяя дочь. Теперь он понял — так ему казалось: она знала, что сыну предстоит особая доля, военная доля; она ведь часто говорила: «Ничего, кончит школу, пойдет в армию, там его вышколят». Она знала, что ему предстоит с первой партией рыть окопы; вот она и жалела его и баловала...

— Сонечка, не плачь! — взмолился доктор.— Ну что ты плачешь, девочка, словно его уже убили!

— Я не о нем плачу. Я и сама бы поехала, если бы не работала. Я плачу потому, что не могу я слышать эти сводки.

Да, работа, он про работу ничего не спросил.

— На работе все то же. Иногда зло берет: такое время, а они зубы себе вставляют. Одна дура принесла золото. У нее два зуба из стали, она желает заменить золотыми. Я не выдержала, сказала: другого времени не нашли менять. Она обиделась, пошла искать другого протезиста. Черт с ней.

— Черт с ней,— повторил он машинально.

Они замолчали и долго сидели молча, глядя друг на друга добрыми заплаканными глазами. Кофе в чашках подернулся белой пленкой, они о нем забыли. Забыли и о морсе.

Опять постучали. Вошел Данилов. Извинившись, сообщил, что сейчас будут прицеплять паровоз.

— Что? — спросил доктор.— Уже? Значит, едем, Сонечка...

Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. Потом жена доктора ушла. Она шла между путями — высокая, чуть-чуть сутулая, под старой черной шляпой — седые волосы. Доктор — маленький, возмужавший от военной формы, семеня ногами, шел с нею рядом — провожал.

До войны доктор писал дневник. В глубине души он чувствовал себя литератором. Ведь были врачи-писатели: Чехов, Вересаев. Ну, может быть, он не беллетрист, а публицист, как...— Марат,— подсказала Сонечка, когда он однажды поделился с нею этими мыслями. Доктора обидела ее насмешка, и он не признался ей в том, что ведет дневник. Он писал скрываясь. Особенно стеснялся детей. Он не знал, что жена и дочь тайком друг от друга вытаскивают его тетради из ящика и прочитывают все от слова до слова.

Было приятно писать потому, что каждое мелкое событие в литературном изложении приобретало значительность, а иногда даже грандиозность. Если доктору случалось писать о ком-нибудь из знакомых плохое, он не называл настоящих имен, заменял условными буквами — NN, X, Z. Он боялся, чтобы люди, которые приходили к нему играть в преферанс, не были опорочены после его смерти, когда его записки будут обнаружены и опубликованы. Уезжая из дому, он уложил дневник в папку, папку обвязал веревочкой и запечатал сургучом.

— Сонечка,— сказал он, подавая жене папку обеими руками, как образ,— это прошу хранить и вскрыть только в случае... Ты понимаешь, в каком случае.

В поезде, после встречи с женой, ему опять захотелось писать. Он открыл толстую, еще не начатую тетрадь, с удовольствием понюхал ее клеенчатый переплет, вздохнул и написал:

«2 июля 1941 года. Приходила Сонечка».

И сразу ему расхотелось писать. Поезд шел. В купе было прохладно. Жужжал вентилятор... Вот здесь она сидела в уголке. Попала она в трамвай или еще ждет?.. Доктор положил лоб на тетрадь и долго сидел так, не шевелясь.

«Странный человек NN,— писал доктор на другой день, справившись с собою.— Я понимаю И. Е. Данилова, понимаю нашу симпатичную, хотя и суровую хирургическую сестру. Понимаю эту девицу в берете, которая заботится обо мне и больше всего довольна, когда я похвалю фасон, которым сложена салфетка, понимаю пьяницу Z, понимаю каждого человека в поезде, но вот NN я никак не могу понять. А ведь он самый близкий мне здесь человек, во всяком случае должен быть самым близким. Ведь мы люди одной профессии, мы могли бы беседовать часами, но мне почему-то совсем не хочется беседовать с ним. Он угощает меня папиросами, и так это вежливо, но за этой вежливостью ничего нет. Я заговаривал с ним о текущих событиях; он говорил о них совершенно теми же словами, которые мы видим в официальных газетных сообщениях. Заговаривал по вопросам нашей практики; он соглашается со мной, какую бы глупость я нарочно ни сказал. Спрашивал его о семье: он холост, живет со старухой матерью. Кажется, он библиоман: у него своя библиотека; я просил почитать что-нибудь, он смутился, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал. Нельзя назвать его нелюдимым: он заговаривает с людьми, но предоставляет им высказываться, а сам поддакивает. Замечаю, что и И. Е. его не любит».

Доктор обмакнул перо, вспомнил, как писали о своих героях старые романисты, и приписал:

«В нем есть что-то загадочное и отталкивающее».

Старшая сестра Фаина тоже находила Супругова загадочным. Но не отталкивающим. О нет! Именно эта загадочность привлекала Фаину.

— Доктор,— говорила Фаина Супругову, толкая его горячим плечом,— ну о чем вы все время молчите? Я хочу знать. Поделитесь со мной.

Фаина была на полголовы выше Супругова, пышная, цветущая, шумная. Может быть, при других обстоятельствах ее внимание польстило бы Супругову. Но теперь ему было не до того.

Супругов боялся. В этом была вся загадка.

Он боялся исступленно.

Специальность у Супругова была тихая: ухо, горло, нос. К нему приходили дети с полипами в носу и оглохшие старики. Супругов делал значительное лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он знал, что и с глухотой больной проживет еще двадцать лет, и у него не было той активной жалости и уважения к чужому страданию, какие бывают у хирургов, педиатров или универсальных сельских врачей. Не было у Супругова и привычки к виду страдания и смерти. Его пациенты болели без мучений, они испытывали неудобства, а не боль; и умирали они без участия Супругова, от каких-то других болезней... Супругов был доволен, что у него такая чистая работа. Сам он лечился от каждого пустяка. Однажды у него был нарыв на пальце. Он вспоминал об этом с содроганием: это было ужасно! Мать удивлялась его стонам:

— Неужели так больно?

Это была беззаботная старушка. Она родила за свою жизнь семерых детей и шестерых схоронила, много видела боли и скорби и все-таки до семидесяти лет сохранила в глазах тот живой огонь, которого был лишен Супругов. В старости она стала несколько легкомысленной, пристрастилась к лото и цирку и хозяйством занималась невнимательно, но в общем они с сыном жили припеваючи.

Супругов коллекционировал книги, скульптуру, красивую посуду и изделия палешан. У него в кабинете стоял шкафчик с китайским фарфором и венецианским стеклом. Не то чтобы он очень понимал в китайском фарфоре, в изделиях палешан или в стихах Верхарна, а просто ему нравились изящные вещи, и он украшал ими свою квартиру. Он аккуратно ходил на все заседания, на которые его приглашали, и на новые спектакли, и к знакомым в гости, он слушал радио, читал газету, выписывал специальные издания, но больше всего он любил сидеть дома в одиночестве, покуривать и рассматривать свои коллекции.

— Хоть бы ты женился, Павлик,— говорила мать, возвращаясь за полночь домой.— Все ты один да один!

Но он не хотел жениться. Бог с ними, с женщинами. Он не позволял себе с ними ничего, кроме комплиментов: столько приходится слышать о неудачных союзах, разводах, семейных недоразумениях... А венерические болезни? Боже сохрани! И потом, разве он один? Бо́льшую часть времени он проводит в коллективе... Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любви. Он имел два романа,

и что же? Оба закончились ужасными неприятностями... И довольно, довольно с него.

— Не нравишься ты мне! — чистосердечно признавалась мать, глядя на него с сомнением.

Посмеиваясь, он целовал ее мягкую щеку: бедная мамочка, она выживает из ума. Как может не нравиться такой сын? Он дает ей все необходимое для жизни, вплоть до билетов в цирк. А ведь выбивался из нужды. Отец приказчиком служил в обувной лавке. А вот он — Павел Супругов — врач, интеллигентный человек, ценитель искусства. Говорят — Советская власть открыла двери... Но и своя голова должна быть у человека на плечах.

Он был совершенно доволен своей жизнью.

Был ли он так же доволен собой? На этот вопрос он не мог бы ответить определенно. Скорее — нет, не был. Что-то было в нем неблагополучно, чего-то недоставало, а чего — он не знал. Он никому ничего не мог *приказать*, он мог только *просить*. Другие приказывают, и их охотно слушают. Как это человек приказывает? Почему его слушают? Почему он, Супругов, никому не смеет приказывать? А если бы и посмел — его бы не послушались, только удивились... Почему другие спорят, а его всегда так и подмывает поддакнуть собеседнику, если даже он с ним не согласен? Только в крайнем волнении он решается возражать, да и то до тех пор, пока на него не прикрикнут... Почему другие люди говорят друг другу резкости и не обижаются, а его, Супругова, болезненно обижает каждый пустяк?

Чтобы не давать повода для обид, он старался быть как можно вежливее, угощал всех папиросами и везде, где мог, обещал «поблагодарить».

Другие держатся в жизни как хозяева. А он стоит у порога, как непрошеный гость. Почему?

Он не понимал почему.

Впрочем, он старался не думать об этом. Ему и так хорошо. У него есть все: солидная профессия, прочное положение, чистая репутация. И эти милые безделицы, которые украшают существование. Что еще нужно для счастья, в конце концов?

Война с первых дней все исковеркала. Все полетело к черту — уверенность, покой, солидность. Человек привык слушать жизнь, как скрипку, и то через стену; и вдруг она забила в барабан у самого уха.

Его мобилизовали. Позвольте! У него слабое здоровье! Что ж, он будет служить в санитарном поезде. Но он не

хирург! Он не умеет извлекать пули и накладывать гипс! Это сделают другие; а он будет возить раненых и смотреть за ними в дороге, чтобы не болели, чтобы выздоравливали. И пусть не беспокоится — при надобности его научат и пули извлекать...

Но он не хочет, чтобы его изувечили! Он боится бомб! Боится страданий!

— Повоюй, Павлик, ничего; надо воевать,— бормотала мать, собирая его. Голова у нее тряслась. Он не сказал ей о своем ужасе. Он ненавидел ее в эти дни. Он всех ненавидел. Зачем они притворяются, что не боятся?! Они все знают, так же как и он, и о фугасах, и о разрывных пулях, и об иприте, и о звериной жестокости врага. Как они смеют делать вид, что им не страшно?! Как они могут смеяться, говорить о житейских пустяках, есть мороженое, ходить в театр, когда внутри у них воет: ууу!

Но все словно сговорились притворяться. Они притворялись так искусно, что даже он поверил, будто они действительно не боятся. Приходилось притворяться и ему. И он навязчиво угощал папиросами, говорил о пустяках, старался не выдавать себя. Но по ночам он не спал. Поезд шел к фронту. Супругов курил и седел. Доктор Белов рассказывал ему случаи из своей практики. Фаина заигрывала с ним. Монтер Низвецкий приходил за врачебным советом. Супругов любезно отвечал им всем, а обезумевший зверь выл, не переставая: ууу!

Соболь, начальник АХЧ, терзался сомнениями: открыть начальнику поезда истинное положение вещей или предоставить времени обелить его, Соболя, и разоблачить Данилова?

Не Соболь виноват был в том, что персонал санитарного поезда кормился пшенной кашей и чахлыми диетическими супчиками. Это Данилов так распорядился. Он сказал Соболю:

— Слушай. О том, что у тебя есть мясо, сливочное масло, какао и прочие деликатесы,— забудь.

— Навсегда? — спросил Соболь.— Или, может быть, иногда можно вспоминать?

— Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить,— пообещал Данилов.

На четвертый день пребывания в поезде доктор Белов, смущаясь, сказал Данилову:

— Что-то у нас неладно с питанием, знаете. Люди недовольны. Надо бы пошевелить нашего начальника АХЧ.

— Начальник АХЧ ведет правильную линию,— отвечал Данилов.— Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время, и где получим продукты, и какие, и сколько. А нам предстоит кормить раненых.

И, играя носками начищенных сапог, он закончил:

— Я считаю, что Соболь совершенно прав.

— Да, да,— заторопился доктор, сконфуженный мыслью, что Данилов может принять его за себялюбца и лакомку.— Да, действительно, неизвестно, где и что, Соболь прав...

И все ругали Соболя, все, начиная от сестры-хозяйки, которой Соболь отвешивал пшено по утрам, и кончая Кравцовым. Кравцов не снизошел до личного объяснения, но передал через Кострицына, что набьет Соболю морду, если тот не прекратит свои хулиганские штучки.

Вот тогда Соболь задумал пойти к доктору Белову и все ему рассказать начистоту. Соболь понимал, что Кравцов не из тех людей, которые шутят. Соболя влекло под защиту доктора. Он стал попадаться доктору на глаза по нескольку раз в день. Доктор смотрел на него юмористически: его забавляло, что Соболь все считает. Закатив глаза, Соболь считал вполголоса:

— Сто двадцать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, округляем, получаем восемь кил.

На счетах он считал плохо, делил и множил в уме.

Он так и не решился подойти к доктору. Он не знал, как комиссар отнесется к такому выпаду. У комиссара были холодные глаза и маленький жесткий рот. Морду бить он не будет, но кому охота портить отношения с таким человеком?

«Интриган»,— думал Соболь о Данилове.

Он нашел выход. Воспользовавшись моментом, когда в штабном вагоне обедали, он достал из кладовой банку паштета, отрезал кусок масла и отсыпал сахара. «А что я могу сделать?»— шептал он. Сосчитал куски сахара,— оказалось сорок два. «Жирно будет»,— подумал Соболь и двенадцать кусков — самые большие — положил обратно. Спрятав все в карман, он пошел к Кравцову. Кравцов спал в вагоне команды, на верхней полке, укрыв лицо газетой,— только бороденка торчала из-под газеты... Внизу спал Сухоедов. Больше никого близко не было.

Соболь осторожно потолкал Кравцова.

— Товарищ Кравцов,— зашептал он, когда Кравцов сдвинул газету с лица и взглянул на него заспанным глазом.— Вы напрасно сердитесь, я абсолютно ни при чем.

— Что ты тут строишь? — спросил Кравцов, садясь на полке и глядя на припасы, которые Соболь выкладывал ему на колени.— А, боже мой: что я, грудное дитё, чтоб сахар сосать?

Но, смягченный смирением Соболя, он простил его.

Соболь успокоился. Ему даже стало нравиться, что его считают влиятельным лицом. Он стал пошучивать с женщинами, чего не было в первые дни.

— Ах, витязь, то была Фаина! — говорил он, встретясь в коридоре со старшей сестрой.

Данилов, услышав, спросил:

— Что это значит?

— Тут я меньше всего при чем-нибудь! — сказал Соболь и поднял обе руки.— Это сочинил Пушкин.

А война шла, враг продвигался в глубь страны, по русским дорогам неслись его мотоциклы, над русскими городами летали его самолеты.

— Вы заметили? — сказал доктор Белов Данилову.— Наши люди смеются. Острят. Как ни в чем не бывало.

Данилов кивнул:

— Что ж, это хорошо.

Подумав, повторил:

— Хорошо, что острят. Нехорошо то, что не представляют себе размеров бедствия. Мы здесь, в поезде, в какой-то строгой изоляции без поражения в правах.

Доктору вспомнилась Сонечка, ее слезы. Он затуманился:

— Вы думаете — бедствие так огромно?

Данилов усмехнулся невесело:

— Чего ж тут думать? Видно.— Он говорил медленно, прикусывая губы, и видно было, что ему больно говорить.— Конец не скоро. Края не видать. Только началось...

— Наш народ, знаете,— сказал доктор,— пойдет на любые жертвы.

— Какие жертвы? — спросил Данилов.— Жертва приносится кому-нибудь, правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек этих функция. Подвиг для нашего народа не

жертва, а одно из его повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это — жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы извините, я, может, не очень ясно выражаю свою мысль...

— Нет, я вас очень хорошо понимаю,— сказал доктор,— и, пожалуй, готов согласиться с вами. Но подвига я вам не уступлю. Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг — это, знаете, красота человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь.

— Таланты развиваются,— сказал Данилов.— В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не господом богом вдувается в человека, он создается воспитанием, средой... обстановкой,— сказал он, сердито скользнув глазами по тесному, как коробка, купе.

Доктор покачал головой. Он не был согласен с Даниловым. По его мнению, Данилов упрощал вопрос. Этак из каждого можно сделать Героя Советского Союза.

— В Советском Союзе,— сказал Данилов,— из каждого можно сделать героя.

— У нас двести миллионов населения, если не ошибаюсь,— сказал доктор.— Что же, двести миллионов героев?

— Вполне возможно.

— Двести миллионов минус один,— сказал доктор шутя.— Из такого старого мешка, как я, не сделать героя.

— Двести миллионов минус один,— сказал Данилов.— Двести миллионов минус Супругов.

Они засмеялись. Серьезный разговор закончился шуткой.

С того часа, как Сонечка приходила в поезд, одна мысль не оставляла доктора.

Он мог думать сколько угодно о служебных делах, о положении на фронте, о Супругове, о Соболе, он мог есть, спать, писать дневник, разговаривать, шутить, огорчаться,— а эта мысль держала его душу обеими руками и время от времени сдавливала побольнее — чувствуй! Не забывай!

Это была мысль о сыне.

По вечерам доктор оставался один. Он снимал военную форму, в которой было так жарко. Надевал полосатые летние брючки и ложился полуодетым (на случай бомбежки: не выскакивать же тогда в белье, когда кругом женщины).

Он ложился на широкий плюшевый диван, закрывал глаза, и сейчас же сын садился рядом, и они разговаривали.

(Когда-то было наоборот: сын лежал в кроватке, барахтался и шалил, а доктор сидел рядом и уговаривал сына спать.)

— Игорек,— спрашивал доктор,— как же это вышло, милый, что мы с тобой разошлись?

Был мальчик, прекрасный мальчик.

Двухлетний, он забрался на крышу флигеля по лестнице, которую оставили кровельщики. Дети со двора позвали Сонечку, она выглянула в окно и увидела Игоря — он сидел на краю крыши и болтал ногами. Сонечка ахнула, ей стало дурно... Соседка полезла за ним — он вскочил и побежал вверх, к трубе, и, когда соседка схватила его, он ревел и колотил ее ногами: ему не хотелось вниз.

Соседка говорила — нужно отшлепать хорошенько, чтобы другой раз неповадно было лазить куда не след. Но Сонечка только целовала сына, и доктор, когда пришел домой и ему рассказали, тоже целовал: подумать только — всего два года мальчишке...

Годом позже. Доктор шел по Карповке (они тогда жили на Карповке, по улице Литераторов), вел Игоря за руку. За другую руку Игоря держала Ляля, ей было тогда семь, нет, восемь лет. Из подворотни выскочила собака, стала лаять. Ляля выпустила руку Игоря, зашла за спину отца — спряталась. Игорь вырвался от отца, побежал к собаке и залаял на нее: ав, ав! И собака испугалась и убежала в подворотню.

Его еще в платьицах водили тогда, на нем было голубенькое какое-то платьице и фартучек, и волосы у него вились, как у девочки...

Смелый, чудесный был мальчик.

Данилов говорит, что смелость дается воспитанием. Может быть, может быть. А кто в двухлетнем Игоре воспитывал смелость? Тут что-то не то. Может быть, есть две смелости: одна — привитая воспитанием, другая — врожденное свойство характера...

Неважно, в конце концов. Важно то, что Игорь, сын, был смелым от рождения.

Не только смелым. Чутким, тонким, вообще — необыкновенным...

— Завтра у нас будет стирка,— говорили в доме.— Надо купить щелоку, завтра будет стирка.

И на другой день приходила женщина, которая стирала у них белье, и Игорь думал, что это ее имя — Стирка, и так и звал ее: тетя Стирка. Он подпрыгивал около нее и заглядывал в лохань,— там было столько пены и пузырей!

Однажды Стирка привела свою девочку, годами тремя постарше Игоря. Девочка научила его играть в кремушки, в крестики и нолики. Игорь обожал эту девочку. Он все обнимал и целовал ее. Сонечка приревновала, спросила:

— Да ты кого больше любишь, меня или Лиду?

Он ответил:

— Конечно, Лиду.

А потом стали пропадать игрушки. Сонечка молчала, у нее не хватало духу огорчить сына. Наконец она не выдержала.

— Игорек, Лида нехорошая,— сказала она.— Ты ее так любишь, а она украла у тебя все лучшие игрушки.

Он ничего не сказал, ушел в столовую, сел с ногами на большой диван и долго сидел так. И глаза у него — рассказывала Сонечка — были удивленные и печальные. Потом он слез с дивана, подошел к Сонечке и сказал:

— Пусть не считается, что она украла. Хорошо? Пусть считается, что я ей подарил. И пусть она приходит.

Лида пришла.

Сонечка слышала, как Игорь сказал ей, оставшись с нею вдвоем:

— Хочешь — бери мои игрушки. Какие хочешь. Хоть все. Мне они не нужны.

Мальчик, мальчик...

В шестилетнем возрасте он украл у матери деньги.

У него были красивые локоны, бледно-золотые. Сонечка берегла их и не стригла. Он просил остричь, потому что его во дворе дразнили девчонкой. А Сонечка в материнском тщеславии и эгоизме говорила:

— Не обращай внимания, они ничего не понимают. Еще год походи так, только год!

И вот он исчез со двора и явился наголо остриженный и благоухающий цветочным одеколоном.

— Где это тебе сделали?! — спросила Сонечка, глядя во все глаза на его сразу погрубевшее и подурневшее лицо.

Она чуть не плакала.

— В парикмахерской,— ответил он.— Я дал им три рубля, и они меня всего полили духами.

— Где же ты взял три рубля?

— Я украл у тебя из сумочки,— ответил он.

— Зачем же ты украл? — спросила она ужасаясь.— Ты должен был попросить, я бы тебе дала.

Он покачал головой:

— Неправда. Не дала.

И она его больше не упрекала, она гладила его круглую плюшевую мальчишескую голову, и оплакивала его кудри, и целовала, целовала — безрассудная, без памяти любящая мать...

В школе его так же баловала молоденькая учительница. Он хвастал:

— Все сидят и решают задачу, а я хожу по классу и смотрю, кто как решает.

— А сам не решаешь?

— Я раньше решил.

— Как же учительница позволяет тебе гулять по классу?

— Потому что она меня любит,— отвечал он.

Как случилось, что сын стал уходить из его сердца?

С некоторых пор доктор стал замечать, что его раздражает это безумное баловство, эта атмосфера обожания, которой окружен в доме Игорь.

Сонечка, придя с работы, сидит до трех часов ночи и чертит Игорю чертежи, потому что ему лень, а завтра надо сдавать. Безобразие.

Неслыханное дело: мальчик ходит в школу, когда ему хочется. А чаще ему не хочется. Он приходит с катка или кинематографа в двенадцатом часу, утром ему трудно подняться рано... И мать — какая мерзость! — пишет в школу записки, что у сына болела голова.

Кого она хочет сделать из Игоря? Принца? Босяка?

Ему было обидно за Лялю. Девочка отлично учится, ласковая, веселая, прекрасный характер. А на ее долю не приходится и половины той любви, какою пользуется Игорь.

Ляля встречает отца в передней, кричит на всю квартиру: «Папа пришел!»— и воркует и ласкается. А Игорь выйдет к обеду — мрачный, лохматый, за столом сидит развалившись, на замечания отвечает грубо...

А Сонечка все замечания пропускает мимо ушей.

Ссориться с Сонечкой он не мог. Сонечка есть Сонечка. Это святыня, ее невозможно оскорбить. В Игоре его все раздражало. Как он сидит! Как отвечает матери! Какой он неласковый, холодный, надменный какой-то...

Один раз доктор сорвался в присутствии Игоря.

К обеду была вареная говядина. Ляля любит мозговую кость. И Игорь любит мозговую кость. И всегда почему-то эта кость доставалась Игорю. И на этот раз досталась ему.

— А нельзя ли,— сказал доктор негромко,— дать сегодня, в виде исключения, мозговую кость Ляле?

Сонечка сделала вид, что не слышала, Ляля сказала весело (милая девочка): «Ну, что ты, папа! Пусть Игорек ест, я уже большая!» Игорь поднял глаза от тарелки и задумчиво, с циничным (да, да, циничным!) любопытством посмотрел отцу в лицо... Потом он спокойно принялся выковыривать мозг из кости. Доктор сидел красный и удрученный...

С этого дня Игорь стал его избегать. Стал избегать отца; да, очевидно, он сделал из этого инцидента какие-то свои выводы. Ведь мальчику всего пятнадцать лет... И доктор не пришел к нему, не объяснился. Боже мой, боже мой. Как глупо, мелочно, нелепо. Какое ужасное недоразумение...

В день его отъезда на вокзале — теперь доктор это вспомнил — Игорь, стоявший сначала поодаль, подошел вдруг близко и стал рядом. А когда прощались, Игорь нагнулся к нему, вплотную взглянул в его лицо и сказал сухо, твердо: «До свиданья, папа». И глаза у него были новые, резко пронзительные глаза... Это было прощанье? Прощенье? Примиренье? Что это было?.. Вот тогда он должен был прижать к себе Игоря и сказать: «Игорек, мальчик мой, все, что было между нами,— все зачеркнуто навсегда, а вот перед нами чистая страница, и мы ее будем заполнять вместе, ты и я...»

— Игорек, все, что между нами было,— ложь, а то, что сейчас,— настоящая правда, и мы вместе перед этой правдой, я и ты...

Глава четвертая
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА

— Сестра Смирнова забыла вложить мадрен! — сказала Юлия Дмитриевна старшей сестре Фаине и многозначительно сжала тонкие губы.

Фаина была занята своими мыслями и своим делом — она перед дверным зеркалом накручивала себе на голову тюрбан из марли. Она невнимательно взглянула на шприц, который торжественно, как улику, показывала ей Юлия Дмитриевна.

— А зачем вы ей давали шприц?

— Она делала укол монтеру. У него ужасные боли — геморрой. Доктор Супругов велел впрыснуть пантопон.

Фаина поморщилась: она питала отвращение к безобразным болезням. Всего два дня назад она подумала, что монтер Низвецкий — довольно интересный молодой человек. И вдруг — здравствуйте: геморрой. Низвецкий перестал существовать для Фаины.

— Этот поезд — прямо собрание каких-то стариков и калек,— сказала Фаина.

Но Юлия Дмитриевна развивала свою тему:

— Если сестра забывает вложить мадрен в иглу, из нее никогда не будет толку, я вас уверяю.

Фаина достроила свой головной убор, сделала сама себе томные глаза и повернулась к Юлии Дмитриевне. И, как всегда, ужаснулась безобразию хирургической сестры. До чего дурна, бедняжка!

— Вы слишком переживаете всякие пустяки,— сказала Фаина ласково.— Поберегите нервы, нам много тяжелого предстоит.

Юлия Дмитриевна подняла брови. Собственно, бровей не было: были две припухшие красные дуги, поросшие чем-то похожим на щетинку зубной щетки.

— Это не пустяки. Разве вы не знаете, что без мадрена игла может заржаветь?

— Я знаю! — отвечала Фаина в порыве горячего женского сострадания.— Но вы не переживайте, голубчик. Честное слово, не стоит.

Зубные щетки полезли еще выше.

— А кто же будет переживать? Я должна переживать!

«Ненормальная»,— подумала Фаина. Порыв прошел, ей стало скучно.

— Я вам буду обязана, Фаина Васильевна, если вы со своей стороны сделаете замечание Смирновой. Если так будет продолжаться, мы не сможем доверить ей ни одного предмета из перевязочной.

— Хорошо, я скажу ей,— уже с раздражением ответила Фаина и вышла.

«Пошла показывать себя в тюрбане»,— безошибочно определила Юлия Дмитриевна.

Юлия Дмитриевна осталась одна. Она с удовольствием оглядела свое маленькое сверкающее царство. Все есть, и все на месте. Вот здесь — инструменты для костных операций, здесь — для трахеотомии. В стенном шкафу — стерильные халаты. В биксах — стерильные салфетки. Немножко тесно: втроем — и то повернуться трудно, зато все под рукой. Полное удовлетворение было в душе Юлии Дмитриевны.

И какая предусмотрительность. По положению, операции в поезде не производятся, только перевязки. И все-таки, смотрите, как подобран инструментарий, ничто не забыто, можно сделать в случае нужды любую операцию, вплоть до трепанации черепа. Да, здесь можно работать. Здесь будет приятно работать! И комиссар — достойный товарищ, и врачи такие симпатичные, особенно Супругов.

В Супругова Юлия Дмитриевна была влюблена.

Она всегда была влюблена в кого-нибудь. Попадая в новую обстановку, она осматривалась и намечала себе: «Вот в этого я влюблюсь». И сейчас же влюблялась.

В городской больнице она была влюблена в профессора Скудеревского, с которым работала четырнадцать лет. На глазах у нее он состарился, получил два ордена, начал и закончил большой труд об удалении раковых образований, заболел бруцеллезом и вылечился от него,— она все его любила.

Раза три или четыре она изменила профессору ради молодых ассистентов. Но старое чувство брало верх, и она, браня себя за ветреность, возвращалась к нему.

Он ни о чем этом не подозревал. Ассистенты тоже. Никто не подозревал. Никто не считал Юлию Дмитриевну женщиной. Профессор Скудеревский остолбенел бы, если бы узнал, что она влюблена в него. С нею никто никогда не заговаривал на интимные темы.

Только однажды профессор сказал ей:

— Хорошо, что вы не замужем.

(Ему никто об этом не сообщал — это было ясно само собою.)

А у нее замерло сердце.

(Хотя она знала, что он женат, недавно праздновал серебряную свадьбу и имеет внуков.)

— Почему? — спросила она.

— Я не мог бы работать с замужней сестрой,— ответил он.— Хирургическая сестра должна отдавать себя работе целиком.

В этот вечер она медленно шла домой по темному пустынному бульвару и повторяла про себя этот короткий разговор. Она думала, что ради страдающего человечества она пожертвовала личной жизнью. Нет, не так: ради него, профессора Скудеревского, она отказалась от супружества и материнства. Так получалось печальнее и слаще. Ради него. Ради любви к нему...

На финском фронте она была влюблена в бригадного врача. Но финская кампания была короткая, и любовь пролетела как сон.

В санитарном поезде выбор Юлии Дмитриевны некоторое время колебался между Даниловым, начальником и Супруговым.

Данилов был забракован первым.

«Недостаточно тонок»,— решила Юлия Дмитриевна.

У начальника были черты, роднившие его с незабвенным профессором Скудеревским: седина, мешочки под глазами, приятный голос.

«Нет,— подумала Юлия Дмитриевна,— в военное время с начальником не должно быть никаких других отношений, кроме служебных».

Оставался Супругов.

Это не мешало ничему. Она неутомимо работала, крепко спала и ела за четверых.

Если бы ей сказали: хочешь, у тебя будет муж, красивый и любящий, только за это откажись от своей работы, она подняла бы брови и сказала:

— Нет.

Работа была ее жизнью, ее душой, ее руками. Работа дала ей то место в жизни, в котором отказала ей природа. Быть без работы — значит потерять руки и душу, значит не жить.

Она очень хорошо понимала, что любовь не для нее. Что она покажется жалкой и смешной, если узнают о ее чувствах. Она была горда. Она не выдавала себя. Все эти маленькие женские иллюзии были спрятаны далеко-далеко, за семью замками, в самом укромном уголке ее очень здорового сердца.

Родители Юлии Дмитриевны были обыкновенные средние люди с обыкновенной средней наружностью. Непонятно, каким образом оба их сына вышли совершенными красавцами, а дочь Юленька, единственная и долгожданная,— совершенным уродом. Мать сначала горевала и молилась богу, чтобы убавил лучше красоты сыновьям, а прибавил обделенной Юленьке. Потом привык-

ла. Потом, с годами, стала даже находить, что Юленька ничего себе. Отец брал семейный альбом и изучал лица родственников, близких и дальних, ища, кто мог передать Юлии такие удручающие черты. В конце концов нашел. Виновником беды оказался прадед — грек, нижегородский бакалейщик.

— Я его помню,— говорил отец,— его возили в кресле, и он все пасьянсы раскладывал. Ему на колени клали поднос, и он на нем раскладывал пасьянсы. Сто четыре года прожил. Красавец был старик.

— Неужели красавец? — спрашивала мать.— И Юленька на него похожа?

— Представь, похожа!

Мать задумчиво качала головой:

— Я не знала, что в ней есть греческая кровь.

Греческая кровь сообщала семейному горю некоторую экзотичность и таинственность. Да, Юлия некрасива, но что делать — греческая кровь!

К сожалению, не подойдешь ведь к каждому мужчине и не шепнешь ему, в чем дело. А мужчины были очень немилосердны к бедной Юленьке. Хоть бы один когда-нибудь чуть-чуть поухаживал за нею. Они чересчур требовательны. Они не понимают, какое сокровище эта девушка.

Вслух, понятно, ни о чем таком не говорилось. Семья считала себя интеллигентной. Отец был фельдшером. Он любил бранить молодых врачей. По его словам, больные доверяли исключительно ему, фельдшеру. Действительно, каждый вечер к нему в дом стучались с черного хода какие-то бабы, и он выносил им порошки.

Сыновья тоже пошли по врачебной части: один был фармацевтом, другой ветеринарным фельдшером. Оба были прекрасны, как эллинские боги. Получить высшее образование обоим помешал чрезмерный успех у женщин. С годами они присмирели, женились на некрасивых и ревнивых женах, нарожали детей, жалели о безумно растраченной юности и завидовали отцу, имеющему верную частную практику с черного хода.

Во всем семействе только мать не имела отношения к медицине. Но и она научилась лечить. Если пациенты приходили в отсутствие мужа, она спрашивала: «А что у вас болит?»— и отпускала, в зависимости от симптомов, салол с белладонной или пирамидон.

Юлия Дмитриевна работала хирургической сестрой двадцать два года.

К семье она относилась свысока. Частную практику отца она презирала. Старшие братья, многодетные и непутевые, чувствовали себя перед нею мальчиками.

У них были слабости; они наделали много ошибок; о многих предметах у них до седых волос не было точного и определенного суждения.

У Юлии Дмитриевны не было никаких слабостей (ведь те, что под замком, не в счет!), она не сделала за всю жизнь ни одной ошибки и о каждом предмете имела твердое, сложившееся мнение.

Семья признавала все это и склонялась перед нею.

Мать вела хозяйство. В ее руках были деньги, ключи, власть над кастрюлями и бельем. Отец занимал за столом председательское место, он был глава, на дверях висела фарфоровая дощечка с его именем. Но настоящей госпожой в доме была Юленька. Потому что все, что она говорила и делала, было правильно и добродетельно. А в этой семье, где за каждым водились грешки, искренне чтили добродетель.

И в больнице, в операционной, была хозяйкой Юлия Дмитриевна, а вовсе не профессор Скудеревский. Весь персонал это понимал и боялся движения ее бровей куда больше, чем яростных вспышек профессора. Когда однажды Юлия Дмитриевна заболела гриппом, профессор отказался делать сложные операции, пока она не выздоровеет. Это еще больше укрепило персонал в мыслях, что Юлия-то Дмитриевна, может, и обойдется без профессора, но уж профессору без Юлии Дмитриевны не обойтись.

Дверь перевязочной отворилась резко, рывком. Вошел Супругов.

— Мы, кажется, подъезжаем,— сказал он. Глаза его блуждали.

Поезд шел. В окне было все то же, что и раньше,— леса и луга. Солнце спускалось к закату, верхушки леса были пламенно освещены, тень вагона бежала по некошеному откосу.

— До Пскова шестьдесят километров,— сказал Супругов.— Вы обратили внимание, что у нас с утра не было ни одной остановки?

Он обращался к ней потому, что только в ее глазах он видел человеческое внимание и сердечность. Все остальные, словно сговорившись, третировали его. Правда, Фаина была к нему благосклонна, но это было женское ко-

кетство, и больше ничего. Его и прежде не волновали женщины, а сейчас они ему стали просто противны.

— Нас везут прямо под бомбы,— сказал он.

— Мне об этом ничего не известно,— сказала Юлия Дмитриевна холодновато.

— Смотрите на эти деревья,— сказал он.— Может быть, мы их видим в последний раз.

Глаза его наполнились слезами. Юлия Дмитриевна вздохнула. У нее не было страха перед бомбами. В финскую кампанию она была фронтовой сестрой. Ей было приятно, что он стоит рядом и разговаривает с нею. Вздох ее был любовным.

— Смотрите, смотрите! — закричал Супругов.

Лес расступился, между его темными крыльями в пыльном облаке открылась дорога. На дороге было тесно: шли и шли войска, медленно двигались орудия. Сплошным потоком шли грузовые машины, укрытые брезентом. По обочине дороги, обгоняя машины, проскакал всадник. Все это мелькнуло и скрылось за крылом леса.

— Отступают,— сказал Супругов.— А мы едем туда, откуда они отступают.

— Я не вижу отступления,— возразила Юлия Дмитриевна.— Откуда вы знаете, что это отступление? Это, может быть, обыкновенная переброска войск. Мы не можем знать такие вещи.

— Мы знаем,— повысил голос Супругов,— мы знаем, что нас бьют, об этом все сводки, а вы делаете вид, что все прекрасно. А спросить вас — для чего вы делаете такой вид?..— вы и сами не скажете.

Отчего он повысил голос? Он никогда ни на кого не повышал голоса — не осмеливался. Откуда появилась в нем уверенность, что на нее он может повысить голос?

— Я вовсе не считаю, что все прекрасно,— отвечала она спокойно.— Я просто говорю, что это может быть переброска, а не отступление. Вы не докажете, что это отступление.

Рот у нее упрямо сжался. Она не желала идти на уступки. Даже во имя любви.

Черный дым потек вдоль окон. Солнце еще светило, и казалось, что спустился вечер. Стало трудно дышать.

— Пожаром пахнет,— сказал Данилов. Он стоял с доктором Беловым в коридоре штабного вагона. Проезжая дорога шла под полотном. По дороге густым потоком

двигались орудия, грузовики, пехота. Теперь и Юлия Дмитриевна согласилась бы с тем, что это больше всего похоже на отступление. Войска шли в сторону, противоположную движению поезда.

— Оставляем Псков,— сказал Данилов тихонько.

Доктор смотрел, посапывая носом. Он думал: уехал ли Игорь из Пскова, успел ли уехать? Конечно, это фантастика найти мальчишку среди такого скопища людей. А вдруг они все-таки встретятся? Вот Сонечка была бы рада. Он возьмет Игоря в поезд. Санитаром. Данилов не даст ему баловаться. Через два-три месяца Игорь станет шелковым. И он, доктор, привезет его к Сонечке и скажет: «Вот что значит мужское воспитание...»

— Надо закрыть окна,— сказал доктор вслух,— а то мы закоптим белье. Фаина Васильевна,— обратился он к проходившей старшей сестре,— распорядитесь, чтобы закрыли окна.

Но оказалось, что санитары, испугавшись за белье, своей властью позакрывали окна во всех вагонах. А Фаина своей властью распорядилась открыть и накричала на санитаров.

— Глупо,— сказала Фаина, пожимая плечами.— Если закрыть, то от первого разрыва повылетают все стекла.

Она проследовала дальше. Доктор и Данилов переглянулись.

— А вагон-аптека?..— спросил доктор.

— Ничего не сделаешь,— сказал Данилов, бледнея от досады.

В вагоне-аптеке окна были закрыты герметически.

— Ах, витязь, то была Фаина! — сказал Соболь, начальник АХЧ, встретив Фаину в коридоре и уступая ей дорогу.

Фаина мазнула его юбкой по коленям и, не взглянув, прошла в свое купе. Она терпеть не могла Соболя, который держал ее на пшенной каше. У Фаины был сегодня особенно бравый и воинственный вид. Она тоже, как и Юлия Дмитриевна, хлебнула фронта в 1940 году. Она знала, что предстоит ей завтра, а может быть, даже сегодня ночью, а может быть, даже сейчас. У себя в купе она первым долгом взглянула в зеркало, потом достала и проверила сумку с медикаментами, потом села и стала отдыхать перед серьезным делом. Черт побери, она им всем покажет, что она умеет не только повязывать тюрбан! Она с гордостью посмотрела на свои руки. Руки были рабочие, сестринские, с короткими толстыми пальцами,

потемневшими от йода и сулемы, с коротко обрезанными ногтями.

Соболь заглянул в купе:

— Ну как? Ужинать будем?

— А вы как думаете? — спросила Фаина.— Вы бы рады совсем нас не кормить.

— Рад бы,— сознался Соболь.— Очень большая морока с этой кормежкой. Нет, кроме шуток, удобно ли сейчас предлагать ужин? На пороге, так сказать, событий.

Она разозлилась:

— Идите к черту. Сейчас именно надо поплотнее накормить людей.

За плечом Соболя стал Данилов.

— Товарищ начальник АХЧ,— сказал он,— на ужин, помимо каши, отпустите мясные консервы, из расчета одна банка на четыре человека, и к чаю сгущенку в той же пропорции.

Соболь никаких событий не ждал, он просто дразнил Фаину. Теперь он растерянно взглянул на Данилова. Как, комиссар снимает запрет с мяса и сгущенки? События, несомненно, предстояли крупные. «Одна банка на четыре человека...— зашептал Соболь.— Шестьдесят семь делим на четыре, без остатка не делится, возьмем шестьдесят восемь...»

— Вот спасибо, товарищ комиссар,— сказала Фаина, когда испуганный Соболь ушел.— А то от этого пшена можно с ума сойти.

— Что же делать?..— сказал Данилов.— Едем к фронту, кто его знает, что там удастся найти. Я вас хотел предупредить: вы с начальником поезда больше не разговаривайте так, как сейчас разговаривали — не годится.

— А как я разговаривала? — удивилась Фаина.

— Вы сказали: глупо. Он дает вам приказ, а вы говорите: глупо.

— Господи боже! Разве я про него? Я про санитаров!

— Если даже вы не согласны с приказом...

Вагон вдруг весь сотрясся, со столика на пол слетела с грохотом кружка, дверь закрылась бы сама, если бы Данилов не придержал ее плечом.

— Ого! — сказала Фаина, и глаза ее заблестели.— Чувствуете?

Вагон сотрясся вторично, еще сильнее.

— Товарищ комиссар,— сказала Фаина,— я, конечно, извиняюсь. Я не новичок и обязана знать дисциплину. Но

учтите, что я прежде всего женщина, и у меня тоже нервы...

Она прислушалась. Ей хотелось испытать еще один толчок. Война так война, в чем дело!

Поужинали.

Поезд полз медленно, еле-еле, иногда его ход совсем замирал. Проезжая дорога с отступающими войсками опять удалилась от полотна. Теперь из окон поезда были видны пригороды — избы, огороды и пастбища, обнесенные плетнями. Мелькнула какая-то дача — четыре опаленные белые стены без крыши, с пустыми глазницами окон. Какая-то деревня ярко пылала, и хлебное поле горело за нею — дымно, чадно. Земля здесь изрыта рвами. Людей почти не было видно.

Вагоны содрогались уже все время. И сквозь стук колес был явственно слышен непрерывный грохот близкой канонады.

Юлия Дмитриевна стояла в перевязочной, смотрела в окно. Вот, значит, земля, которая достанется врагу. Псков. Она бывала в Пскове. Там жили родственники, она у них гостила, когда была девочкой. С вокзала ехали на извозчике, трамвая не было еще, а сейчас, наверно, есть. Липы цвели, Псков пахнул медом. Был вечер, смуглое теплое небо и колокольный звон, медленный, величавый... Тетка говорила: «Мы — псковские» с особенным выражением, будто на всей Руси лучше псковичан не было народу. Какой он сейчас, Псков? Такой, как эта дача без крыши? Как та пылающая деревня? Стоит, истерзанный бомбами, войска уходят, а он стоит и дымится, весь окопанный рвами...

Но Юлия Дмитриевна не увидела Пскова.

Поезд долго тащился по скрещивающимся путям, по обе стороны были товарные составы, грохотало в ушах, в окнах было черно от дыма. Иногда дым разрывался, тогда видно было небо, густо-розовое от зарева. Поезд стал. Юлия Дмитриевна позвала санитарку:

— Клава! Сходите в штаб, узнайте, где начальник и комиссар.

Ее беспокоило, что она стоит и ничего не делает, когда совершенно очевидно, что кругом есть люди, нуждающиеся в помощи.

— Нет ли каких-нибудь распоряжений.

— Сейчас, Юлия Дмитриевна. Я по улице пробегу, хорошо?

— Вы разве не знаете приказа, чтобы никто не покидал поезда? Идите по вагонам.

Клава ушла. Поезд, стоявший перед окном перевязочной, стал двигаться. Долго мелькали его пломбированные вагоны,— прочь от города,— поезд ушел. За ним открылся другой состав, но все-таки посветлело, стали видны языки пожара: то один, то другой огненный язык взлетал в зловеще-розовое дымное небо... Санитарный поезд тоже стал двигаться ближе к станции; он вышел на свет пожаров и стоял одинокий, неприкрытый, стоял бесстрашно со своими красными крестами. Справа и слева бесновался огонь.

Вернулась Клава.

— Ну, что там у них?

— Юлия Дмитриевна, начальник велел, чтобы вы никуда не уходили. Комиссар пошел за распоряжениями в эвакопункт.

— Интересно, куда это я могу уйти, как он думает? — высокомерно полюбопытствовала Юлия Дмитриевна.

Поезд опять пошел. Он приблизился к вокзалу. Кругом горело. Никто не тушил. Бегали люди. Четыре человека стояли на краю перрона: трое штатских с чемоданчиками и четвертый Данилов.

— Хирурги! — сообщила Клава, по собственной инициативе сбегав в штаб.— Эвакопункт прислал нам трех хирургов,— они у нас будут делать операции.

Хирурги! Сердце Юлии Дмитриевны загорелось от предвкушения настоящей работы. Терапия. Что она может?.. С точки зрения Юлии Дмитриевны, это не была врачебная наука, это было что-то вроде хиромантии. И вот настоящая врачебная наука прибыла в санитарный поезд в лице этих штатских людей с чемоданчиками. Операция в поезде, первичная обработка ран!

Она быстро прикинула: три хирурга — три стола. Один в перевязочной, два поставим в обмывочной. Инструментов хватит; халатов, перчаток — хватит. Кто будет ассистировать? Во-первых, конечно, она — Юлия Дмитриевна. Затем — Супругов. Нет, у него слабые нервы. Военфельдшер Ольга Михайловна — во-вторых, и Фаина Васильевна — в-третьих.

— Клава! Замаскируйте окна в обмывочной. Дайте свет. Снимите эти оборки с ламп. Мойте стол сулемой.

Трах! От близкого разрыва вылетело окно в перевязочной. Осколки стекла посыпались в вагон.

Клава перекрестилась. Она никогда не крестилась раньше, а тут вдруг перекрестилась, сама не зная зачем.

Юлия Дмитриевна с презрением посмотрела на нее:

— Клава! Я сама вымою стол. Уберите стекла.

Настоящая работа начиналась.

Фаина была права: через полчаса в вагоне-аптеке не было ни одного стекла.

Санитарки убирали осколки. Им было страшно. Две девушки от страха плакали. Но еще больше было досадно, что немцы портят такой хороший вагон.

— Сколько я старалась! — тихо говорила Клава, собирая стекла в железный совок.

Толстая Ия не выдержала. Она нарушила запрет и сбежала с поезда. Воронка от бомбы за горящим вокзалом показалась ей самым надежным убежищем. Ее не хватились. Она пришла сама на другой день, черная от пыли, с комьями земли в волосах, с опаленными ресницами.

Данилов собрал санитарный отряд: сестры, санитары, бойцы. Пришел Низвецкий.

— Я с вами,— сказал он.

— А с освещением как будет? — спросил Данилов.

— Кравцов присмотрит. Он понимает. Теперь светло...

— Нет, сегодня природным освещением не обойдемся: у нас предстоят операции.

— Кравцов...

— Что же Кравцов. Кравцов — машинист, а монтер — вы. Придется остаться.

— Ну, а уж я не останусь, как хотите,— сказала Фаина.— Я — фронтовая, полевая, меня ни бомба, ни снаряд не берут.

Данилов невольно улыбнулся ее бахвальству:

— Не могу, Фаина Васильевна: начальник намечает вас по части хирургии.

— Вот черт! — сказала Фаина.— До чего не везет! На тебе мою сумку, девочка,— сказала она Лене Огородниковой, которая стояла на перроне, заложив руки за спину, закинув мальчишескую голову.— Бери мою сумку, ты молодец — отчаянная.

— Ну, доктор,— сказал Данилов Супругову,— на нас смотрит вся Европа.

Супругов повис на поручнях и, казалось, не мог расстаться с ними... Он повернул к Данилову мертвое лицо. Хотел что-то сказать — и вдруг разорвалось близко на путях, угольной пылью засыпало и Данилова, и Супругова.

Супругов как бы понял что-то.

— Финита! — сказал он и сошел на землю.

Позже, разбираясь в своих тогдашних переживаниях, он определил их так: в тот момент он понял — так показалось ему,— что смерть неизбежна. Понял также — так показалось ему,— что она будет ужасна. И ему захотелось как можно скорее перешагнуть этот рубеж. Пускай скорей ничего не будет, ничего, ничего. Главное — страха пускай не будет. Покой, тишина, безопасность... Для этого скорей, скорей — в самое опасное место. «Вот он я!»— кричало все в Супругове, когда он вышел на зловеще освещенный, развороченный снарядами перрон. «Вот он я, скорее кончайте со мной, я больше не могу бояться!»

Данилов взял его за руку. Супругов побежал за Даниловым, топая тяжелыми сапогами. Очень жарко было. Дым ел глаза... По переулку за вокзалом шел боец, волоча за собой винтовку. Кровавый след оставался за бойцом, и по этому следу, размазывая его, волочилась винтовка.

— Санитарный поезд далеко? — спросил боец.— Мне сказали — идти [illegible] санитарный поезд.

— Вон там, за будкой, увидишь,— отвечал Данилов.— Сам дойдешь или на носилки взять?

— Сам дойду,— отвечал боец.— Вам носилки пригодятся.

За углом лежал мальчик лет четырнадцати, он был в сознании, не стонал и смотрел на подходивших санитаров жгучими и строгими глазами.

— Носилки! — сказал Данилов, [illegible] Лена нагнулась и подняла мальчика, как маленького ребенка. Он вдруг задергался, закинул голову и потерял сознание.

— А ты не совайся вперед, когда не умеешь,— сказал Сухоедов со злостью.— Это тебе не в куклы играть. Ложи на носилки, чего глядишь?

Визгнуло, мяукнуло, разлетелось вблизи. Черное облако накрыло санитарный отряд.

Облако улеглось.

— Все целы? — спросил Данилов после молчания.

Все были целы, только черны и оглушены.

Черный Супругов дико улыбался.

— Несите малого к Юлии Дмитриевне,— сказал Данилов Сухоедову и Медведеву.— А мы — дальше! Потом догоните, [illegible] если не догоните, берите кого ни попало и — в поезд.

— Это было что? — спросил Супругов, когда они пошли дальше по улице.— Снаряд или мина?

— Мина. А что?

Супругов закашлялся и выплюнул черную слюну. Плечо его гимнастерки было разорвано.

— Эге! — сказал Данилов.— Вас зацепило осколком?

— Да? Где? Ах, тут? Это пустяк: я совсем не чувствую боли. Это именно зацепило. Это именно такой пустяк, что не стоит говорить.

Он был как пьяный. Его шатало от сознания собственной безумной отваги.

Доктор Белов ходил по поезду.

В пустых вагонах с открытыми окнами носились горячие сквозняки. Все было освещено дымным движущимся светом извне. Еще сегодня эти вагоны казались такими уютными...

В каждом вагоне санитарка и боец. Испуганные, неприкаянные.

Вагон команды пуст: все, кроме дежурных, ушли с Даниловым.

«Что-то я забыл,— думал доктор, идя по поезду.— Что-то я забыл...»

А что именно — он не мог вспомнить.

Как будто он всем распорядился. В вагоне-аптеке господствуют хирурги, им и карты [illegible] руки. За ранеными отряд послан. На Данилова положиться можно... Да, питание. Надо бы накормить людей ужином. А утром их надо накормить завтраком.

— Сестра Смирнова, пошлите кого-нибудь за начальником АХЧ.

Явился Соболь. Доктор взглянул на него с невольным мимолетным любопытством: считает или нет? Соболь не считал, он весь как-то съежился и поник, как резиновый пузырь, из которого выпустили воздух.

— Вот что,— сказал доктор,— надо, знаете, приготовить ужин. На...— он подумал,— на сто двадцать человек, да. Хороший ужин.

— Ужин уже был,— пролепетал Соболь.

— Хороший, знаете,— повторил доктор, игнорируя возражение.— С учетом, знаете, раненых, которые к нам

начинают поступать с сегодняшнего дня. Не сиротское ваше пшено, а сварите сладкую манную кашу, с вареньем, что ли, и чтобы кофе, и печенье, и масло — вы понимаете.

— Масло? — сомнамбулически переспросил Соболь.

— Да. По пятьдесят граммов масла.

— Пятьдесят,— сейчас же зашептал Соболь, возводя глаза к потолку,— пятьдесят множим на сто двадцать, получаем шесть тысяч — шесть кил...

«Что-то я забыл,— думал доктор, покончив с Соболем.— Что-то я забыл, забыл...»

И вдруг он вспомнил.

Как же он ничего не сделал, чтобы найти Игоря? Очевидно, что-то можно было сделать. Позвонить по телефону. Написать заявление. Где-то похлопотать, кого-то попросить... Глупости, бред — куда звонить, где хлопотать, кого просить?.. Нет, нет. Что-то можно было сделать, безусловно. Просто он не умеет. Сонечка сумела бы. Он недогадливый, всегда был недогадлив в таких вещах. Сонечка догадалась бы, потому что она любит Игоря. Настоящая любовь обо всем догадывается и все умеет. Он мало любит Игоря, он всегда любил его слишком мало, он никчемный, незаботливый, неумелый отец. Он любил больше Лялю. А чем она лучше? Завитушки на уме, оперетка и флирт. Только что ластиться мастерица... Она ластилась, и он давал ей деньги на оперетку, а Игорь попросил у него на что-то — он не дал, отказал. Несчастные тридцать рублей... Родной мальчик, прости. Бери все, бери мою старую, догорающую жизнь, только живи! Только найдись! Только не уходи так сразу, мальчик...

Когда Юлию Дмитриевну провожали из дому на военную службу, пришли оба брата с женами и детьми и вся родня. Пекли пироги, крутили мороженое, словно в именины. Юлия Дмитриевна сама сдвигала столы и накрывала их парадными белыми скатертями.

И вот она опять переставляла столы и застилала их белым полотном.

Пришел первый раненый — боец. Он поставил винтовку в угол и деловито огляделся.

— На который стол ложиться? — спросил он.

Сразу был виден толковый парень, бывалый.

— На какой хотите,— благосклонно отвечала ему Юлия Дмитриевна.— Только сперва разденьтесь. У вас что, нога? Клава! Разрежьте ему сапог.

Сама она стояла и держала халат, чтобы подать профессору, когда он кончит мыть руки. Белые, чуть одутловатые профессорские руки, такие же, как у профессора Скудеревского. Окна в обмывочной были занавешены, над столами горели слепящие белые лампы. Никому не приходило в голову, как нелепо маскировать этот свет, когда весь поезд снаружи освещен пожарами.

Клава разрезала раненому сапог и в ужасе отвернулась.

— Ну чего ты, чего, чего? — сказал боец, морщась.— Не привыкла еще? Самое незначительное дело, если хочешь знать: даже кость не задета.

Юлия Дмитриевна облачила профессора в халат, налила на его малиновые ладони спирт и подала перчатки. Красивый старик, похожий на актера, недоуменно взглянул в ее довольное лицо...

Но через две минуты он понял ее. Она священнодействовала. Ее не надо было ни о чем просить, она не нуждалась ни в какой подсказке. Она сама подавала все, что нужно, раньше, чем он догадывался, что именно ему понадобится сейчас.

Боец, раненный в ногу, перенес перевязку стойко, без стона, только шумно отдувался по временам: «ффу...» Юлия Дмитриевна обожала таких пациентов. Она ненавидела крикунов. Она больше не слышала грохота, была поглощена своим делом. Ее беспокоила только жара. В вагоне было невыносимо душно, вентилятор почти не разрежал духоты. Она взяла пинцетом марлевую салфетку и вытерла пот с лица раненого.

— Спасибо, мамаша,— сказал боец.

Принесли мальчика с раздробленной голенью. Он был без сознания. У него была превосходная мускулатура: должно быть, играл в футбол, катался на велосипеде... С первого взгляда она увидела, что ногу придется ампутировать, увидела раньше, чем профессор.

— Проклятые негодяи,— сказала Фаина, глядя на мальчика.

Мальчик дернул подбородком и скрипнул зубами... Профессор спросил Юлию Дмитриевну:

— Вы можете дать наркоз?

Может ли она дать наркоз? Если говорить совсем откровенно, она может произвести и ампутацию. Она не берется за это только потому, что у нее нет формального права.

Она наложила на лицо мальчика маску... Когда раздался звук пилы, отделяющей кость, Фаина отошла к окну, отвернулась и заплакала.

Во время этой операции пришел доктор Белов.

— Я нужен? — спросил он.

Юлия Дмитриевна бросила на него грозный взгляд. Он робко подошел, вытянув шею, всматривался в раненого... На другом столе в обмывочной лежала женщина.

— Мальчика — в кригеровский одиннадцать,— сказал доктор сестре Смирновой, которая вошла за ним.— Женщину...

— Женщину не надо,— сказала Ольга Михайловна, военфельдшер, ассистировавшая у второго стола. Она сняла маску с лица женщины. Широкое, чуть скуластое славянское лицо. Соболиные брови. Прекрасный рот. На носу коричневая полоска от веснушек...

— Поздно,— сказал хирург.

Вдруг его бросило на другой стол, на мальчика, а мальчика бросило на пол, и упали все, кроме Юлии Дмитриевны, которая отлетела к двери перевязочной и удержалась, ухватившись за кованую вешалку для полотенца. Посыпалась со стен и потолка белая эмалевая краска. Кусок рамы откололся и ткнул Юлию Дмитриевну острым концом в висок.

— Это очень близко где-то,— сказал доктор Белов.

— Очень,— поднимая мальчика, подтвердила Юлия Дмитриевна.— Я думаю, что это прямое попадание в наш поезд.

Бойцы Кострицын и Медведев вбежали в вагон-аптеку с двух концов, крича:

— Четырнадцатый вагон горит! Где начальник?

Начальник был уже на полотне и со всех ног бежал к горящему вагону.

Горело жарко — сухое дерево, сухая краска. Какое счастье, что в вагоне еще не было раненых. Цел ли персонал? Цел, цел: вон Надя нагнулась, отплевывается... Кровь у нее на халате.

— Надя, ты что — ранена?

— Ой, что вы, товарищ начальник. Это я губу разбила об полку.

— А Кострицын жив?

— Жив, пошел за вами...

Вон он бежит, Кострицын. Ведро с водой в руке. Что тут сделаешь с ведром?.. И Медведев за ним.

А вон с другой стороны идут Кравцов и Низвецкий. Идут, словно у них колени перебитые.

— Живей, ребята, живей! — закричал доктор.

Низвецкий побежал рысью. Кравцов не прибавил шагу, приближался, засунув руки в карманы штанов.

— Тащи, ребята, воду,— волновался доктор.— Зовите всех, будем заливать.

— Где вода-то? — спросил Кравцов небрежно.

— Вода? В баках вода. В паровозе вода...

— Это ерунда, а не вода,— сказал Кравцов и вдруг заорал:

— Эй! Отцепляй вагон! Дураки, динама рядом, а они раззявили рот! Эй, милый,— сказал он, схватив за полу проходившего мимо смазчика,— помоги как специалист. Необходимо выключить вагончик.

— Еще чего! — сказал смазчик.— Сотни вагонов пропали, а я чепуху, такую-растакую, буду отцеплять.

— Необходимо, радость,— сказал Кравцов.— Тут раненые, тут — динама. Нет другого исхода, как отцепить.

— Матери вели отцеплять под бомбами,— сказал смазчик.

— А вот я тебе велю! — сказал Кравцов, выкатив глаза, и ударил смазчика по уху. Доктор оцепенел от неожиданности... Смазчик ударил Кравцова ногой в живот. Кравцов ударил смазчика по затылку. Смазчик еще раз выругался и полез отцеплять горящий вагон. Откуда-то явился кондуктор, запачканный землей; верно, лежал где-нибудь по соседству в воронке. Горящий вагон отвели подальше и стали заливать водой из паровоза.

А Юлия Дмитриевна стояла у стола и подавала профессору инструменты и салфетки. Готовила раненых к операции. Давала наркоз... Всю ночь не прекращался обстрел города, и всю ночь в поезд поступали раненые. Одних приносили на носилках, других подвозили на грузовиках, третьи приходили сами... К утру профессор не выдержал.

— Все,— сказал он и не развязал — разорвал завязки халата.— Не могу. Я уже пятые сутки...

Фаина повела его в штабной вагон — отдыхать. Кстати, сказала она Юлии Дмитриевне, она тоже немножко придет в себя и переоденется, ее уже тошнит от крови, а белье от пота все мокрое...

— Я тоже пас,— сказал другой хирург, маленький и черный, с лимонно-желтым лицом, и ушел. Ольга Михайловна прилегла тут же в обмывочной на диване. «На минуточку, на минуточку»,— сказала она детским голосом и сейчас же уснула. Остался молодой хирург с белобрысым бобриком, нос — рулем, роста — выше Данилова.

— Ну? — спросил он, глядя на Юлию Дмитриевну.

— Ну! — ответила она одобрительно и перешла к его столу.

Они работали вдвоем, молча. Вагон трясся от канонады, и они работали и не думали о том, скоро ли кончится эта ночь, скоро ли утро, будет ли отдых... Работая, врач что-то насвистывал сквозь зубы, еле слышно,— что-то красивое, Юлии Дмитриевне понравилось...

Ольга Михайловна проснулась часа через два, вскочила и побежала будить отдыхающих. Первая вернулась Фаина, свежая как роза, потом старый профессор.

— А вы всё бодрствуете! — виновато сказал он Юлии Дмитриевне, принимаясь мыть руки.

Она не ответила — она считала салфетки, которые молодой врач вынул из раны оперированного, только бровями показала Фаине, чтобы та подала профессору халат.

Все утро подвозили и подносили раненых. Койки заселялись. Соболь готовил завтрак на триста человек. Обед доктор Белов приказал готовить на пятьсот... Санитарки уже не относили ведра в воронке, а выплескивали кровь прямо на полотно.

В полдень Данилов, зайдя в штабной вагон, спросил начальника:

— Ну как? Довольно?

— Боюсь, что довольно,— отвечал доктор.— Уже даже в штабном полно. Кладем на пол, и за это, знаете, может здорово нагореть.

Они прошли по составу. В вагонах стало тесно, пахло аптекой и по́том, летали мухи. Среди раненых было много легких. Они пришли сами и остались в поезде, чтобы иметь возможность выехать из города. По большей части это были мирные жители. Одна женщина, раненная в лопатку, привела с собой четверых детей; Фаина запихала их в свое купе. Все это было против правил и инструкций, но в эту ночь как-то забылись инструкции, помнилась только общая русская беда, из которой надо было вылезать общими усилиями.

Доктор — в который раз! — заглядывал на каждую койку: он все думал — вдруг Игорь очутится здесь. Но Игоря не было.

— Иван Егорыч,— сказал доктор,— вам бы лечь, голубчик, вы же всю ночь как грузчик работали, так, знаете, нельзя.

Сам доктор тоже не спал, бегал, распределял раненых, тушил пожар, и, кроме рюмки водки, которую ему дал Кравцов, у него во рту ничего не было. Но доктору казалось, что он один бездельничал, и эта злосчастная рюмка водки представлялась ему неслыханным преступлением против служебной и человеческой этики. Хоть бы Данилов не узнал об этой рюмке...

Данилов сказал:

— У меня мысль. Здесь на станции есть заведомо брошенные составы с ценными грузами. Их будут сжигать. Мы вполне можем вытащить один такой составчик.

— Как вытащить?

— Ну, нашим паровозом. Прицепить к нам. Я уже говорил с комендантом вокзала, он очень рад.

Данилов думал, что и доктор обрадуется. Но доктор смотрел на него, помаргивая усталыми глазами, и медлил с ответом.

— Извините, Иван Егорыч,— сказал он наконец.— Но, мне кажется, этот вопрос мы не можем решить так непродуманно. Вы понимаете, я прежде всего врач, который отвечает за жизнь своих больных. Если эта дополнительная нагрузка отразится на ходе поезда, я буду вынужден не согласиться...

Он говорил очень мягко, но было что-то в его помаргивающих глазах, что Данилов понял: начальник чувствует себя начальником. Данилов покраснел, ему захотелось сказать: «Вы не только врач, вы советский гражданин, и вы обязаны спасать государственное имущество!» — но доктор, словно предупреждая его, сказал:

— Ценности мы возместим, знаете. Наш груз — самый драгоценный, не правда ли?

Им навстречу шла Юлия Дмитриевна, прямая и торжественная, только немного меньше красная, чем обычно. У нее на виске неровной струйкой засохла кровь.

Доктор отдал ей честь. Она снисходительно поклонилась и прошла.

— А вот это,— сказал доктор, глядя ей вслед,— пожалуй, знаете, самое ценное, что есть у нас в поезде.

«А кто ее нашел? — подумал Данилов.— Я ее нашел! Ты на готовое приехал, а теперь командуешь!»

Но он вспомнил, что он на войне и перед ним начальник его части. Он ничего не сказал.

Супругов вернулся в поезд вместе с Даниловым.

Он тоже всю ночь ходил по городу под обстрелом и перевязывал раненых. В сущности, он был слишком хрупок для такой работы. Его поддерживал нервный подъем. Он не вздрагивал, когда снаряд разрывался вблизи: он как бы со стороны, с какого-то безумного полета, видел себя в эту ночь. Так же со стороны — сверху — он увидел отрадную картину: врач возвращается с поля боя, где каждую секунду подвергался опасности быть убитым или изувеченным. Гимнастерка самоотверженного и храброго врача разорвана на плече осколком снаряда. Он смертельно устал, он черен как негр, его обшлага и колени галифе пропитались кровью, ноги растерты сапогами... Но он бодро подтягивается на поручнях и входит в штабной вагон. Кухонная девушка Фима шарахается от него...

— Горячей воды! — говорит он ей на ходу.— И чистый халат, а этот сегодня же выстираете.

Фима посмотрела на Супругова преданными глазами и бросилась за водой...

— Смирнова! — из купе крикнул Супругов пробегавшей по коридору сестре.— Скажите-ка сестре-хозяйке, чтобы мне подавали завтрак.

Он стягивал с себя гимнастерку. Смирнова взглянула в купе, увидела негритянскую голову и заскорузлые от крови кисти рук, круто повернула назад и побежала в кухню.

«Ага, забегали!»— сказал про себя Супругов.

Оголившись до пояса и спустив подтяжки, в нарочитом неглиже он отправился мыться. Фима шествовала за ним на цыпочках с кувшином горячей воды. Он подставил ей ладони:

— Лейте!

Санитарный поезд, опаленный и закопченный, с выбитыми окнами, возвращался в тыл. В хвосте его болтался обгоревший вагон. Зеленые фонари загорались перед поездом, и другие поезда уступали ему дорогу.

Часть вторая

УТРО

Глава пятая

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

Вспоминая свои первые рейсы, люди санитарного поезда удивлялись: как они не понимали тогда самых простых вещей. Для чего, например, они занавешивали окна вагонов, когда поезд, незамаскированный, стоял на открытой платформе, издалека видный немецким бомбардировщикам? Почему поезд представлялся наиболее надежным убежищем, а люди, отправившиеся с носилками в город, казались отчаянными храбрецами, идущими на верную гибель? На самом деле под открытым небом было гораздо меньше шансов погибнуть. Но люди поняли все это позже, когда фронт остался далеко позади. Поняв, посмеивались над своей неопытностью.

— Вообразите! — говорил доктор Супругов Юлии Дмитриевне, с которой был разговорчивее, чем с другими.— Я считал, что все мы совершаем безумный поступок, уходя из-под крыши вагона. А между тем это с нашей стороны был тогда единственно разумный поступок...

Фаина сердилась: до каких пор этот человек будет пережевывать свою жвачку? Но она молчала, потому что у нее были виды на Супругова...

Фаина жила теперь в одном купе с Юлией Дмитриевной. Собственно, ей полагалось бы жить с Ольгой Михайловной, военфельдшером: у старшей сестры и военфельдшера были почти одинаковые функции в поезде. Ольга Михайловна работала в вагонах для тяжелораненых, Фаина — в вагонах для легкораненых, а обязанности у них были почти одни и те же. И жить бы им следовало вместе, но они не сошлись характерами. Ольга Михайловна, скромная, простенькая и прямолинейная, невзлюбила шумную Фаину. Поведение Фаины, откровенно льнущей к мужчинам, казалось Ольге Михайловне развратным. И она, сама того не желая, придиралась к Фаине и не прощала ей ни малейшего промаха. На утренних совещаниях-десятиминутках, где собирался весь медицинский персонал, Ольга Михайловна никогда не упускала

случая кольнуть Фаину этими промахами. Все это были мелочи: то двое трахеотомиков из Фаининого вагона нарушили запрет и пошли прогуливаться по поезду; то больной, которому была предписана диета, по недосмотру санитарки съел пирог с капустой, купленный к тому же у бабы на станции. У Ольги Михайловны повышался и звенел голос, когда она выводила на чистую воду эти безобразия, а Фаина багровела и бурно дышала, но оправдываться ей было трудно: действительно, трахеотомики шлялись по вагонам, действительно, лейтенант из пятого вагона объелся пирогом и его потом рвало, и действительно, за все это отвечала Фаина.

Ольге Михайловне хорошо: у нее в кригерах всего сто десять раненых — и каких? Почти все лежачие, ампутанты: лежат, бедняги, на своих подвесных койках с детскими сеточками и больше помалкивают. И полная гарантия, что никто не нарушит правил внутреннего распорядка, не пойдет разгуливать по вагонам, не вылезет в кальсонах на стоянке покупать пироги и самогон...

А у нее, Фаины, в каждый груженый рейс около трехсот человек под надзором. Как кончается обед и начинаются процедуры — массажи, местные ванны, электризация,— с ума можно сойти; до ночи бегают, высунувши языки, санитарки и сестры, и больше всех Фаина. Пойди укарауль каждого, чтоб не съел чего лишнего! И это же не паралитики какие-нибудь, господи боже мой! Это здоровенные парни, которых немножко повредило в бою, которым жить хочется. Сначала, пока очень больно, они кряхтят, и стонут, и боятся — не останутся ли калеками, непригодными к работе; а чуть-чуть полегчает — они принимаются рассказывать веселые истории из своей жизни, любезничать с санитарками, петь песни, им уже опять море по колено, хоть сейчас снова в бой... Скажешь им: «Товарищи, вам вреден самогон!»— они смеются: «Самогон-то? Ого! Вот посмотрите, выпьем по сто граммов — всю хворобу как рукой снимет!» И что им на это ответить? Они правы — снимет...

Таков русский человек; Фаина, русская женщина, понимает его... «Не знаешь жизнь, дорогая,— думала она, молча слушая Ольгу Михайловну.— Тебе это все еще представляется по трогательным картинкам: раненый лежит и шепчет: «Сестрица! Водицы! Испить...» А ты над ним тихим ангелом склоняешься... Нет, душка, может случиться и так, что тебе в физиономию мензуркой с лекарством запустят, потому народ горячий, нервный, смерть в глаза повидал; а ты утрись, да смолчи, да принеси ему лекарство снова, да уговори выпить — на то ты и сестра милосердия; а покуда ты с ним канителишься — у тебя, глядишь, другие раненые пошли прогуливаться по вагонам».

Фаина не высказывала этих мыслей вслух: есть положение Главного санитарного управления, есть инструкции РЭПа — распределительно-эвакуационного пункта, есть правила внутреннего распорядка, есть в поезде начальник и комиссар,— она, Фаина, человек маленький, ей нечего соваться со своими поправками...

Неожиданно Фаина нашла поддержку в Юлии Дмитриевне.

— Из военфельдшера не будет большого толка,— сказала однажды Юлия Дмитриевна.

Фаина вся зажглась:

— Почему вы так думаете?

— Она живет в мелочах. Мелочи занимают все ее мысли. Ей некогда подумать о главном.

Фаина удивилась:

— Юлия Дмитриевна, я извиняюсь, но вы тоже живете в мелочах...

— Я обязана делать это,— возразила Юлия Дмитриевна,— потому что в хирургии самое ничтожное упущение может повлечь за собой осложнения для больного. Но наряду с этим медик должен обладать смелостью и способностью игнорировать безобидную деталь. Военфельдшер добросовестна, и не больше. Из нее выработается со временем средний медик для малоинтересных больных. Она будет хорошо лечить от гриппа и чесотки. Она не для науки, а для повседневной лекарской практики.

— А я? — спросила Фаина.

Юлия Дмитриевна критически осмотрела ее — от завитых волос до стоптанных модельных туфель.

— Вы могли бы быть для науки. В вас чувствуется размах. Вы могли бы быть для науки, если бы меньше отвлекались от своей деятельности.

Фаина вздохнула и обняла Юлию Дмитриевну. Хотела поцеловать, но передумала.

— Вы прямо до ужаса правы,— сказала Фаина.

И когда сестрам, живущим в штабном вагоне, пришлось потесниться, чтобы освободить купе под канцелярию, как-то само собой получилось, что Юлия Дмитриевна по доброй воле переселилась к Фаине, и Фаина была этому искренне рада.

Теперь санитарный поезд уже не ходил на передовую линию. Для фронта были определены особые поезда — «летучки», состоявшие из нескольких вагонов. Поезда более усложненного типа, так называемые временные военно-санитарные, эвакуировали раненых из прифронтовых госпиталей в ближний тыл. И уже специальные тыловые поезда перевозили раненых в глубокий тыл, часто за многие тысячи километров от поля боя.

Тот санитарный поезд, о котором рассказывается в этой повести, был в новой классификации типичным тыловым поездом. Для фронта он был слишком громоздок, слишком уязвим, слишком дорого стоил. Это был передвижной госпиталь, комфортабельный и вылощенный. После первых двух боевых рейсов — в Псков и Тихвин — его закрепили за тылом.

Некоторые работники поезда приняли эту перемену с удовольствием: мирные люди, они тяжело переносили опасности фронта. Необходимость под обстрелом сохранять спокойствие и работать стоила им большого нервного напряжения. Другие отнеслись к перемене равнодушно.

Но были люди, которых перевод в тыл огорчил, разочаровал, почти обидел.

Огорчился Низвецкий. Разочаровалась Юлия Дмитриевна. Обиделась Фаина.

Отношение Данилова к переводу в тыл было двойственное.

С одной стороны, он уже полюбил свой поезд и с каждым днем привязывался к нему все крепче и ревнивее. В глубине души он был доволен, что красавец поезд уведен из-под неприятельских бомб. С другой стороны, ему было неприятно находиться вдали от фронта и на такой маленькой, казалось ему, работе. Иногда, подобно Сухоедову, он думал, что его обошли; тогда он раздражался, мысленно поносил Потапенку, пославшего его на эту работу, и санитарки пугались его мрачного взгляда. Он брал себя в руки, раздражение проходило, и спустя некоторое время возвращалось опять.

Немцев уже отогнали от Москвы. Ленинград выстоял первую страшную зиму. Началась весна. Данилов напряженно ожидал, как развернутся события летом. Немцы предприняли новое наступление и стали пробиваться на Кубань, на Кавказ. И Данилов испытывал жгучее чувство ярости и бессилия.

«Затянись потуже,— советовал он себе, трезвея.— Без тебя там не справятся?..»

Он послал рапорт в РЭП, прося отпустить его в действующую армию. Ответа он не получил. Послал личное письмо Потапенке — тоже никакого ответа. Написал в ЦК партии, в военный отдел.

Вагон, обгоревший в Пскове, ремонтировали в Кирове. Железная дорога отказывалась ремонтировать, ссылаясь на недостаток рабочей силы. «Вагончик бросовый, свяжись с ним — не развяжешься»,— говорили железнодорожники. В транспортных мастерских, откуда взрослые рабочие ушли на фронт, работали теперь какие-то мальчики и девочки... Данилов поговорил со своими людьми, и они согласились взять ремонт на себя. Вагонного мастера Протасова, старого важного лентяя, Данилов поставил во главе бригады. Кравцов оказался на все руки специалистом — слесарем, сварщиком и стекольщиком. Целый день Кравцов и Протасов спорили и ругались до хрипоты. Каждый отстаивал свои приемы и свое главенство, а по вечерам оба исчезали и возвращались подвыпившие и исполненные нежности друг к другу. Сухоедов, Медведев, Кострицын, Низвецкий, Богейчук, Горемыкин — все мужчины, кроме врачей, приняли участие в ремонте, и сам Данилов вспомнил отцовские уроки и пошел к Кравцову в подручные. Девушки подносили материал, прибирали за работающими, красили вагон и просто путались под ногами... За шесть погожих апрельских дней ремонт был закончен.

Это доставило большое удовольствие Данилову. Не столько велика была ценность вагона, сколько приятно сознавать, что вот — ничего не растеряли из того, что было им доверено, ничем не дали врагу поживиться. Особенно приятно было Данилову видеть, что это чувство разделяют с ним другие люди в поезде: каким-то новым, хозяйским взглядом смотрят они на отремонтированный вагон. Даже у Протасова на пухлом небритом лице видно удовольствие, когда, расставив ноги и выпятив живот, рассматривает он с перрона дело рук своих...

В честь окончания ремонта устроили собрание. Кравцов явился в пиджаке и галстуке. О нем говорили много и с одобрением. Данилов диву давался — куда исчезла с его лица мефистофельская гримаса? Старый пьяница краснел и таял, как девушка от комплиментов... А наутро он снова предстал перед Даниловым прожженным старым дьяволом с запавшими щеками и мутным взглядом.

Поездные заботы отнимали все время. Какими бы мыслями Данилов ни мучился — дело было рядом и требовало его внимания.

В санитарном поезде он скоро почувствовал, что многое здесь еще не налажено. Он входил в мелочи поездного хозяйства и прислушивался, что говорят люди. Соболь все считал; Данилов тоже стал считать. Он высчитал, что на перевозку раненых они тратят в среднем не более десяти дней в месяц. В остальное время либо стоят, либо идут порожняком. Команда в эти дни почти ничего не делает, потому что ей нечего делать. Глазеют в окошки, разговаривают...

Юлия Дмитриевна в эти дни нажимает на партийно-комсомольскую учебу. Прекрасно, но все-таки не для того же их собрали в этом поезде, чтобы они тут, на досуге, занимались партийно-комсомольской учебой...

Однажды на стоянке они стояли рядом с другим санитарным поездом. Из окна в окно они наблюдали, что происходит в этом чужом поезде. Две сестры что-то шили и смеялись, болтая. В штабном вагоне трое мужчин без гимнастерок, в нижних рубашках, играли на бильярде. «Черти! — подумал Данилов, разглядев.— Сообразили снять переборку между купе, чтобы поставить бильярд». Между поездами скорым шагом прошла транспортная ремонтная бригада: несколько мальчиков-подростков и две девушки в мужских спецовках, черных и промасленных. «Вот эти детишки ремонтируют наши вагоны,— думал Данилов,— а эти здоровые мужики двадцать дней из тридцати гоняют шары... А я стою и смотрю, как они гоняют».

«Но если мы сами отремонтировали заново тот вагон,— думал он дальше,— то неужели и текущий ремонт не можем выполнить сами? Есть среди наших людей разных дел мастера. Неужели мы не осилим ту работу, которую выполняют для нас эти детишки?» Он стал прикидывать: если бы каждый санитарный поезд в военное время силами своего личного состава осуществлял текущий ремонт — какая это была бы крупная и действенная помощь транспорту.

«И для нас выгодно,— думал он,— не придется дожидаться неделями. Стоянки сократятся. Больше сделаем оборотов. Дело простое, и нечего с ним тянуть».

Он не стал тянуть. Заручившись согласием начальника, он поставил вопрос на общем собрании части. Но тут неожиданно наткнулся на противодействие.

— У меня, товарищи, вызывает сомнение,— сказал Супругов,— такая непродуманная постановка вопроса. Не слишком ли мы перегрузим наших людей? Не секрет, товарищи, что во время груженых рейсов наши люди работают сверх всяких сил человеческих. Когда-нибудь должны они отдыхать? И когда же, если не во время порожних рейсов? Надо, товарищи, основательно подработать этот вопрос.

Во все глаза Данилов смотрел на Супругова, приоткрыв от неожиданности рот... Вот как? Этот смиренный, со всеми согласный доктор идет открыто против него, Данилова? Что за сон?.. Он говорит тихо, но отчетливо. Люди его слушают. Вон доктор Белов заерзал на стуле, что-то пишет в блокноте. Вон толстая Ия подперлась рукой, пригорюнилась,— жалко, видно, стало себя, что работает сверх сил...

Если бы Данилов больше присматривался к Супругову, он и раньше уловил бы в нем некую перемену. Но Данилов не интересовался Супруговым и перемену в нем проморгал. Перемена пришла после Пскова. После Пскова Супругов вдруг ощутил, что он не просто себе так, какой-то Супругов — ухо, горло, нос,— а военврач третьего ранга, со шпалой, активный участник исторических битв и, если смотреть вполне объективно, без ложной скромности,— героический участник. Его обижало, что окружающие как бы не замечают этого, игнорируют его. Что вот ничтожный поступок Кравцова, починившего какие-то трубы, был отмечен на собрании, а о его, Супругова, выдающемся поведении на улицах Пскова хоть бы заикнулись.

И ему хотелось заявить о своих заслугах, дать понять, что в коллективе он что-то весит, что к его мнению обязаны прислушиваться... Это желание было так сильно, что перевесило обычную супруговскую рассудительность. Он попросил слова с тем дрожанием сердца, какое бывает у неопытного пловца, когда тот бросается с вышки в воду: и хочется нырнуть, и страшно — вдруг утонешь...

Секунду ему казалось, что он уже утонул: такая грозная молния сверкнула в глазах Данилова... Супругов судорожно оттолкнулся и выплыл.

— Не поймите меня превратно,— сказал он.— Я боюсь одного: чтобы переутомление наших людей не отразилось на их работе по уходу за ранеными защитниками отечества.

Вынырнул, вынырнул: доктор Белов согласно кивает головой, и на лице у Юлии Дмитриевны выражение раздумья, которое так мало красит ее...

Данилов молчал. Он хотел слышать всех. Супруговское выступление — камень, брошенный в воду: обязательно пойдут круги. И они пошли.

— Обратите внимание,— сказал Протасов,— что вопрос о ремонте ставится на общем собрании части. Если бы это было в согласии с положением, то не ставили бы на общем собрании, а дали приказ, и делу конец. Чтобы санитарный персонал лазил все время по вагонам и не имел никакой передышки, этого в положении нет. Это дело дороги. Это я вам как старый железнодорожник могу подтвердить.

Данилов молчал.

— Мы, товарищи, обязаны подчиняться дисциплине не рассуждая,— обиженно сказал Горемыкин.— Если начальник скажет мне: ляжь, Горемыкин, под поезд,— то я обязан лечь без обсуждения. Если мне начальство велит уборные красить, я буду красить, если даже ни в каком уставе не сказано, чтоб боец уборные красил. Наше дело — дисциплина.

Встал Сухоедов.

— Товарищ комиссар! — сказал он задыхающимся голосом астматика.— Разрешите доложить, что вы правильно поставили вопрос, по-большевистски, с государственной точки зрения. Я оставляю без внимания выступления товарища Горемыкина и товарища Протасова. Это политически неподкованные выступления. Мы не можем к ним прислушиваться, когда у нас на фронте такое положение и вся страна заинтересована.

— Байбак проклятый,— сказал вдруг Кравцов, глядя на Протасова с омерзением.— Если у тебя есть талант сделать сверх положения, почему же не сделать, кто ж должен делать, если не я и не ты? — Протасов только отворачивался и жмурился, словно его били по лицу.— Тебе бы только дрыхнуть да водку жрать, черт бесполезный...

Данилов встал.

— Товарищи! — сказал он тихо, мельком скользнув глазами по лицу Супругова.— Вы меня не совсем поняли. Я не предлагал включить в ремонтные работы медицинский персонал. Я предлагаю создать постоянную ремонтную бригаду из наших специалистов. А если кое-кто из санитаров во время порожнего рейса окажет посильную помощь, то неужели, товарищи, это отразится на вашем уходе за ранеными? Ведь нет, я думаю?

Он спрашивал ласково и заботливо и совершенно точно знал, каков будет ответ. Сейчас же закричали девушки: «Нет! Нет! Не отразится!» И Юлия Дмитриевна гордо выпрямилась, и доктор Белов удовлетворенно и успокоенно утвердился на своем председательском месте. Вопрос решился сразу, легко и дружно.

С этого дня Данилов стал наблюдать за Супруговым более внимательно. Но ничего особенного не замечал — Супругов опять замкнулся, держался по-прежнему искательно и осторожно. «Почему он выскочил тогда на собрании?»— спрашивал себя Данилов и все не мог найти ответа. Потом нашел: Супругов искал популярности у персонала.

Однажды Данилов застал его в вагоне команды; Супругов рассказывал что-то. Данилов остановился, послушал: какие-то старые анекдоты. Люди смеялись охотно. «Надо в театр их свести, что ли»,— подумал Данилов. Тогда же у него мелькнула мысль, что доктор Супругов, видимо, не прочь снискать расположение персонала. Ну что ж, и ладно. Чем сидеть сычом у себя в купе, пусть лучше развлекает людей.

Но в другой раз он сильно рассердился. Они опять стояли в Кирове во время порожнего рейса. Стоянка была недолгой, а когда дали приказ к отправлению, то оказалось, что в поезде нет ни одной санитарки: Супругов своей властью отпустил их всех в кино. Отправка задержалась на три часа. Данилов хотел, чтобы начальник приказом объявил Супругову выговор, но доктор Белов, по доброте, не согласился.

— Он же, знаете, хотел им доставить удовольствие,— сказал доктор примирительно.— Они в таком возрасте, когда это все нужно как воздух — кинематограф, знаете, танцы... оперетка... Может быть, он не знал, что нас отправят так скоро. Нам следовало его предупредить, не правда ли?

Данилов не стал спорить с начальником, но от него зашел к Супругову и сказал:

— Доктор, если вы еще раз распорядитесь командой без разрешения начальника или моего — вы будете переведены в другую часть с большими неприятностями. Это я вам гарантирую — и перевод, и неприятности. Понятно?

Он повернулся и вышел. Супругов выслушал его, подняв глаза от книги, которую читал. Медленным взглядом он проводил Данилова...

Доктору Белову стала известна судьба Игоря.

Из Ленинграда пришло письмо — одно-единственное за все время. Оно было датировано 5 сентября, а попало в руки доктора 1 января, в день Нового года. Сонечка писала, что настроение тяжелое, но чтобы он о них не беспокоился — у них в доме оборудовано прекрасное бомбоубежище. Спрашивала, кто ему починяет белье и как камни. (Камни в почках, господи, с тех пор, как его призвали, он и думать забыл об этих камнях.)

«От Игоря,— писала Сонечка,— пришло вчера письмо. Он выехал из Пскова с танковой частью и раньше, чем немцы будут разбиты, домой не вернется». «Я не была удивлена этим письмом,— писала Сонечка,— меня удивило мое отношение к нему. Три месяца назад, если бы Игорь не пришел домой ночевать, я с ума сошла бы от беспокойства. А сейчас я даже не заплакала».

А Ляля приписала, что мама — молодцом, работает, и она, Ляля, работает, только уже не в Публичке, а в госпитале, регистраторшей. Ляля одобряла Игоря, только жалела, что он не заехал домой проститься.

Больше писем не было.

Когда пришли первые тревожные вести о блокаде и о начинающемся в Ленинграде голоде, доктор растерялся. Еда застревала у него в горле, он хотел есть и не мог... Данилов пришел ему на помощь.

— Ваша семья в Ленинграде, не выехала? — спросил он.

— Нет,— пролепетал доктор,— не выехала, знаете. Как-то мы об этом не подумали.

— Можно организовать посылку,— сказал Данилов.

Он все умел. Какими-то запутанными ходами, через знакомую библиотекаршу парткабинета, у которой дочь вышла за летчика, были переправлены в осажденный Ленинград, в адрес Сонечки, сухари, мука, топленое сало и всякая всячина. Доктор не знал, дошла ли посылка. Лучше было думать, что дошла. В день, когда ее отправили, у доктора было такое чувство, словно он только что до отвала накормил Сонечку и Лялю сухарями с салом, и он радовался, что они так сыты. Он копил сахар, печенье и другие лакомые вещи, перепадавшие от Соболя, и выжидал случая, когда будет удобно попросить Данилова организовать еще одну посылку.

С тех пор прошло много дней. Писем из Ленинграда не было. Уже два раза за эти месяцы санитарный поезд получил почту, но для доктора Белова в ней не было ничего.

Он был оптимист по натуре. Он волновался, конечно, но не слишком. Положение в Ленинграде несколько улучшилось, уже опять вывозят оттуда людей, он сам видел один эшелон... Это ужасно, ужасно, боже мой. Истощенные люди, страдающие голодным поносом. Дети, похожие на стариков... Но у Сонечки и Ляли были продукты. Иван Егорыч им послал. У них не может быть голодного поноса. Просто письмо еще не дошло.

А может быть, они выехали из Ленинграда еще до блокады. Сонечка всегда была такая распорядительная... И сейчас спокойно живут где-нибудь на Урале. И Ляля по-прежнему толстая, с розовыми щеками...

И скоро от них придут письма. Наверно, наверно,— они придут со следующей почтой. Целая стопка писем. Может быть, там будут письма и от Игоря. Мать написала ему адрес, и он пришлет отцу письмо. Ведь не навсегда же разошлись дороги... Он умный мальчик. Подрастет и поймет, что нельзя так ранить отцовскую душу. Сонечка их сведет и примирит.

О, когда же он придет, этот день, когда они все вчетвером сядут вокруг стола в маленькой столовой и лампа под старым абажуром с оборванными бусинками будет светить на любимые лица! И придет ли этот день?

«Да, все это будет»,— утверждала спокойная статная командирская фигура Данилова. «Какой может быть вопрос?!»— читалось в поднятых бровях и горделивом спокойствии Юлии Дмитриевны. «Ах, ну конечно, будет!»— говорило милое, беззаботно-плутоватое личико Лены.

И только Супругов не давал уверенности: кто знает, может — будет, может — нет...

Когда Данилова спрашивали, какое у него образование, он отвечал: низшее.

Это была правда: он был из крестьянской семьи, до восемнадцати лет безвыездно жил в деревне и окончил начальную школу, где ученье состояло из правописания, арифметики и закона божия. Всем предметам учила одна

и та же учительница —«наставница», как ее называли в деревне.

И это была неправда, потому что начиная с революции он почти непрерывно учился. Его учили комсомол, партия, Красная Армия. Учили в специальных школах, на курсах, в кружках. Курсы иногда длились десять-пятнадцать дней, а занятия в кружках растягивались на годы.

Как будто он всегда был завален работой, как будто и времени не оставалось учиться, а между тем всегда он чему-то учился и, в сущности, много знал.

Он был практик-агроном, практик-ветеринар, практик-строитель, знал столярное, слесарное, кузнечное ремесла, бухгалтерию и торговое дело.

Когда он работал в деревне, он читал много книг по сельскому хозяйству. В санитарном поезде он взялся за медицинские книги. Ему хотелось понимать самую суть дела. Доктор Белов дал ему Пирогова. Данилов раскрыл толстый том с уважением и тайной опаской: не слишком ли специально пишет знаменитый хирург? Книга поразила его с первых страниц своей доступностью, скрытой страстностью и напряженной актуальностью. Оказывается, еще во времена Севастопольской обороны 1854 года люди думали о том самом, о чем думал он, Данилов, в 1942 году: о наилучшей организации перевозки раненых в тыл.

Конечно, за девяносто лет дело эвакуации раненых здорово шагнуло вперед. Посмотрел бы Пирогов на кригеры, на вагон-аптеку, на нынешний хирургический инструментарий... И все-таки еще не все сделано. Еще очень много можно сделать нового, доброго. И, как всегда, у Данилова на это новое, доброе чесались руки.

Вдруг ему перестали нравиться вагоны. Они стали какими-то серыми и непривлекательными, даже кригеры.

Он не сразу сообразил, в чем дело. Потом понял: белье.

Сдав раненых в госпиталь, белье со всех коек снимали и отдавали в городскую прачечную, а оттуда получали взамен уже выстиранное белье. В прачечных не хватало работниц, они «зашивались», стирали скверно. Случалось, что вместо целых простынь подсовывали рваные.

— А у вас в вагоне-аптеке почему белое? — спросил Данилов Юлию Дмитриевну.

— Потому что для вагона-аптеки стирает Клава,— ответила Юлия Дмитриевна.— Я же не надену и доктору не подам такой халат, как вы думаете?

— А вы как думаете,— спросил он,— раненому приятно ложиться на такие простыни?

— Я уже думала,— сказала Юлия Дмитриевна, не обратив внимания на его колкость,— что хорошо бы все белье стирать самим.

— А если думали,— сказал он неодобрительно,— то почему молчали? Надо говорить.

— Хорошо,— сказала она.— Я вам скажу все, что думаю о нашем поезде. Я думаю, что его можно оборудовать гораздо лучше. Нам нужна прачечная, и еще нужнее, чем прачечная,— дезинфекционная камера для обработки мягкого инвентаря.

Он кивнул головой. Дезинфекционная камера — да, это для поезда первейшая вещь... Не раз он был свидетелем, как доставляли из санпункта одеяла и теплые халаты. К вокзалу их подвозили на грузовике, а потом тащили на руках. Иногда приходилось протаскивать их под соседними составами. Случалось, что одеяла из санобработки доходили до поезда вымазанными мазутом и угольной пылью, и виноватых не было. А Соболь и Богейчук всякий раз жаловались, что грузовик очень трудно достать, и только благодаря изворотливости Соболя им это удавалось.

— Я вам скажу одну вещь,— сказал однажды Соболь Данилову.— Вы поверите или нет, что у меня разрывается сердце, когда я думаю о помоях?

— Каких помоях? — спросил Данилов.

— Боже мой, каких! Отходы пищеблока.

Соболь сказал это обморочным голосом и закрыл глаза. Данилов взглянул на него с интересом.

Они выбрасывали под откос пропасть добра — кожуру от овощей, ведра объедков, выливали жирную воду, остающуюся от мытья посуды.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Данилов.

— Мало ли что? — сказал Соболь, сразу поняв, что его будут слушать с сочувствием, и начиная кокетничать.— Мы можем откармливать животных.

— Где же, Соболь, где будет наша база? Мы же на колесах.

— Ну, ясно, откармливать на колесах, товарищ комиссар.

Обдумав предложение Соболя, Данилов дал согласие и склонил к нему доктора Белова. «Свежее мясо будет очень полезно в госпитальном рационе»,— сказал он.

В багажном вагоне, в том его конце, который обращен к вагону-леднику, отгородили уголок и поместили там двух поросят. Смотреть за поросятами Данилов определил пожилому бойцу Кострицыну, понимавшему толк в сельском хозяйстве.

— Ничего, товарищ комиссар,— говорил Соболь,— мы преодолеем все трудности.

И, счастливо улыбаясь, пообещал:

— Мы с вами еще заведем курочек.

И они завели два десятка кур и петуха. Их поместили под вагоном в особой клетке, которую придумал Соболь. Доктор Белов заглянул и сказал:

— Они не будут так существовать. Они должны ходить по земле.

— По земле, товарищ начальник, каждая курица ходит,— отвечал Соболь.— Вот пусть они в таких условиях проявят способность нестись.

Позже он признался Данилову, что со страхом ожидал первого яйца: у него не было уверенности, сказал он, что куры будут нестись на ходу поезда.

— Теперь я считаю, что это даже должно способствовать,— сказал он, держа на ладони первое теплое яйцо.

В длинные дни так называемого порожнего рейса, когда санитарный поезд, сдав раненых в госпиталь, шел из дальнего тыла в ближний для новой погрузки,— в эти дни обступали людей мелкие, будничные заботы. Жизнь начинала казаться серенькой и однообразной. Трудно было представить себе, что где-то грохочут орудия и льется кровь. Что вот этот их собственный вагон, такой нарядный — белый внутри, темно-зеленый снаружи,— пылал на псковском вокзале и они его тушили...

Но приближался час погрузки, и все менялось. Соболь не посмел бы в эти часы сунуться к комиссару с поросятами; да и самому Соболю было уже не до поросят... Все или почти все испытывали чувство особенной ответственности, собранности, соприкосновения с тем огромным, ужасным и величественным, что приказало им собраться в этом поезде и жить так, как они жили, месяцы и годы, до дня победы.

И вот в вагоны-палаты, где каждая складочка на постели была любовно разглажена, с шумом, говором и стонами, стуча костылями, входила *Война*. Сразу десятками струек взвивался к потолкам махорочный дым. Комкались одеяла, дыбом ставились подушки. Запахом гноя, пота, крепким мужским дыханием вытеснялись запахи дезинфекции... Начинался груженый рейс.

Глава шестая

С ЗАПАДА НА ВОСТОК

Лена исправно несла свою службу.

Она убирала вагон, раздевала и одевала раненых, помогала при перевязках, разносила обед, читала вслух газету, слегка запинаясь на названиях иностранных городов.

Ее любили раненые. Пожилые называли ее дочкой и гладили по стриженым волосам. Молодые говорили:

— Вот бы такую жену.

Она терпеливо убирала за ними и уговаривала их есть овсяную кашу, при виде которой они приходили в ярость.

— Прямо я удивляюсь вам,— говорила она.— Вы как маленький. Это же самое питательное, если хотите знать. Вот я спрошу у диетсестры, сколько тут калорий.

— Иди, иди к диетсестре! — кричали ей в ответ.— Пусть сама ест калории, у нас нечего овсом кормить, мы не лошади.

Но, расставаясь с нею при разгрузке поезда, они трясли ей руку, смотрели добрыми глазами и говорили:

— Дай адресок, сестренка, я хочу тебе написать, я тебя никогда не забуду.

Она отвечала:

— Не дам адресок, все равно — ты напишешь, а я не отвечу, не люблю я письма писать.

Она не любила писать, но писала часто — в один и тот же адрес, на одну и ту же полевую почту.

Пишешь, пишешь — и словно не в почтовый ящик, а в бездонный колодец бросаешь письма. Из колодца ни отзвука. Только через три-четыре месяца, когда поезд приходит к месту приписки, приносят письма: в конвертах и без конвертов, сложенные угольничком, и на открытках, и на воинских почтовых бланках с красными звездами.

После получения писем Лена ходила сияющая, и ей казалось, что около самого ее уха звучит его голос, мужественный голос, вздрагивающий от нежности.

...Дни стояли сухие и знойные. В открытые окна на белые шторки, на простыни, бинты и халаты летела черная

пыль. Санитаркам вдвое прибавилось работы: приходилось то и дело отряхивать занавески и постели, мыть пол, обтирать мокрой тряпкой столики, рамы, стенки... Раненые томились от жары, ели плохо.

Их только что забрали из госпиталя и везли далеко на восток, на Урал. В кригеровском вагоне, где работала Лена, лежало двадцать человек. Они капризничали, курили, отказывались пить кипяченую воду — требовали сырой, со льдом. Номер семнадцатый — ампутант, левая нога отнята почти по колено — не курил и ничего не требовал, но это было еще хуже. Он не ел и не спал. Лицо его, темно-бронзовое на белой подушке, заострилось, с него не сходила гримаса отвращения. Ольга Михайловна наклонилась к нему, заговорила ласково, как мать:

— Почему вы не едите? Вам не нравится пища?

— Благодарю вас,— отвечал сквозь зубы семнадцатый.— Пища хорошая.

— Может, вы бы съели что-нибудь другое? Свежее яйцо? Творожники? Вареники с ягодами? Назовите что хотите, мы сделаем.

— Благодарю. Мне ничего не надо.

Ольгу Михайловну ждали еще сто девять тяжелораненых. Сто девять эпикризов, сотни назначений, сотни жалоб от раненых — на жару, на овсянку, на зверство сестер, не дающих сырой воды; и сотни жалоб от сестер на раненых — сорят, увиливают от приема лекарства, велят устроить сквозняк... Ольга Михайловна дочитала историю болезни семнадцатого и сказала:

— Вы моряк, товарищ Глушков, вы должны взять себя в руки.

— Я был моряк,— сказал семнадцатый.

Лена засмотрелась на него: загорелое лицо с белым лбом и черными глазами напомнило ей лицо мужа.

— Лена! — сказала Ольга Мнхайловна.— Поправь подушку лейтенанту.

Она отошла. Лена подняла подушку, заглянула в черные недобрые, страдальческие глаза...

— Это тебя Леной зовут? — спросил Глушков.

— Да,— ответила она.

Он посмотрел на нее, и взгляд его стал мягче.

— Курносенькая,— сказал он и запнулся.— У меня сестру тоже Леной зовут...— И замолчал.

Ее позвали к другой койке. Она подавала раненым судно, уговаривала их пить кипяченую воду, стирала мокрой тряпкой пыль, оправляла постели, на стоянке, по

просьбе раненых, сбегала на станцию и купила ведро малины. Веселый капитан, толстяк в гипсовом корсете, с прибаутками делил малину и Лене дал полную баночку.

В обед она опять подошла к Глушкову.

— Ешьте! — сказала она.— Это же индивидуальный обед, специально для вас военфельдшер заказала. Баранина с помидорами. А на ужин вам будут творожники. Ешьте!

— Я ем, ем,— нетерпеливо сказал он и положил в рот ломтик помидора.— Постой, курносенькая, не уходи, все время ты уходишь. Я буду есть при тебе.

— Хорошо,— сказала она и села рядом.

— Вы не едите,— сказала она немного погодя.— Вы только делаете вид. Вам нужно есть.

— Чтобы жить, что ли? — спросил Глушков.

— Ну, конечно. Чтоб жить.

— Я соврал про сестру,— сказал Глушков.— Она мне не сестра. Мы хотели пожениться. Теперь за другого пойдет... Ну, это наплевать. Это мне меньше всего, как говорится... Съешь эту индивидуальную баранину, если хочешь. Я не буду.

— Совсем не факт, что пойдет за другого,— сказала Лена.

— А мне безразлично, пойдет, не пойдет... Я не вернусь.— Он заскрипел зубами.— Инвалид, мерзость какая... Явлюсь с деревяшкой... проклятые фрицы! Я выпишу маму к себе... куда-нибудь. Будем жить в другом месте. Мама за мной всюду поедет. Мамы — куда угодно поедут...

— И совсем не мерзость,— сказала Лена, глядя в одну точку перед собой.— Я не понимаю, как это может быть мерзость. И для мамы вашей и хоть бы для кого — вы и без ноги такой же близкий, как с ногой. И если хотите знать, то у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособный, и красивый, вы молодой, сможете учиться на что угодно, женитесь,— у вас вся жизнь впереди. И не деревяшка, а сделают вам хороший протез, будете ходить в ботинках, ничего даже не заметно...

Он закрыл глаза и замолчал. А она ушла в другой конец вагона, потому что ей вдруг ужасно захотелось погладить Глушкова по бритой голове. Положить руку ему на лоб, белый-белый над чертой загара. Даня...

Долгий жаркий день догорел наконец. Закончилась вечерняя суета — ужин, процедуры, последняя заправка постелей перед сном. В последний раз Ольга Михайловна

прошла через вагон, потушила лампы, оставила одну — на столике у дежурной... Лена тихо ходила взад и вперед по толстому половику. Вагон — без перегородок, просторный, уютный, с шезлонгами и столиками — был бы совсем как госпитальная палата, если бы не второй ярус подвесных коек. Десять коек справа, десять слева: пять внизу, пять вверху с каждой стороны. На каждой подушке — бритая голова, загорелое лицо... Лампочка в голубом абажуре бледно светила на эти темные лица, закрытые глаза, сомкнутые сном губы. Только Глушков не спал. Лена каждый раз, проходя, видела, как блестят его глаза.

Ей хотелось заговорить с ним, но она боялась. Почему она чуть не потянулась к этому белому лбу над бронзовой чертой загара?

«Мне жалко его,— говорила она себе.— Мне хочется его утешить. Я — как сестра... Он похож на Даню. Вот подойду к нему, приласкаюсь. Немножко, чуть-чуть. И ничего тут нет особенного, если чуть-чуть... Но ведь я не влюблена в него! Вовсе нет: если завтра его спишут в госпиталь, мне будет все равно».

Это была правда.

«Подойду, подойду. У него глаза черные. Он со мной разговаривал ласково. Я пожалею его, он пожалеет меня».

«Вот сейчас подойду и заговорю с ним. *Разговорю* его, чтобы он отвлекся от своих мыслей. Я даже положу ему руку на лоб... Как родная сестра положила бы руку, так и я положу».

И она подошла к Глушкову. Но он спал.

Лицо у него было замученное. Дышал он как ребенок — тихо.

Она постояла, глядя, как ровно поднимается под рубашкой его грудь. Она заставила себя подумать: «Как хорошо, что он заснул»,— а в глубине сознания шевелилось огорчение и даже обида.

Вдруг он всхлипнул — протяжно, со стоном. Наверно, плакал, пока не заснул, и во сне продолжает плакать. Он плакал, а она и не заметила.

Уже брезжило утро: летние ночи коротки.

«Я не буду никого ласкать, кроме одного-единственного, на всю жизнь единственного. Он мой муж, я его проводила на войну, он ушел, веря мне. Верь, Даня, верь, милый. Только ты мне нужен. Это просто брат спит — брат; тысячи таких братьев у меня... Но, Даня, зачем это все — раны, и страданья, и эти койки, и эти стеклянные

утки, и эта тоска, когда так чудесна была жизнь, так полна счастья...»

Позвали с другого конца вагона: «Нянька!»

— Иду! — откликнулась она проворно и легким шагом пошла на зов.

На восемнадцатом месте, над Глушковым, во втором ярусе ехал Крамин.

Это был хилый человек малого роста, с голым блестящим черепом и острыми чертами сухого насмешливого лица. Круглые очки в толстой роговой оправе еще больше обостряли эти черты. Крамин в очках был похож на филина.

У него был поврежден спинной хребет и парализованы обе ноги. Страдания, переносимые им, иссушали его тело, оно стало легким, как тело ребенка. Остаток жизни ему предстояло ходить на костылях. Иногда он откидывал одеяло и, выпятив нижнюю губу, рассматривал свои ноги, тонкие, желтые и вялые.

Когда его принесли в вагон, он потребовал книг.

— Пожалуйста, побольше,— сказал он.

Лена принесла ему из скудной поездной библиотечки все, что нашлось: «Евгения Онегина», изданного отдельной книжечкой, рассказы Джека Лондона, одинокий номер журнала «Пропагандист» за 1939 год и еще книгу, неизвестно какую, потому что ее первые и последние листы были уже раскурены.

— Прелестно,— сказал Крамин.

В первый же день рейса он прочел все. Читал он лежа на спине, низко над лицом держа книгу. Голова его дергалась при этом то вправо, то влево, так как он читал необыкновенно быстро. Казалось, что Крамин клюет книгу, как голодная курица зерно.

В поезде был обычай — перед погрузкой, готовясь к приему раненых, клали книгу на столик около каждой койки. Крамин один прочел все, что было в вагоне. По поезду пошел слух о человеке, за час глотающем книгу, которой другому хватило бы на целый рейс. Данилов, доктор Белов и сестры приносили Крамину литературу из своих собственных запасов.

И Крамин с той же быстротой и тем же углубленным интересом читал и хирургию Пирогова, и журнал «Крокодил», и роман «Ключи счастья», который принесла ему Фаина.

Когда книг не было, он снимал очки, закладывал руки под голову (ему явно доставляло удовольствие, что руками своими он может распоряжаться как хочет) и принимал участие в разговорах.

Он не был болтлив,— так, вставлял в общую беседу короткие реплики.

Он все находил прелестным.

— Прелестная каша! — говорил он, возвращая Лене пустую миску и смеясь очень светлыми, почти бесцветными глазами.

И о «Ключах счастья» он сказал Фаине:

— Прелестный роман.

— Правда? Правда?

Фаина обрадовалась, что умный человек похвалил книгу, над которой в штабном вагоне потешались.

— Разумеется,— отвечал Крамин.

Перевязками его не мучили. Иногда он тихо и вежливо просил впрыснуть ему морфий, и ему впрыскивали охотно. Ему предстояло долго валяться в госпиталях, прежде чем встать на костыли.

История Крамина была такова. Он служил юрисконсультом на одном из самых больших и значительных заводов Ленинграда. Среди приятелей слыл книжником, театралом и сибаритом. Вел легкую и приятную жизнь. Жена у него была красавица.

И приятели удивились, даже не поверили, когда разнесся слух, что Крамин отказался от брони, пошел в армию и учится на курсах младших лейтенантов.

Пришлось поверить, когда кто-то из знакомых встретил на Невском Крамина, одетого в красноармейскую гимнастерку.

Он был выпущен в числе первых, получил взвод и в течение месяца выполнял с этим взводом незначительные разведывательные задания. Выполнял толково, но командование не особенно полагалось на него: хрупкость этого человека внушала недоверие.

Начинались страшные дни Ленинграда. Немцами были взяты Гатчина, Пушкин, Красное Село. В эти волшебные места, куда он раньше выезжал на дачу, Крамин ходил на разведку со своими людьми. Жену он эвакуировал из Ленинграда еще летом.

Однажды его вызвал командир батальона.

— Вам придется сдать взвод младшему лейтенанту Николаеву,— сказал он, не глядя Крамину в глаза.

— Разрешите узнать, почему? — спросил Крамин.

— Потому что ваш взвод будет отправлен в Невскую Дубровку.

Дубровкой назывался клочок земли на левом берегу Невы, длиною в полтора километра и шириною метров в семьсот, который наши войска отбили у немцев и который они поставили своей задачей удержать и расширить. Немцы держали под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем и этот клочок земли и переправы к нему через Неву.

— Прелестно,— сказал Крамин.— Но почему я должен сдать взвод Николаеву?

Комбат упорно глядел на пряжку его пояса.

— Это согласовано с комполка,— сказал он. В те дни еще был возможен такой разговор старшего командира с младшим. Видно, комбат рассердился; нахмурясь, он взглянул наконец в глаза Крамину.

— Очень вы легкий человек для Дубровки,— сказал он с грубоватой прямотой.— Стеклышки эти, шуточки... Туда попрочнее нужен народ.

Крамин побледнел.

— Товарищ командир батальона,— сказал он.— Разрешите доложить, что больше месяца я приучал моих бойцов к мысли, что, возможно, скоро от нас потребуется, чтобы мы все вместе умерли. Все вместе, вы понимаете? И вдруг теперь они пойдут, а я останусь. Это невозможно. Это равносильно тому, как если бы мне дали пощечину перед строем.

Голос его от волнения стал тонким и пронзительным. Комбат был старый кадровик. Он понял.

— Хорошо,— сказал он без большой, впрочем, охоты.— Вы пойдете со взводом.

Темной, безлунной, дождливой ночью Крамин переправился через Неву со своими бойцами. Во время переправы немецкими снарядами было убито девятнадцать человек из его взвода.

Крамин покинул правый берег Невы командиром взвода, а высадился на левом берегу командиром роты: два взводных были убиты на переправе, их поредевшие взводы слиты с взводом Крамина, на ходу сформирована рота.

По траншее, до половины заваленной трупами, Крамин полз в глубь территории, отбитой у врага. Немецкие ракеты взлетали над Дубровкой. Немцы строчили из пулеметов по траншее. Весь следующий день Крамин и его люди просидели в окопах под ураганным огнем. К вечеру

Крамин получил приказ — с наступлением темноты вести роту в атаку.

Ползком, перебираясь от окопа к окопу, он поднимал своих бойцов. Дождь не переставал, вода и огонь поливали Дубровку.

Они ходили в атаку, захватили пленных, и уже при возвращении Крамин получил то ранение в спину, которое сделало его калекой на всю жизнь. Той же заваленной трупами траншеей два его бойца, русский и узбек, перетащили его на берег, где под обрывом, в защищенном от снарядов месте, находился пункт первой помощи. Оттуда Крамин в бессознательном состоянии был переправлен через Неву. Некоторое время он лежал в прифронтовом госпитале, потом его перевезли в Ленинград.

Так кончилась его военная карьера.

В ленинградском госпитале стекла окон были выбиты бомбежкой и заменены досками и фанерой. Читать было невозможно. Оставаться сутками наедине со своей болью Крамин не желал. Он разослал записочки знакомым — всем, каких только мог вспомнить. Ему доставили то, о чем он просил: линейку и рулон бумаги.

(Он так и просил — именно рулон.)

Он стал писать.

Он накладывал на бумагу линейку и писал повыше линейки. Кончив строку, спускал линейку немножко ниже. Строчки получались довольно ровные.

Он писал иронические письма жене и друзьям и пародии на стихи, которые передавались по радио.

Он был гурман, все стихи казались ему плохими.

Пародии выходили хорошие и искренне забавляли его. Бомбежки его не волновали: после Дубровки они казались совсем не страшными. Боль он переносил. Очень тяжел был холод; раненые лежали в гимнастерках, ушанках, чуть ли не в рукавицах. Крамин предпочел бы лежать в одном белье, он так привык. Ему не разрешали.

Он знал, что кругом люди умирают от голода. Он переносил это так же, как боль в позвоночнике: таял, как свеча на огне, и писал смешные эпистолы.

Одна женщина, жена его приятеля, принесла ему богатый гостинец: несколько печеных картофелин, стакан меда и постное масло, налитое в флакон из-под духов. Эта женщина, которую он знал легкомысленной модницей, пришла к нему в грязном платке и стоптанных мужских

валенках, она казалась старее лет на тридцать. Он был тронут. Он поцеловал ее руку и написал ей сердечное письмо без всякого фиглярства.

В поезде Крамину не хотелось писать, он читал и разговаривал.

Народ кругом подобрался уравновешенный. Персонал предупредителен и вежлив — видимо, очень крепко держит его чья-то рука.

Особенно прелестна была простодушная и веселая женщина с завитыми стружкой волосами, которая так обрадовалась, когда он похвалил Вербицкую.

Нравилось, что он куда-то едет. Он всегда любил ездить и ездил много. Даже пытался устроиться на ледокол, шедший в арктическую экспедицию. Помешало то, что как раз в это время он влюбился — роман, женитьба,— Арктика была отложена.

Теперь, конечно, ему уже никогда не придется побывать в Арктике.

Это ничего.

Он едет, за окном мелькают знакомые мирные пейзажи, он перечитывает знакомые книги, он сделал все, что успел, что дала сделать судьба,— хорошо.

В поезде было не принято сообщать раненым маршрут. Этой коварной тактике командование поезда было научено горьким опытом первых рейсов. Стоило заикнуться о том, что поезд идет, например, через Москву, как в нем сейчас же обнаруживались десятки москвичей, которые начинали требовать, чтобы их оставили в Москве. Каждый желал лечиться у себя на родине. Доходило до скандалов, до прямых попыток бегства из поезда. Чтобы положить этому конец, решили держать маршрут в секрете.

Но Крамина нельзя было провести. Он слишком хорошо знал железнодорожную географию. На третий день рейса он поманил к себе Данилова.

— Товарищ комиссар,— сказал он прилично-конфиденциально,— мы едем через Свердловск.

— Ничего подобного,— сказал Данилов.— Вы ошибаетесь.

— У меня просьба,— сказал Крамин.— Моя жена в Свердловске. Дайте ей знать, прошу вас, что я еду через Свердловск. Мне хотелось бы повидаться с нею. Вот адрес. Если вас не затруднит. Буду чрезвычайно признателен.

— Да вы ошибаетесь, я вам говорю,— сказал Данилов, но адрес взял и телеграмму послал.

Еще был в вагоне Колька.

В истории болезни он назывался солидно: Николай Николаевич. Но весь вагон звал его Колькой и говорил ему «ты».

Было ему восемнадцать лет, он пошел на войну добровольцем, отличился под Вязьмой, был ранен, вылечился, опять попал на фронт, отличился под Орлом, был ранен и теперь ехал в дальний тыл для основательного лечения.

У него было уже два ордена, и третий ему предстояло получить. Он говорил об этих орденах с доверчивым восторгом, уверенный, что все разделяют этот восторг и смотрят на него, Кольку, с неизменным доброжелательством.

— Колька ты, Колька,— говорил толстый капитан в гипсовом корсете,— к концу войны у тебя будет полный набор всех орденов. Лопай малину.

Колька ел малину и облизывал пальцы. Крамин делился с ним своим сахаром, потому что Кольке дневной нормы не хватало.

Какие подвиги он совершил, он никак не мог рассказать толково. Бежал, стрелял. Полз, стрелял. Сидел, стрелял. В тактике он разбирался слабо. Хорошо усваивал только свою прямую функцию и хорошо выполнял ее, так выходило по его рассказам и его орденам. Капитан, внимательно слушавший его, сказал:

— Видать, командир у тебя был хорош, без командира ты, брат, ни черта бы не отличился.

Колька был из Воронежской области. Три года назад кончил семилетку, работал в колхозе бригадиром молодежной бригады. Крамин спросил его, почему он пошел добровольцем, не дождавшись, пока его призовут. Колька ответил:

— А они хотят колхозы порушить и землю помещикам отдать.

Он сказал это просто, без надрыва, как говорят о бешеной собаке, что она бешеная.

Немцы, по словам Кольки, не страшные, бояться их нечего.

— Они на испуг нас хотели взять — чем? — мотоциклетками. Сядут триста человек на мотоциклетки и лупят по шоссе. Триста, а то четыреста... Тарахтят, треск,

дым,— и прямо на тебя. Который послабже, тот пугается. А что тут страшного — мотоциклетки? Я до войны мечтал купить.

— А теперь? — спросил капитан.— Не мечтаешь?

— Ну! — сказал Колька.— Теперь я себе мотоциклет задаром добуду.

У него было чистое детское лицо, которого еще не коснулась бритва. Единственный во всем вагоне он стеснялся перед женщинами своей наготы, своей немощи. С задумчивым недоумением останавливались его голубые глаза на Лене.

Он был застенчив и в то же время не мог не говорить о себе и говорил, не боясь, что взрослые мужчины посмеются над ним.

— Самый страшный был момент,— рассказывал он,— когда меня ранили в первый раз. С непривычки от страху даже затошнило, думал — помру.

— Смерти испугался, значит?

— Нет! — ответил Колька.— Мне обидно стало, что я помираю, не повидавши еще ничего в жизни. Не повидавши,— повторил он, строго и требовательно глядя перед собой.

Он был ранен разрывной пулей в обе ноги. В госпитале у него начиналась газовая гангрена, но могучий организм пришел на помощь медицине, и заражение было побеждено. Теперь Колька считал себя здоровым. Он сам, при помощи санитарки, ходил на перевязки. Любил сидеть в шезлонге, положив на колени большие мальчишеские руки. Поза его была полна недетской уверенности и достоинства. «Я кое-что сделал и еще сделаю, будьте покойны»,— говорила вся его фигура и губастое, голубоглазое открытое лицо.

Доктор Белов любил приходить в одиннадцатый вагон и слушать Колькины рассказы. Нет, конечно, Игорь не такой, совсем не такой. И лицо другое, и характер. «Игорь — тепличное растение, а Колька ясен, чист и свеж, как полевой цветок»,— думал доктор. Но Игорь был такой же мальчишка, как Колька, даже еще моложе; и доктору было приятно смотреть на Кольку.

Данилов в неловко натянутом на саженные плечи белом халате сидел около Глушкова и пересказывал сегодняшнюю сводку. Выйдя на середину вагона, Данилов

носком сапога стал чертить по половику карту Черного моря и крымских берегов; немцы рвались к Крыму.

— Трудно сказать, конечно, как будет,— сказал Данилов,— но, во всяком случае, на Севастополе он себе сломает не один зуб.

Он — это был фриц, немец, Гитлер, фашист, враг.

— Да, Севастополь получит от истории второй орден,— сказал капитан в корсете.

Заговорили о Москве, Ленинграде, оказавших немцам неслыханное сопротивление.

Данилов, говоря, все время обращался к Глушкову, словно приглашая его принять участие в разговоре.

И Глушков разжал стиснутые зубы, чтобы сказать вяло:

— Здорово обороняются наши города.

— Немец выдыхается,— сказал капитан,— факт.

— Я все жду,— сказал с верхней койки бледный красивый горбоносый грузин, раненный в голову,— где он споткнется. Я по географическому атласу гадал, откуда мы пойдем его гнать.— Он говорил с мягким акцентом и, договорив, сам засмеялся над своим гаданьем.

— Атлас для гаданья не годится,— сказал капитан.— А вот [redacted] видел [redacted] Пензе одну гадалку — поразительно предсказывает.

Тут же все засмеялись. Данилов собрался уходить. По утрам после завтрака он обходил вагоны и сообщал сводку. Перед уходом он крепко положил руку на плечо Глушкову.

— Бодрее, товарищ лейтенант,— сказал он так, чтобы только Глушков его услышал.— Бодрее. Есть надо, спать надо, жить надо.

Глушков взвел на него недоверчивые глаза.

— С двумя ногами жить весело,— сказал он громко.

— Безусловно, веселее, чем с одной,— сказал Данилов.— Никто не спорит. Но прикиньте: где вы побывали, там многие сложили головы. А у вас голова — спасибо, цела. Протезы делают нынче великолепные, ампутация у вас мировая, ходить будете легко. Надо считать, что вам повезло.

— Чем жить калекой,— сказал Глушков,— лучше умереть.

— Неправда,— спокойно и отчетливо сказал вдруг Крамин.

Он снял очки и подышал на стекло. Все замолчали — его любили слушать.

— Комиссар прав,— продолжал Крамин, аккуратно протирая стекла краем простыни.— То, что произошло с вами, редкая удача. Вы шли умереть (он рассматривал очки на свет)... и вы остались жить. То есть вы получили жизнь вторично. Придумайте что-нибудь равноценное этому подарку.

Он замолчал. Все ждали, что он будет продолжать.

Наконец капитан спросил:

— Милый человек,— хочу до конца понять вашу мысль,— а себя вы тоже считаете удачником?

— Несомненно,— отвечал Крамин.

Данилов ушел. Все замолкли, утомленные разговором. Вагон притих.

— Вот вы спрашивали Кольку,— отрывисто и неприязненно сказал Глушков, обращаясь наверх, к Крамину,— почему он пошел добровольцем. А вы как пошли на войну?

Крамин свесил с койки голову и заглянул вниз, на Глушкова.

— Извините,— сказал Глушков вызывающе.— Я вижу, что вы человек уже не особенно молодой и для войны не очень приспособленный. Специальность у вас, сразу видно, какая-нибудь ученая... Почему вы пошли? Чтобы порисоваться?

— Я состоятельный человек, видите ли,— сказал Крамин, возвращаясь к книге.— Я ходил защищать мое богатство.

Лена, проходя мимо койки Глушкова, заметила, что он плачет. Его спина и затылок дрожали не [redacted] такт толчкам поезда, а своей отдельной дрожью. Плечи судорожно поднялись и опустились...

— Саша! — шепотом позвала Лена, наклонясь к нему.— Саша, что ты!

Он глубже зарывал голову в подушку, стыдясь и [redacted] то же время радуясь, что кто-то подошел, пожалел... Она гладила обеими руками его стриженую голову.

— Саша, ну ничего, ничего...

Он повернулся к ней мокрым горячим лицом.

— Они думают... что я трус!

— Сашенька, что ты. Никто не думает, что ты выдумал, ну успокойся...

— Я же... совсем другое. Мне — море, [redacted] — что на море уже не вернусь, вы не понимаете!

— Тише, тише. Ну, успокойся. Ну, выпей водички. Ничего, ничего...

Он глотнул из кружки.

— Черт,— сказал он.— Нервы разыгрались...

— Нервы, нервы. Окрепнешь, отдохнешь, наладишь свою жизнь — пройдет...

Но он никак не мог сдержать слезы, отвернулся, укрылся с головой...

Комиссар говорит: радуйся, что голова цела, а без ноги проживешь. Этот паралитик наверху говорит: второе рождение. И никто не понимает, что ему больше никогда не попасть на корабль.

В глазах его поднялась, как живая, высокая волна: одна стена ее была темно-зеленая и гладкая, как стекло, а другая морщилась мелкими живыми складочками; гребень на ее вершине вскипал и завивался. От нее пахнуло прохладой, солью, простором, от которого замирает сердце...

Шел обычный, осточертевший обход: доктор, фельдшер, сестра... Глушков слышал знакомые проклятые слова и скрипел зубами.

— Э, голубчик, вы потеете! — сказал доктор Белов капитану и потрогал его корсет.

На корсете проступало свежее пятно гноя.

— Потею, доктор,— отвечал капитан,— потею, что ты скажешь. Но самочувствие — идеальное.

— Не пришлось бы прорубать вам форточку,— сказал озабоченно доктор.

Высокая волна уходила в синюю волю, играя с ветром, сверкая под солнцем. И не было ей никакого дела до человеческих битв и слез.

Сержант Нифонов не принимал участия в вагонных разговорах. Он говорил только самые необходимые слова: «да», «нет», «дайте воды». Увидев нового человека, Нифонов задавал ему вопрос:

— Вы не знали такого — Березу, Семена Березу, пулеметчика?

И называл полк. Но ни соседи Нифонова по койке, ни доктора, ни сестры не знали пулеметчика Семена Березу. Они спрашивали Нифонова, кем ему доводится Береза. Нифонов не отвечал, он закрывал глаза, делая вид, что дремлет.

Хорошо бы узнать, жив ли Береза. Очень хорошо бы узнать, что жив. И если бы еще добиться, где он сейчас...

А разговаривать так, вообще — трепать языком — к чему это? Не о чем говорить, пока не решен самый главный вопрос. По этому вопросу Нифонов хотел бы посоветоваться с Семеном Березой.

Они были знакомы всего десять минут. Но Нифонову казалось, что у него не было и нет друга ближе Березы.

На том окаянном поле, где горячая пыль забивала глотку, справа от Нифонова в окопчике оказался неизвестный парень из другой роты. Нифонов видел сперва только его плечо, пилотку и разгоряченное ухо, парень строчил из пулемета, плечо подрагивало в такт. Наступило молчание, парень повернул голову и посмотрел на Нифонова светло-голубыми выпуклыми отчаянными глазами.

— Друг незнакомый,— сказал он,— поделись табачком!

Лицо у него было черное от пыли. Он взял у Нифонова из кисета щепотку табаку, кивнул и закурил, крепко и злобно зажимая папиросу в твердых губах.

Нифонов догадывался, что с этого поля он вряд ли вернется невредимым. Соседу он об этом не сказал. Он скрутил и себе папироску.

— Дай-ка,— сказал он, и сосед дал ему прикурить.

Они назвали себя друг другу. Снаряд разорвался за леском.

— Ни черта,— сказал Береза негромко.

Немцы отошли, опять начала бить их артиллерия. Береза смотрел перед собой, не жмурясь и не вздрагивая, строгое лицо его было как из чугуна. Нифонову было приятно, что близко от него плечо Березы — крутое, сильное, надежное плечо. Подумал: хорошо иметь близкого друга, хорошая вещь — мужская дружба...— и перестал думать, перестал быть — надолго.

Как сквозь сон, он помнил один спор. Это было в госпитале. Спорили два доктора, думая, что он совсем без памяти и ничего не понимает. Один доктор говорил: придется отрезать обе руки и обе ноги. Другой говорил: только левую ногу. Они долго спорили. Нифонову было все равно. Ему казалось, что настоящий Нифонов умер, а этот Нифонов, о котором идет спор,— другой, чужой, не настоящий, для жизни не нужный, и пусть ему режут что угодно. Хоть голову.

Сквозь слабый звон он слушал голоса докторов, потом вместо воздуха полилось ему в ноздри и рот что-то слад-

кое, удушающее, он покорно вздохнул и заснул крепко, на целую вечность, показалось ему...

Он проснулся. Он думал, что его разбудила боль. Боль была неизвестно где. Везде. Особенно в левой ноге, в раздробленной голени левой ноги. Он застонал слабо, как ребенок,— настоящий Нифонов не мог так стонать. От боли слезы потекли у него из глаз; настоящий Нифонов никогда не плакал. Старушка в очках, сидевшая около его койки, встала и сказала:

— Ну вот, слава богу, очнулся и плачет. Плачь, сынок, плачь. Тебе полезно.

Она ушла. Другая женщина подошла к Нифонову, вытерла ему губы и погладила по голове, как маленького.

Приходили доктора. Они больше не спорили, говорили тихо. Опять пришла старушка в очках, делала Нифонову вливания глюкозы. Спросила:

— Что болит, сынок?

— Нога,— сказал Нифонов.

— Которая?

— Левая.

— Ох-хо-хо! — вздохнула старушка.

Левой ноги у Нифонова уже не было, он узнал об этом на другой день.

С настоящим Нифоновым разве могло случиться такое — чтобы болела нога, которой нет?

В госпитале гордились тем, что удалось сберечь Нифонову правую ногу и обе руки.

— Доктор Черемных — отчаянная голова,— рассказывала Нифонову старушка.— Все поставил на карту: и твою жизнь, и свое имя. Не хочу, говорит, этого красивого мужика делать обрубком... Что ж, рискнул и выиграл. Смелому бог помогает. Смотри-ка, каким от нас выйдешь женихом.

Старушка хвастливо подмигивала:

— Твоя операция будет описана во всех медицинских журналах!

Нифонов слушал безучастно: какое ему дело до удачи доктора Черемных? Все равно этот ослабевший человек, измученный болью, весь в гипсе и бинтах, с неподвижными руками,— это не Нифонов.

Нифонов был уважаемый работник, мастер своего дела. А этот никчемный человек не может повернуться сам — его ворочает санитарка. От лежания на спине у него одеревенел крестец; под него подложен резиновый

круг, надутый воздухом. Человек лежит, и ничего не может, и ничего не хочет. Безразлично, что с ним будет,— умрет ли, останется ли жив...

Та же старушка рассказала Нифонову, что его, раненого, вынес с поля боя товарищ. По слухам, товарищ сам был ранен, но все-таки доволок Нифонова до пункта первой помощи. «Это Семен Береза»,— подумал Нифонов и спросил:

— А он жив?

— Вот уж, милый, чего не знаю, того не знаю,— ответила старушка.

Однажды Нифонову сказали, что его повезут в другой город, в другой госпиталь. Нифонова одели, положили на носилки и вынесли на улицу. Свежий яркий горячий воздух охватил и ослепил его. Ветер рванул фуражку с головы. Нифонов вовремя придержал фуражку, чтобы не улетела...

— Осторожнее с гипсом! — прикрикнула санитарка.

Нифонов растерянно посмотрел на свою руку, которая вдруг начала работать. Вот как? Значит, не врут доктора, он начнет двигаться, сила вернется к нему? Он — настоящий Нифонов?..

От воздуха у него закружилась голова, зазвенело в ушах, он зевнул и задремал на носилках...

Последняя дрема, последний приступ благодатной слабости.

В поезде Нифонов проснулся окончательно. Проснувшись, почувствовал, что спать ему больше не хочется. Что ему очень хочется есть. Что он прежний, живой, настоящий Нифонов, в котором под гипсом и бинтами созревает прежняя сила.

Он лежал и смотрел в потолок. Потолок сложен из аккуратно пригнанных узких дощечек. Низко над койкой. Белый-белый, вымытый. Блестела масляная краска.

Подвесная койка от толчков поезда чуть-чуть покачивалась, как люлька. Но ничто больше не могло убаюкать Нифонова.

Для чего возвращается прежняя сила, когда одной ноги нет, а другая хоть есть, но не сможет ходить,— это-то он понял из туманных разговоров докторов! Что ему делать с прежней силой?

Стоят на фабрике станки, ряды станков. Их точеные части движутся и блестят. Он ходил между ними — лег-

кий, и сам любовался, как неторопливо и споро идет у него работа.

Приходили журналисты и потом писали в газете забавные вещи — например, высчитывали, сколько километров Нифонов проходит по цеху в течение своего рабочего дня.

У него был хороший заработок, хорошая слава, хорошее имя: и отец его, и дед работали на этой же фабрике. Профессию он не выбирал, а принял в наследство, как домик, где он родился и где умерли его родители.

У него есть жена... Приятели посмеивались: послал бог Нифонову семейное счастье. Жена — председатель фабкома. Она возвращалась домой поздно вечером, смотрела на мужа добрыми глазами, затуманенными усталостью, и машинально спрашивала:

— Что я хотела тебе сказать?

Он разогревал ей ужин и наливал чай. Он подшучивал над нею, жалел ее и очень уважал. У них две девочки, они росли как-то сами по себе: зимой ходили в школу, летом уезжали в пионерский лагерь...

Как они все будут плакать, когда узнают, что он без ног. К жене в фабком будут приходить бабы, ахать и жалеть вслух, попросту... Все это пустяки, мелочь. Не такую беду выдерживают люди. Не в ногах дело и не в том, что жена и дочки поплачут.

Дело в том — в каком же образе выйдет из гипса бывший настройщик Нифонов, кем он будет, где теперь его место в жизни? Ни жена, ни дочки, ни умная книга не дадут ответа на этот вопрос. «Только я сам могу решить»,— думал Нифонов.

Данилов проходил мимо.

— Товарищ комиссар,— позвал Нифонов.

Данилов подошел.

— Товарищ комиссар,— повторил Нифонов, стесняясь,— вы не помните, вам случайно не пришлось перевозить такого — Семена Березу, пулеметчика?

Данилов подумал:

— Нет, не вспомню. Родственник?

— Да нет, так,— ответил Нифонов,— знакомый один.

Ему казалось, что только с Семеном Березой он мог бы посоветоваться о своем деле.

Дело было такое.

В прежние мирные и счастливые дни за Нифоновым водилась маленькая слабость, которой он почти стыдился.

Эта слабость была — баян.

Баян остался в доме от старшего брата, убитого в империалистическую войну. Нифонов самоучкой научился играть. Он любил музыку, у него был верный слух. Одним из первых он отважился исполнять на баяне вальсы Шопена.

До женитьбы он охотно играл на именинах и свадьбах. Жена сказала, что это неинтеллигентно. Впрочем, она разрешила ему играть в клубе на вечерах самодеятельности.

С годами он выступал все реже: прошла молодость, которой все позволено; он стал солидным человеком, о нем писали в газетах, у него была почтенная специальность, жена его была на виду у всей фабрики. Ему самому стала казаться неприличной его страсть к баяну. Он играл дома, когда никого не было.

Теперь он лежал и думал: а что в баяне непочтенного? Это все Ольгина фанаберия. Подумаешь, член фабричного треугольника. Очень хорошо, на здоровье,— а я буду играть на баяне.

Ему представилось, как он медленно, на протезе и с костылем, выходит на эстраду. В зале притихли, смотрят на его костыль... Нифонов садится на стул. Мальчик-ученик подает ему баян.

Может быть, именно баян — его настоящее призвание, а не настройка станков. Кто его знает?

— Такие, Оля, дела. Придется жить с баянистом.

Страшно: вдруг доктора ошиблись? Вдруг он не будет владеть руками как следует? Какое, оказывается, счастье владеть руками и играть на баяне,— он и не подозревал, какое это счастье...

И, что ни говори, как-то жутко в сорок лет, прожив степенную, хорошо устроенную жизнь, пускаться на новый путь. Посоветоваться бы с близким другом, мужчиной, смелым, решительным, без предрассудков...

— Няня! Подойдите. Слушайте, вы не припомните, не встречался вам тут в поезде Семен Береза, пулеметчик?

В Свердловске к доктору Белову явилась очень красивая молодая дама и вручила ему бумагу из эвакопункта. В бумаге было сказано, что младший лейтенант Крамин принимается в свердловский госпиталь.

— Он очень искалечен? — спросила дама.— Я его жена,— прибавила она.

— Он будет пользоваться костылями, знаете,— ответил доктор.— Но для умственной деятельности он сохранен. Безусловно сохранен. И знаете,— продолжал доктор, движимый желанием сообщить даме как можно больше утешительного,— он удивительно владеет собой.

— Да? — сказала она.— Это хорошо.

Она держалась очень прямо, закинув голову, и говорила спокойно и негромко. Чем-то ее красивое лицо напоминало лицо Крамина... «Он ее многому, должно быть, научил»,— подумал доктор.

Вместе с дамой он прошел к одиннадцатому вагону. Крамина вынесли на носилках. Дама тихо и прямо стояла около доктора... Жаркое солнце осветило желтый череп и тонкую желтую шею Крамина и вспыхнуло в стеклах его очков. Дама вдруг шагнула вперед и наклонилась над носилками.

Крамин слегка отстранил ее и, жмурясь от солнца, сказал:

— Здравствуй, здравствуй, Инночка.— Он поцеловал ее смуглую тонкую и крепкую руку.— Разреши мне попрощаться с доктором...

«...и многому еще научит»,— думал доктор, глядя, как она шла по перрону рядом с носилками, что-то говоря мужу и повернув к нему свою прекрасную голову преданно и покорно.

Глава седьмая
ПИСЬМА

На обратном пути из Омска санитарный поезд застрял в потоке, двигавшемся на запад. Маршруты с танками, самолетами, орудиями и горючим вырывались вперед по зеленым улицам открытых семафоров. Санитарный поезд двигался медленно, то и дело вынужденный уступать дорогу очередному километровому маршруту с военным грузом. В Перми простояли восемь суток.

Все люди в поезде утомились не столько от длительного рейса порожняком, сколько оттого, что в эти бездельные дни упорно думалось о доме, о близких, о том, когда же будут письма...

Особенно мучился доктор Белов.

Скоро год, как было написано то письмо от пятого сентября. Уже и вторая посылка пошла в Ленинград из Омска, а из Ленинграда ни слуху ни духу.

Письма, конечно, есть, они лежат в В*, в их почтовом ящике. Но когда поезд попадет в В*?

Данилов решил командировать кого-нибудь за почтой.

Желающих ехать было достаточно: многие были из В *, командировка означала возможность побывать дома. Сам Данилов охотно поехал бы...

Он выбрал Лену.

— Живым духом туда и обратно,— сказал он ей.— В РЭПе узнаешь, где нас поймать. С пассажирскими не связывайся, товарными скорей доберешься. С поезда на поезд на всем ходу. Ну, тебя не учить.

Он дал ей маленькую посылку, с килограмм весом, аккуратно перевязанную веревочкой; за веревочку заткнута бумажка с адресом.

— Вот, передашь. Там сын растет, ему нужно.— Он сдвинул брови, чтобы скрыть улыбку, выдававшую его слабость к сыну.— Посмотришь, каков он, не захирел ли. Жена и напишет, так у нее ничего не поймешь.

С полной сумкой писем и адресов Лена пересела на первый подвернувшийся товарный маршрут и уехала, а в санитарном поезде еще медленнее потянулись дни ожидания.

Ольга Михайловна придумала сварить для раненых варенье и насушить грибов. Пошли с ведрами в лес. Юлию Дмитриевну немного волновало — пойдет ли Супругов. Она была в восторге, когда он спросил ее:

— Вы разрешите присоединиться к вам?

Именно к ней он обратился с этим вопросом; не к Ольге Михайловне и не к Фаине, которые тоже собирались, а к ней.

Ей было сперва неловко, когда они пошли рядом. Она не привыкла гулять у всех на глазах с мужчиной, в которого была влюблена. К счастью, вместе с ними пошли Фаина и несколько санитарок. Фаина повязала голову желтой косынкой и овладела разговором. Закидывая голову, она хохотала, хотя смешного ничего не было. Юлия Дмитриевна молчала и думала о том, что она, Юлия Дмитриевна, никогда не смеялась так громко. И о пустяках она не умела разговаривать, все ее речи звучали серьезно и поучительно,— может быть, это и отпугивало от нее мужчин... Да, мужчины любят вот таких женщин, ярких и шумных, которые, не задумываясь, бросают лег-

кие двусмысленные словечки и хохочут, запрокидывая голову и надувая горло. «Что же делать, если я так не умею?»— рассудительно думала Юлия Дмитриевна. И ей уже было досадно, что Фаина пошла с ними...

В лесу девушки отделились от них, и они остались втроем — Юлия Дмитриевна, Фаина и Супругов. Фаина первая нашла грибное место и кричала Супругову, чтобы шел ей помочь. Супругов не торопился: он прислонился к сосне, закуривая самодельную папиросу,— Юлии Дмитриевне он показался в этот момент необыкновенно интересным,— и, казалось, забавлялся бурными зазывами Фаины. Он поймал взгляд Юлии Дмитриевны и сказал, улыбаясь:

— Жизнерадостная особа, правда?

Ей стало сразу весело: он вовсе не очарован Фаиной, он иронизирует по ее адресу, а она-то думала, что Фаина непременно его очарует... Нет, видимо, он действительно предпочитает всем женщинам в поезде Юлию Дмитриевну.

Фаина не намеревалась сдаться так легко, она пришла и утащила Супругова, крепко держа его под руку и подталкивая плечом и даже, кажется, коленом... Юлия Дмитриевна шла за ними, слегка посмеиваясь. Присутствие Фаины теперь не тяготило ее, напротив — оно было поводом к какой-то особенной дружеской интимности ее с Супруговым, к каким-то взглядам и усмешкам, смысл которых был понятен только им двоим...

К сожалению, приятная прогулка длилась недолго, потому что грибов было множество и ведра наполнились слишком быстро. Выручила Фаина. Она объявила, что воздух в лесу целебный и что незачем возвращаться так скоро домой, в вагонную духоту. Она легла у опушки на мягкую траву в огромной черной тени леса, предвещавшей близость вечера, и позаботилась о том, чтобы принять самую соблазнительную, по ее понятиям, позу. Юлия Дмитриевна и Супругов скромно сели рядом.

— Доктор,— сказала Фаина с закрытыми глазами,— скажите, вы всегда были такой неживой?

Супругов сделал вид, что не понял.

— Как неживой? — спросил он, переглянувшись с Юлией Дмитриевной.— Я всегда ощущал в себе достаточно жизни.

— Ваши ощущения вас обманывают,— сказала Фаина протяжно.

И так как он молчал, она взялась за него снова:

— Вы любили когда-нибудь?

— Странный вопрос,— ответил Супругов.

— Вы — удивительное явление,— сказала Фаина.— Сорокалетний холостяк в наши дни — редкость. Теперь все женаты, на кого ни взгляни. Мальчишки двадцатилетние — и те женаты, или женятся, или есть невеста. У вас есть невеста?

— Но я же не мальчишка,— пошутил Супругов.

— Нет, позвольте, позвольте! — закричала Фаина, с детской резвостью кувыркнувшись в траве, чтобы повернуться к нему лицом.— Отвечайте на вопрос!

Юлия Дмитриевна слушала разговор и глядела на небо. Оно было прекрасно на исходе дня — не голубое, не золотистое — высокое, неопределенной окраски и все насквозь пронизанное нежным, умиротворяющим светом.

«Мне хорошо,— думала Юлия Дмитриевна, улыбаясь этому небу, и этому разговору, и неопределенной светлой надежде, которая рождалась или готова была зародиться в ее сердце.— Мне очень хорошо».

— Форменный обалдуй,— сказала ей Фаина, когда они вернулись в поезд.

Лена шла по знакомому городу.

Было досадно, что трамвай не ходит, что-то случилось с путями,— хотелось скорее добраться до РЭПа и получить Данины письма. Невольно она отметила, что на улицах очень мало мужчин, почти все одни женщины. На станциях не то, там почти сплошь мужчины в военной форме...

Но вот она дошла до бульвара, осененного широкими спокойными вязами, и замедлила шаг. Сейчас она пересечет бульвар, и в переулке откроется дом, второй от угла, трехэтажный серый дом, обитель ее короткого счастья... Вот он, такой же, как год назад. Только немножечко обветшал, и парадная дверь уже не кажется такой парадной, она даже как будто стала чуть-чуть ниже и уже...

Нет, она зайдет сюда потом, сначала надо получить почту.

В РЭПе ей выдали целую кучу писем и десятка два посылок и бандеролей. Посылки были маленькие. Лена ссыпала их в мешок. Проворно она перебрала письма: на ее имя ничего не было.

Она села на скамью в пыльной экспедиции и еще раз пересмотрела все письма по одному. Вот Данилову пись-

мо; по обратному адресу видно, что от жены; и ему же письмо в большом конверте со штампом Центрального Комитета партии. Вот доктору Белову письмо из Ленинграда. Вот Наде, и опять ей, и опять,— от жениха, наверно... Богейчуку штук тридцать. Всем есть, решительно всем, до единого человека, только ей, Лене, ни одного письма.

Она ссыпала письма в тот же мешок, где были посылки, взвалила мешок на спину и пошла домой.

Может быть, письма там. Он писал на воинский адрес, а потом почему-нибудь передумал и стал писать на домашний. У соседей спросить или в домоуправлении.

С мешком за плечами, не горбясь и не задыхаясь, она быстро поднялась на третий этаж.

Дверь с английским замком. У Дани был свой ключ, какой-то неудачный ключ, отпирал не сразу. Лена всегда слышала, как Даня возится с замком, стараясь открыть его, и нарочно не шла отворять: ей нравилось слушать, как нетерпеливо ключ царапается в скважине.

У соседей писем не было, у них ничего не было — ни дров, ни керосина, ни мыла, ни ниток. Они окружили Лену, эти старухи, сидевшие дома, и перечисляли все, чего у них нет. Молодые были в армии или на работе.

Лена отстранила старух и спустилась в домоуправление.

Там тоже не было писем. Она взяла ключ от своей комнаты и не спеша поднялась наверх. Она вдруг почувствовала страшную усталость. Трое суток она почти не спала и ни разу не раздевалась.

В комнате все вещи были на тех местах, где она оставила их. Везде толстым слоем лежала пыль. Белая занавеска стала желтой.

Недокуренная папироса лежала в пепельнице — Данина папироса...

Лена сняла сапоги, легла на диван и стала отдыхать, как ее когда-то учили: ослабив все мышцы и дав покой всему телу. Она не понимала, почему нет писем, но беспокойства у нее не было: Даня жив. В комнате пахло его табаком... Умирают те, у кого есть в жизни какая-нибудь трещина; вот в эту трещину и проникает смерть. К нему у смерти нет лазейки. Чудесно наполненной была его жизнь; что может пресечь его дорогу?

Он — мертвый? Кто угодно может умереть, только не Даня.

Закрыв глаза, она поцеловала его и уснула.

Часа через два она проснулась, отдохнувшая и бодрая, и стала прибирать в комнате. Сняла грязные занавески, обтерла пыль и вымыла пол. Папиросу оставила в пепельнице.

В кухне возилась соседская бабушка. Она что-то жарила на электрической плитке и при виде Лены проворно выдернула из штепселя электрошнур.

— Вот — лимит какой-то ввели, бытовые приборы не велят жечь,— неопределенно пожаловалась она и унесла плитку с чадящей сковородой к себе в комнату.

Лена накормила соседскую бабушку паштетом и напоила чаем с сахаром. Бабушка пила чай и жаловалась, что внук съел ее конфеты.

«Скупо живут на гражданке,— подумала Лена.— Мы лучше живем».

Она приняла холодную ванну и с удовольствием надела широкий мягкий халат. В этом халате она была совсем другая, она была та Лена, на которую оглядывались на улице... Стоя перед зеркалом, она улыбнулась себе. «Да, мы такие,— сказала она, подняв левую бровь.— Мы такие, мы можем по-всякому, мы можем как нам будет угодно...» И сразу сбросила халат: ей вдруг пришло в голову, что письма могут оказаться у Кати Грязновой.

Каким образом они могли быть у Кати — непонятно, муж Лены не очень-то и жаловал Катю, говорил, что она дура и мещанка, но Лена верила, что письма должны где-то быть и нужно только постараться их разыскать.

Катя встретила ее рыданьями и воплями — ее муж, тот самый молодой человек с мандолиной, был убит; два месяца назад Катя получила похоронную.

— Ты не знаешь, как он меня любил! — рыдала Катя.— Он меня буквально носил на руках!

Лена вспомнила, как Катин муж прислал ей письмо с объяснением, и невольно подумала, что вряд ли он мог здоровенную Катьку носить на руках, скорее наоборот... Но Катино горе было искренне и шумно; она в подробностях рассказывала, как ее вызвали в военкомат, усадили на стул и стали *готовить*, и она все поняла, и ей стало дурно, и ей дали воды, и как она до сих пор переживает и не может перестать переживать... И слезы ручьями бежали по ее добрым толстым щекам.

— От Дани нет писем,— сказала Лена.

— Везде горе, везде,— шелестела в соседней комнате

Катина мама.— Ни одного дома не минует, всех переберет...

Писем у них, конечно, не было.

Вечером Лена отправилась разыскивать дом Данилова.

Дом этот находился на окраине, которую начали застраивать перед войной. Вход был со двора, ворота заперты. Пока Лена шла, уже стемнело. Она постучала в окошко, освещенное неярким светом.

Окошко открылось створками на улицу, как в деревне. Отодвинулась занавеска. Женщина в платочке, очень простенькая, высунулась из окна.

— От Ивана Егорыча с посылкой,— сказала Лена.

— Ох, господи,— сказала женщина.

Она впустила Лену во двор и через темную кухню провела ее в комнату. Около швейной машины горела кабинетная настольная лампа. Все стулья и диван были завалены огромными свертками ваты и кусками материи защитного цвета. В углу дивана, в забавной и неудобной позе, спал ребенок лет пяти, положив голову на сверток ваты.

— Вы садитесь, пожалуйста,— говорила женщина тихим растерянным голосом.— Вы из санпоезда?

Она усадила Лену, а сама стояла против нее, то вкалывая швейную иглу в отворот блузки, то вынимая опять.

— Ну, как он там,— спросила она,— здоров?

— Ничего, здоров.

— А не передавал он, не слышно там у вас, когда конец?

Лена не поняла:

— Какой конец?

— Войне конец. Ведь уж всем надоело.

Лена смотрела на нее с удивлением. Не такою представляла она себе жену Данилова.

— Нет,— сказала Лена,— откуда же он знает. Вот посылку передал.

— Опять сахар,— сказала Данилова, взяв посылку.— Зачем он это, ведь от себя отрывает, а Ванюшка сыт. Вы ему скажите, мы сыты, выпутались из тяжелого положения, пусть не беспокоится, мало заботы ему... Заснул,— сказала она, перехватив взгляд Лены, устремленный на ребенка.— Некогда было раздеть его, так и заснул, где играл. Я, вот видите, работаю. Надомница. Ватники на армию шьем. Не хочется отдавать его в садик,— неважно

там кормят, так я беру на дом. Все-таки дают рабочую карточку... Я сейчас поставлю самовар.

Лена попробовала отказаться.

— Нет уж,— сказала Данилова,— как же так, от Ивана Егорыча человек, и я даже чаем не напою. Нельзя!

Она колола в кухне лучину и, заглядывая в дверь, говорила:

— Сейчас слава богу, а когда только ввели карточки, я даже растерялась — как же мы с Ванюшкой проживем? Много значит привычка: мы до войны привыкли кушать очень хорошо... Иван Егорычу, конечно, не писала,— чем он может помочь, аттестат прислал, а больше что с него взять? Он и сам видел, когда заезжал... Ну, сначала огород выручал, я картошку продам — молока куплю, а теперь вот у меня рабочая карточка, так что совсем ничего. Потом у меня родня в деревне, они мне, спасибо, иногда сметаны привозят, я из сметаны масло для Ванюшки бью. Меркулов помогает — нынешний директор треста: весной дров прислал и опять обещает... Вы ему, пожалуйста, передайте — хорошо, мол, живут, пускай не думает...

— А вы бы ему сами написали,— сказала Лена.

— Ну как я там пишу,— сказала Данилова.— И некогда мне с этой работой.

Ели картошку, разогретую на щепках, и пили чай в кухне за столом, покрытым чистой клеенкой. Вообще каждая вещь в домике была очень чистая, и Лена подумала, что в доме Данилова иначе и быть не может. Сахар в вазочку Данилова насыпала из пакета, привезенного Леной. Масла не было вовсе.

— Давно не привозили сметаны,— сказала Данилова, оправдываясь.— А карточку за август еще не отоваривали.

«Да, скудно живут на гражданке»,— опять подумала Лена.

— Я и Ванюшку приучаю работать,— сказала Данилова.— Не дай бог чего, мы с ним вдвоем останемся, всякое дело должен уметь...

Лена все больше дивилась: да неужели Данилов даже не сообщил жене, что поезд перевели в тыл?

— Мы теперь на фронт больше не ездим,— сказала она.— Все время в тылу. Так что вы не бойтесь.

— Ну, мало ли что,— вздохнула Данилова.— Военное время. Где угодно могут разбомбить.

Она задумалась, в ее усталом лице было выражение готовности принять любой удар судьбы...

«Как они живут вместе? — думала Лена, идя домой.— Как он живет с ней? Как она живет с ним? О чем они говорят? Как это скучно, должно быть... То ли дело я и Даня».

На другой день она выполнила остальные поручения и поехала навстречу санитарному поезду. В РЭПе ей сказали, где его искать.

Стояли в З*, на узловой станции. Станция была забита поездами — все военные, все первой очереди.

В вагонах нечем было дышать.

Доктор Белов прошелся вдоль поезда. Сухая угольная пыль противно хрустела под ногами... Из-под вагона команды пел петух: там помещались поездные куры в специальных клетках. Около вагона стояли красноармейцы и детишки. Носильщик остановился со своей тележкой и заглядывал под вагон. Какая-то девочка, подпрыгивая, кричала:

— А когда поезд идет, у них хвосты развеваются!

Тут же стоял Кострицын со строгим и недовольным лицом. Красноармейцы смеялись. Один сказал:

— Петух, обратите внимание, и под вагоном поет. Такой мужчина неунывающий.

Другой сказал, поплевывая шелухой тыквенного семени:

— Боец за курами ходит.

Доктор подошел ближе... Красноармейцы посмеивались.

— Вы видите, товарищ начальник, что делается? — спросил Кострицын.

— Ну-ну,— сказал доктор.— Все это не так страшно.

— В один прекрасный день,— проворчал Кострицын,— я лягу под паровоз через эти насмешки.

— Глупости,— сказал доктор.— Зайдите ко мне, поговорим.

Он пошел дальше. На крыше восьмого вагона Супругов принимал солнечную ванну. Он был в трусиках и тюбетейке. В окне вагона-кухни тряслись толстые голые руки Фимы — она ощипывала курицу. Тарахтела механическая картофелечистка. Слышался голос Соболя:

— Почему вы считаете прежнее количество порций, когда Огородникова уехала? Вы считайте минус одна порция. А у Низвецкого колит — считайте минус еще одна порция...

«Однако,— подумал доктор Белов,— какую картину полноты жизни являет наш поезд».

Ему вспомнился их первый рейс. Вот этот кригер тогда горел, все стекла вылетели. Теперь у них под вагоном несутся куры. Поезд оброс бытом, он стал жильем, домом, хозяйством.

«Что же,— подумал доктор,— это естественный ход вещей».

Он подумал это вяло, он заставлял себя думать о том, что его окружало. С тех пор как уехала Лена, его томила тревога. Те доводы, которыми он себя еще недавно успокаивал, теперь казались ему детскими. Он уговорил себя, что все будет благополучно, и тешился своими выдумками. Если даже та посылка дошла к ним, на сколько времени им могло хватить ее? Ну — на месяц, при очень большой экономии... На днях он узнает их судьбу. Он будет держать в руках конверт, исписанный Сонечкиным почерком. Он знал этот почерк наизусть, каждую буковку знал по памяти и каждый хвостик... Почему один конверт? Пачка конвертов. Ах, пусть хоть один, хоть знать, что они существуют...

Был такой же жаркий день прошлым летом, в начале июля. На станции Витебск-Сортировочная, в Ленинграде. Так же стояли составы на всех путях... Нет, там их было меньше. И вдруг откуда-то вышла Сонечка в сером платьице...

Он спрашивал у Данилова, когда вернется Лена, тот сказал — дней через восемь.

Восемь? На всякий случай возьмем десять.

Доктор нарисовал в своей клетчатой тетради десять синих кубиков. Когда кончался день, он перечеркивал один кубик красным карандашом.

Все это утро Данилов провел у коменданта, добиваясь отправки поезда. К обеду подали паровоз. Из З* выбирались мучительно, застревая у каждого семафора. Наконец пошли немного веселей.

И вдруг понеслись полным ходом, пролетая с грохотом мимо крупных станций, где стояли, провожая их взглядом, люди с поднятыми флажками: пришла телеграмма о том, что им надлежит срочно прибыть в Р* для приема раненых.

Был вечер. Доктор Белов достал свою тетрадку и хотел перечеркнуть еще один синий квадратик, седьмой по счету:

семь дней не было Лены... Постучали в дверь. Это был Кострицын. Он шагнул в купе — седой, громоздкий, руки по швам.

— Вы садитесь,— сказал доктор.— Давайте, знаете, поговорим попросту. Вы сядьте. Сядьте, сядьте.

Кострицын сел.

— Ну? — сказал доктор.— На что вы жалуетесь?

Кострицын покашлял в кулак.

— Товарищ начальник,— сказал он,— вы тоже не молоденький, войдите в положение. Буквально нет такого человека, чтобы не скалил зубы.

— Да,— сказал доктор,— это, конечно, феерия — я говорю о курах. Но раненым, знаете, полезны свежие яйца. Очень полезны.

Поезд замедлил ход, приближаясь к станции. Он остановился, но сейчас же послышался свисток, и колеса снова пришли в движение...

— Товарищ начальник,— начал Кострицын вторично,— я не для того записывался добровольцем, чтобы кур пасти. Я думал, что санпоезд — это тоже боевое дело. А тут ни за что ни про что, изволь радоваться...

— Мне говорили,— невинно польстил доктор,— что вы любитель и специалист по части сельского хозяйства.

Кострицын кивнул головой:

— Точно, я это дело понимаю с детства. У нас в поселке все занимались. Лично я держал козу. Но одно дело дома, другое тут. Против поросят я не имею возражения: они в багажнике. Никто тебя не видит. Шито-крыто. Без улыбок этих. Но куры, будь они прокляты! У всех на виду!

— Ах, Кострицын,— сказал доктор, вздохнув,— все это такая мелочь... Будет день — мы их всех съедим под белым соусом...

Кострицын не слушал:

— Надо выпустить размяться? Ведь животное мучается в клетке... Выпускаю, где возможно. Гуляют. Метров за триста уйдут от поезда... Просишь девочек: девочки, попасите их. А девочки молоденькие, о прынцах мечтают, о лейтенантах. Им прискорбно кур пасти. А по сути дела, неужели такая особенная трудность — присмотреть за курами? Они уже поняли, в чем дело: чуть паровоз свистнет — сами опрометью в клетку бегут. Я не через трудности, а исключительно через срам...

— Постойте,— сказал доктор.

Уже с минуту он не слушал Кострицына, прислушиваясь к какой-то суете в вагоне. Сквозь стук колес доносились восклицания, беготня и хлопанье дверей. Кострицын услужливо встал:

— Разрешите пойти узнать?..

— Узнайте.

Кострицын вышел и вернулся, улыбаясь до ушей:

— Товарищ начальник, почта прибыла...

Доктор заморгал и поднялся... В прорези двери встал Данилов, тоже веселый, улыбающийся.

— Вам письмо из Ленинграда, доктор.

— Давайте, давайте,— пробормотал доктор, беря конверт дрожащей рукой.

Письмо, которое Данилов получил из ЦК партии, было коротенькое, вежливое и сухое. Смысл его, несмотря на вежливость, был таков: сидите, товарищ, там, куда вас посадили, и работайте хорошенько, потому что за работу с вас взыщется...

Так. Понятно.

Слегка покраснев, Данилов аккуратно сложил письмо и спрятал в нагрудный карман, где хранился партбилет.

Письмо жены. Он просмотрел его бегло. Живы, здоровы. Поклоны от родственников и знакомых... Лена расскажет вразумительнее. Ах, молодец девка, ловко села, ведь и пяти минут не стоял поезд...

Ему хотелось знать, какое настроение в поезде, кто какие получил вести. Он вышел в коридор. У окна стояли Юлия Дмитриевна, Фаина и Супругов. Фаина держала Супругова за плечо и что-то тараторила. У Супругова был томный вид.

— Меня постигло несчастье,— сказал он с достоинством, когда Данилов подошел.— Скончалась моя матушка.

Данилов не знал, что надо говорить в таких случаях, когда человек, который тебе противен, рассказывает о своем несчастье. Что-то надо было сказать из приличия. Помолчав, Данилов спросил:

— Сколько лет ей было?

— Семьдесят восемь,— отвечал Супругов.

— Да,— сказал Данилов сочувственно,— преклонный возраст.

И отошел: что ж тут еще говорить, померла своей смертью ничем не замечательная старушка, пожившая вволю...

Он зашел к начальнику — узнать, что пишут ему из дому...

Доктор Белов сидел на диване, том самом, где когда-то он сидел с женой. Данилов был поражен: он оставил доктора десять минут назад розовым и бодрым, хотя и взволнованным; сейчас перед ним сидел немощный старичок с серым, изможденным и потухшим лицом.

На столе лежало письмо. Данилов прочитал его.

Доктор тупо смотрел на Данилова. Данилов сел рядом и молчал. Доктор вдруг громко задышал, глаза его налились слезами, руки беспомощно задвигались по коленям и по обивке дивана.

— Вы не можете себе представить! — сказал он шепотом.— Вы не можете себе представить...

Он хотел сказать, что Данилов не может себе представить, каким ангелом была Сонечка и каким ангелом была Ляля и что они значили для него, доктора. Но у него не хватило сил говорить. Его плечи затряслись, он заплакал, закрыв лицо руками, с всхлипываниями и стонами, слезы бежали у него по пальцам и скатывались в рукава, он подбирал свои слезы дрожащими губами, глотал их и давился ими.

И опять Данилов ничего не сказал, сидел прямо, бледный, с сверкающими глазами. Потом, видя, что доктор так не успокоится, вышел в коридор и кликнул сестру Фаину. Фаина принесла бром и люминал. Вдвоем они заставили доктора выпить и сидели около него, пока его не свалил сон. Тогда они ушли. Фаина, выйдя от доктора, заплакала.

— Я бы,— сказала она,— все отдала, чтобы его утешить.

— А я бы,— сказал Данилов,— хотел убить сейчас своими руками хоть одного из тех мерзавцев, которые делают это с нами.

Ночью в Р* поезд принимал раненых. Доктора Белова не стали будить. Данилов объявил, что начальник поезда болен, и сам вместе с Супруговым подписал акт о приемке.

Но утром он вошел к начальнику и доложил, что в шестом вагоне номер двадцатый — незначительное ранение ступни и контузия — капризничает непереносимо, каждые пять минут требует врача, настаивает, чтобы ему сделали общую ванну, не дает покоя соседям, и неизвестно, как его успокоить: хорошо бы начальнику самому зайти к нему...

Из слов Данилова доктор понял только одно — что куда-то нужно идти. Он надел халат и потащился в обход.

Он переходил из купе в купе неуверенными шагами и каждому раненому напряженно всматривался в лицо, словно старался увидеть нечто, что ему непременно нужно было увидеть. Сестра Фаина и сестра Смирнова шли за ним. Смирнова подавала ему листки истории болезни. Доктор брал листок и читал эпикриз с тем же выражением напряженной серьезности. Иногда эпикриза ему казалось недостаточно, тогда он прочитывал всю историю болезни.

Он боялся, что прочитает не то, что написано, и сделает не то, что нужно. Он боялся навсегда разучиться лечить, думать, читать. Мир отступил от него, потерял свои звуки, запахи, свою осязаемость. Это было совершенно естественно: мыслимо ли думать, что мир останется прежним, если в нем больше нет Сонечки и Ляли?

Но по мере того как доктор проходил один вагон за другим, он все больше понимал, что происходит около него. Слова, написанные в эпикризах и сказанные окружающими, быстрее доходили до его сознания и вызывали те соображения, которые им надлежало вызвать. Внимание привычно сосредоточивалось на привычных предметах, и эти предметы вновь приобретали свои прежние свойства. Голоса не доносились уже бог весть из какого далека и не были одинаковыми, они раздавались рядом. Каждый голос имел свое собственное звучание. Гипсы и бинты источали своеобразный неприятный запах. Стетоскоп доносил до слуха знакомые шумы. Этого больного надо в изолятор, у него признаки начинающейся пневмонии правого легкого.

Мир желал жить по-прежнему, несмотря на то что Сонечки и Ляли не было в нем. Это было непонятно и ужасно, но доктор ничего не мог поделать с этим. Сам он жил. Он хотел видеть капризного больного, о котором докладывал Данилов.

Номер двадцатый оказался крепким мужчиной тридцати лет с курчавыми волосами и румяными щеками. Он скинул рубашку и валялся поверх сбитых простынь, голый до пояса. Торс у него был розовый, плечи круглые, женственные. «Лутохин Иван Миронович»,— прочитал доктор в листке.

— На что жалуетесь? — спросил доктор.

Лутохин жаловался на жару.

— Мне всегда жарко,— сказал он.— В госпитале мне делали общие ванны, только ими и освежался.

И он стал стонать, громко и театрально, закидывая голову и закатывая глаза.

— Ну, ну, ну! — сказала Фаина.— Не так уж больно.
— Мне нечем дышать,— сказал Лутохин.
Доктор просмотрел историю болезни. Лутохин был ранен и контужен незначительно. Припадков за последние две недели не было. Заживление раны шло нормально. В госпитале ему делали общие ванны, так как отмечено, что это улучшает его настроение.
— У нас нет ванны,— сказал доктор.— Душ — пожалуйста. Можно местную ванну.
— На черта мне душ! — закричал Лутохин и выругался.— Я хочу сесть в ванну и сидеть, черт бы вас всех побрал!
И он принялся стонать еще громче.
— Замолчи, симулянт,— сказали с верхней полки.— Товарищ доктор, что вы с ним возитесь, он же симулирует все.
Доктор велел измерить температуру. Оказалось 37,1.
— Видите! — сказал Лутохин зловеще.
Осмотр показал несколько повышенное кровяное давление, ослабленную реакцию на свет и нечистое дыхание, характерное для курильщика со стажем.
— Аппетит хороший,— сказала Фаина.— Стул нормальный.
— Уверяю вас — ничего страшного,— сказал доктор Лутохину.— Вы должны запастись терпением на несколько дней пути. В госпитале вы снова получите ванну и легче будете переносить жару.
Лутохин подскочил и выругался с яростью.
— Тише, тише,— сказал доктор.— Тут женщины.
Он тронулся дальше.
— Куда же вы! — заорал Лутохин.— Велите мне сделать душ!
— Душ,— сказал доктор, и Фаина и Смирнова записали: «Душ двадцатому».
— Замучил,— сказала Фаина.
Душ был готов скоро, минут через двадцать. Но когда Смирнова пришла за Лутохиным, оказалось, что он спит.
— Задрых,— сказал сосед.— Как только вы ушли, замолчал и задрых. Вы с ним поменьше танцуйте, здорове будет.
Лутохин спал, уткнувшись лицом в подушку. Виднелись край румяной щеки и мочка уха, похожая на вишню.
— Пускай спит,— сказала Смирнова и ушла.

Было около одиннадцати часов утра. А перед обедом к доктору Белову прибежала ошеломленная Фаина и сообщила, что Лутохин скончался.

Он умер от кровоизлияния в мозг.
До сих пор в поезде не было смертных случаев, если не считать той псковитянки, раненной в живот, которая умерла на операционном столе. Но ее положили на стол уже умирающей.
Смерть Лутохина произвела тяжелое впечатление. Все испытывали чувство вины, хотя виноват не был никто. Случай принадлежал к числу тех, которые наука еще не может предугадать и предотвратить. Контузия иногда дает такие неожиданные эффекты. Смерть хитрит, маскируется, прячется в теле больного и вдруг хватает больного за глотку и, торжествуя, кажет зубы.
«По всей вероятности,— мучительно думал доктор Белов,— его не следовало брать из госпиталя. Возможно, что тряска поезда привела к тому мозговому потрясению, которое вызвало мгновенную гибель. Но кто это мог предвидеть? Уже две недели не было припадков, и он производил впечатление здорового человека. А может быть, я виноват,— думал доктор, стараясь во всех подробностях припомнить, как он осматривал Лутохина.— Я позволил себе обмануться внешними благоприятными показаниями и упустил какое-то очень важное неблагоприятное показание и не принял мер... Да, я не обратил должного внимания на то, что у него зрачки плохо реагировали на свет. Я это отметил, очень хорошо помню, что отметил, но не принял мер». Доктор понимал, что он не мог принять радикальных мер, что случай редкий, сложный, коварный, предотвратить его смог бы разве какой-нибудь гениальный медик — по вдохновению, по наитию свыше... И все-таки доктора мучила совесть.
«У него, вероятно, есть жена и дети,— думал он.— Жена... дети... И вот они остались сиротами оттого, что старый, никуда не годный врач не обратил внимания на реакцию зрачков. Если у меня горе,— думал доктор,— то почему другие должны от этого страдать? Почему жена и дети Лутохина пострадали от моего горя? Это чудовищно. Если бы за это полагалось наказание, я должен был бы сам прийти и сказать: судите меня, я проморгал человеческую жизнь из-за того, что у меня горе; из-за меня умер солдат Лутохин Иван Миронович... Они говорят,

что я тут ни при чем, что просто несчастный случай. Если бы увериться, что я в самом деле ни при чем, как бы это было хорошо, какое облегчение!»— думал он.

А на столе под стеклом лежало письмо его старого знакомого и партнера по преферансу, извещавшее о том, что Сонечка и Ляля погибли при бомбежке Ленинграда в один из первых налетов, в сентябре 1941 года.

Глава восьмая

ВОСПОМИНАНИЯ

Осенью 1942 года немецкая армия достигла Сталинграда. Начались те бои, к которым в продолжение пяти месяцев было приковано внимание мира.

Сначала был страх, что немцы прорвутся к Волге. Потом стала рождаться надежда, что этого не случится. Потом явилась уверенность, что Сталинград — это тот порог, через который никогда не удастся переступить немцам и от которого Красная Армия начнет гнать врага на запад, освобождая от захватчиков советскую территорию.

В порожние рейсы Данилов теперь собирал людей два раза в день — утром и вечером: обсуждали сводку. Говорили по преимуществу о Сталинграде, все остальное отступило на второй план. В тех вагонах, где было место, Данилов поставил экраны с газетными вырезками. Сталинград владел умами и сердцами, он стал словом, означающим надежду, приближение светлой цели, зарю нового дня.

Мужчины, годные к строевой службе, покинули поезд: их отзывали в действующую армию. Данилова не отозвали. Он помнил письмо, полученное из ЦК, и молчал.

Девушки стали записываться добровольцами в Красную Армию. Многие из них в поезде изучили винтовку и пулемет.

Данилов не удивился, когда в добровольцы записалась Лена Огородникова. Но когда увидел в пачке заявлений подпись толстой Ии,— свистнул от удивления: ведь сидела же год назад в воронке, полумертвая от страха...

Он полюбил слушать, о чем говорят в поезде. Слушать ему стало нужнее, чем самому говорить.

Люди привыкли к тому, что комиссар подойдет, присядет рядом, молча, неумело скрутит козью ножку (он

стал курить с недавнего времени), послушает минуты две, встанет и уйдет.

— Надоело ему все,— говорил Сухоедов.— И мы надоели, и разговоры наши надоели. Ты посмотри — он же молодой человек совсем, ему простор требуется для его дел.

— А кому не надоело? — спрашивали его.

Они ошибались. Они стали ему интереснее, чем раньше.

Говорила Юлия Дмитриевна Супругову, распуская какое-то вязанье и мотая шерсть в огромные клубки:

— Во всяком случае, мы их задержали. Вспомните Псков. Там наше сопротивление носило совсем другой характер. Вы помните? На наших глазах наши части отступали... Да, вы первый указали мне на это... А сейчас чувствуется, что мы выиграем это сражение. Видимо, здесь предел их маршу. Я представляю себе, что там делается на улицах и в домах...

В ее голосе слышалась досада, что ее там нет — на сталинградских улицах и в сталинградских домах...

Интереснее всех говорил Кравцов.

— А Давид,— рассказывал он Наде,— был сначала пастух. И отроком, подростком, убил великана Голиафа камнем из пращи.

— Из какой прыщи? — спрашивала Надя.

— Ну... рогатка, вот как мальчишки кидаются. За это евреи сделали его своим царем.

— Ца-рем? Разве у евреев были цари?

— Ух, какая дура,— вздыхал Кравцов.— Дальше таблицы умножения не знаешь ничего...

Молчали. Опять раздавался повествующий голос Кравцова:

— У них были знаменитые цари. Они были и цари, и пророки, и писатели, и судьи. Тыщи лет назад царь Давид такие написал слова, что по сей день жгут сердце. Он написал: «Оружием будет тебе истина». Ты это можешь понять? Не гаубица будет оружием, а истина. А сам убил Голиафа из пращи. И тем самым как бы признал и гаубицу, но в то же время указал: «Оружием тебе будет истина». Иными словами, без истины и гаубицей ни черта не возьмешь. И еще он сказал: «Селение твое мир». Не в войне найдем счастье, а в мире. А война — только путь к миру... Да что тебе говорить!

— У нас в училище,— говорила Надя,— один парень другому чуть глаз не выбил из рогатки...

Однажды в начале зимы санитарный поезд застрял на сутки под Москвой, в лабиринте окружной дороги. Рейс был порожний.

Данилов разрешил команде сходить в кино и сам пошел.

Кино помещалось в маленьком транспортном клубе, увешанном красными полотнищами с лозунгами, наполовину смытыми осенним дождем. В зале были по преимуществу мальчуганы. Они вели себя требовательно и бурно. Каждые десять минут поднимался страшный свист, топот и крики:

— Рамку, рамку-у!

Показывали военную хронику, потом художественный фильм из военной жизни. Герой — молодой парнишка, хорошенький, как на плакате, и такою же была его девушка. Они совершали подвиги, а потом девушка попала к фашистам в лапы и умерла, замученная палачами. Все понимали, что фашисты на экране не настоящие, но все это было такое сегодняшнее и близкое — и подвиги, и ненависть к фашистам, и хорошая девушка, отдающая жизнь за Родину,— что все смотрели картину с волнением. Вопли мальчишек: «Сапожник! Рамку!» — достигли к концу сеанса наивысшего напряжения...

Когда вышли из кино, шел снег. Крупными медленными хлопьями падал он на пути. Заплаканные санитарки шли группами, горячо переговариваясь. Прошли мимо Данилова Юлия Дмитриевна и Фаина; Соболь догнал их, тонко закричал:

— Ах, витязь, то была Фаина! — и подцепил старшую сестру под руку.

Данилов всех пропустил вперед, пошел не торопясь, засунув руки в карманы шинели, подставив снежинкам лицо.

Какой ни смотришь фильм, какую ни читаешь книгу — везде любовь и любовь. Так ли это в жизни, обязательна ли любовь для каждого человека? Ведь вот — прожил же он без любви, а кто скажет, что плохо прожил? Каждый день был заполнен — безо всякой этой самой любви...

Когда-то он любил, любовь не удалась, он пересилил себя и обошелся без нее.

Таким вот пареньком он был, как этот на экране. Только не таким красивым и не таким сознательным.

А хорошая штука молодость. Оглянуться на нее радостно. Немного неловко, немного жалко... и все-таки радостно. Что ж! Он, зрелый человек, не отвечает за того паренька, каким он был четверть века назад.

У него уже три зуба вставных, и виски поседели. Лет шесть или семь уже, как не вынимал ее карточку из конверта...

Нескладно вел себя паренек. Не было ему удачи. Но спасибо ему за эти неловкие, горькие и радостные воспоминания.

Когда Данилову было пятнадцать лет, в деревне, где он родился и жил, основалась комсомольская ячейка.

Из города приехал на почтовой телеге худенький парнишка в огромных ботинках —«танках». Он собрал ребят и девушек в школе, ужасно долго и горячо говорил и потом стал записывать желающих в комсомол.

Данилов записался не столько по сознательности, сколько из желания поступить наперекор матерям. Матери собрались за дверью в сенях и оттуда выкликали своих детей: «Мишка! Танька! Сказано — домой»,— кто шепотом, кто громко. Данилов гордился тем, что его матери за дверью нет. Придя домой, он сказал:

— А я комсомолец.

Мать сказала:

— На сход шел — хотя б рубаху новую надел; поди, осудил тебя городской человек.

И больше никогда не вмешивалась в его дела, так же как отец (кроме одного случая). Они верили, что своей честной жизнью они подали сыну хороший пример и сын никогда не опорочит ни себя, ни их, какой бы дорогой ни пошел.

В доме у них было принято хорошее обращение с людьми, разговор немногословный и негромкий и постоянный труд. Данилов не запомнил, чтобы отец и мать когда-нибудь пьянствовали, ссорились, бездельничали. У отца была маленькая кузня. Он был набожен, но если даже в первый день пасхи к нему приводили лошадь подковать, он надевал свой черный фартук и шел в кузню.

— Бог на работу не обижается,— говорил он.

Он умел плотничать, слесарничать, шорничать, плести рыболовные сети и был из лучших косарей в волости. В прежнее время нанимался косить к господам; и в старости он надевал в сенокос белую рубаху, брил щеки, точил косу и шел в совхоз наниматься на косьбу: он был артистом в этом деле и любил, чтобы им любовались.

Данилов больше половины жизни прожил вдали от родителей и со стариком виделся очень редко. Но в нем навсегда осталась страсть к работе и желание делать эту работу так, чтобы почтенные люди сказали: «Ай, молодец!» Драгоценное отцовское наследство...

Мать учила его варить обед, латать чулки и стирать белье.

— В солдатчине пригодится! — говорила она.

Когда он был совсем маленький, она иногда ласкала его, потом перестала. Он не помнил ее поцелуев, не справлял поминок, когда она умерла, но навеки сохранил благоговейное уважение к ее памяти.

Пришла революция. Пришли новые слова и понятия. Он стал комсомольцем. Но жизнь его мало изменилась: деревня была за девяносто верст от железной дороги.

По почте на ячейку приходили книжки. Ребята читали их, но не очень понимали. Объяснить было некому. Иногда приезжал тот худенький товарищ из губкома, теперь у него уже росли усы. Он делал доклад, кое-что после этого становилось яснее, но не все. По воскресеньям комсомольцы — их было четверо — надевали чистые рубахи и шли к обедне. Они шли не молиться, а посмотреть людей. Больше людей посмотреть было негде. Один раз Данилов был шафером на свадьбе и держал венец над головой жениха. Жених тоже был комсомолец, но венчался в церкви, потому что иначе невеста ни за что не соглашалась.

Все это переменилось, когда старая *наставница* (учительница) ушла на пенсию и на ее место пришла новая.

Новую звали Фаиной. Она была совсем молодая — едва за двадцать лет. Красивая, с толстой тугой косой, положенной высоким венком вокруг головы.

— Черт те что у вас творится,— сказала она комсомольцам.— Я бы у вас комсомольские билеты давно отобрала.

Она потребовала, чтобы сельсовет поставил новую избу около школы. Сельсовет не послушался. Она съездила в волость, и волость прислала предписание — поставить избу и в ней основать *клуб*. Из волости Фаина привезла два ящика книг и стала по вечерам читать вслух в школе.

Сначала на чтения приходили только ученики, потом стали приходить взрослые и даже совсем старые. Им нравилось, как читает наставница. Они такого чтения никогда не слышали. Она начинала читать негромко, пригнувшись у керосиновой лампы, уютно ссутулившись под

накинутым на плечи серым платком. Читала размеренно и как бы даже равнодушно. Но вскоре чтение зажигало ее. Лицо ее разгоралось, блестели под полуопущенными ресницами молодые глаза. Взволнованная, читала она то громко, то почти шепотом, скидывала платок, становилась коленями на стул, обеими руками подпирала румяные щеки. Случалось — когда слушатели вздыхали, опечаленные печалями чужой судьбы,— у нее у самой светлая слеза спускалась с ресниц на щеку и, сверкнув, падала на раскрытую книгу.

В первый раз Данилов увидел, каким богатым, красивым, притягательным может быть человек. От этого красивого человека он не мог оторвать глаз. Он тоже хотел быть таким. Он понимал, что для этого нужно многое. Вон она как читает: ни на одном слове не споткнется. Разными голосами представляет разных людей. Смешное в ее чтении особенно смешно, печальное так печально — до слез... Ну так что же? Она старше его, она сильно грамотная, она успела научиться тому, чему он по своим годам еще не успел научиться. Кто она? Такая же простая, как он. Валенки на ней в заплатах, платок такой же, как у его матери. Научилась и вон какая стала, думал он. Он тоже научится и будет таким, как она.

«А сама-то величава, выступает будто пава,— читала она мурлыкающим, певучим голосом.— ...А как речь-то говорит, будто реченька журчит... Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». «Ты сама пава, царевна Лебедь,— думал он с восторгом.— Ты реченька, ты звезда моя...»

Фаина раздала комсомольцам книжки и сказала, что они должны быть *книгоношами*. Данилов ходил по избам и уговаривал людей читать книги. Потом Фаина объявила, что у них будет драматический кружок, и стала репетировать с комсомольцами какую-то пьесу. Пьеса была революционная, из старой жизни, с графами и князьями. Парней в кружке было мало, а девушек много. Девушки не хотели играть мужские роли. Чтобы подать пример, Фаина взяла себе роль старого князя, тирана и душегуба, владельца крепостных душ. Из пакли ей сделали великолепную седую бороду — богу Саваофу впору. В последнюю минуту Фаине обидно стало портить свое лицо этой бородой: она нарисовала себе бородку и усы жженой пробкой. Таким образом, старый князь выглядел гораздо моложе своей собственной дочери, слезливой вдовы, которая хотела уйти в монастырь, и был женственнее и ми-

лее всех молоденьких графинь и княжон. Он больше всех понравился публике, ему хлопали и топали, несмотря на все его душегубство...

Успех спектакля был велик. Кружок разросся. Родители, увидев, что около молодой наставницы-комсомолки молодежь ведет себя пристойно, не балует, читает книжки, стали сами посылать к ней детей. Молодежь собиралась у нее по вечерам, покончив с дневными трудами. Только Данилов каждый день с утра думал: под каким бы предлогом забежать в школу. Раза два он являлся даже во время занятий; Фаина строго и резко запретила ему это. А он часа не мог прожить, чтобы ее не видеть. Работать ему стало лень: работа никуда не убежит, а сейчас пойти бы к ней, посмотреть, что она делает, послушать, что она говорит...

Когда она уезжала в волость, он изнывал от тоскливой скуки, считал часы до встречи. Когда видел ее — все кругом озарялось теплом и светом, приобретало новый смысл, прелесть, силу. По-иному звучали песни, значительнее становилось каждое слово. «Ванька влюбился в наставницу»,— подшучивали ребята. Он не верил им.

Много они понимают. Просто он ее уважает и хочет быть таким, как она. Влюбился!.. Она невозможная, недосягаемая... Если бы кто-нибудь ему сказал, что она — обыкновенная учительница-комсомолка, каких в стране много, он бы бросился на того человека с кулаками.

Ему пошел восемнадцатый год. Это был рослый, плечистый паренек с сильными руками, на голову выше Фаины. Кожа на его лице была белая, нежная; над губой пробивался светлый пух.

С некоторых пор его стала томить эта сила, которую он ощущал в себе. Как груз, он нес свое тело. Нечаянно задумчивость охватывала его, ее сменяли приступы жеребячьего веселья. Внезапно мать заговорила с ним о женитьбе.

Она сказала, что силы у нее на исходе, жить ей, она чувствует, недолго (ее одолевала женская болезнь, из-за которой у нее после Ивана больше не было детей). Хотелось бы ей привести в дом хорошую невестку: пусть ходит за нею, и покоит ее последние дни, и закроет ей глаза. Такую невестку, на которую она могла бы с легким сердцем оставить дом.

Сейчас, конечно, еще рано Ивану жениться. Года два можно подождать. Но девушку подходящую можно бы и сейчас взять на примету... Неожиданно дерзко он перебил ее, спросил со злой улыбкой:

— Это вы на кого же намекаете?

Он знал на кого: на Дуську Касаткину, мельникову дочь. Его задразнили этой Дуськой,— мол, помирает от любви к нему. На что она ему сдалась? Чего ради он с нею свяжется, через два ли года, через десять ли?

Мать оскорбилась — и тем, что дерзко перебил, и словом «намекаете», которое показалось ей обидным. Она сказала:

— У меня, Ваня, нету, слава богу, такой повадки — намекать. А ты знай, что она из-за тебя двум отказала. Девушка смирная и работница.

Он взял шапку и пошел вон из избы. У матери вырвалось:

— Куда? К наставнице?

И — горько, когда дверь захлопнулась за ним:

— Беда моя!

А его ноги понесли к школе. Зимние сумерки стояли над деревней. Школьные окна почему-то были темны, а обыкновенно уже зажигали лампу в большой классной... Уехала, что ли? Сердце у него оборвалось...

Ребята-комсомольцы шли навстречу. Они сказали, что сегодня не будет ни репетиции, ни чтения: наставница лежит в постели, заболела. Он выслушал их и пошел своей дорогой. К ней. Они покричали что-то ему вслед, он не слушал. У него вздрагивали губы.

Он взошел на крыльцо, затоптанное снегом, прошел по темному коридору мимо полутемных пустых классов и, не стучась, рванул знакомую дверь.

Фаина одетая лежала на кровати лицом к стене и испуганно вскинулась:

— Кто там?

— Я,— ответил он.

— Ваня Данилов? Ты что? Репетиции не будет.

— Я знаю. Я так.

Для чего он шел сюда? Не для того ли, чтобы сказать: «Я не хочу жениться. Мне никого не надо, только тебя. Я хочу быть с тобой. Позволь мне всегда быть с тобой!» И вот он пришел и стоит, как пень, у дверей. И, кажется, вели она ему уйти — залился бы горькими слезами...

Может быть, она поняла это. Она сказала:

— Испугалась, как ты вошел. Вздремнула. Сон какой-то видела...— Она сладко потянулась, даже застонала от удовольствия.— Зажги лампу. На столе. А спички на полке. Да сними шапку. Не научишь вас... Деревня.

Он снял шапку и зажег лампу, чувствуя себя косолапым, ничтожным и совершенно неинтересным для нее и все-таки даже не помышляя о том, чтобы уйти.

Фаина села на кровати и стала закалывать на затылке распустившуюся косу. Она накручивала косу на руку, как змею, а гребешки держала в зубах. Руки были обнажены до локтя — круглые, крепкие, уверенные. Ноги были обуты в смешные чулки — в красную и синюю полоску. Из дырки на чулке выглядывал маленький розовый палец.

— Ты что меня рассматриваешь? — спросила она ослабевшим со сна голосом.— Ты для того пришел, чтобы рассматривать меня? Садись, ты мне застишь свет.

Он сел. Она вставила ноги в разношенные валенки и тоже подсела к столу, кутаясь в платок.

— А я ничем не больна,— сказала она задумчиво.— Я, Ваня, сегодня письмо получила, что моя бабушка умерла. И вот, понимаешь, я эту бабушку всего три раза видела и ни капельки не любила, а все-таки расстроилась — и сама не знаю почему. Теперь никакой родни у меня не осталось, только дальние — двоюродные, троюродные... Я их и знать не хочу! Они — лавочники. Знаешь, Ваня, что человек может и не заниматься торговлей, а все равно быть лавочником. Вот они такие. Они нас, коммунистов, терпеть не могут. И бабушка терпеть не могла. Так чего же я по ней плачу, глупая? — Она засмеялась и вытерла слезы концом платка.— У меня только папа был хороший, он был учитель, его белые убили. Я уже три года одна.— Слезы побежали по ее лицу градом, она встала.— Распустилась я нынче. Сейчас чай будем пить. Я тебе книгу дам — картинки посмотреть. Интереснее, чем на меня смотреть.

Она положила перед ним толстую книгу и ушла. Он сидел и не смел встать, а только с наслаждением рассматривал ее комнату.

Он и раньше заходил сюда, но всегда с ребятами и ненадолго, и всегда получалось так, что он стоял позади всех и ничего не мог рассмотреть. Теперь он был здесь один, и все было раскрыто для его обозрения.

Это была маленькая комната с бревенчатыми стенами, с узкой кроватью, покрытой жиденьким байковым одеялом, с полкой книг над столом и висячим рукомойником

в углу. Все эти вещи были бедны и безличны, но для Данилова они жили бесконечно милой и значительной жизнью: в этих стенах *она* дышала, вот тут она спит, тут умывается, у этого стола исправляет ученические тетрадки; эти книги ею листаны, читаны. Особенный интерес и умиление вызывали те немногие вещи, которые явно принадлежали *только* ей и вводили Данилова в ее задушевный мир: вот эта на стене, в полированной, с бронзовыми уголками рамочке, фотография худощавого пожилого мужчины в косоворотке и пиджаке — это, должно быть, ее отец, хотя и непохож. А вот наперсток, ее наперсток. А интересно, что она держит вон в той коробочке с золотыми розами? Нитки, шпильки, ленточки? Вон ее серый платок на спинке стула; вон на вешалке розовая кофточка, которую она надевает по праздникам... Милые вещи, уютные и значительные, как она сама.

Он услышал ее шаги и проворно раскрыл книгу. Это был журнал «Нива» за 1913 год. Была нарисована большая ледяная гора, плывущая по морю, и маленький пароход. «Гибель „Титаника“»,— прочитал Данилов. Фаина вошла с чайником.

— Вот ты уже сколько посмотрел. А ты знаешь, как погиб «Титаник»?

Она рассказала ему о «Титанике», напоила его чаем и опять немного всплакнула о бабушке... Он сидел завороженный, смотрел во все глаза, слушал во все уши и только тогда ушел, когда она прямо сказала, что пора уходить.

Была глубокая ночь. Он вышел на улицу — ни одного огонька в окнах, тишина, только где-то капает капель. Он оглянулся: ее окошко светилось.

Что она делает, когда одна? Он подошел к окошку, осторожно заглянул. Она сидела у стола, подперев руками щеки, задумавшись. О чем она думает?.. Она встала, протянула руку к окну,— белая занавеска задернулась, и свет померк,— Фаина спустила фитиль в лампе...

Данилов пошел домой. Ему хотелось долго, долго идти по пустым улицам, думая о ней.

Он стал приходить к ней каждый вечер.

Она не тяготилась им. Она совала ему какую-нибудь книгу, а сама занималась своими делами: исправляла ученические тетрадки, читала, штопала чулки, иногда уходила куда-то; а он сидел как страж.

Если бы его спросили, зачем он здесь сидит, он ответил бы:

— Потому что мне нравится.

Если бы спросили: хочешь ее поцеловать? — он бы ужаснулся. Он и за руку-то с нею ни разу не поздоровался.

Однажды он не застал ее дома. Старуха сторожиха сказала, что наставница [redacted] бане, скоро придет. Он вошел [redacted] ее комнату, зажег лампу, развернул «Ниву» и стал ждать.

Она пришла веселая, румяная, от нее пахну́ло жаром [redacted] чистотой, когда она подошла. Голова ее была обмотана полотенцем, как чалмой.

— А, ты уже здесь? — сказала она. Подняв руки, размотала полотенце, тряхнула закинутой головой,— тяжелые мокрые волосы упали на спину и плечи.

— Расчеши их, Ваня — сказала она [redacted] протянула ему гребешок.

Он послушно стал расчесывать тяжелые, склеившиеся от влажности, прохладные пряди. Он брал их [redacted] руки — рукам сообщалась эта влажность и тяжесть; пальцы путались [redacted] шелковых, нежных волосах. И непонятно было ему — отчего дрожат его пальцы.

Он стоял за ее спиной, перед ним было зеркало. В зеркале он видел ее лицо, полное радости [redacted] лукавства... Он уронил гребешок, обнял Фаину за плечи, отклонил ее голову и крепко поцеловал [redacted] губы. И она ответила на его поцелуй — ответила! Но сейчас же вырвалась, сердито смеясь:

— Ну-ну, мальчик!

Он не помнил, как очутился на улице. Шапку он забыл, шел без шапки, растерянный, потерянный. Мальчик! Конечно, мальчик, мальчишка, дурак, нахальный дурак, как он смел!.. Да, а зачем она смеялась над ним? Зачем велела расчесывать волосы? Нарочно велела. Зачем ответила на его поцелуй? Он же чувствовал, он и сейчас чувствует, как нежно, как нежно шевельнулись ее мягкие губы под его губами... Нарочно ответила на поцелуй, чтобы потом посмеяться! Нет, нет. У нее блестели глаза, она поцеловала его, поцеловала его!

— Ты что, пьяный? — сухо [redacted] скорбно спросила мать.

Он не ответил, влез поскорей на полати, где была его постель. Сидел не раздеваясь, обняв колени и положив на них горячую голову. Так [redacted] заснул, уже перед рассветом. Но и во сне перед ним блестели ее глаза [redacted] нежно шевелились у его губ ее мягкие губы.

Утром мальчик-ученик принес ему его шапку.

Он задрожал так, словно это была не шапка, [redacted] письмо от Фаины.

Бежать к ней!.. Стыд удержал... Как он войдет? Что скажет? Она будет смеяться, а ему что — молчать? Смотреть картинки? Не хочет он больше молчать и смотреть картинки, он хочет ее целовать, он хочет всегда быть с нею, около нее, [redacted] ее комнате!

Вечером он увидит ее в клубе и скажет ей это... если хватит духу.

В этот вечер открывали клуб. Данилов опоздал, потому что все не мог придумать: какими же словами он скажет?.. Он даже не пошел приколачивать занавес и развешивать плакаты; все комсомольцы пошли, а он не пошел, потому что боялся встретиться с нею.

Когда он вошел [redacted] зал, шло торжественное собрание. Фаина сидела [redacted] президиуме, около председателя сельсовета, а по другую руку от нее сидел незнакомый человек в городском костюме,— приехал от губисполкома на открытие клуба. Говорили речи, хлопали.

Данилов хлопал, но ничего не понимал. Он видел, как гордо и свободно держится Фаина, как она перешептывается с городским человеком, как она хороша,— [redacted] больше ничего не видел. Он ловил ее взгляд, но она ни разу не посмотрела на него. После собрания начались танцы. Скамейки отодвинули к стенам. Гармонист-попович развел руками, и пары закружились... Данилов совсем уж было решился подойти к Фаине, но тут увидел, что она кружится в паре с городским приезжим.

Данилов не умел танцевать вальс. Он стоял, прижавшись к стене, и следил, как носится по залу розовая кофточка... Тревожная тоска охватила его.

Неужели она отсекла его от себя — насовсем, навсегда? Неужели никак нельзя поправить это?.. Она вышла из зала, городской приезжий вел ее под руку. Пойти за нею? Его гордость, его стыдливость говорили: не ходи. Несколько минут он колебался... А когда побежал ее искать — ее уже не было в клубе.

Ушла при всех людях с этим пиджачником — куда? От ярости у него в глазах почернело. Он стиснул кулаки... Где искать? Он выскочил на улицу — звезды, мороз, ни души: вся деревня в клубе. Он бросился к школе.

Добежал и стал: ее окно освещено — она дома. На секунду его ярость утихла: таким миром [redacted] счастьем всегда ему светило это окно. Она устала и вернулась домой.

«Радость моя устала и сейчас ляжет спать...» Он подошел к окну.

Фаина стояла у стены, прислонясь к ней спиной. Странным, необычным показалось ему ее запрокинутое лицо, губы раскрыты пугливо... Городской приезжий сидел на кровати, курил и говорил что-то. Он встал, подошел к окну, протянул руку — белая занавеска задернулась, и свет померк: в лампе спустили фитиль.

Свет померк.

Данилов заплакал. Горячие слезы побежали по его щекам. Он не чувствовал их. Толстая белая сосулька висела близко от него. Он схватил ее, обломал и, отбежав, изо всей силы запустил в окно... Раздался звон стекла и крик — Фаинин крик. Данилов бросился бежать.

Он бежал и плакал. Все кончено. Прощай, любовь, прощай, Фаина, прощай, мечта!

Горожанин был не дурак, он не жаловался. Про наставницу стало на другой день известно, что она, идя ночью из клуба, упала и расшиблась в кровь, у нее разбита скула — немножко, но шрам, должно быть, останется. Бабы ахали и боялись, что ее красота испорчена: ее любили.

Мать сказала Данилову:

— Уезжай ты куда-нибудь, Ваня, ради бога.

Он молчал: ему некуда было уезжать. Он подрядился рубить лес и больше месяца провел в лесу.

Работая, он старался усталостью задушить свою тоску. Так уставал,— засыпал сразу, где бы ни лег. «Ну и зверь же ты на работу, Иван!»— удивлялись лесорубы. Но вот за ним прислали из ячейки: губком комсомола давал ячейке одно место в губернской совпартшколе; ячейка определила — ехать Данилову. Данилов знал, кто об этом постарался.

Перед отъездом он пошел к ней: он твердо положил, что всему конец, и решил, что на прощанье зайти можно. Вышло это так: поздно вечером он вошел к ней в комнату. Она сидела у стола над тетрадями. Наверно же она еще издали узнала его шаги по коридору, но не вскочила, взгляд ее был прям, и крепкая рука с пером вольно лежала на раскрытой тетради... Спокойно и холодно она смотрела ему в лицо. Он подошел ближе, чтобы лучше разглядеть, и увидел небольшой, звездочкой, розовый шрам на скуле — его отметина на вечную память... Она ничего

не спросила, и он не сказал ни слова. Постоял, повернулся и вышел.

На другой день он уехал.

У него была здравая смекалка крестьянского сына, выросшего в нравственной семье. Он был юн и влюблен, сердце его было раскрыто для страсти. Его волновали сны, солнечное тепло, женские голоса. Но его чистый разум отметал дешевые соблазны.

В кружке, куда попал Данилов, верховодили юноши, проповедовавшие легкое отношение к любви и браку. Без разбора, сгоряча эти юноши пытались разрушить старые моральные устои. Прежде всего они занесли свою ребяческую руку на старую святыню народа — семейный очаг. Понятия «невеста», «целомудрие», «супружеская верность» были предметами их насмешки. Скромную девушку они с презрением называли мещанкой. Кое-кто их слушал, потому что они были книжники, остроcловы, говоруны и потому что у многих молодых, не познавших жизни, зашумело тогда в голове от вольницы, от стихов и песен, от просторов, открывшихся каждому.

Данилов наблюдал, как вольно некоторые парни обращаются с девушками и девушки с парнями, как легко совершаются браки и разводы,— и это было чуждо ему. Он слушал, как говорили о «законах физиологии» и о «стакане воды», и не спорил, потому что у него еще не было слов для спора с этими «умниками», но про себя он думал: «Мне это не подходит».

«Я женюсь, конечно,— думал он иногда.— Но я, во-первых, подожду: надо подучиться, и подрасти, и человеком стать. А во-вторых, женюсь на такой девушке, которая будет со мной жить дружно и честно, как мама прожила с тятей. А вдруг *она* еще передумает — позовет?..» От этой сумасшедшей мысли жарко становилось сердцу, одна мысль о Фаине окрыляла и поднимала его.

Но эта мысль становилась все безнадежнее и приходила все реже — и совсем перестала приходить.

Он заставил ее не приходить.

Сначала он был дураком — ах, каким дураком: тосковал, раскаивался, ждал... Просил мать писать ему — что́ наставница, руководит ли по-прежнему кружком, не вышла ли замуж. И мать писала. До самой своей смерти, осуждая и жалея сына, писала все, что знала о наставнице: жива, здорова, учит ребят, кружком руководит, замуж

не вышла — за кого ж ей тут выходить? Потом написала: выбрали наставницу в губисполком, уезжает в город; люди жалеют — собирают деньги, чтоб сделать ей подарок... Он заметался, ходил даже два раза в губисполком справиться, где она; но посовестился.

Потом мать написала: наставница приезжала, делала доклад, после доклада к ним заходила, рассказывала, что вышла замуж; спрашивала, где Ваня, и велела кланяться.

Вот тогда он *приказал* себе не думать о ней. В то время это было хоть и трудно, но все-таки уже возможно: немножко отвык, немножко сжился с мыслью о том, что она ему не суждена; слабее стал в памяти запах ее волос, и все, что было, казалось давно приснившимся сном. А главное, он окончил совпартшколу, и ему предстояло идти служить в Красную Армию; он много думал о предстоящей новой жизни и готовился к ней,— очень важной и ответственной она представлялась ему...

Все-таки нет-нет — и всплывал перед ним ее образ в том же чудесном озарении, в той же яркости ясновидения, как прежде: выгнутая шея, смеющийся рот, мокрые волосы липнут к вискам и плечам — «расчеши их, Ваня...». Но время шло. Он мужал, он был работник. И это видение стало являться очень, очень редко... Ну и слава богу!

В Красной Армии он служил два года. Там он читал много политических книг и вступил в партию. Когда его демобилизовали и он вернулся в родную деревню, то его выбрали в волисполком и назначили заместителем председателя. В дальнейшем ему довелось побывать на всяких работах: партийной, советской, хозяйственной.

Фаины давно след простыл — уехала с мужем куда-то на восток. Рядом с Даниловым шла по жизни другая женщина — его жена.

Он все-таки женился на мельниковой дочери, Дусе, Евдокии. Не то чтобы он выполнял материнскую волю,— это вышло само собой, вскоре после того, как Данилов демобилизовался и стал работать в волости. Еще в армии он почувствовал, что ему следует жениться. Он был у всех на виду. Ему хотелось жить так, чтобы его уважали и чтобы никакие *глупости* не отвлекали его от работы, которая была главным делом его жизни.

Как-то он поехал проведать отца и встретил Дусю. Она у колодца вертела ручку блока. Ее лицо все порозовело, когда она увидела Данилова. Он поздоровался и спросил, как она живет. Ей шел уже двадцать пятый год, как и Данилову. Красотой она не отличалась, но была свежа и здорова. А главное — в ее небольших голубых глазах, устремленных в лицо Данилова, была такая робкая радость, что он почувствовал себя тронутым. «Пожалуй, это будет настоящая жена»,— подумал он.

Вечером он зашел к мельнику в дом, а через неделю опять приехал в деревню. Забрал Дусю с ее сундуком, в котором давно слежались по складкам приготовленные в приданое сорочки и платья, и отвез в волость, прямо в загс. Из загса она поехала к нему на квартиру и сразу стала хозяйничать — готовить обед, мыть окна и перетряхивать во дворе свои платья, пропахшие нафталином. А он пошел в волисполком, где у него было срочное дело.

Так они и жили: он работал, заседал, ездил, а она хозяйничала. В его отношении к ней не было ничего похожего на то, что он чувствовал к Фаине. Ни разу не замерло сердце, ни разу не потянуло его к Дусе так могуче, так сладко, как тянуло к той. Ни разу не поспешил он домой, чтобы скорее увидеть Дусю. Когда к нему приходили приятели, он был хозяином за столом, угощал и занимал гостей, и Дуся подавала кушанья. Он любил, чтобы в доме было чисто, чтобы все блестело, чтобы к его приходу, когда бы он ни пришел, был горячий обед. Дуся старалась угодить ему и рассчитать его небольшой заработок так, чтобы хватило на все: на обильную еду, хорошую одежду, угощенье для приятелей...

Иногда он испытывал некоторые угрызения совести при виде того, как много она работает. Сердясь на нее за то, что она причиняет ему эти угрызения, он говорил:

— Что ты надрываешься над бельем, как поденщица. Отдай в прачечную.

— Они там все белье перепортят,— отвечала она, а сама думала: «Да, в прачечную. Туда за этакую стирку рублей шестьдесят надо отдать, а потом не хватит до получки, где я возьму?»

Первое время он иногда говорил:

— Учиться тебе надо. Ничего не знаешь. Обязательно надо учиться.

А сам думал: «Когда ей учиться-то. Вечно топчется по хозяйству». То же думала и она.

И в то же время его сердило, если кушанье пригорит или перепреет, или пыль завелась за шкафом, или на чистой рубахе, которую она ему подала, не хватает пуго-

вицы. И вся ее жизнь ушла на то, чтобы надзирать — не завелась бы пыль, не оторвалась бы пуговица. И за собой надо было следить, он этого требовал. Он бы не потерпел, чтобы она вышла на улицу плохо одетой, небрежно причесанной.

Он перестал говорить о ее учебе, решив, что у нее уж такой характер,— она любит хозяйство и больше ничего.

Он считал, что она должна быть очень счастливой. Он считал, что если женщина получила того мужа, которого ей хотелось получить, то она не может не быть счастливой. Он заметил, что его редкая ласка радует ее, и это еще больше укрепляло его в уверенности, что она очень счастлива.

В большие праздники — годовщину Октябрьской революции и Первого мая — в учреждениях устраивались вечера для сотрудников. Данилов брал с собой Дусю на эти вечера. Она наряжалась, завивалась у парикмахера, душилась одеколоном. Он приводил ее, сажал на удобное место и шел к другим людям, с которыми ему было интересно разговаривать. Ни разу он не задал себе вопроса: не скучно ли ей на этих вечерах. Все приводят жен, и он свою привел. И одета она не хуже других. И с нею все здороваются, как с женой руководителя учреждения. Значит, все в порядке.

А вот с сыном — совсем другое дело. Сын — это он сам, Данилов. Его плоть, его душа, его мужская, горючая и несгораемая, действенная сила. Он и имя ему дал свое: Иван. Молодец жена, что родила сына.

Родить-то родила, а принадлежит сын ему, Данилову. Весь принадлежит, вплоть до смешных мохнатых рыжих ресничек, которые сын опалил у печки. Материнская забота какая? Вымыть да накормить. А он, отец, созидает жизнь, в которой сыну хорошо и просторно будет жить.

Чтобы сыновья прошли жизнь по светлой и гладкой дороге, они, отцы, согласны эту дорогу вымостить своими телами, вот как.

Ночью разыгралась метель. Мокрый снег бился в окно купе.

Поезд кружил вокруг Москвы. То он шел полным ходом, какие-то фонари пролетали мимо окна, какие-то синие светы. Кричали гудки. То он останавливался во мраке, не разберешь где, и сам тревожно кричал в метель.

Всегда приходилось так кружить, пока не примут на каком-нибудь из московских вокзалов.

Кружить так кружить. Все кружат, и он тоже кружит. Он честно обойдет свой круг. Главное — чтобы честно. Правда, Сонечка?

Эти гудки рвут сердце.

Большая снежинка села на черное стекло. Когда он был маленьким, у него была книжка, в ней нарисованы снежинки разной формы на черном фоне. Вот такая красивая снежинка села сейчас на стекло.

Он помнит эту книжку, и эту картинку, и чернильную кляксу на поле страницы.

Сестра пририсовала к кляксе ручки и ножки. Мама сердилась: каким вздором занимаешься. Сестра была взрослая, курсистка, бестужевка.

Сестра умерла. Мама умерла еще раньше.

Все умерли.

Доктор Белов задернул плотную занавеску и зажег лампу. Остывший чай стоял на столе. Вечно еда на столе. Он просил не ставить, а они подсовывают.

Сегодня его оставили в покое. Ходили куда-то, и он целый вечер был один. Обыкновенно у него кто-нибудь торчит в купе. По всей вероятности, Иван Егорыч нарочно подсылает к нему людей с разными делами.

Милый человек Иван Егорыч, но неужели он думает, что, разговаривая о делах, доктор забывает о Сонечке и Ляле?

Александр Иваныч пишет, что дома нет, одни развалины. Погибли не только они — их вещи, их платья, столик, у которого работала Сонечка, Лялины школьные тетрадки, которые он берег. Письма, дневники, все погибло.

Только воспоминания остались.

Записывать их нельзя. Вот — была девочка, она училась в школе. Она училась очень хорошо. Ее тетрадки были исписаны ровным, ясным, красивым почерком. Учителя писали в тетрадках «отлично»— красными чернилами. Девочка выросла. Отец собрал ее тетрадки и спрятал, чтобы, когда она станет старушкой, она вспомнила по этим тетрадкам свои школьные годы. Немцы бросили в дом бомбу, дом рухнул, нет ни девочки, ни тетрадок.

Ничего нет.

Как это запишешь?

Столик был маленький, покрытый белой клеенкой. На нем стояли аптекарские весы, большая стеклянная банка

с гипсом и белая фарфоровая чашка, в которой Сонечка замешивала гипс. Чуть не тридцать лет простоял столик с весами, банкой и чашкой. Работая, Сонечка надевала синий халатик. Он был старый, все пуговицы на нем были разные, даже была одна брючная пуговица. Как это запишешь? Ничего не получится, ерунда какая-то: при чем тут брючная пуговица?

Он с ума сходит. Разве в этом дело? Сонечка была друг, самый верный и самый любимый. Тридцать лет вместе. Никогда никаких размолвок... Как она вела себя, когда болели дети или болел он! Она просиживала ночи около их постели...

Но память упорно цеплялась за мелочи, словно хотела все их собрать, чтобы ничего не растерять.

То он вспоминал, как они с Сонечкой ехали домой после венчанья. Ехали в простой пролетке, потому что на карету не было денег. На Сонечке было белое платье с высоким кружевным воротничком и на груди золотой медальон на тоненькой цепочке. Фату она сняла еще в церкви, после венчанья. «На улице глупо,— сказала она,— все смотрят».

На медальоне были ее девичьи инициалы: С. К. Он сказал: теперь надо С. Б. Она сказала: я не буду менять, это мамин медальон.

То вспоминалось, как они жили в девятнадцатом году. Его послали в деревню на эпидемию сыпняка. Он пробыл там четыре месяца и заразился, а когда поднялся, его отпустили домой на поправку. Он привез Сонечке муки и масла (все говорили, что нужно повезти, поэтому он купил) и гордился, что он такой хозяйственный. Дома жилось очень трудно: буржуйку топили «Миром божьим» и «Задушевным словом», электричества не было, раковина была засорена. Помои приходилось носить во двор с четвертого этажа. Сонечка не давала ему носить, носила сама. Однажды он возмутился: что он — ребенок или больной? Вон он как растолстел после тифа, он здоров как бык! И он взял ведро и понес. На лестнице было темно, и, должно быть, уже раньше кто-то тут проходил с помоями и расплескал, и ступеньки обмерзли, и он поскользнулся и упал и все разлил. Ведро покатилось по ступенькам, гулко грохоча. Он стал искать его и не мог найти впотьмах. Наверху щелкнула дверь, и показалась Сонечка со свечкой. Она не спеша спустилась, сказала: «Ну, конечно», нашла ведро и стала вытирать тряпкой лестницу. А ему велела держать свечку...

Родная, я никогда ничего не умел сделать для тебя...

Она не могла уделять много времени хозяйству, потому что работала. На этой почве были разные курьезы. Однажды она поставила тесто и забыла о нем, занявшись чьими-то зубами. Тесто поднялось, сдвинуло крышку с квашни, потекло на стол и на пол. Были Лялины именины, подруги были званы на пироги. «А, наплевать!» — сказала Сонечка и купила тесто в магазине, и пироги поспели вовремя.

Никак он не мог одеть ее хорошо. Она забирала у него все деньги и тратила их на хозяйство, на детей, на него. А сама ходила в старых платьях. Он очень огорчался: он слышал, что женщины придают нарядам большое значение, и думал, что она должна страдать оттого, что у нее нет нарядов. И вот однажды он утаил из жалованья сколько-то денег и пошел покупать ей подарок. Он хотел купить шелковое платье, но оказалось, что утаенных денег на это не хватит. Тогда он стал искать что-нибудь подешевле. Он не бывал раньше в магазинах дамских товаров, у него зарябило в глазах от пуговиц, сумочек и платочков. Наконец он купил перчатки. Замечательные лайковые перчатки с вышитыми раструбами (продавец сказал, что это очень модно). Перчатки показались ему очень маленькими, он даже боялся, что не налезут. А Сонечка засмеялась, сунула руку в перчатку, и оказалось, что перчатки непомерно велики — у них просто пальцы как-то сложены, что кажутся маленькими. Доктору было ужасно обидно. Сонечка запретила ему покупать ей подарки. Перчатки кому-то подарили в день рожденья...

Тридцать лет он мечтал проехаться с нею на пароходе по Волге. Взять отпуск в одно время с нею и хорошую каюту, и чтобы она отдохнула от зубов, от детей, от хозяйства, и выспалась, и поправилась,— она была очень худенькая. Ему хотелось ухаживать за нею, угадывать ее желания, чтобы она почувствовала, как он ее любит, как он все готов сделать для ее покоя и счастья. Дома ему не удавалось ухаживать. Дети требовали их забот. Сонечка все время была занята и, если он лез помогать ей, говорила: «Постой, Николай, я сама». И всегда получалось, что все делала она, а он только топтался и мешал. Дрова доставала она, ремонтом занималась она...

— Этим летом я непременно повезу тебя по Волге! — говорил он каждую весну.

Но когда приближалось лето, то оказывалось, что самое разумное — провести его на даче, в Парголове или

Тарховке, дешевле и проще. Что у Игоря диатез, и она его не может оставить. Или что ему, доктору, нужно зимнее пальто, и денег на Волгу нет.

Так она и не дала ему поухаживать за нею.

Может быть, она и не знала, как он ее любил? Он никогда не умел хорошо выразить свои чувства. Он смешон, он знает это. Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо. А она всегда была так заботлива и нежна...

И, сжимая руками свою побелевшую голову, он с отчаяньем думал, как это ужасно, что не он, мужчина, призванный на войну, отдал жизнь за то, что все они вместе любили, а отдали жизнь они, мирные женщины, такие веселые и кроткие, такие...

— Милые мои, святые мои, ну что же я мог поделать, я с вами, родные мои...

Часть третья
ДЕНЬ

Глава девятая
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА

В одной центральной газете появилась большая статья, подписанная: военврач третьего ранга Супругов. В статье рассказывалось о работе врачебного персонала санитарного поезда,— скромно, без указания имен: о ремонте вагонов, стирке белья в поезде, подсобном хозяйстве; об идеальной организации питания раненых — свежее мясо, свежие яйца, свежий лук, который выращивается в ящиках, домашнее варенье, грибы для сушки...

В статье были приведены похвальные отзывы лиц, посетивших поезд. Кончалась статья так: «Это далеко не все, что мы намерены сделать в целях наилучшей организации перевозки раненых и больных защитников Родины».

Статья произвела в поезде сильное впечатление, ее читали и обсуждали.

Супругов ходил с застенчиво-сияющим лицом именинника.

Доктор Белов, прочитав, спросил Данилова:

— Какого вы мнения об этой статье, Иван Егорыч?

— Что ж, хорошее дело,— сказал Данилов.— Конечно, нам надо обмениваться опытом. Только тогда от наших мероприятий будет прок государству, если они будут применяться в общесоюзном масштабе. Это Супругов хорошо сделал. Жалко только, что он приврал,— лук мы еще только собираемся выращивать.

— Позвольте, Иван Егорыч,— сказал доктор, покраснев.— На каком основании он все время пишет — мы, мы, мы? При чем тут мы? Мы с Супруговым вообще организационными вопросами не занимались — все вы, вы, и ваше имя даже не упомянуто.

— Ну,— сказал Данилов,— это неважно.

Доктор поморгал:

— Вы не думаете, что это он нарочно?

— Нет,— сказал Данилов,— не думаю.

Он был совершенно уверен, что Супругов сделал это нарочно.

Сам перед собой Данилов делал вид, что ему это безразлично. К черту, не для того же он работает, чтобы о нем писали в газетах! А какой-то червяк посасывал: вот ты не спал ночами, придумывал, налаживал, и другие люди работают с тобой, придумывают, волнуются... и о нас ни слова, люди читают газету и все приписывают врачам, только им...

Супругову он сказал только:

— Вы, доктор, нам наделали хлопот: придется сейчас же приступить к выращиванию лука.

Больше всех статья понравилась Юлии Дмитриевне: как хорошо написано! И какой он внимательный — не забыл отметить образцовую постановку перевязочной...

Ее чувство к Супругову принимало размеры, до сих пор неведомые ей.

Супругов был первый мужчина, который искал ее общества. Сначала он делал это потому, что Данилов его третировал, Фаина пугала своими приставаньями, а все остальные смеялись его анекдотам, но равнодушно отворачивались, едва анекдот был закончен. Он чувствовал себя уверенней в присутствии Юлии Дмитриевны, всегда благожелательной и участливой к нему (он это видел, хотя не догадывался о причине). Сначала это была дружба;

и вдруг, после смерти матери, он подумал: а не жениться ли ему на ней?

Жениться?.. Это имело свои привлекательные стороны.

Хозяйство — раз... Все-таки хорошо, когда женщина в доме. Не заботиться об обеде, уборке, стирке. Всякие там носки, воротнички... Жить интеллектуальной жизнью. Не шататься по столовкам. Столовка — как-то это несолидно для врача, и кормят невкусно.

Он вспомнил свою квартиру. Узорные шкатулки и ковши. Альманах «Шиповник». Венецианские розовые бокалы, отливающие радугой. Защемило сердце: наемные руки все растащат.

И вообще мужчине следует жениться.

Но, с другой стороны, и литература и жизнь полны примеров непостоянства человеческого чувства. Много ли на свете прочных союзов? Чуть ли не в каждой семье своя драма.

За себя он не боится. На ком бы он ни женился, он будет идеальным мужем. (Конечно, если жена захочет считаться с его привычками и требованиями.) Он домосед, не пьет, не интересуется флиртом. Вопрос: будет ли жена так же неизменно склонна к добропорядочной жизни. Вдруг она захочет каждый вечер принимать гостей. Траты, беспокойство, окурки... Или она кем-нибудь увлечется. Или вздумает его ревновать. Ведь женская ревность почти всегда абсолютно беспочвенна... Или ей захочется иметь детей. Дети всюду сорят, бьют посуду.

Юлия Дмитриевна, наверное, захочет детей. Он усмехнулся с издевкой: вот уж кому не к лицу материнство. Ну что же, есть некрасивые женщины, которые, когда оденутся хорошенько... Гм, только представить ее себе разряженной!

Зато она к нему, видимо, расположена. Она очень рассудительна и хорошая хозяйка. Она будет боготворить его...

Будет ли?

Если учесть, что она старая девица, что она должна быть вечно благодарна и предана ему за то, что он на ней женится, если учесть это...

Но что-то говорило Супругову, что Юлия Дмитриевна, едва выйдя замуж, предъявит мужу ряд требований, которые ему, Супругову, нелегко выполнить.

«Она потребует, чтобы я был общественником,— соображал он.— Не так уж трудно прослыть общественником, и я бы даже не прочь слыть общественником, это дает

положение и авторитет... Но ведь она будет требовать, чтобы я всем этим на самом деле интересовался, и придется делать вид, что я интересуюсь, и посвятить этому всю жизнь... Она захочет иметь ребенка и будет его иметь, какие бы я доводы ни приводил. Конечно, это была бы мне серьезная опора в жизни, потому что у нее удивительно твердый, мужской характер, но не слишком ли твердый и не слишком ли мужской? Не подавит ли она меня совершенно своей могучей волей? Она не увлечется никем, потому что она не способна увлечься, но не превратит ли она меня в мужа-мальчика, мужа-слугу? Порядок в доме будет, но это будет ее порядок, а мне останется беспрекословно подчиняться. Очаровательно, когда жена как бы стоит на коленях перед мужем, считая счастьем предупреждать его желания. Мыслимо ли представить себе Юлию Дмитриевну в такой позиции? Разумеется, нет, и о моем авторитете в доме речи быть не может...»

И все-таки невольно он лепился под крыло этой прямой и сильной души, в которой угадывал покровителя. Надо отдать справедливость Супругову — не наружность Юлии Дмитриевны была причиной его колебаний. Конечно, он видел, до какой степени она непривлекательна как женщина, но он видел и то, с каким уважением, почти робостью относятся к ней в поезде, и ему льстило, что эта властная и гордая женщина, с которой все считаются, занята им, Супруговым, что она охотно разговаривает с ним и заметно дорожит его обществом. Никогда ни одна серьезная женщина не проявляла к нему интереса.

Юлии Дмитриевне он мог о себе говорить что угодно, и все выслушивалось с таким глубоким вниманием, что он вырастал в собственных глазах. Он думал, что это внимание проистекает из его, супруговской, исключительности, и то, что Юлия Дмитриевна первая угадала и оценила эту исключительность, придавало Юлии Дмитриевне огромную цену в его глазах.

Он рассказывал ей, сгущая краски, о своем трудном и скудном детстве, о том, как, будучи студентом, он грузил баржи и этим подорвал свое здоровье. Как его потом оценили, и у него появилась практика, и он создал уютное гнездо, и покойная мамочка — бог ей судья, как говорится,— не заботилась о нем, и убегала из уютного гнезда, и проигрывала в лото заработанные им деньги; и он был всегда, в сущности, очень одинок, очень...

— Я надеюсь,— сказал он однажды,— что мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец.

Она задрожала внутренне от этой пустой фразы... А когда в другой раз ему взбрело в голову описать ей свою квартиру и даже начертить ее план, она подумала: может быть, в этой квартире ей суждено жить?..

Она могла скрыть свои переживания от кого угодно, только не от Фаины. Фаина по каким-то мельчайшим черточкам распознала *роман* и исполнилась к нему величайшего благожелательства. Фаина гневалась на Супругова за то, что он не обращал на нее внимания, ни одной другой женщине она не позволила бы стать ей поперек дороги. Но *не мешать* Юлии Дмитриевне было актом такой человечности, что Фаина, охотница до всяческой позы, сейчас же взяла на себя роль покровительницы этой зарождающейся любви. Чтобы не мешать *роману,* она стала под разными предлогами уходить из купе, когда там появлялся Супругов. Таким образом, ннкто не мешал Юлии Дмитриевне беседовать с Супруговым по вечерам, во время порожних рейсов. Правда, дверь купе всегда была открыта: об этом заботились оба, и в первую очередь Юлия Дмитриевна. Она дорожила своей репутацией честной девушки.

— Я дважды любил,— сказал Супругов,— но ни разу любовь не дала мне настоящего счастья.

В первый раз он влюбился, когда был студентом. Было начало нэпа — голодно, холодно. Зиночка носила деревянные сандалии, прикрепленные к ногам ремешками. Иногда ремешок обрывался на улице, тогда Зиночка скакала на одной ноге в сторонку, в какую-нибудь подворотню, и там приводила свою обувь в порядок при помощи английской булавки.

Супругов ходил в обтрепанных штанах и столовался в студенческой столовой. Он встречался с Зиночкой на маленьких вечеринках у общих знакомых. Там тоже было голодно, но весело: он еще молод был тогда. Танцевали вальс и пели песенку: «И вот маркиза перед ним взор чудный опускает».

Они ходили с Зиночкой в кинематограф, смотрели Веру Холодную («Позабудь про камин») и Мозжухина («Сатана ликующий»). Когда в зале потухал свет, Супругов

нежно брал Зиночку за руку. Он был влюблен по всей форме, даже ревновал ее к Мозжухину.

Летом они ходили гулять на кладбище. Кладбище было богатое и содержалось в порядке. Среди цветников и газонов стояли мраморные ангелы, грациозно отставив ногу. Под сенью их слегка запыленных крыльев Супругов позволял себе целовать Зиночку. Все было бы очень приятно, но Зиночка повела себя требовательно, даже нахально. Она не кукла, а живой человек; она не позволит больше так обращаться с собой. Если она недостаточно ему нравится — они расстанутся.

Супругов доказывал, что из этого ничего хорошего не выйдет: они так молоды и так неустроены. Но Зиночка уперлась. Пришлось исполнить ее каприз. Женская ласка давала ему минуты счастья. Но, идя домой после встречи с Зиночкой, он каждый раз испытывал чувство, что делает совсем не то, что надо. Его и раньше смущала бахрома на брюках, теперь она казалась ему позорной.

Зиночка потребовала, чтобы он пошел с нею в загс. Он пошел, боясь, что его назовут негодяем, если он не пойдет. Но в глубине душн он считал все это совсем несвоевременным.

Зарегистрировавшись, они продолжали жить врозь, под разными крышами: она жила в очень маленькой комнате с папой и мамой, а он — в еще меньшей комнате со своей матерью. Зиночкины папа и мама были против того, чтобы на их одиннадцать квадратных метров с огнедышащей буржуйкой в центре въезжал еще Супругов в своих бахромчатых штанах. Мать Супругова, женщина беспечная и широкая, охотно приняла бы Зиночку на свои шесть с половиной квадратных метров, но тут Супругов проявил железную твердость: нет, пожалуйста. Он не может. Ему где-то нужно заниматься. Слезы и скандалы не помогли. Зиночке пришлось смириться.

Так и жили — ни супруги, ни любовники, черт знает что, никакой поэзии, одни неудобства и унижения. Виновата во всем была Зиночка. Он ее предупреждал.

Вдруг Зиночка забеременела. Ничего убийственнее она не могла придумать.

При известии об этом Супругов испытал настоящий леденящий ужас.

Ребенок?! Тесть и теща немедленно спихнут его вместе с Зиночкой к Супругову, на его шесть с половиной метров. Это же черствые эгоисты. Его, Супругова, будущее их не

интересует. С утра до ночи детский писк, горшки, пеленки... Он сойдет с ума.

А расходы на содержание ребенка. Придется бросить факультет и ехать фельдшером в деревню.

Он решил не сдаваться. Он потребовал, чтобы Зиночка сделала аборт. Сама виновата, в конце концов. И ничего особенного тут нет. Тысячи делают...

Тут вдруг вмешалась Зиночкина мама. Она сказала: довольно! Вы искалечили Зиночкину жизнь. Я не позволю, чтобы вы искалечили ее физически.

О, как она на него кричала! Она даже сказала: вы мерзавец. Услышав это, закричала Зиночка. Зиночкин папа закричал на них обеих. Мать и дочь стали рыдать и целоваться. Супругов молчал, у него дрожали колени. Мама сказала, утерев слезы: «Уйдите вон, я не хочу вас видеть». Он ушел...

Все-таки Зиночка сделала аборт и прибежала к нему, похудевшая и подурневшая. Но он уже развелся с нею. Пошел в загс и развелся. Что это, в самом деле, за безобразие! Втянули в историю, а потом кричат. Хватит с него!

Но он испытал любовь еще раз. Может быть, правду пишут в старых книгах, что это чувство движет мирами.

Приходила одна больная... Ах, приятно вспомнить: какой носик, какие ушки... Характером она была еще смелее и решительнее, чем Зиночка, но в то же время столько женственности и очарования во всех повадках...

Их связь была недолгой, но бурной. Она его боготворила! Она каждый день делала ему какой-нибудь подарок. Прелестные были подарки, всё антикварные штучки, он до сих пор их хранит. Да, но потом оказалось, что, делая ему подарки, она ждала того же от него. Она была очень жадная: у нее муж прекрасно зарабатывал, а у него, Супругова, была мать, и он только что начал прилично устраиваться... И вообще он принципиально против любви, которая продается за деньги или подарки.

Короче говоря, она стала сперва говорить ему колкости, потом устраивать скандалы. Он понял, что разрыв неизбежен. И действительно, вскоре они расстались. Жаль, это было красивое чувство,— но, возможно, любовь хороша только в книгах, а в жизни эти бурные страсти приносят гораздо меньше сладких минут, чем горьких...

Обе эти любовные истории в изложении Супругова выглядели вполне изящными. Его собственная роль в них представлялась печальной и благородной. И Юлия

Дмитриевна, которой *нужно* было, чтобы он был несчастлив и благороден, слушала его затаив дыхание.

Перед ней впервые раскрывались тайны мужской судьбы. И так же впервые ее честного сердца коснулась ревность. Она ревновала его к тем двум давним привязанностям. Профессора Скудеревского она не ревновала, а *его* ревновала. Потому что профессор Скудеревский был иллюзия, а Супругов, к ее радости и муке, постепенно становился *надеждой.*

Новые люди появились в поезде.

Данилов искал столяра: нужен был мастер на мелкие поделки — щиты для носилок, подызголовники, легкие, деликатные аппараты для лечебной физкультуры. Кроме того, Данилову хотелось сделать в кригеровские вагоны к каждой койке подвесные шкафчики, которые он сам придумал: передвижной шкафчик можно приблизить к раненому на любое расстояние; раненый будет держать там табак, книгу — мало ли что. А в жестких вагонах хорошо бы вместо столиков поставить между лавками тумбочки.

— Хоть бы послал бог столяра,— говорил Данилов.

На станции Иваново бог послал Данилову Богушева, дядю Сашу.

Дядя Саша служил вагонным проводником на железной дороге. Семья жила в Луге: мать, жена, вдовая сестра, две дочери, подросток племянница. Для краткости дядя Саша звал их: мои шесть женщин. Когда немцы приблизились к Луге, дядя Саша выехал с эшелоном, который вез эвакуированных. Шестерых своих женщин он устроил в этот же эшелон. В первый вагон, где он был проводником, он не смог их поместить; проводник хвостового вагона, старый товарищ, душа-человек, взял их к себе. Немцы бросили бомбы на эшелон; два последних вагона были разбиты; ни один человек из них не спасся. Дядя Саша помогал вытаскивать мертвых из-под обломков. Он распознал всех своих шестерых женщин. И старого товарища видел, проводника, душу-человека... Дядя Саша заболел.

Он пробыл в Иванове, в психиатрической, почти полтора года. Потом его выписали. Там же, в Иванове, и подобрал его Данилов.

Дядя Саша поставил в вагоне-изоляторе крошечный верстак и принялся работать. У него был уживчивый, ве-

селый нрав и легкая рука. Он угодил Данилову. В первую очередь он сделал несколько аппаратов для лечебной физкультуры — для упражнений ног и пальцев рук. Потом Данилов поручил ему изготовить экспонаты для выставки, которую устраивал РЭП в связи с предстоящей конференцией военных врачей.

Столярной работой дядя Саша занимался в свободные часы: по штату столяра в санитарном поезде не полагалось, официально дядя Саша был проводником в вагоне-аптеке.

Казалось, дядя Саша переболел своим горем в больнице: он никогда не говорил о прошлом, никто не видел его плачущим и скорбящим. Он только должен был все время что-нибудь делать: в бездействии он становился беспокойным, у него начинали дрожать руки... На дежурстве, сидя около топки в котельной вагона-аптеки, он вязал чулки. Этому рукоделию его научили в больнице.

Дядя Саша пел. У него, должно быть, был когда-то приятный тенорок. Теперь он выдохся, но высокие ноты дядя Саша брал еще с силой. При этом его корпус напрягался и маленькое личико с длинными серыми усами наливалось кровью. Вытянув ноту, дядя Саша брал на гитаре удалой аккорд и посмеивался, будто говоря: «Знай наших!»

Он пел только старые песни: «Как ныне сбирается вещий Олег», «Шумел-горел пожар московский», «Мой костер». Когда он заводил «Олега», искушенные слушатели норовили улизнуть из вагона: песне не было конца.

Данилов услышал, как дядя Саша поет, и сказал:

— Вы бы раненым спели.

— Да,— сейчас же откликнулся дядя Саша,— меня на вокзалах Красная Армия хорошо принимала. Имел успех даже у высшего командования. Один генерал-лейтенант за «Шумел-горел» сотню папирос подарил.

Когда кончались процедуры и начинался ужин, дядя Саша надевал поверх ватника белый халат, расчесывал усы, брал гитару и отправлялся по вагонам.

Трудно сказать, в чем был секрет его успеха, но успех был всегда. Дядя Саша ставил табурет посреди вагона, усаживался и начинал «Мой костер в тумане светит».

Кто-то завтра, милый мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой? —

пел он, меланхолически потряхивая усатой головой, и никто не смеялся. А когда он уходил в другой вагон, вдогонку неслись крики:

— Дядя, пой еще! Не выпускайте дядьку, пусть еще поет.

Некоторые песни дядя Саша сопровождал политическими комментариями. Пропев:

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди:
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди,—

дядя Саша прерывал пение и говорил:

— Гитлер своевременно не принял во внимание.

И со страстью ударял по струнам:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда:
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда!

— Дядька, бис! — кричали с полок.

Данилов сказал:

— До каких это пор у нас не будет самодеятельной группы?

И распек комсомольского организатора, сестру Смирнову:

— Сколько раз вам ставили на вид. Это же ваше прямое дело. Вы же молодежь! Вот пришел старый, больной человек, и посмотрите, сколько удовольствия людям от него!

Самодеятельная группа образовалась, едва Данилов дал делу толчок. Персоналу поезда она была нужнее, чем раненым. Все вдруг захотели петь и танцевать. Записался и Низвецкий, и сестра Фаина, и даже Сухоедов: он умел играть на балалайке. Данилов купил несколько струнных инструментов; девушки стали учиться у Сухоедова и дяди Саши.

Неожиданно развернулись таланты толстой Ии: она оказалась хорошим конферансье. У нее не было тонкого юмора, но было веселое лукавство и уменье запросто, не задумываясь, перебрасываться с публикой словами, как мячиком,— уменье, которое отличало в старые годы ярмарочных клоунов, любимцев детей и солдат.

«Умная девка какая»,— с удивлением думал Данилов.

———

Немцев выбили из Сталинграда и стали гнать прочь с русской земли. Бои были жестокие, работа у санитарной службы — горячая.

Красная Армия оттесняла врага к западу. Один за другим освобождались районы, оккупированные неприятелем.

Из освобожденных районов хлынула и потекла по советской земле такая река человеческого горя, бездомности, сиротства, неустройства, что у свежего человека путались мысли.

На одной степной станции, где торчали только обгоревшие трубы, а все службы помещались в наспех сколоченной деревянной хибарке, в санитарном поезде появилась Васька.

Это была девочка со светлой косицей, тонкой и мягкой, как шелк, с серыми глазами, худенькая и заморенная на вид.

Ее привел Кострицын. Он сказал:

— Вот. Пожалуйте вам натуральную колхозницу, она больше моего понимает. А чтобы справных людей приучать к курам — такого закона ни в одной армии нет, как вы себе хотите.

— Сколько тебе лет? — спросил Данилов.

— Семнадцать,— отвечала Васька.

— Откуда ты?

— С хутора Петряева. Так его уже нема.

— Разбит, что ли?

— Спалили,— тихо выдохнула Васька. Отвечая, она проворно оглядывала Данилова светлыми, слегка выпуклыми глазами. Оглядела и Юлию Дмитриевну, стоявшую рядом. Говорила она быстро и запыхавшись, словно ее остановили во время быстрого бега.

— Документ есть?

— Есть,— Васька вытащила из-за пазухи бережно сложенный лоскуток бумаги с чернильными подтеками, словно от слез; там было написано, что *Васка* Буренко в 1941 году окончила пятый класс сагайдакской неполной средней школы на Украине с такими-то отметками... Отметки все были отличные.

— Это не документ,— сказал Данилов.

— А что это? — спросила Васька.

— Как же ты с Украины очутилась тут?

— Приехали. Мы тикали от немцев. А они и сюда пришли.

— Родственники у тебя есть тут? — спросила Юлия Дмитриевна.

— Есть,— сказала Васька.— Сама бабуся. Так она не тут, а рядом, в Лихареве, вот туточко через ярочек, шесть километров.

— А ты зачем от бабуси ушла? — спросила Юлия Дмитриевна.

— Она у знакомых живет, а я не хочу. У них у самих хату спалили, живут в землянке.

— А отец, мать?..

— Мамы нема. Папа — не знаю где. На фронте. Слуху нема.

Васька сказала это так же легко; только светлые брови шевельнулись скорбно.

— Я тебя возьму,— сказал Данилов,— только давай условимся: вперед не врать. Нету тебе семнадцати.

— Ей-богу есть, чтоб мне очи повылазило,— сказала Васька.

— А сколько говорила немцам, чтоб не угнали в Германию? — спросил Данилов, уже ознакомившийся несколько с порядками в оккупированных районах.

— Тринадцать,— отвечала Васька.

Данилов и Юлия Дмитриевна засмеялись.

— Вот это больше похоже на правду,— сказал Данилов.— Так тебя как звать?..

— Васка.

— Васька так Васька,— сказал Данилов.

Вещей у Васьки было: узелок в сером клетчатом платке и огромная старая мужская свитка на плечах, поверх платьишка, да худые сапоги.

— Что тут у тебя? — спросила Юлия Дмитриевна, показывая на узелок.— Может, оставишь?

— Ни,— сказала Васька, прижимая узелок к груди.

Она думала: что с нею сейчас будет? Дадут ли ей сперва поесть или сразу начнут обучать, как лечить раненых? Но Юлия Дмитриевна повела ее в простой товарный вагон. Сперва она попала в какой-то закоулок, где за загородкой были поросята. Два — чисто вымытых, сытеньких. Посапывая, они жевали. «Чисто как,— подумала Васька,— навозом даже не смердит». Юлия Дмитриевна отворила низенькую дверь, и Васька очутилась в более просторном помещении. По стенкам висели большие банные шайки и стиральные доски. Вдоль двух стенок стояли металлические столы, а у третьей находилась непонятная штука — вроде большого шкафа, выкрашенная зеленой

краской, с тонкими трубами. Сбоку был укреплен большой градусник. Человек в белом халате, заложив руки за спину, стоял и смотрел на градусник. «Доктор»,— подумала Васька.

— Сухоедов,— сказала Юлия Дмитриевна,— кончите халаты, позовите санитарку, пусть обработает эту новенькую. Ты посиди, девочка.

И ушла. Васька села на табурет. В вагоне было жарко и пахло чем-то кислым.

Ваську качнуло так, что она чуть не слетела с табурета. Она удержалась, ухватившись за металлическую доску стола.

«Бачь, поехала!»— подумала она.

На столе лежал ворох синих одеял. Сухоедов перебрал их, сказал: «Девятнадцать»,— вздохнул и посмотрел на Ваську. Васька решила, что пора завязать разговор.

— Дядечку,— спросила она,— а чого с ними будут робить?

— А запхаю вон туда — и все,— ответил Сухоедов, рассматривая бойкую девчонку: «Куда такое дитё?»

— Для чого? — спросила Васька.

— Парить.

— Для чого?

— От микроба.

— Дохнут?

— Дохнут как один.

Васька помолчала.

— Дядечку,— спросила она погодя,— а для чого я тут сижу?

— Очереди дожидаешь.

— Куда очереди?

«Прыткая! — подумал Сухоедов.— Шпингалет, а туда же, разговаривает!» Вслух он ответил мрачно:

— А вот через двадцать минут выну халаты, тогда ты пойдешь.

— Куда? — спросила Васька.

— Куда! Туда. В дезинфекционную камеру,— и Сухоедов принялся откручивать и закручивать какие-то винты на зеленой штуке.

— Сколько градусов? — спросила Васька.

— Сто четыре.

Замолчали и молчали долго.

— Дядечку!

— Чего?

— А если я не схочу?

— Мало чего ты не хочешь,— сказал Сухоедов.— У нас все, от доктора до кочегара, через эту музыку прошли.

Васька кивнула головой.

«Что ж,— подумала она,— если все прошли, то и я пройду и жива останусь». Ей захотелось поскорее влезть в зеленую штуку и посмотреть, что там делается.

Сухоедову стало жалко ее. Он сказал:

— Ты не бойся, девочка.

— Я, дядечку, не боюсь,— сказала Васька.

Ваське дали старый халат с оборванными завязками и кусок марли — повязать голову.

Халат был длинен; Васька взяла ножницы, обрезала полы и подшила. Пришила завязки к вороту и рукавам. Увидав, как сестра Фаина повязывает голову, Васька и себе соорудила такой же тюрбан. Но Юлия Дмитриевна сказала:

— Повяжись прилично.

В санитарки Ваську, по молодости, не допустили, отдали дяде Саше — помощницей и ученицей.

Ваське очень понравилось в вагоне-аптеке. Стены такие беленькие, как были в ее *хатынке,* которую спалили немцы. И все так чисто и красиво, боже ж мой!

Васька сидела в кочегарке, но и там было чисто и, главное,— очень тепло. А на дворе стояла сырая, холодная весна.

Дядя Саша учил Ваську:

— У нас пассажиры не простые, драгоценные пассажиры наши. Люди за нас с тобой здоровье утратили, слабые от потери крови, тепло любят. Наше дело проводницкое — обеспечить им тепло. Но — опять-таки: уголь зря не расходуй. Следи: когда нужно — приоткроешь топочку, закроешь поддувальце, а то наоборот. Трудности, бывают которые, приучайся перебарывать: казенная норма строгая, а при сильном морозе требуется шесть ведер угля на сутки, а то и все семь. Наше с тобой дело — обеспечить требуемое количество.

Требуемое количество дядя Саша обеспечивал так: приехав на станцию, брал ведро и шел воровать уголь. Станционная охрана хватала его и отводила к коменданту. Сообщали Данилову; он шел выручать дядю Сашу.

Заправив топку углем, Васька шла в тамбур и становилась у окна, выжидая, когда откроют дверь в обмывоч-

ную. Дверь открывали часто, и Васька видела этот белый рай с пальмой в кадушке, с блестящими штуками на стенах и с зеркальной дверью в перевязочную. На откидных стульях и на диване, покрытом белым чехлом, раненые ожидали перевязки. Тихо играло радио. Все было так *ловко*, так хорошо, так непохоже на то безобразие, которое окружало Ваську в дни оккупации...

Раненые были одеты одинаково в мягкие синие халаты; самые шумные здесь сидели смирно, не курили, чинно перелистывали журналы. Васька думала, что все они боятся Юлии Дмитриевны.

Юлия Дмитриевна приходила в перевязочную в шесть утра, а уходила в одиннадцать вечера. Васька как-то взялась считать, сколько раненых за день придет на перевязку: до обеда насчитала сорок шесть человек, а потом ей спутали счет... Перевязки начинались сразу после завтрака и кончались в девять вечера.

Иногда одновременно открывались дверь в обмывочную и дверь в перевязочную, и Васька видела Юлию Дмитриевну, широкую, в халате белее снега, с красным лицом под белой косынкой и с красными руками, поднятыми вровень с лицом, словно Юлия Дмитриевна грозила кому-то... Или Васька видела Юлию Дмитриевну, склоненную над перевязочным столом и делавшую что-то таинственное и мудрое...

Васька стояла в тамбуре так тихо, что даже сердитая сестра Смирнова не гнала ее.

После девяти часов вечера вагон пустел. В нем оставались только Юлия Дмитриевна и Клава (счастливая Клава!). В перевязочной горели металлические инструменты, Клава выбегала за кипятком, пахло чем-то кислым и едким. Потом и Юлия Дмитриевна уходила, и оставалась одна Клава. Она скребла и мыла весь вагон внутри. Она разрешала Ваське входить в обмывочную и в кабинет лечебной физкультуры. И по коридору можно было ходить, по мягкой дорожке. Только аптека была всегда заперта, да в перевязочную Клава не разрешала заходить.

Клава была утомлена и не отвечала на Васькины вопросы. Васька тихонько ходила по вагону, заглядывала в зеркало и гладила жесткие блестящие листья пальмы.

Часа в три ночи Клава, пошатываясь, уходила спать, и Васька оставалась владычицей этого волшебного царства. Перевязочную Клава запирала и ключ уносила с собой. Но и в обмывочной было очень интересно. Можно было лечь на диван и рассматривать журналы и думать

при этом: вот я лежу на диване и рассматриваю журнал, а надо мной пальмовые листья. Кто посмотрит, тот подумает: ах, что это за дивчина лежит здесь на диване, что за жизнь у этой дивчины...

Слух у Васьки был тонкий, заячий: чуть хлопнет дверь вдали — Васька вскочит, оправит диван — ничего не заметно — и в кочегарку...

Но однажды дядя Саша пришел ночью проверить топку и застал Ваську спящей на диване. Он не сразу ее добудился; а когда она проснулась, стал топать на нее ногами.

— Ты это что? Ух, ты!..— восклицал он приглушенным голосом.— Тут раненые садятся, а она в ватнике лежит, микробов сеет... А замполит наскочит?.. Ух, какая! Чтобы я тебя тут больше не видал!

Он не пожаловался на Ваську, но стал приходить каждую ночь, когда она дежурила. И Васька на всякий случай перестала ложиться на диван.

Данилов назывался уже не комиссаром, а замполитом — заместителем начальника по политической части. Он получил звание капитана. Супругов — старшего лейтенанта, доктор Белов — майора медицинской службы. Многие женщины тоже надели погоны со звездочками.

Васька стояла в тамбуре и думала: «У меня тоже будут погоны. Я буду хирургическая сестра, как Юлия Дмитриевна. Я все сумею, как она. Если я захочу, я и на доктора выучусь, пусть они не беспокоятся...»

Юлия Дмитриевна заметила, что Васька вечно торчит за дверью обмывочной. «У этой девочки смышленые глаза»,— подумала она.

Как-то вечером она зашла в кочегарку. Васька, стоя на коленях, всаживала в топку консервную баночку.

— Руки обожжешь, Васька,— сказала Юлия Дмитриевна.— Что это ты варишь?

— Столярный клей для дяди Саши,— ответила Васька.

— Смотри — сгорит.

— Ни. Я досмотрю.

Жаркий свет из топки падал на Васькино лицо, оно стало розово-прозрачным, и на волосах Васьки лежала дорожка червонного блеска... «Девочка,— подумала Юлия Дмитриевна,— ребенок...»

Она протянула руку и неловко пригладила Ваське волосы на лбу.

— Подбирай со лба,— сказала она, словно устыдясь этой ласки.— Ты можешь раненого одеть после перевязки?

— Могу,— отвечала Васька.

— Надо осторожно, чтобы не сделать больно. И быстро, потому что другие ждут.

— Я могу быстро.

— Посмотрим,— сказала Юлия Дмитриевна.

Уходя, она оглянулась на Ваську. Васька нагнулась к топке, кончик льняной косички упал в ящик с углем.

В один из дней обратного рейса Юлия Дмитриевна, встретив Ваську, сказала:

— Приходи в перевязочную, я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы.

И вот Васька вошла в святая святых вагона-аптеки.

Юлия Дмитриевна торжественно положила ладони на круглую металлическую коробку, блестящую как зеркало.

— Это бикс.

— Бикс,— повторила Васька.

— В биксах я держу стерильный материал. Мы стерилизуем его вот здесь, в автоклаве.

— Стерильный... в автоклаве,— одним дыханием повторила Васька. Ее глаза порхали за пальцами Юлии Дмитриевны.

— Повтори,— сказала Юлия Дмитриевна.

— Это бикс,— сейчас же сказала Васька, кладя обе руки на сверкающую крышку.

— Не трогай,— сказала Юлия Дмитриевна.— Зря ничего не надо трогать руками. Руки — собиратели и разносчики инфекции, то есть заразы.

«Сама так трогаешь»,— мимолетно, без обиды, подумала Васька и отложила в памяти еще одно умное слово — инфекция.

— Ладно,— сказала Юлия Дмитриевна, когда урок кончился.— Иди.

— Удивительно толковая девчонка,— сказала она Данилову.

— Да? — недоверчиво спросил Данилов.

Он питал благоговейное уважение к перевязочной и ее инструментам. Ему трудно было поверить, что Васька приспособлена к такой деликатной технике.

— С чего вам вздумалось взять ученицу,— спросил Юлию Дмитриевну Супругов,— да еще такую малолетнюю?

— У нее большой интерес,— отвечала Юлия Дмитриевна.— Если ею хорошенько заняться, из нее выйдет толк.

— Помилуйте,— сказал Супругов,— у вас так мало времени.

— Мы должны учить молодежь,— сказала Юлия Дмитриевна своим бесстрастно-непререкаемым тоном.

Однажды Васька уронила шприц и разбила. Юлия Дмитриевна сверкнула глазами и выгнала Ваську из перевязочной. Вечером, разговаривая с Супруговым, она иногда вспоминала о Ваське,— что та сейчас делает? Ей представилось, что Васька, грустная, сидит на корточках перед открытой топкой, уронив кончик косы в ящик с углем. Червонная полоска лежит на ее волосах...

«Не придет, пожалуй»,— думала Юлия Дмитриевна.

Но на другой день Васька явилась на занятия как ни в чем не бывало.

Глава десятая

ДОКТОР БЕЛОВ

Прошел год.

«Удивительно странно,— писал доктор Белов в своем дневнике,— что орден дали не И. Е., а мне, который ровно ничем не отличился и был все эти годы только лечащим врачом, иногда невнимательным и непредусмотрительным (вспомним трагическую кончину Л.). Я обескуражен и сказал И. Е., что приму все меры к тому, чтобы восторжествовала справедливость. Но И. Е. находит, что с моей стороны было бы не особенно тактично принимать эти меры. Конечно, он пытался уверить меня, что я заслужил орден: он человек благожелательный.

Я нахожу, что он похудел. Он отдает столько времени устройству поезда и поддержанию трудового настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего безделья.

Вот NN, напротив, весьма хорошо выглядит. У него даже появилось брюшко. Мне показалось, что NN расстроен тем, что его обошли. Мне очень жаль, но думаю, что он так же мало заслуживает ордена, как и я. Он сказал мне:

— Признайтесь, доктор, что если бы не моя статья, нас не так скоро заметили бы.

Это, безусловно, верно. Я напомнил ему, что его выступление на конференции военных врачей также сыграло в этом смысле положительную роль. Он занял внимание конференции на целых сорок минут, и председатель ни разу не остановил его, хотя регламент был жесткий. Слушали внимательно; неоднократно раздавались аплодисменты и одобрительный смех. Начав с некоторой робостью, NN в дальнейшем ободрился и закончил остроумно и красноречиво, под гром аплодисментов. В перерыве мы были окружены толпой делегатов. Полковник Воронков, начальник РЭПа, пожал нам руки и изъявил желание, чтобы альбом наших усовершенствований был представлен ему лично, он повезет его в Москву, в Главное санитарное управление.

Все-таки я не мог не заметить, что и в этом выступлении, как и в статье, NN ни разу не упомянул об И. Е. и все время говорил: «Мы, мы, мы». Я сказал ему об этом. Он ответил: «Подчеркивать заслугу одного лица — значит умалять заслугу коллектива. Я считал это несправедливым по отношению к коллективу».

Все мы твердим о справедливости...

Я хотел выступить и с возможной деликатностью исправить ошибку NN, рассказав конференции, кто был подлинным инициатором и вдохновителем всех наших усовершенствований. Но последующие выступления были посвящены авитаминозу и борьбе с ним, и было невозможно снова выступать с нашими кипятильниками и поросятами. К тому же я очень плохо говорю, гораздо хуже, чем пишу. Но я написал рапорт об И. Е. и передал полковнику.

Не могу избавиться от неприятной мысли, что NN нарочно старается затушевать роль И. Е.»

Толстая клетчатая тетрадь была исписана почти вся: доктор опять пристрастился к дневнику. Подобно дяде Саше, он должен был теперь все время что-то делать. Когда он ничего не делал, он чувствовал упадок душевных сил. Начинала трястись голова, приходили воспоминания, терзавшие сердце.

Он старался входить во все поездные дела, писал о поездных делах, бегал по поезду и гнал воспоминания... А рядом, где бы он ни был и что бы ни делал, были два светлых лика, два образа, живых навсегда.

И третий образ, неясный образ сына.

Ни письма, ни слуха, никакого знака, что он существует.

Погиб?

Доктору посоветовали: напишите в Москву по такому-то адресу, пришлют справку. Он написал; ответа еще не было.

Погиб, конечно. Какой он был, когда погиб? Сколько ему было лет, какое у него было лицо?..

«Мы ездим по освобожденным районам Украины,— писал доктор,— и иногда довольно близко подходим к фронту: немцы потеряли то преимущество в воздухе, какое они имели в начале войны, и мы почти не опасаемся их налетов. Мы еще не привыкли к виду страшного разрушения, которое они нанесли нашим городам и селам, и этот вид зачастую действует на нас болезненно. Но, к слову сказать, здесь я понял мудрость пословицы: на миру и смерть красна. Столько страданий и потерь среди мирного населения в этих местностях, где побывали немцы, что я... (зачеркнуто)... что мне... (зачеркнуто). Я не хочу сказать, разумеется, что это делает мою личную потерю менее чувствительной или что это как-то утешает меня, но... (зачеркнуто).

...Станции здесь разрушены, водокачек нет во многих местах. Иногда приходится таскать воду ведрами из речки или колодцев, чтобы заполнить баки. Тогда все берут ведра и идут по воду, не исключая и офицерско-сержантского состава. Заполняют баки, бочки, кипятильник дезинфекционной камеры, и все-таки экономим воду, потому что неизвестно, где удастся пополнить запасы в следующий раз. Около станции Братешки наши люди подобрали цистерну, пробитую снарядами в четырех местах. Железнодорожники спрашивали — на черта санитарной службе этот лом? Чтобы всадить цистерну в багажник, Богушев и Протасов вынули у двери косяки, потом вставили их снова. И. Е. говорит, что в ближайшем пункте, где для этого будут условия, он прикажет сварить цистерну в местах пробоин, и мы получим добавочный резервуар на две тысячи литров воды. Кравцов подал мысль соединить цистерну резиновым шлангом с пищевыми котлами вагона-кухни, который помещается рядом с багажником.

Я не перестаю удивляться нашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва. Удивляться, и завидовать, и желать подражать им...»

Идя порожняком, санитарный поезд остановился в К*: нужно было полудить кухонные котлы.

Стоянка должна была продлиться дней пять. Доктор Белов сказал Данилову:

— Я хотел бы съездить денька на два в Ленинград.

— Зачем это? — спросил Данилов.

Доктор помолчал, отвернувшись.

— Я съезжу, знаете. Это не отразится, нет?..

— Не отразится,— сказал Данилов.— Поезжайте, что ж.

Он устроил начальника с комфортом — в служебной теплушке поезда, идущего в Ленинград с реэвакуированными. Пошептался с главным кондуктором, и тот предоставил доктору свою койку.

В теплушке топилась времянка, было тепло. Доктор угощал бригаду тушенкой и очень стеснялся лечь на койку; но его заставили.

Из разговора с главным доктор узнал, что железнодорожники хорошо знают его поезд.

— О вас писали в нашей газете,— сказал главный.— Ставили в образец, что вы всегда чисто ходите, даже снаружи вагоны вымытые, стекла блестят. Помните, когда вы стояли в Вологде, вас перевели на первый путь. Это как раз генерал прибыл, начальник дороги, так комендант распорядился: поставьте, говорит, перед окнами вокзала тот красивый поезд...

Доктор, помаргивая, вспоминал: действительно перевели на первый путь, и генерал приходил смотреть, записал в книгу благодарность... Не забыть рассказать Ивану Егорычу.

Бездействие было сегодня особенно тяжело. Заснуть доктор не мог, как ни старался. Он разговаривал, пробовал читать роман, который лежал у главного на столике: не доходили до сердца любовные страданья героев... Главный принес свежий номер «Правды». Доктор прочитал газету от первой до последней строчки. Даже театральные объявления: в Большом идет «Сусанин», в Художественном —«Царь Федор». Все на месте. Жизнь продолжается, день на дворе.

Он старался не думать о том, что поезд приближается к Ленинграду, и что там будет, и для чего он поехал. Напрасно он поехал. Всё фантазии. Горе не отучило его от фантазий.

Сотни раз он представлял себе, что вот он приехал в Ленинград...

И во сне он это видел. Во сне Сонечка и Ляля были живы. Дом стоял на месте целехонек, они выходили навстречу, говорили, смеялись... Александр Иваныч все напутал по дряхлости своей и занятости. В другом сне дома не было, лежала маленькая, крошечная кучка пепла. Сонечка и Ляля стояли рядом, живые, и объясняли ему, доктору, что вот эта кучка пепла — это их дом.

Просыпаться после таких снов было хуже всего.

Нет, наяву он, конечно, не надеялся увидеть Сонечку и Лялю. Таких ошибок не бывает. Пишет старый, добрый, внимательный друг: он сам проводил на кладбище их останки...

Наяву у него была другая фантазия — он думал, что в Ленинграде он встретится с Игорем.

Игорь не погиб. Доктор приехал в Ленинград и идет домой пешком. От Московского вокзала он идет по Невскому, сворачивает на Литейный, с Литейного — на улицу Пестеля. Мимо Михайловского замка, через Марсово поле, мимо памятника Суворову, по Кировскому мосту на Петроградскую сторону.

Мечеть. (Сонечка говорила, что минареты мечети похожи на змеиные головки. Еще она говорила, что крылья Казанского собора охватывают его и поднимают над землей. Иногда, замученная домашними заботами, она говорила: «До чего вы мне все надоели!» И уходила из дому одна, шла посмотреть на мечеть, на Казанский собор, на Неву. Возвращалась усталая и кроткая, в пыльных туфлях, виновато спрашивала: «Ну, как тут без меня?...»— и заваривала чай...)

И вот он идет по своей улице и издали видит свой разрушенный дом. Навстречу доктору, от другого угла, идет Игорь в военной форме. Он тонкий, длинный, слегка сутулится. Слегка заплетает ногами... В армии его отучили заплетать ногами. Он идет прямо.

Они приближаются друг к другу. «Папа! — говорит Игорь и бросается ему на шею.— Папочка! Это ты! Я не узнал тебя в кителе...» И оба плачут от счастья.

Игорь не заплачет и на шею не кинется. «Здравствуй, папа»,— скажет он, подавая руку. И доктор проглотит слезы, которые и сейчас бьются в горле. Он стоит рядом с сыном, они смотрят на развалины дома. Темнеет. «Что ж, пойдем»,— говорит Игорь. Они идут рядом. Идут к Александру Иванычу, попроситься переночевать. Старушка Полина Алексеевна, которую он лечил от воспаления печени, отворяет дверь и всплескивает руками. «Боже

мой, это вы! — восклицает она.— А ведь у нас Игорь. Только что приехал. Игорь! Иди сюда!..» Да нет же. Откуда еще один Игорь. Он уже нашел Игоря. Вот он, с ним, пришел переночевать. Фантазии спутались между собой. Мысли путаются. Полина Алексеевна умерла от голода во время блокады. И такие встречи бывают только на сцене, в жизни не бывают...

Что же бывает? И бывает ли вообще? Или ничего не осталось на свете, кроме горя?

Он все-таки заснул. Проснулся вечером, горела лампочка. В вагоне никого не было. Поезд стоял. Доктор сел на койке, соображая, как бы узнать — далеко ли еще. В теплушку вошел главный и сказал:

— Ленинград.

Стоянка в К* предстояла долгая.

В поезде экстренной работы не было, и Данилов отпустил часть персонала погулять.

Девушки начистили сапоги, припудрились, посмотрелись в зеркало и побежали в город — пройтись по улицам, поглядеть на «гражданку», побывать в кино...

Васька и Ия вошли в парикмахерскую. Седенький гардеробщик, очень похожий на доктора Белова, велел им снять верхнее платье. Они отдали ему свои шинельки и чинно сели на стулья.

В парикмахерской шла страшно интересная, ни на что не похожая жизнь. В углу за столиком сидели две женщины, одна была в белом халате и маленькими кусачками что-то делала с пальцами второй.

— Это чего? — спросила Васька.

— Дура! — шепнула Ия.— Это маникюр.

Перед высокими зеркалами сидели в креслах женщины, молодые и пожилые. Их покорные лица отражались в зеркалах. Шеи у них были обмотаны полотенцами. Вокруг этих женщин хлопотали парикмахерши, молодые и пожилые. Лязгали ножницы. Летели клочья темных и светлых волос. У брюнетки кроткого вида, сидевшей в крайнем кресле, брови и ресницы были густо замазаны. Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы брюнетки повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.

В соседней комнате происходили уже совершенные страсти. Там сидела женщина. Штук сорок, а может,

и больше, электрических шнуров было протянуто от ее головы к стенке. Женщина не могла повернуть голову, и только водила глазами.

— А это чего? — со страстным интересом спросила Васька.

— Перманент,— ответила Ия.

Парикмахерша подошла к женщине в шнурах и стала орудовать у ее головы точно так же, как орудовал Низвецкий у своей доски с штепселями.

Женщина у столика встала и стала махать руками, и Васька залюбовалась на ее ногти, ярко-розовые и блестящие, как конфетки.

Встала и брюнетка, и Васька была поражена ее красотой. Волосы брюнетки лежали на голове маленькими плотными колбасками. Ресницы были угольно-черные и загнутые вверх, а брови — непередаваемой прелести: длинные, от переносья до висков, и уж такие ровненькие, такие аккуратненькие, каких на самом деле никогда не бывает.

Васька почувствовала едкую зависть. Ей тоже нужна такая красота.

— Садитесь, девушки,— сказала парикмахерша.

Ия села к зеркалу, а Васька велела сделать себе маникюр. Вода в миске была ужасно горячая, а маникюрша, возясь с заскорузлыми от работы Васькиными пальцами, два раза порезала их ножницами до крови, но Васька и глазом не моргнула: все терпят, и она может терпеть.

Она с любовью посмотрела на свои ярко-розовые ногти. «Какие прелестные ногти у этой дивчины,— скажут все.— Ах, смотрите, смотрите, что за ногти!»

Она села к зеркалу.

— Перманент? — спросила парикмахерша.

Васька хотела ответить утвердительно. Но вмешалась Ия:

— Перманент не успеем. Нам через час уже дома надо быть. Ты завейся.

— Завейте,— прошептала Васька.

Парикмахерши трудились от всего сердца. Эти девушки в солдатских гимнастерках вызывали их симпатию. Парикмахерши расспрашивали — кто они, откуда, где им довелось побывать. Разговор стал общим. В нем приняли участие и другие клиентки, и маникюрша, и старый гардеробщик. Молчала только женщина в шнурах, глядевшая из соседней комнаты, как паук.

— Брови, девушка? — спросила парикмахерша. И едва Васька кивнула головой, как парикмахерша схватила бритву и откромсала ей брови почти начисто.

— Ой! — сказала Васька.— Не чересчур тонко?

— Любите широкие? — спросила парикмахерша.— Сделаем пошире.

Наконец кончились сладостные процедуры.

— С шестимесячной гарантией,— сказала парикмахерша, глядя на Ваську с любовью.— Не бойтесь, милочка, не смоются, не выгорят, ничего им не сделается. Носите на здоровье.

Васька и Ия расплатились, надели шинели и, провожаемые сердечными напутствиями, отправились на вокзал.

Данилов похаживал около поезда.

— Это что такое? — сказал он, увидев Ваську.

У нее на беленьком веснушчатом детском лице чернели толстые брови от переносья до висков. От них лицо стало старым, плачевным и угрожающим.

— В кабинете красоты побывали? — спросил Данилов, увидев локоны из-под пилотки и почуяв запах одеколона.— Ну, завились — ладно. А это — смыть.

Васька стояла навытяжку.

— Разрешите доложить, товарищ замполит,— сказала она,— они не смываются и не выгорают, хоть бы что.

— Я сам тебе отмою! — сказал Данилов.— У меня смоются!

— А вот и нет! — сказала Васька.

В тот день в Н-ской газете был напечатан очерк о поезде.

Данилов с интересом читал, и опять многое показалось ему излишне прикрашенным, а многое — недоговоренным.

Он перечитал очерк еще раз и тихо засмеялся: всего не приметишь сразу, вишь — самое интересное чуть не пропустил.

Очерк был, в сущности, не столько о поезде, сколько о докторе Супругове. «Доктор Супругов рассказал, с каким энтузиазмом персонал санитарного поезда на своих плечах перетаскивал в багажник многопудовую цистерну... Доктор Супругов говорит, что... Доктор Супругов показывает нам...»

Супругов, Супругов, всюду Супругов! Показывает, рассказывает, вдохновляет! Ах, ловкач, сукин сын! Данилов хохотал от души, развалясь на диване.

Так застала его Юлия Дмитриевна.

— Чему вы смеетесь?

Он протянул ей газету.

— Я читала,— сказала она.— Разве это смешно? Я не заметила ничего смешного.

Ей понравился очерк. Фамилия Супругова, много раз повторенная, доставляла ей наслаждение.

Главный сказал, чтобы он до рассвета никуда не ходил. Доктор послушался. Он пересел на лавку, сидел и молчал.

Молоденький проводник принес дров, растопил времянку и вскипятил чай. Доктору налили кружку, он выпил. Какой-то парнишка ходил за проводником по пятам с ящиком шахмат и говорил:

— Мишка! Сыграем!

Мишка не отвечал.

— Сыгра-аем! — ныл второй.

— Мало я тебе набил, еще хочешь? — спросил Мишка.

— Я понял, в чем дело,— сказал второй,— и переменю дебют.

В конце концов Мишка согласился играть партию. Он быстро выиграл, сказал:

— Ну тебя к черту, все ты проигрываешь, скука с тобой,— и оба парня легли спать на ящиках. И ночь прошла.

Доктор простился с главным, вылез из теплушки и пошел домой.

С Невского свернул на Литейный, с Литейного — на улицу Пестеля. Мимо Михайловского замка, через Марсово, мимо памятника Суворову, по Кировскому мосту на Петроградскую: маршрутом, облюбованным в фантазиях.

Если бы его спросили, как выглядит Невский и что он видел на Литейном, он бы не смог ответить. Он не заметил ничего. Даже мечеть пропустил.

Светало по мере того, как он приближался к своему дому.

Вот этот дом... Но он такой же, как был? Да, он вспомнил, ему говорили, это маскируют фанерами, чтобы разрушения не были заметны. Чтобы улицы имели нормальный вид. Дом нарисован на фанере. Он имеет нормальный вид. На самом деле его нет...

Внутрь войти нельзя.

Он отошел на середину мостовой, чтобы лучше увидеть дом, нарисованный на фанере. Там, на мостовой, ему стало худо, он грохнулся. Опомнился в дворницкой на сундуке. Дворничиха стояла над ним и говорила:

— Софья бы Леонтьевна посмотрела, такой стал молодой человек, дай ему бог.

Дворничиха его знала, а он ее не помнил и сказал ей об этом. Она сказала:

— Да я же Стиркина сестра, неужели не помните?

Стирку он помнил, а эту, ее сестру, кажется, никогда не видел. Она все что-то говорила, он сначала не понимал, потом понял и встал, но колени подломились.

Игорь приезжал сюда месяц назад. Сидел тут в дворницкой и расспрашивал Стиркину сестру, как погибли мать и Ляля. Не плакал и ничего такого не говорил, только спрашивал. Спросил, где отец. У них не было адреса. Он написал записку и оставил им — на случай, если отец приедет. И сказал, что такие же записки оставит у всех знакомых, каких найдет.

— Где записка? — спросил доктор.

Записку спрятала сестра, она на работе в ночной смене, скоро придет. И вот она пришла, не скоро, через сто лет, но все-таки пришла, она стала очень старая, но была жива и работала. И Лида работала, ее дочка, недавно она вышла замуж и ждала ребенка... Еще сто лет Стирка искала записку, которую Лида брала прочесть и куда-то засунула, и нашла, и доктор держал записку в руках.

«Отец, где ты, жив ли ты? Хочу, чтобы ты был жив»,— прочел он. И дальше еще несколько слов и пять цифр — номер почты, адрес сына, солдатский, земной, живой адрес сына... Я жив, Игорек! Мы с тобой живы! Закончим наше дело и встретимся с тобой. Ты этого хочешь?! Я жив, мой мальчик, я жив!

Глава одиннадцатая

ЛЕНА

Люди в санитарном поезде все время учились.

Сестры под управлением Юлии Дмитриевны изучали хирургический инструментарий и технику сложных перевязок. Санитарки слушали лекции врачей. Сестра Фаина работала месяц в стационарном госпитале, специализируясь по физиотерапии. Сестра Смирнова ездила на курсы лечебной физкультуры.

Фиму, кухонную девушку, посылали на кулинарные курсы. Она вернулась с хорошим аттестатом, и ее поставили поваром: прежняя повариха не угождала раненым.

Лену занимали легкие хорошенькие приборы для лечебной физкультуры. Она быстро переняла у Смирновой нехитрую науку ЛФК. У нее занятия с ранеными шли успешнее, потому что она, физкультурница, знала секреты и возможности человеческого тела, неведомые Смирновой.

— Огородникова стала гораздо серьезнее,— сказала Юлия Дмитриевна.

Лена улыбалась про себя: она такая же, как была.

Никто не умел так обращаться с ранеными, как она. Если попадался раненый с особенно неуживчивым нравом, его помещали к Лене: Лена успокоит.

— Научи, как ты делаешь, что они у тебя шелковые,— спрашивали санитарки.

— А я сама не знаю,— отвечала Лена.

Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними: расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли о чем можно спросить человека. Если плакал, она его гладила, и целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы и шутила при этом, и они тоже начинали смеяться.

Ей дали звание младшего сержанта. Она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок.

— Ой, Леночка, ты постарела! — с огорчением сказала толстая Ия.

Лена посмотрелась в свое маленькое в форме палитры зеркальце: да, есть морщинки у глаз,— откуда они взялись? И щеки бледные; это от недостатка воздуха и оттого, что она не тренируется, ведь она с детства привыкла тренироваться каждый день.

Ничего, скоро конец, она опять будет тренироваться, заниматься с детьми, получать призы на состязаниях и любить Даню, любить Даню!

Так и не было от него писем. Продолжалось это нелепое недоразумение, сделавшее разлуку еще тяжелее. Всякие могут быть недоразумения во время войны.

Скоро конец. Немцев бьют уже за рубежом, в Польше. Поезд ходит за ранеными за границу. Проклятые фашисты, хоть бы сдавались скорее. Ну, пусть же получают еще и еще за то, что изломали ее жизнь.

Однажды она чуть не поверила, что Даня погиб. Почему чуть-чуть не поверила? Потому что погода была очень плохая, дождь лил без передышки четвертые сутки, днем приходилось зажигать электричество. Настроение у всех было неважное. А тут Надя получила известие, что ее жених убит: пока она собиралась съездить к нему, его взяли в действующую, и он погиб при форсировании какой-то маленькой речки, которой даже на картах нет. Его товарищи написали об этом Наде. Утешая Надю, Лена вдруг подумала — и вдруг и Даня?.. Но это была минутная слабость. Не может над ними восторжествовать смерть.

Скоро конец, они встретятся. Лена чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет, уже дурнеет — в двадцать пять лет! Она возмутилась, она была вне себя, все в ней закричало: я не хочу!

Это оттого, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья, я глушу в себе желание счастья, каждый день я топчу его ногами, затаптываю поглубже... Больше мне нельзя так. Товарищи, скорее, скорее! Давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем!

Почему в меня никто не влюбляется? Пусть влюбится кто-нибудь. Все равно кто. Пусть Низвецкий.

Он больной, бедняга. Все равно. Он ей не нужен ни больной, ни здоровый. Пусть влюбится, и больше ничего.

Она стала нарочно приходить туда, где бывал Низвецкий, и садилась или становилась так, чтобы он видел ее лицо. Она шутила, смеялась, щурила глаза — все для него, чтобы он влюбился. К нему она не обращалась, разговаривала с другими. Он смотрел на нее недоуменно и грустно, некрасиво подняв брови и наморщив желтый лоб, а она холодно думала:

«Ну, влюбляйся скорей».

Он влюбился очень скоро. Он стал часто проходить через ее вагон. Она даже не поворачивала к нему голову: ходишь, вот и хорошо, и ходи себе, а мне ты не нужен.

Ваську, по просьбе Юлии Дмитриевны, перевели в санитарки в шестой вагон.

Во время Васькиного дежурства в шестом вагоне произошел неприятный случай: у раненого с ампутацией руки ночью открылось кровотечение. Васька, обходя вагон, заметила на подушке темное пятно, поглядела — кровь! Ампутант спал. Васька помчалась в соседний вагон и попросила дежурного сбегать за сестрой Фаиной. Вернувшись, она взяла чистую простыню и подошла к ампутанту. Как нарочно, он спал крепко, а она боялась будить его, чтобы не проснулись другие.

— Дядечку! — отчаянно шептала она ему в ухо.— Дядечку-у-у! Ой, да дядечку!..

— Что?..— спросил ампутант, вскочив.

— Тише, дядечку, не волнуйтесь, у вас кровь пошла,— сказала Васька.

Она наложила жгут из простыни ему на плечо и принялась затягивать. Она уперлась коленом в полку и скрипела зубами от усилия.

— Дядечку! — сказала она, пыхтя.— Пособите трошки вашей рукой.

— Ну давай, давай,— сказал ампутант.— Давай покручу. Бежит?

— Еще бежит. Еще крутите, дядечку...

Когда пришли сестры и доктор Белов, кровотечение уже унялось, под ампутантом было постелено чистое сухое белье и Васька ела конфету, которую ей дал ампутант.

— Я дам о вас приказ, знаете,— сказал Ваське доктор.— Вы молодец.

— Мне как Юлия Дмитриевна велели, я так и делала,— сказала Васька с конфетой за щекой.

Шли порожняком по Южной дороге.

— Вот туточко моя родина,— сказала Васька Лене, стоя у окна.

Было начало зимы. Пышный снег лежал на украинских безбрежных полях. Снегом были укрыты пепелища и горы лома на станциях — окаянные следы фашистов. Васька по-старушечьи сложила руки на узенькой груди, подперла щеку ладонью.

— Вот сейчас будут три дубочка,— сказала она,— так от них еще далеко. Будет сперва станция Сагайдак; хотя

бы ее и не было, я место узнаю, я там училась в школе. А подальше к Ереськам наш колхоз...

Всего и было разговору. Лену позвали. Васька осталась у окна. Промелькнули в стороне три дубочка. Васька отпрянула от окна, духом накинула свитку и платок и выскочила на площадку.

Она думала, что поезд остановится в Сагайдаке. Но поезд пронесся мимо засыпанных снегом лачуг, стоявших на месте прежней станции. Следующая станция — Ереськи. Уж в Ереськах обязательно будет остановка: Васька своими ушами слышала, как Кравцов сказал Протасову: «В Ереськах купим».

Ой, снег, снег, все закрыл, все знаки! Нет — вон молоденький тополь, он вырос за три года, он уже не хлопчик, а парубок, но она его узнала!.. Васька взялась за холодный поручень и спустилась на нижнюю подножку. Мелькнул сугроб. Васька взвизгнула и прыгнула в сугроб.

Она лежала, пока не прогрохотали мимо все вагоны. Тогда она встала, очистилась от снега, поправила платок и побежала по насыпи, высматривая в снегу дорогу к колхозу.

Она спрыгнула с поезда потому, что ей вдруг пришло в голову: в колхозе родичи, может, знают что-нибудь о папе. Может, папа сами прислали письмо, спрашивают, где Васька и бабуся, а родичи не знают.

Хорошо также рассказать родичам, как она остановила кровотечение у ампутанта.

Васьки хватились сейчас же: Сухоедов видел, что километрах в пяти от Сагайдака кто-то выпал из вагона команды. Сочли людей и выяснили, что нет Васьки.

— Она мне сказала, что тут ее родина,— сказала Лена.

— Вот — связываться с недорослями...— сказал Данилов с досадой. А Юлия Дмитриевна думала: «Хоть бы не убилась...»

В Ереськах стояли почти два часа. Данилов умышленно затянул стоянку, он ждал Ваську. «Вернется!»— думал он. К концу второго часа Васька явилась. От нее пахло яблоками и снегом.

— Ну? — спросил Данилов.— Побывала дома?

— Побывала,— ответила она и улыбнулась ликующе.

У него не хватило духа бранить ее.

— Все в порядке? — спросил он.

— Ничего, живут,— сейчас же пошла сыпать Васька, разматывая платок.— Живут в землянке, но ничего... Яблуков дали. От папы письмо пришло, кланяются, в партизанах были они...

Лене интересно было наблюдать, как барахтается Низвецкий.

То он переставал ходить через ее вагон, то бегал целый день взад и вперед. То не смотрел, то она опять ловила его грустный и испуганный взгляд... В общем, все обстояло так, как она хотела. Она равнодушно занималась своими делами.

Она раньше всех прибрала в своем вагоне после груженого рейса. Освободившись, она пришла в вагон команды, вынула из сундучка рубашку и чулки, починила. Потом написала еще одно письмо. Писать было трудно: уже все слова сотни раз написаны и произнесены. Оставался этот жар сердца, о котором она не умела написать.

Лена скинула туфли, легла на свою койку, открыла книгу, которую взяла в поездной библиотечке: стихи Лермонтова. «Они любили друг друга так долго и нежно»,— прочла она.

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Значит, не любили друг друга, вот и все.

За перегородкой неторопливо беседовали старики: Сухоедов, Кострицын и Протасов. Они сидели в ряд, как на завалинке; напротив лежал больной Низвецкий, пергаментно-желтый, с ввалившимися глазами в почерневших глазницах.

— Вот и у меня,— говорил, будто журчал, Протасов,— суставы пухнут, видишь, пальцы в узлах. А жилы. Ты посмотри. Это что за жилы, с такими жилами нешто жизнь.

— Почему не жизнь? — спросил Сухоедов.— Можно и с такими. Склероз, стариковское дело. Пей заместо водки йод, до ста лет проживешь.

— Нет,— вздохнул Протасов.— Труды наши кончаются, как только наладятся дела после войны — выхожу на пенсию, и баста.

— Тебе хорошо,— сказал Кострицын.— Оба сына це-

лы, будешь дедом жить на покое. А мой пришел без руки, а у невестки четверо душ, подними-ка всех.

Тихо простонал Низвецкий.

— Подлюга какая болезнь,— сказал Кострицын.— Такая стерва болезнь — хуже бомбы...

Лена гадала по книге Лермонтова. Она зажмурила глаза, наугад раскрыла книгу, нащупала строчку:

На что нам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!

Не подходит.

Во второй раз получилось:

Забыть? — забвенья не дал бог: —
Да он н не взял бы забвенья!..

Совсем не то, что ей нужно.

Поезд пришел в Б*. Лена пошла на вокзал — опустить письма и подышать воздухом.

Она продолжала писать на тот адрес, который сообщил ей муж вскоре после начала войны.

Вокзал был разбит. Здания без крыш и окон. Кругом скелеты зданий. Все серо, неприютно. Ни зима, ни осень, моросит, под ногами бурое месиво...

Лена шла, засунув руки в карманы шинели, сдвинув ушанку на затылок.

Подошел воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из теплушек, наводнили платформы. «С нами, девушка?»— на бегу крикнул Лене один румяный, широколицый. Лена улыбнулась ему. Он, не останавливаясь, оскалил белые зубы, пробежал...

— Даня!!

Он шел в потоке гимнастерок и не слышал ее крика. Она узнала его издалека и крикнула издалека. Как она узнала? Она никогда раньше не видела его в шинели и ушанке. Лицо у него огрубело и потемнело. Походка была как у сотен других, шедших рядом. Все равно, она узнала его сразу, едва ее взгляд упал на него.

— Даня, Даня...

От счастья она смеялась тихим смехом. Он подошел, она протянула руки... Он взял ее руку, пожал. Кругом были люди, ей было совестно целовать его при людях...

Неужели она все-таки отвыкла от него? Она обняла его голову и поцеловала.

— Ты здесь! — сказал он.

— Да! — ответила она, задыхаясь, близко и лучезарно глядя ему в глаза.— Ты жив.

— Я жив,— ответил он.— Это довольно крупная удача, принимая во внимание, [redacted] каких переплетах пришлось побывать... Сержант,— он кивнул на ее погоны,— скажи, пожалуйста...

— Вон мой поезд,— сказала она.

— Да? — сказал он.— А мы на Варшаву. Будем брать Варшаву. Как вообще твои дела? Ты похудела...

— Даня,— сказала она,— [redacted] не хочу говорить, мне хочется смотреть и слушать... Смотри на меня. Почему ты не писал?

— Как не писал? — сказал он.— Я писал. Вероятно, не доставили.— Он помолчал, озабоченно глядя на нее.— Как мы встретились, Леночка...

— Ты живой! — сказала она и погладила ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся:

— Не надо, Ленок.

Она ничего не замечала. Счастье сделало ее слепой.

— Я смеюсь, знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь... Милый, смотри, все побежали, разве уже сейчас?

— Да, сейчас,— пробормотал он и зашагал к поезду, она рядом с ним.— Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще...

— Я только что отправила тебе письмо,— сказала она и не отводила глаз от его лица.— Лучше бы я тебе отдала. Ты получаешь?

— Нет,— сказал он.— То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать...

Они стояли около теплушки. Два офицера стояли в открытой двери, курили и смотрели на них сверху.

— Я люблю тебя! — громко сказала Лена, обняла его и потянулась поцеловать.

— Ленка! — сказал он.— Я не хочу обманывать.— Он взял ее за локти, виновато пожал.— Прости меня. Так случилось, знаешь... Я женат.

Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал. Кто кого обманывает? Что простить? Он женат? Конечно, он женат, она его жена...

— Так вышло,— продолжал он вполголоса.— Такая нам, видно, судьба — *планида*...— Он неловко улыбнул-

ся.— Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка, эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь... С одними война разлучает, с другими сближает... Конечно, комнату и прочее ты забирай себе,— прибавил он скороговоркой, брезгливо сморщившись.

Какие вещи? Почему забирать комнату? Он думает, что его убьют?..

— Прости,— повторил он, опуская глаза под ее взглядом.

Вдруг она поняла. У нее опустились плечи.

Он говорил, запинаясь:

— Я много думал: почему так получилось?.. Не знаю. Может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно... Был угар. И когда мы разлучились, он прошел...

— У меня не прошел,— сказала она серыми губами.

Он не расслышал слов, но угадал их смысл — по ее глазам, по движению ее головы.

— Ты сумела это сберечь...

Она повернулась и пошла от него.

Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжелой, чужой походкой.

Она шла изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, теперь давила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдет сил сбросить его с себя.

Глава двенадцатая

ДАНИЛОВ

Данилов не особенно любил природу. Вернее, он о ней как-то не думал: он вырос среди лесов и полей и не замечал их красоты. Глядя на тучные, в цветах, луга, он думал: «Сено нынешний год будет хорошее». Видя лес, думал: «Вот где стройматериалу-то!» Его занимали люди, их дела и взаимоотношения.

Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато — на подбор, как отборная рать; и все тонуло в лебяжьей, незапятнанной белизне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей; застревал между веточками круглыми неж-

ными пушка́ми. «Сказка!»— думал Данилов, стоя на площадке, щуря глаза от этой серебряной белизны, плывущей мимо молчаливо и величаво в сиянье своей прелести и непорочности... Солнце, спускаясь, ненадолго осыпало снега розовыми блестками, потом малиновыми. И закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу... Поезд остановился.

Его остановил небольшой отряд бойцов, русских и поляков. Командиром у них был молоденький младший лейтенант. Валенки бойцов были покрыты снегом до колен. Снегом были посыпаны их ушанки и плечи. Они вышли из глубины этого богатырского леса.

Младший лейтенант просил подвезти их: они ехали ликвидировать банды, которыми кишели леса вокруг Варшавы.

— Домашнее дело,— сказал лейтенант.— Немцы чисто все поутекали, остались бандиты с одними пулеметами — орудия немцы увезли. В Червонном Бору только вчера истребили последнюю банду.

Поезд имел путевку в Червонный Бор.

Отряд разместили в штабном вагоне и напоили чаем. Через два прогона бойцы вылезли.

Поздно вечером, среди леса, поезд принимал раненых. Госпиталь помещался в четырехэтажном, одиноко стоящем здании, без всяких пристроек, чопорной и красивой архитектуры.

Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно. Раненые были прифронтовые, недавно с поля боя.

— Знаете,— сказал доктор Белов Данилову,— в шестом вагоне едут две женщины. Офицеры. У одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете, пришлось положить их в жесткий, в кригерах совсем нет мест.

В кригерах не было мест, потому что в этот рейс было особенно много тяжелораненых. Даже изолятор был заполнен ими.

Данилов, совершая утренний обход по вагонам, заглянул к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе; по приказанию доктора Белова купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали — одна почти ничком, зарыв лицо в подушку; подрагивал от толчков поезда ее стриженый белокурый пушистый затылок; другая натянула простыню почти до пе-

реносья, лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. Такая усталость и такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках и шепотом сказал дежурной санитарке Ваське:

— Тут женщины у тебя едут — ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще, но не тревожь. А то я вас знаю, вы чем свет начинаете людям градусники тыкать...

Васька побаивалась Данилова. Она сейчас же разыскала сестру Смирнову и сказала ей:

— Были замполит, велели женщин не беспокоить, нехай спят.

То же самое она сказала сестре Фаине.

И Смирновой, и Фаине было не до спящих женщин,— они сбивались с ног: рейс был трудный.

Утро пришло хлопотливо. Ни один человек не вернулся к обеденному часу в штабной вагон, кроме Супругова.

— Я привык к режиму,— говорил Супругов.— Правильный режим — залог работоспособности.

Он снял халат, вымыл руки и с удовольствием сел к столику, на котором в тарелках, прикрытых белоснежной салфеткой, уже был подан обед. Пришел Соболь.

— Где они все, вы мне скажите? — спросил он.— Порции стынут, я же не имею физической возможности подогревать по десять раз.

— Придут,— отвечал Супругов, поднимая салфетку.— О, что я вижу!..

— Да,— глубоко вздохнул Соболь.— В груженые рейсы кушаем, как дай бог было кушать в тысяча девятьсот сороковом году...

Разговор был прерван стуком в дверь — громким, неделикатным стуком. Стучала Смирнова.

— Доктор,— сказала она не своим голосом,— идите скорей в шестой вагон.

— Что такое? — спросил Супругов.

Он только что насадил на вилку кусок жареной свинины, смазал его горчицей и увенчал колечком лука.

— Раненая рожает,— сказала Смирнова.

Супругов не понял:

— Как рожает?

— Ну, обыкновенно как,— грубо ответила Смирнова. Ее обозлила эта вилка с куском мяса, которую благоговейно-неподвижно, торчком, держал перед собой Супругов. Вышибить бы у него тарелку из-под носа... Смирнова была молода, горяча,— все ее нехитрые переживания отражались в ее хмурых серых глазах...

— Растрясло ее, вот и рожает,— объяснила она.— Та, что без ноги.

Супругов отправил свинину себе в рот и закусил кусочком хлеба. Глаза его наполнились слезами: от горчицы.

— Позвольте,— сказал он, прожевав,— ведь у нее в эпикризе ничего не сказано о беременности?

— Не сказано.

— А старшая сестра там? — спросил Супругов.

— Старшая сестра в девятом вагоне, у припадочного. Они все там.

— А Ольга Михайловна?

— В кригерах, на перевязках.

Супругов подумал. Вот всегда так: когда экстренный случай, все оказываются занятыми. А он при чем? Он не акушер. Ухо, горло, нос... Он не обязан быть повивальной бабкой.

Супругов сказал:

— Почему паника? Уж кто-кто, а вы, женщина, должны уметь оказать помощь в таких случаях.

И, с удовольствием видя, что Смирнова побагровела и в ее откровенных глазах выразилось желание прихлопнуть его на месте, он, вставая, сказал:

— Идите, я сейчас приду.

Но когда, вымыв руки и надев халат, он пришел в шестой вагон, там уже хлопотали Ольга Михайловна и Юлия Дмитриевна, вызванные Васькой. Супругов с брезгливым любопытством взглянул на рожавшую женщину. Конвульсии сводили ее большое, с высоким животом тело, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась по подушке.

— Кричите, милая, кричите! — ласковой скороговоркой говорила Ольга Михайловна.— Не стесняйтесь, ничего тут такого нет; легче будет.

Женщина не кричала. Пятно пота расплылось по подушке вокруг ее головы, искусанные губы распухли. Она подавляла протяжные стоны, похожие на мычанье, глаза в темных ямах дико и страшно смотрели с воспаленного лица.

— Разочек крикните как следует! — убеждала Ольга Михайловна. Юлия Дмитриевна увидела Супругова и вышла к нему.

— Вы тут совершенно не нужны! — сказала она, девически смутившись.— Мы управимся без вас.

Он посмотрел на нее, и какая-то шаловливая мысль заставила его прищуриться. Положительно, все это неспроста — и опущенные глаза, и быстрое неловкое движение, которое она сделала, увидев его... Вот, значит, как. Впрочем, что-то в этом роде ему и раньше казалось...

Чертовски забавно.

— Я удивляюсь одному,— сказал Супругов строго,— я удивляюсь тому, что в эпикризе ни слова не сказано о беременности.

— Допустим, было бы сказано,— возразила Юлия Дмитриевна.— Мы все равно не могли бы предотвратить то, что случилось.

— Это преступление! — сказал Супругов.— Эвакуировать такую больную — преступление.

— Вы забываете, что ее нельзя было оставлять вблизи от фронта. Роды преждевременные. Она должна была родить через два месяца.

Юлия Дмитриевна уже справилась со своим смущением и говорила обычным уверенным тоном, но все еще не смотрела Супругову в глаза.

Прибежал доктор Белов. Только что в девятом вагоне у контуженого окончился тяжелый припадок, и доктор поспешил к роженице. Надо же, надо же, чтобы именно эта несчастная женщина, у которой нога ампутирована почти по бедро...

— Ну? — спросил доктор Белов, с мольбой переводя глаза с Юлии Дмитриевны на Супругова.— Как она?

— Ничего, организм здоровый. Если бы она могла иметь нормальные потуги, дело шло бы быстрее. Но она не может иметь нормальные потуги, потому что у нее одна нога.

Это сказала Юлия Дмитриевна. Супругов сделал печальное лицо и вздохнул. Растроганный доктор Белов сейчас же исполнился благодарности к нему:

— Хорошо, что вы здесь, голубчик. Вы слушали сердце?

Супругов замялся. Юлия Дмитриевна пришла к нему на помощь:

— Я слежу за сердцем. Все хорошо. Имей она возможность упираться ногами — она уже родила бы.

За простыней раздался крик, от которого вздрогнули все мужчины в вагоне: седая женщина не выдержала — закричала.

Родился слабенький семимесячный мальчик, и с первой станции передали в М*, чтобы М-ский эвакопункт выслал к поезду машину за родильницей и ребенком.

Рассказ обо всем этом Данилов выслушал как-то вскользь, без особенного интереса. Мысли его были заняты человеком из девятого вагона. Как все выходящее за предел и трудно объяснимое, болезнь этого человека раздражала Данилова. К таким явлениям, как раны, инфекция, газовая гангрена, как все те разрушения, которые производятся в человеческом теле металлом и невидимыми существами, именуемыми микробами, Данилов уже привык. Но человек, с которым он сегодня провозился битых два часа, не был ранен. Его сбила с ног воздушная волна от разрыва снаряда. Он упал и даже не очень ушибся. Он не потерял ни капли крови, потерял только сознание, и то ненадолго. И вдруг после этого у него начались припадки. Словно злая сила поселилась в нем, швыряла его затылком о пол, пружинила его тело, как в столбняке, вызывала на его губах бешеную пену. А до этого человек никогда не страдал эпилепсией, нервы у него были в порядке, родители его и деды были здоровы. Это было непонятно. Объяснения врачей казались Данилову сбивчивыми и туманными. Если бы он прочитал о таком случае в книге, он бы не поверил, подумал: что-нибудь не так! Но он наблюдал припадок собственными глазами. Он сам расспрашивал этого человека, он держал его голову во время припадка и ощущал злую силу, которая колотила о койку тело больного так, что с ним едва могли совладать четверо здоровых мужчин. Да, это, несомненно, было, но этого не должно быть, как не должно быть ничего темного, неразумного, злого, от чего мучается человек.

Данилов вернулся в штаб на исходе дня. Отказался от обеда — ничего не хотелось, он чувствовал усталость и тревогу. Скрутил папиросу, закурил — тревога улеглась, мысли прояснились. В свой час наука научится вылечивать и от этой чертовой болезни, как она научилась выле-

чивать от туберкулеза, сифилиса, газовой гангрены. В конце концов, судьба этого контуженого не самая страшная. Если бы ему предложили поменяться с той безногой, что родила в пути,— он бы, наверно, подумал, а подумав — отказался... И, вспомнив о безногой, Данилов захотел повидать ее.

Родильница лежала, укрытая одеялами: ее знобило, хотя в вагоне было тепло. Ребенка около нее не было: его унесли в изолятор.

— Как чувствуете себя? — спросил Данилов родильницу.

Лицо ее было в тени верхней полки, из тени блестели глаза. Света еще не зажигали.

— Ничего, хорошо.

Голос надтреснутый, хриповатый. Данилов присел на угол койки напротив, в ногах у стриженой блондинки. Блондинка сосредоточенно скручивала папиросу, подбирая табачные крошки с одеяла тонкими огрубевшими пальцами.

— А не вредно ли вам, чтоб дымили тут?..— неодобрительно сказал Данилов, обращаясь к родильнице. Та слегка улыбнулась большим ртом. Блондинка сказала с досадой:

— Это я для нее. Она целый день курит, а меня заставляет крутить... Нате! — сказала она сердито, протягивая папиросу родильнице.

— Я потом,— сказала родильница и положила папиросу на стол, а блондинка сейчас же принялась скручивать новую. Видно, родильнице было холодно — она потянула одеяло к лицу, укрылась, как давеча, почти до глаз...

— Вы кто? — спросила она, не отводя блестящего взгляда от лица Данилова.— Врач?

Он сказал.

— Давно вы тут?

— С первых дней войны.

— А до войны кем были?

Выходило так, что не он ее расспрашивал, а она его. Это и лучше: легче завязать разговор. Вкратце он ответил ей, потом спросил:

— А вы какую имеете специальность?

— Я? — Она ответила не сразу, сухо, коротко: — Я работала в советском аппарате.

— А муж?

— Убит на фронте.

Она не хотела говорить о себе. Ему стало досадно.

— Трудно будет вам с ребенком,— сказал он напрямик. Он шел к ней утешить, обнадежить, сказать, что и с ребенком и без ноги не пропадет она. А она вон какая: сухая, колючая,— о нем все выспросила, а потом взяла и поставила между ним и собою стенку,— дескать, сюда не заглядывай, не твое дело.

Она подтвердила:

— Да, трудно.

— Родственники есть?

— Есть.

— Пособят...

Она резко засмеялась:

— Пособят, если поклониться...

По смеху он понял: не пойдет она кланяться родственникам. Ему представилось, как она идет по улице, выписавшись из госпиталя. Протез ей поставить нельзя. К костылям присуждена до конца дней. Ребенка нести не может, ребенка несет за нею кто-то чужой. Он представил себе все это, но ему не было ее жалко. Ту жалость, которая пригнала его сюда, сняло как рукой. Он испытывал теперь только уважение к этой женщине и к трудной судьбе, ожидавшей ее. Для такой судьбы жалость была слишком мелка.

Он хотел спросить — из какого она города, есть ли у нее еще дети, партийная или нет. Но она сказала глухо, сразу уставшим голосом:

— Я вас попрошу, товарищ замполит, позовите ко мне сестру.

Он понял, что она не хочет никакого разговора. Он ушел. Уходя, слышал, как она сказала блондинке:

— Вот теперь закурю, Варюша, ох, закурю!

Она ему приснилась в эту ночь: большая, седоволосая, неприступная, шла она по улице на костылях, и кто-то нес за нею ребенка. И даже во сне он не узнал ее.

Он узнал ее только утром, на вокзале в М*. Санитарный автомобиль ждал на рампе. Два санитара на носилках вынесли из вагона ее и ребенка. Данилов смотрел из окна штабного вагона. Большой рукой женщина охватила закутанного в одеяло ребенка, и на ее лице, обращенном к ребенку, была забота и боль. И в ярком свете зимнего утра Данилов узнал это лицо, узнал сквозь маску, наложенную временем и страданьем, сквозь все морщины, и тени, и отеки, единственное дорогое лицо с маленьким, звездочкой, белым шрамом на скуле... «Ах, витязь, то была

Фаина!»— закричал кто-то ему в ухо голосом Соболя. Носилки исчезли в глубине автомобиля. Автомобиль тронулся, и поезд тронулся тоже. Данилов стоял у окна. Он еще ничего не понял, только узнал. «Ах, витязь, то была Фаина!»— трубил ему в ухо голос Соболя. «Ах, витязь, то была Фаина!»— грохотали колеса, набирая скорость и гнев.

Вот и повстречались.

Повстречались, а он не узнал ее и сидел около нее как чужой. И говорил с нею через стенку, которую она перед собой поставила.

А ведь она его узнала сразу. Чем больше он думал, тем сильнее убеждался в том, что сразу узнала.

Как внимательно она разглядывала его. Она спрашивала, кто он и кем был до войны. Она хотела знать, кем он стал, ее ученик, оставивший неизгладимую отметину на ее лице.

О себе ничего не пожелала рассказывать. Не призналась ему...

Какое облегчение, почти радость была в ее голосе, когда она сказала:

— Вот теперь закурю, Варюша...

Она потому и не курила при нем, чтобы спичка не осветила ей лицо. И выгнала его поскорей — пока не узнал.

Боялась — вдруг он узнает ее, угадает по какой-то нотке голоса.

Он не узнал, не угадал.

И мог ли он узнать?

Прошла почти четверть века. Между этой суровой седой женщиной и той прежней Фаиной так же мало общего, как между Даниловым и пареньком, за поступки которого Данилов не отвечает.

Паренек с пушком на губе и смеющаяся Фаина с распущенными мокрыми волосами — дорогие образы, оставленные у входа в жизнь.

Нет у Данилова того влеченья, той нежности. Четверть века... Сколько это дней, и ночей, и мыслей, и дел. И седина на висках... Разве мог бы паренек соскучиться по дому, по родному углу? А вот Данилов,— поймите,— соскучился...

Глава тринадцатая

КАНУН МИРНОГО ДНЯ

Фаина давно заметила, что Низвецкий влюблен в Лену. Такие вещи Фаина распознавала каким-то шестым чувством. Злое, сухо-насмешливое лицо Лены возмущало ее.

«Скажите, пожалуйста! — думала Фаина.— Эта девочка считает себя вправе играть людьми только потому, что она молода и хороша собой...»

Однажды вечером, идя из аптеки в штабной вагон, Фаина налетела на Низвецкого. Он починял проводку в офицерском жестком. Фаина толкнула его дверью и сказала:

— Ах!.. Это вы.

Он молча посторонился. Он всегда скромно сторонился, если кто-нибудь попадался ему навстречу. Фаина остановилась:

— Что-то я хотела вам сказать, товарищ Низвецкий... да: вы можете починить мне настольную лампу?

— Могу,— сказал Низвецкий.

— Сегодня можете? — спросила Фаина.— Сейчас?

— Можно сейчас,— ответил Низвецкий своим тихим унылым голосом.— Вот только проверю проводку.

У Фаины не было заранее намеченного плана действий, она позвала Низвецкого по какому-то откровению, неожиданно для самой себя. Она вернулась в купе, напевая: «Ты меня ни о чем не расспрашивай», насыпала в вазочку печенья и заварила чай.

Через полчаса пришел Низвецкий с куском проволоки в руках. Вид у него был такой, словно ему уже никогда не радоваться жизни.

Фаина сказала:

— Ах, лампа? Она давно не работает, я ее засунула куда-то под диван. Давайте сначала напьемся чаю, я умираю пить!

(Невозможно же было сознаться, что лампа в полной исправности...)

Низвецкий очень стеснялся. В купе было чисто, лежали белоснежные вышитые подушечки на голубых чехлах. Около зеркала стояла вереница слонов — один крошечный, потом все больше, больше — как диаграмма. Низвецкий насчитал тринадцать штук... Он неловко присел на краешек дивана, стыдясь того, что дурно одет: знал бы — надел хороший костюм...

— Я, может, зайду позже? — пробормотал он.

— Боже мой, нет,— сказала Фаина, накладывая варенье в блюдечки.— Сидите, сидите, не вскакивайте! Не мешайте мне хозяйничать!

Низвецкий ушел от Фаины с легким звоном в ушах, с переполненным желудком и с сердцем, растроганным женской заботой, которую Фаина щедро излила на него.

«Славная она»,— думал он, вспоминая ее варенье, добродушную болтовню и раскатистый смех. Он не думал, что она кокетничает с ним; он был просто благодарен ей. После ее купе, где пахло духами и ванилью, в вагоне команды ему показалось душно и неуютно. Проходя мимо того места, где спала Лена, он мельком взглянул туда... Лены не было. Должно быть, она еще у себя в кригере,— но ему не захотелось сейчас идти туда...

Лампу починить не удалось. К концу чаепития Низвецкий вспомнил о цели своего прихода. Но Фаина сказала, что она хочет спать, и попросила Низвецкого прийти завтра вечером: в самом деле, надо же починить лампу, без лампы она, Фаина, как без рук...

Под Берлином шли последние бои. Была середина апреля 1945 года. Санитарный поезд направлялся в Омск на годовой ремонт.

Доктор Белов получил телеграмму с приказом об отпусках. Он вышел из своего купе, сияя всеми морщинками и держа телеграмму над головой.

— Это касается и вас,— сказал он Юлии Дмитриевне, которую встретил первой.— Только, знаете, вы все сначала будете плясать. Все, все, кто тут перечислен.

И тут же, не дожидаясь, пока ему спляшут, вслух прочел телеграмму. В число отпускников попали Супругов, Юлия Дмитриевна, Кравцов и Лена Огородникова.

Доктора очень огорчило то, что некоторые отпускники не проявили особенной радости. Клава Мухина сказала:

— Как же мы обе уедем — Юлия Дмитриевна и я, а кто будет смотреть за перевязочной?

Лена прямо отказалась от отпуска, сказав, что ей не хочется ехать, и просила вместо нее предоставить отпуск Наде. А доктор думал, что Лена больше всех обрадуется

отдыху: у нее был такой усталый вид в последнее время и больное лицо...

Юлия Дмитриевна, узнав об отпуске, стала особенно, сверхъестественно красной; потом вдруг побледнела и сжала губы с выражением мрачной тревоги.

Этот отпуск должен был решить ее судьбу. Она поедет вместе с Супруговым.

Ведь он описывал ей свою квартиру? Даже чертил план; этот план она спрятала и иногда любовалась им... Ведь сказал ей однажды так нежно: «Спокойной ночи»— и поцеловал руку...

И ведь сказал же, узнав об отпуске:

— Мы, конечно, поедем вместе?

В первый раз в жизни сумасшедшая надежда овладела ею.

Это должно получиться так...

(Конечно, она уже не особенно молода, ей скоро сорок четыре; но благодаря своему здоровью она выглядит гораздо моложе, у нее ни одного седого волоса и совсем мало морщин. Да ведь и он не мальчик, как ни говори! И она некрасива,— но разве мало на свете некрасивых женщин, которых любят и ласкают? Она знала одну дурнушку, которая четыре раза выходила замуж. Один очень интересный доктор чуть не застрелился из-за нее. Совсем уже хотел стреляться, с трудом его отговорили.)

Это должно получиться так: они приедут вместе в родной город, и он ей скажет... Нет, он скажет ей еще в дороге, все должно быть решено до приезда. «Дорогая,— скажет он ей,— я не могу без вас, будьте моей женой». Может быть, он еще добавит: «моим спутником», или «моим товарищем», или что-нибудь в этом роде. А может быть, и не добавит, потому что все эти понятия сочетаются в прекрасном, извечном, волнующем слове: жена. Как счастливы женщины, которые чьи-нибудь жены. Которые были когда-нибудь чьими-нибудь женами. Как прекрасна жизнь женщин, у которых есть дети...

Дети! Она робко провела ладонями по своей груди и по животу. У нее были бы здоровые, цветущие дети. Она создана для материнства. Она это знает.

Он объяснится в дороге, и прямо с вокзала они поедут к нему на квартиру. Он повезет ее к себе на квартиру... Это будет немножко чужое жилье для нее, к нему придется привыкать, и обживать его, и сживаться с соседями, но что делать? Дом жены там, где дом ее мужа.

В первый же день она поведет его к своим. Они придут под руку — любящие супруги. Как будут рады папа и мама. Они, наверное, совсем поставили крест на ее замужестве. И вдруг она придет под руку с мужем...

Минутами ее уверенность была так велика, что она готова была послать домой телеграмму: «Еду отпуск вместе мужем ждите Юля».

Но внезапно исчезала вера в возможность счастья, и наступал упадок: слабость — до физической немощи, почти до тошноты.

«Этого не может быть,— думала она.— Ничего этого со мной не может быть».

А потом она видела Супругова и слышала особенные, значительные нотки его голоса, и ловила его взгляд, тоже особенный, значительный, и его улыбку, обращенную к ней,— и опять ее взмывала волна...

Она так устала от этого чередования надежды и безнадежности, что иногда ею овладевало желание пойти к нему и спросить начистоту: да или нет?

Но ее удерживали женская гордость, женский стыд и еще одно чувство, более сильное, чем даже гордость и стыд,— страх полной безнадежности.

Она не могла отказаться от своей мечты. Это был ее первый реальный женский расчет. Первый и — последний: ей сорок четыре года. Скоро старость. Жизнь уходит. Если уйдет Супругов, ей больше не останется никаких надежд на замужество, материнство, на нормальную жизнь, которою живут миллионы женщин, не ценя ее.

Супругов сказал Данилову очень любезно:

— Как же это так вам не дали отпуска, Иван Егорыч, ай-ай-ай...

Ему было очень приятно, что Данилова обошли, а его, Супругова, отметили. Теперь он был уверен, что получит орден: поезд везде хвалили, о нем писали в газетах, макет потребовали на всесоюзную выставку, а ведь он, Супругов, первый о нем писал, вы помните, когда РЭП еще не обращал на них такого внимания... К сожалению, Данилов тоже получит орден, ну, конечно: замполит! Хотя вот Данилову отпуска не дали, а ему дали...

Данилов не стал объяснять Супругову, что не хочет ехать в отпуск до конца войны и что список отпускников доктор Белов составлял вместе с ним. Он сказал равнодушно:

— Я недели через две поеду в В* по партийным делам.

Он был занят Кравцовым. Придется Кравцова пустить съездить раньше, а самому поехать, когда Кравцов вернется: кто-нибудь из них двоих должен присматривать за ремонтом, нельзя доверить такое дело ни начальнику, ни Соболю, ни Протасову.

— И потом — двигатель,— говорил Данилов Кравцову.— Успеете отремонтировать двигатель?

— Кажется,— отвечал Кравцов,— мы знакомы не первый год.

— А вернетесь вовремя?

— Ну, достаточно, товарищ замполит,— сказал Кравцов.— Мне надоели эти шутки. Давно пора предоставить мне отпуск. Нашли дурака, который по вольному найму работает больше каторжного.

Данилов устроил Кравцову почетные проводы. Кравцову перед частью была вынесена благодарность и выдана премия — отрез на костюм и именные часы.

— Приеду домой с подарками,— сказал Кравцов, вернувшись к себе на электростанцию.— Отрез старухе на платье, а сыну подарю свои старые часы, они лучше всяких новых.

Васька и толстая Ия тоже собирались в В*: их командировали на курсы медицинских сестер. Данилов вызвал их к себе и сказал им напутственное слово:

— Всякий вздорный элемент вы знаете какие распускает слухи о девушках-санитарках. Вы на слухи плюйте, но себя держите так, чтобы подкопаться нельзя было. Чтобы скромность и опрятность в одежде, в походке, в голосе, во всем. Чтобы показывали на вас как на образец поведения. Чтобы вот этой пакости не было больше,— сказал он, показывая на Васькино лицо.

— Чего я могу сделать! — сказала Васька.— Когда они с шестимесячной гарантией.

— Что-то мне кажется,— сказал Данилов,— что я тебя больше года вижу с этими бровями.

— Ну что же мне делать,— сказала Васька,— повеситься или что? Я их сулемой отмывала и керосином, ничего не берет.

Она врала — уже два раза за это время она была в парикмахерской и чернила брови...

Данилов велел Соболю щедро снабдить девушек на дорогу продуктами, и веселые, с большими коробками от

медикаментов вместо чемоданов, они пересели на товарный поезд, идущий в сторону Ленинграда.

Юлия Дмитриевна и Супругов уехали через два дня.

— Дорогая вы моя,— сказала Фаина, прощаясь с Юлией Дмитриевной,— я вам желаю всего, всего! Вы даже не можете себе представить, до какой степени я этого желаю!

Лицо ее сияло, она широко, торжествующе распахнула объятия и поцеловала Юлию Дмитриевну. Та смутилась и неловко чмокнула Фаину жесткими губами...

Она села с Супруговым в мягкое купе скорого поезда. Им предстояло тридцать шесть часов совместного пути.

Если бы Юлия Дмитриевна не была в таком смятенном состоянии, пассажирское купе после ее белоснежной санитарной обители показалось бы ей очень запущенным и грязным: диваны были пыльные, электричество горело тускло, багажные сетки прохудились. Из жидкой подушки, которую принес проводник, лез пух. Но ей, такой опрятной и брезгливой, на этот раз было все равно.

Выехали они вечером. Супругов сейчас же стал устраиваться на ночлег и, перебросившись с Юлией Дмитриевной несколькими фразами, заснул сладко. Она тоже легла, но не могла заснуть. Никогда прежде она не бывала в такой близости к мужчине, которого любила. Только убогий вагонный столик разделял их. На верхних полках спали еще какие-то мужчины — военные, судя по сапогам, стоявшим на полу.

Она не спала, лежала лицом вверх, трясясь от толчков поезда, и думала о том, сколько в стране мужчин, молодых и старых, больных и здоровых, и нет среди них ни одного, который захотел бы разделить с нею свою мужскую судьбу, свою мужскую душу. Супругов лежал к ней спиной, она видела его аккуратно подстриженный затылок и руку в полосатом рукаве рубашки, лежавшую поверх одеяла, и понимала, что он безгранично далек от нее, что это все фантазии, мираж, бабьи глупости. Ей было так тяжело, что хотелось заплакать, чтобы полегчало; но она не умела плакать.

Утром он встал как ни в чем не бывало, словно не знал, что из-за него она провела бессонную ночь. Предложил ей одеколон, когда она ушла умываться, готовил для нее бутерброды, и так вежливо, так почтительно разговаривал с нею, что она опять расцвела. Военные смотрели на них

сверху, дымя в потолок крепким табаком, и Юлии Дмитриевне это было приятно. Однако она была очень довольна, когда в купе зашел молодой подполковник и увел обоих военных к себе, играть в преферанс, и они с Супруговым остались вдвоем.

Супругов как будто смутился. Сославшись на духоту, он отворил дверь в коридор. «Как он благороден,— подумала Юлия Дмитриевна,— он боится скомпрометировать меня».

— Мы едем без опоздания? — спросила она, чтобы заполнить неловкую паузу.

— Да,— отвечал он.— Мы будем в В* завтра часов в шесть утра.— И поглядел на часы.— Нам осталось ехать еще восемнадцать часов.

«Еще восемнадцать часов ожидания»,— подумала она. Ей захотелось, чтобы поезд опоздал, чтобы он шел долго-долго, чтобы долго-долго она оставалась с *ним* и со своей надеждой.

— Не поесть ли нам? — предложил Супругов.

Она согласилась, хотя ей еще не хотелось есть. Опять он достал коробку с провизией и опять любовно, со знанием дела, приготовил бутерброды. Она вяло ела и думала: «Вот так мы будем есть и есть, а там вернутся наши попутчики, а там ночь, а там домой приедем, и все кончено».

— Не поспать ли нам? — сказал Супругов, покончив с едой.— Когда же и отдохнуть, если не в дороге, не правда ли?

И он проворно лег и заснул или сделал вид, что спит, а она сидела и прощалась со своей надеждой, со своей первой и последней реальной мечтой.

Какие у нее некрасивые красные руки с желтыми ногтями. Из подушек лезет пух, вся юбка у нее в пуху. Проклятая обыденность стародевичьей, никому не нужной жизни... Должно быть, эти военные с насмешкой наблюдали, как Супругов ухаживает за нею. О, дура, поделом ей...

Какие-то люди проходили мимо открытой двери и заглядывали в купе. Она боялась, чтобы они не прочли страданье на ее лице, и старалась принять спокойное и равнодушное выражение. А люди, заглянув в купе, думали: какое усталое лицо у этой женщины в лейтенантских погонах. И больше ничего они не думали.

Утром Юлия Дмитриевна и Супругов прощались на вокзальной площади.

— Вы в трамвае? — спросил он.
— Нет,— отвечала она,— я пешком. Мне близко.
— Может быть, позвать вам носильщика?
— Нет. Я справлюсь сама.
Она говорила повелительно и твердо, а он смотрел на нее и думал:
«Женщина ошиблась в расчетах. Но она недурно маскируется».
— Прощайте,— сказала она первая, и голос ее вдруг сорвался, в нем прозвучало почти рыданье.
— До свиданья, дорогая,— поправил он мягко.— До скорого свиданья в санитарном поезде.
Он поцеловал ей руку. Она быстро и неловко отняла руку и быстро пошла по вокзальной площади, широкая и нескладная, с тяжелым чемоданом в руке.
Утром в поезде, после того, как они позавтракали, он сосчитал оставшиеся продукты, щепетильно разделил их на две равные части и переложил в чемодан Юлии Дмитриевны сколько-то банок и сколько-то кульков.
И в том, как он считал эти банки и резал шпик, было что-то до того унизительное, что у нее сжималось горло при воспоминании об этом.
Бледная и мрачная, со стиснутым ртом, она переходила людную вокзальную площадь...
— Юлия Дмитриевна! Юлия Дмитриевна! — раздался за нею отчаянный крик. Она оглянулась — на нее летела Васька в солдатской гимнастерке, с угольно-черными бровями от переносья до висков.
— Васька,— сказала Юлия Дмитриевна рассеянно,— ты что, Васька?
— О боже ж мой, Юлия Дмитриевна! — горячо воскликнула Васька.— Я же вас каждое утро хожу встревать. Ой, ну какое счастье, что я вас не пропустила!
— Не встревать, а встречать,— машинально поправила Юлия Дмитриевна.
— Ну, встречать,— согласилась Васька.— Юлия Дмитриевна, мы уже учимся с позавчерашнего дня, я и Ия, Юлия Дмитриевна, и на нас все удивляются, какие мы культурные и как много знаем, и я больше всех — ей-богу.
— Где Ия? — спросила Юлия Дмитриевна.
— В общежитии. Она еще спит. Мы вчера всем курсом были в кино, ой, мы с ней так плакали... Дайте мне чемодан ваш, Юлия Дмитриевна.

И Васька проворно выхватила у Юлии Дмитриевны чемодан.
— Пойдем со мной, Васька,— попросила Юлия Дмитриевна, чувствуя себя легче в Васькином присутствии.— Пойдем ко мне домой.
Она пошла, не слушая, что говорит Васька. Пришли на тихую чистую улицу, обсаженную вязами,— одну из самых старых и степенных улиц в городе. Каждый вяз на этой улице, каждую плиту на панели Юлия Дмитриевна знала с детства.
— Скоро ваш дом? — спросила Васька.
— Скоро,— ответила Юлия Дмитриевна.— Вот сейчас за углом.
На углу стояла баба с бидоном и озиралась по сторонам.
— Фершал где живет? — спросила она Юлию Дмитриевну, когда та подошла.
Юлия Дмитриевна улыбнулась. Баба с бидоном, ищущая фельдшера, была как бы преддверьем ее родного дома.
За дверью упал тяжелый болт, дверь распахнулась, взметнулись старческие руки в отпашных рукавах капота:
— Милая, милая! Я в окошко увидела — героиня наша идет, красавица наша идет... Представь — только вчера о тебе справлялся профессор Скудеревский... Митя! Митя! Вставай, деточка наша приехала, Юленька приехала...

Приехав домой, Кравцов узнал от своей старухи, что Сережка, сын, назначен помощником машиниста на тот самый дизель, на котором до войны работал Кравцов. Сережке шел всего восемнадцатый год, и мать гордилась его назначением.
— Ничего особенного нет,— сказал Кравцов.— Я тоже с пятнадцати лет при моторах.
Побрившись и надев праздничный костюм, он отправился на завод. С видом снисхождения и превосходства познакомился с новым начальником цеха — женщиной.
Женщина! Что они могут понимать в электричестве...
Потом он пошел к дизелю. Сережка был занят работой, он только широко улыбнулся, увидев отца, и крикнул: «Я скоро! Подожди!» Кравцов сел на подоконник и наблюдал, как Сережка орудует стамболем. Резиновые са-

поги были слишком высоки для Сережкиных ног: парень был малорослый.«Та же картина, что и на транспорте,— подумал Кравцов.— Покуда нас нет, на производстве управляются ребятишки и бабы».

Он поговорил с машинистом, старым знакомым, солидным человеком, угостил его медовым украинским самосадом и пригласил вечерком зайти к нему.

Смена кончилась скоро, и Кравцов с Сережкой пошли домой. Сережка расспрашивал, где отец побывал, и Кравцов рассказывал ему о Киеве, Бресте, Ленинабаде, Тбилиси. «Ну, это — география»,— сказал он и перешел к поездным делам.

— Все решительно мы вдвоем с замполитом,— сказал он.— Он придумывает — очень способная голова! — а я осуществляю его мысли. А текущая работа? Считай: электричество в багажник провел я. Радиохозяйство смотрю я. Все трубы парового отопления ремонтирую я. Ей-богу, без меня даже чайника не запаяют.

Ему было приятно, что с Сережкой можно говорить обо всем и Сережка поймет.

— Для лечения соллюксом я переделывал всю аппаратуру на сто десять вольт. Патроны Миона пришлось заменять патронами Свана...

Тем временем старуха обежала соседок и одолжила талоны на водку всюду, где только могла. Считалось вообще неприличным встречать войскового отпускника без выпивки, а уж такого отпускника, как ее старик, старуха и подумать не могла принять всухую.

Кравцов с удовольствием увидел на столе батарею водочных и пивных бутылок и спросил благосклонно:

— Живем, мать?

— Живем, отец,— отвечала старуха.

— Ты у меня огонь-молодица,— сказал Кравцов.— Однако где же гости?

Гости пришли: чета родственников и старые приятели, в том числе машинист, Сережкино начальство. Было пристойно весело, без галдежа. Часто чокались и говорили друг другу приятности. Все внимание и вся ласка были устремлены на Кравцова. Каждому новому гостю он должен был рассказывать о Киеве, Двинске, Бресте, о следах, оставленных фашистами на нашей земле... Он наскоро кончал с этим и возвращался к поезду.

— Трудно. Дают моторную нефть тяжелого качества, а по марке требуется газоль. Что делать? Работаю на

нефти. Большой нагар, загорают кольца. Учтите, насколько чаще приходится разбирать и чистить...

— А ну как же! — отвечали старички-приятели, степенно опрокидывая стопочки.— А ну ясно! С тяжелым топливом, само собой...

— А как Сергей работает? — при всех спросил Кравцов машиниста.— Не позорит отца?

Машинист похвалил Сережку. Кравцов тут же подарил Сережке карманные часы и прочитал ему такое наставление:

— Сергей, запомни: к машине всегда подходи в трезвом состоянии. Машину надо любить, тогда и она будет любить тебя. Если ты будешь ее любить — она, только ты откроешь дверь, будет здороваться с тобой, потому что подходит к ней дорогой человек. А будешь кой-как — она тебя возьмет, искромсает, сгложет, выплюнет кусок мяса... Машина-то какая — один маховик на двух платформах привезен... Трезво и с любовью! — повторил Кравцов, теряя нить и стараясь поймать ее.

— В работе,— говорил он дальше,— должна быть культура и красота исполнения. Электрическое дело — самое прогрессивное и самое научное...

Много он еще говорил, чувствуя, что красноречие прибывает к нему с каждой стопкой. Уже и гости, ублаготворившись, разошлись, а он все учил Сережку. Проснулся утром на родимых полатях. Первая мысль была: смену проспал!.. Потом сообразил, что он теперь работает не на заводе, а в санитарном поезде и в данное время находится в отпуску. Успокоился и стал думать — кто же втащил его на полати и когда? Внизу старуха чистила его сапоги...

— Где Сергей? — спросил он.

— На работе,— отвечала старуха.

Кравцов скинул одеяло, сел, спустил босые ноги на теплую печь.

— Ну, так,— сказал он озабоченно и строго.— Дай, мать, опохмелиться...

Все было решено между Фаиной и Низвецким.

Как это получилось, Низвецкий и сам не знал. Ходил, пил чай. Фаина хохотала, говорила, вертелась в купе, задевая Низвецкого то плечом, то коленом... Она расспрашивала его о родственниках и интересовалась, правда ли, что во Владивостоке очень много китайцев? С горячим

сочувствием Фаина относилась к болезни Низвецкого. Не обязательно делать операцию, говорила она, надо еще посоветоваться с гомеопатами, она слыхала, что иногда гомеопаты в этой области делают буквально чудеса!

Наконец Низвецкий починил ей лампу; лампа оказалась в исправности, просто волосок перегорел, а Фаина по неопытности думала, что лампа испорчена.

Фаина сказала Низвецкому, что он безумно интересный: наверно, многие женщины увлекаются им. Низвецкий удивился, но, посмотревшись в зеркало, нашел, что он действительно, пожалуй, недурен, только желт чересчур; но это пройдет, когда пройдет болезнь, Фаина Васильевна права...

Обласканный и обнадеженный, Низвецкий все неохотнее уходил из Фаининого купе в вагон команды. Ему стало трудно пробыть без Фаины хотя бы час. О Лене он давно забыл думать... И вот однажды, когда Юлия Дмитриевна была в отпуску, а Данилов отлучился в город, как-то само собой вышло так, что Низвецкий задержался у Фаины до рассвета.

— Я не понимаю одного,— говорил он ей, счастливый и тихий.— За что ты полюбила меня?

Она держала его в объятиях нежно, как младенца.

— Как ты не понимаешь! — говорила она умиленно, со слезами на глазах.— Как ты не понимаешь!..

Но он хотел, чтобы она объяснила ему это во всех подробностях.

— За то, что ты скромный,— перечисляла она восторженно,— за то, что ты такой вежливый, интеллигентный, вообще — удивительный...

Она от чистого сердца верила, что ее давно покорили эти качества Низвецкого. Ей казалось даже, что их встреча в санитарном поезде носит печать таинственного предопределения, что она, Фаина, для того и должна была пройти через войну, опасности и труды, чтобы найти свое счастье — единственное, уготованное ей судьбою...

— Я тебя прошу только об одном,— жарко шептала она в ухо Низвецкому,— помни о моей любви всегда, всегда! Эти девчонки рады повеситься на шею любому просто так, скуки ради! Я одна, одна буду тебе настоящей женой, настоящим другом! Милый, это ужасно — я чувствую, что буду ревновать тебя до безумия...

———

Однажды к Данилову пришла Фима.

Она уже давно не прислуживала в штабном вагоне — работала на кухне поваром. Очень официально она сказала:

— Товарищ замполит, разрешите обратиться. Мы, работники кухни, просим вас лично, чтобы вы побеспокоились о нашем будущем.

— Это как же? — спросил Данилов.— Замуж вас повыдавать, что ли?

Фима отвернулась и прилично посмеялась шутке. Потом объяснила:

— Мы тут в поезде приобрели квалификацию и хотели бы после окончания войны работать по новой специальности. Оля и Катя — что вы думаете? — вполне справятся поварами в общественных столовых, я их обучила. А я...— Фима немного закраснелась,— я, Иван Егорыч, хотела бы шеф-поваром или метрдотелем в какой-нибудь шикарный ресторан.

Слова-то какие: метрдотель... Что ж, молодцы...

— Это вы хорошо придумали,— сказал Данилов.— Постараюсь помочь. Во всяком случае, рекомендации вы получите.

— Иван Егорыч, что ж рекомендации. Рекомендации само собой, а вот если бы вы похлопотали как-нибудь организованным порядком...

— Постараюсь,— повторил он.

Когда она ушла, он стал обдумывать. Фима права. Он должен всех своих людей устроить в мирной жизни на тех местах, которые заслужены ими.

Есть люди, которые в этом не нуждаются: врачи, например; Юлия Дмитриевна, Лена Огородникова, он сам, Данилов.

Но вот сестра Смирнова, Клава Мухина: разве не достойны они работать в крупной, образцово поставленной больнице?

Соболю идти директором в подсобное хозяйство. Васька... Васька — куда угодно: в колхоз ли, в больницу ли, к черту ли на рога,— везде ей будет отлично. Он отдаст ее Юлии Дмитриевне: женщина бездетная — пускай учит уму-разуму способную девчонку...

Хорошо бы им всем держать связь между собою после войны. Поездные пассажиры за четверо суток и то свыкаются друг с другом. А они проездили вместе почти четыре года не пассажирами — работниками.

Он думал, что у кухонных девчат мозги набекрень, так

же, как береты. А они вон о чем шушукаются по вечерам: о будущем. Кем они войдут в мирную жизнь.

А кем он сам войдет в мирную жизнь? — Дело найдется. Много найдется дела. Вот только дома надо устроить жизнь как следует. Не так, не так она была устроена.

Скоро он увидит сына.

Сейчас он увидит сына.

Данилов шел по широкой, как пустырь, окраинной улице к своему дому. Больше года он не был здесь.

Медленно шла пестрая корова. Старая бабка еще медленнее брела за нею с хворостиной в руке, опираясь на хворостину, как на посох. Какой-то человек в старой промасленной тужурке, бедово стуча каблуками по деревянным мосткам, обогнал Данилова и оглянулся на него,— незнакомый человек. По обочине узкого деревянного тротуара земля была вскопана под картошку.

Как в деревне. Мостки не подправлены, доски сгнили во многих местах. У домов обветшалый вид.

Такой же вид, конечно, и у его дома. Вряд ли трест в минувшем году смог сделать ремонт. Вряд ли и Дуся заботилась о ремонте. Не до того было и тресту и Дусе.

Одна, без него она прожила все эти годы. Прожила — он в этом не сомневался — честно, самоотверженно и скромно. А он так редко вспоминал о ней, он ей почти не писал...

Дети играли у соседних ворот. Сына между ними не было. Чьи это дети? Вон ту девочку, черную как цыганка, он словно видел раньше. Все повырастали, никого не узнать...

Калитка.

Калитка заперта. Но он знал секрет: нужно просунуть руку между досками забора и отодвинуть деревянный засов. Он так и сделал. И вошел во двор.

Во дворе никого не было. Данилов осмотрелся. Ровные гряды, вскопанные, взрыхленные граблямн. Молодая трава по сторонам. Дорожка. Крыльцо. На двери замок.

Замок?

Почему-то он не ждал, чтобы так случилось. Это было естественно, раз он не предупредил о своем приезде. Но ему стало грустно.

Как же это так — замок?..

Он постоял с минуту. До войны Дуся, уходя, клала ключ от замка под крыльцо: на случай, если он вдруг придет без нее. Он спустился по низеньким ступенькам, пошарил под крыльцом: забытое, когда-то привычное ощущение мшистой сырости... Ключ лежал на прежнем месте, в ложбинке между двумя кирпичами.

Этот домашний тайник показался старым знакомым. Он как бы сказал Данилову: здравствуй.

Данилов отворил дверь и вошел в дом.

Он стоял в маленькой кухне. Все было на прежнем месте — и стол, и горшок с алоэ, и квашня, прикрытая суровым полотенцем. В комнатах было сумеречнее, чем на дворе, и Данилов различал предметы один за другим.

На столе, покрытом светлой клеенкой, стояла стеклянная баночка с сахарным песком. На блюдце — яичная скорлупа. Клеенка старая, потертая на углах стола; когда Данилов уходил на войну, она была совсем еще новая. Чернильные пятна на клеенке. Откуда чернильные пятна? Ах, да,— это сын пишет. Сын вырос и пишет чернилами.

Данилов закрыл глаза. Когда он открыл их, они были мокры.

Он проглотил тяжелый и сладкий ком, бившийся в горле. С мокрыми глазами он засмеялся: сын вырос и пишет чернилами!

Данилов прошел в соседнюю комнату. И здесь все было на месте, но нет того прежнего блеска, той чистоты и нарядности, к которым он привык. Кровать вместо белого покрывала застелена грубым серым одеялом. На столе, около швейной машины, недоштопанный детский чулок, напяленный на деревянную ложку.

В углу стоял трехколесный детский велосипед; одна педаль у велосипеда была обломана... Нет смысла починять этот велосипед. Сын вырос, ему теперь нужен двухколесный.

Данилов вышел на крыльцо, сел на ступеньку и закурил. Он сидел, курил и думал. Никто не тревожил его, ничто не отвлекало. И он медленно, без помехи думал о Дусе, жене,— думал с благодарностью, почти с нежностью. В кротком небе слабо мигнула звезда. Потянуло свежестью от земли... С улицы донесся Дусин голос. Слегка задыхаясь, она сердито выговаривала:

— Если бы ты был хороший мальчик, ты б ему сказал: не учите меня, дяденька, глупостям, мне рогатка без на-

добности, а вы бы, дяденька, шли работать, чем маленьких безобразиям учить...

Данилов не пошел навстречу, он сидел на крыльце, обняв колени руками.

Сын вбежал в калитку первым, Дуся шла за ним с тяжелым мешком за спиной. Сын увидел сидящего на крыльце и пошел шагом, шаг его все замедлялся, сын остановился, засмеялся и сказал растерянно:

— Папа...

Он стал длинный и худенький, загорел, у него не было передних зубов.

А Дуся охнула. Опустила мешок на землю и села на него, словно у нее не было сил идти дальше.

Данилов встал, обнял сына и поцеловал его в стриженую маковку. Потом подошел к жене.

— Встань,— сказал он.

Она встала. Он взял мешок и внес его в кухню. Жена шла за ним. Молча, дрожащими руками она сняла с головы платок и поправила волосы.

Данилов повернул выключатель. Вспыхнул свет и осветил счастливое лицо сына и постаревшее лицо жены.

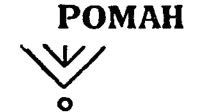
И Данилов сказал ласково, раскаянно и устало:

— Ну, рассказывай, как жила...

1945

Кружилиха

РОМАН



В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянье над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса,— и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору, беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди... Могучий гудок долго плывет по реке, его слышат в городе, который стоит в девяти километрах от Кружилихи.

По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство — поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку — из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу — и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки. Платки, ушанки, шлемы-буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, веселые и печальные, озорные и скромные,— десять тысяч людей добрых всякого роду-племени сошлось на завод на дневную смену.

Гудок утихает медленно, он словно спускается с высот — ниже, ниже,— припадает к земле, распластывается по ней, замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных... Смена началась.

Глава первая

ЛИСТОПАД

В морозный январский вечер генерал Листопад, директор Кружилихи, отвез жену в больницу.

Больница была хорошая, лучшая в городе. Мирзоеву, шоферу, приказано ехать с особой осторожностью.

— Чтобы как по воздуху! — сказал Листопад.

И Мирзоев, который во время беременности Клавдии был отмечен как самый внимательный из шоферов, превзошел самого себя: не ехали — плыли.

— Мы тебя, Клаша, словно на руках перенесли,— сказал Листопад, помогая жене выйти из машины.

Стояли у чугунных решетчатых ворот. За воротами был двор с большими белыми деревьями, и в глубине двора — родильный корпус. Над входом в корпус неярко горел фонарь. От ворот к крыльцу, между высокими, в рост человека, сугробами, была расчищена дорожка-ущелье. По этому ущелью Листопад довел Клавдию до крыльца. Она шла быстро, возбужденная; Листопад слышал ее дыхание. Он сжал ее локоть и сказал:

— Не волнуйся, все будет хорошо.

— Я вовсе не волнуюсь, с чего ты взял? — сказала Клавдия.

В вестибюль вошли вместе, а дальше Листопада не пустили. Пожилая женщина в белом халате и очках завладела Клавдией, а ему велела уходить и взять с собой Клавдину шубку. Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии.

— В самом деле,— сказала Клавдия,— возьми ее домой, а будешь нас забирать — привези, не забудь.

Она радостно засмеялась, и Листопад улыбнулся, представив себе, как повезет отсюда Клашу с ребенком... Он записал номер телефона дежурного врача. Клавдия крепко поцеловала его в губы и пошла вверх по лестнице, сопровождаемая женщиной в очках. Листопад вернулся в машину.

— Вот,— сказал он с притворной досадой, садясь рядом с Мирзоевым, а шубу кладя на заднее сиденье,— вечно наградят какой-нибудь чепухой на постном масле. Никогда не женись, Ахмет, канитель с ними. Придется в театр тащиться с шубой.

В театре происходило в этот вечер совещание городского партактива.

Листопад опоздал. Идя через фойе, он видел в приоткрытую дверь тесные ряды голов в партере и слышал голос Макарова, первого секретаря горкома партии. Судя по долетавшим фразам, Макаров начал доклад уже давно. Через кулисы Листопад прошел на сцену, в президиум. Люди за длинным красным столом потеснились и дали ему место посредине. Сейчас же Зотов, директор авиазавода, прислал ему записку: «Ты что опаздываешь?» Листопад

на том же листке написал ответ: «Жену отвозил в родильный». И видел, как записка пошла по рукам и как все читавшие сочувственно улыбались... Зотов перегнулся за спиной соседа к Листопаду и сказал громким шепотом:

— Причина уважительная. Поздравляю.

— Рано! — так же шепотом ответил Листопад, но про себя подумал, что *это* может произойти каждую минуту.

Надо будет позвонить в больницу из театра после конца заседания...

Он ждал прений. Доклад интересовал его мало: все, что говорил Макаров, предварительно обсуждалось на бюро горкома, и некоторые цифры для доклада Листопад посылал Макарову сегодня утром. Листопад руководил заводом с сорок второго года и был в городе свой человек.

Листопад всматривался в зал. Где там его люди — коммунисты Кружилихи? Рябухина, парторга, здесь нет: он в госпитале, на той неделе ему оперировали флегмону, вызванную засевшим в голени осколком. Вчера Листопад говорил по телефону с профессоршей. Профессорша сказала, что Рябухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на двадцать... Заехать завтра проведать Рябухина. А приятель Уздечкин где? Вон он, приятель Уздечкин, сидит крайним в пятом ряду и хмуро смотрит в лицо докладчику, а сам думает о Листопаде и до смерти хочет посмотреть на него, но удерживается. И нарочно сел с краю, чтобы ловчее было выходить к трибуне, когда придет время выступать.

Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим упрямством. Доведешь меня до крайности — что с тобой, Уздечкин, будет? Думаешь, тебе рабочие верят больше, чем мне? Не век тебе сидеть на выборной должности. Специальность у тебя пустяковая, да и забыл ты ее за эти годы. Вернуться на производство при твоей амбиции тебе будет ой нелегко!..

У Уздечкина на лице напряженная гримаса, он бледен, худ и некрасив, как все болезненные и плохо побритые люди. И Листопад, который любил все красивое, здоровое и веселое, посматривал на Уздечкина морщась...

Зато приятно смотреть на старика Веденеева: он пришел на актив в черной тройке превосходного сукна, хотя и старомодной. На нем белоснежный крахмальный воротничок и темный галстук, усы и седые виски аккуратно подстрижены. Вид именинника. Молодец, Никита Трофимыч! Знай наших. Вот какие у нас на Кружилихе рабочие-кадровики!

Никита Трофимыч сегодня и вправду именинник: он получил известие о старшем сыне Павле (младший убит в сорок третьем году). Павел вылечился, ему сделали протез, он прислал письмо отцу и в свою цеховую парторганизацию. Пишет, что скоро приедет. И старик Веденеев, забыв свою гордую сдержанность, сияет от счастья... Да, в такую годину хоть без ноги, но возвращается сын,— большое счастье...

Макаров закончил доклад и сошел с трибуны. Когда он садился на свое место в президиуме, его умный, чуть лукавый взгляд скользнул по лицу Листопада. Листопад понял: Макарову наперед известно все, что будет сейчас говорить Уздечкин. Поддержит он Уздечкина или не поддержит?

Выступали коммунисты — главным образом рабочие Кружилихи и авиазавода. Они говорили о вещах, которые в газетах называются производственными неполадками.

Листопад и сам знал, какие у него неполадки. Это были участки, куда он еще не добрался и где требовалось его вмешательство. Старик Веденеев рассказал о том, что новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих пор не пущен.

— Мы через партийную организацию и технические совещания неоднократно обращали внимание директора,— сказал он, посмотрев в сторону Листопада.

Листопад кивнул головой: верно, обращали. На секунду ему стало досадно, что всплыла история с прессом. Два месяца назад Зотов чуть не оборвал у него телефонный провод — христом-богом молил: уступи мне пресс, я в следующем квартале получу, отдам. Листопад не уступил. Теперь Зотов обижен. Он пишет записку: «Ты что же как собака на сене: мне не дал и сам не пользуешься...»

Ладно. Пойдет пресс, не завтра — послезавтра пойдет.

После Веденеева выступила работница с авиазавода и рассказала, что многие жилища у них в очень плохом состоянии и дирекция не принимает мер. Зотов нахмурился, перестал писать, закачался на стуле... Листопад хотел было написать ему ядовитую записочку, но не успел: на трибуну взошел Уздечкин.

Знакомство Листопада с Уздечкиным произошло меньше года назад. Когда Листопад принял завод, пред-

седатель завкома Уздечкин был призван [redacted] армию. На фронте его тяжело контузило, он долго лечился, в действующую его обратно не пустили, [redacted] послали в Омск, на политработу. Он писал на завод отчаянные письма, прося его выручить и забрать домой. Рябухин занялся этим делом и выхлопотал Уздечкину разрешение вернуться на завод, где его вскоре снова выбрали председателем завкома.

Уздечкин осмотрелся и пришел [redacted] Листопаду с кучей претензий.

— Нет, в это вы не путайтесь, будьте любезны,— сказал ему Листопад.— Это предоставьте мне.

— Извините, товарищ директор,— сказал Уздечкин,— разве вы не знаете, что это прямая функция профсоюза?

— Не знаю,— сказал Листопад, которому Уздечкин сразу не понравился.— Это ваша забота — знать свои функции.

— А социалистическое соревнование вы с нас спросите? — осведомился Уздечкин.

— Не [redacted] спрошу,— ответил Листопад,— фронт спросит.

— Этот разговор,— сказал Уздечкин,— придется продолжить в другой обстановке.

— Не к чему,— сказал Листопад,— потому что ничего нового вы от меня не услышите.

С того дня, разгораясь и накаляясь, шла эта борьба. Листопада она иногда раздражала; Уздечкина сжигала, как чахотка.

Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье: жена его пошла на фронт санитаркой и погибла в самом начале войны; остались две маленькие девочки, подросток — брат жены и больная старуха — теща; Уздечкин в домашней жизни — мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился.

Что он делает, этот человек! Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастерки целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова...

Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу, пуговица отрывается, он роняет ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает ему пуговицу.

— Вопрос, товарищи, не в прессе,— говорит Уздечкин,— пресс — это, в общем, мелочь. Вопрос гораздо глубже и принципиальнее...

Фу-ты, как скучно начал. Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю...

— Что я обнаружил, вернувшись на завод? Обнаружил прежде всего, что дирекция не имеет контакта с завкомом [redacted] не стремится к этому контакту...

Врешь, прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались — скиньте процентов пятнадцать, не управляемся, мощности не хватает...

— Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, [redacted] есть только единоначалие, точнее сказать — единовластие, еще точнее — директорское самодержавие...

Смотри, какая точность...

— Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое ничтожно малое место, как сейчас...

Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место. Сумей...

— Прежний директор считался с нами, он умел поддерживать престиж профсоюза на заводе...

Да своего-то престижа не поддержал, вот беда. Сняли за непригодность...

— Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную организацию...

— Факты! Факты! — с легким нетерпением говорит Макаров.

— Пожалуйста. Товарищи, вот здесь записаны факты за один только последний год...

Он потрясает перед залом пачкой листков. Губы у него серые.

Зотов оставил свой блокнот и с приоткрытым ртом смотрит на Уздечкина. Прищурившись, зорко смотрит Макаров. Все смотрят. Такого выступления за годы войны не слышали на городском активе.

Уздечкин перечисляет невыполненные предложения технических конференций. Порядочно — штук двадцать. Есть очень дельные. Черт его знает, и в самом деле: почему они не выполнены? Одни — потому, что параллельные проекты разрабатываются у главного технолога, другие как-то забылись за более срочными делами...

— Вывод такой, что директор плохо прислушивается к голосу масс...

Печальный вывод.

— ...зато каждое требование главного конструктора выполняется моментально, как будто это приказ наркомата...

Да, старичка берегу, что верно, то верно

— У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему заниматься. Товарищи, это же недопустимое явление: что за частная контора в условиях социалистического производства!

А уйдет главный конструктор на пенсию — лучше будет? Другого такого не скоро сыщешь.

— Или возьмем историю с начальником литейного цеха Грушевым. Завком против того, чтобы его премировали; а директор премирует, что называется, каждую пятницу. Лично я высказывался и против награждения его орденом.

— Почему? — спрашивает Макаров.

— Потому что у рабочих определенное мнение о нем. Потому что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться... Но директор к нам не прислушался.

А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех Грушевого систематически перевыполняет программу по взрывателям, и я представляю Грушевого к награде,— просто и ясно.

— ...Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартак» он дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю две тысячи...

— Нет, правда? — Зотов живо поворачивается к Листопаду.— Ух, черт!..— говорит он с восхищением.

— Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, для него не существует различия между людьми, пролившими кровь за родину, и людьми, которые всю войну просидели в тылу...

— Демагогия! — крикнули в зале. Крикнул старик Веденеев, у которого младший сын убит на фронте, а старший возвращается без ноги...

У Зотова на лице нескрываемое удовольствие. Вот так *пропесочивают* директора Кружилихи! Ну и ну!

— ...Таким образом получается, что завкому директор не оставляет на производстве ничего, кроме организации социалистического соревнования...

— Ну, это не мало...— замечает Макаров.— Это не мало. Дай вам бог справиться...

— ...и тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, является директор и отстраняет нас. И работники, которых мы намечаем, остаются в тени, а на первое место выдвигаются люди, угодные директору...

— Потому что у меня другая мерка, чем у вас! — кричит Листопад, первый раз не сдержавшись.— Потому что я сужу человека по его труду, мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях он состоит!..

— Вы слышали, товарищи! — кричит Уздечкин.— Директору дела нет до общественной работы!

— Демагогия! — опять кричат из зала.

— Тише! — кричат другие.— Дайте ему говорить! Не мешайте ему!

— Товарищ Листопад,— говорит Макаров,— вы получите слово — скажете.

Что тут говорить? Нечего говорить. Факты не выдуманные. Уздечкин еще не знает многого. Например: что начальник ОРСа держит в области агентов. Их обязанность — сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выполнил все поставки и получил право продавать свои продукты — мы тут как тут: заключаем договоры, забираем картошку, овощи... Через несколько дней, получив официальные сведения от организаций, в колхоз являются снабженцы авиационного и других заводов. Ан уже поздно — Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете...

Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было, все. Зажимал, нарушал, подменял. Только не из желания самодержавно властвовать: от несчастной страсти непременно самому во все вмешаться, собственными руками поднять всякое дело, хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно. Даже, наверно, совсем неразумно, да что поделаешь: такой характер.

Но с другой стороны: если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин,— неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы.

Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить.

Насчет технических предложений, почему не выполнены. К слову: не выполнено двадцать, а выполнено за этот же год больше четырехсот... Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале засмеялись... Насчет взаимоотношений с Уздечкиным: сослаться на Рябухина, что вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают... В заключение чуть-чуть — мягко, сострадательно, деликатно — намекнуть, что у Уздечкина нервы не в порядке...

Он вышел на авансцену — большой, широкий, с набором разноцветных орденских колодочек на груди, в блистательной генеральской форме, которая стесняла его тело и которую он надевал только для официальных выходов,— очень сильный и, несмотря на это, выражением глаз похожий на ребенка.

— Товарищи,— начал он доверительно.

Коммунисты, вожаки среди рабочих, люди, создающие на заводе общественное мнение, должны уйти с собрания, простив своему директору его прегрешения и веря в него по-прежнему!

— А все-таки ты собака на сене,— говорил после собрания Зотов, натягивая свою генеральскую шинель.— Прямо обидно, ей-богу. Нет, серьезно, когда пустишь пресс?

— Пущу.

— Чего ждешь?

— Человека.

— За человеком остановка?

— Тебе хорошо: кадрами себя обеспечил?

— Ну, где там, тоже, знаешь... Хочешь, я дам тебе человека на пресс? Ей-богу, дам. Он пойдет. Дать?

— Давай.

— Только уговор: ты мне за него уступи своего Грушевого. У тебя в литерном ведь уже налажено дело.

Листопад засмеялся:

— Он не пойдет.

— Нет, я серьезно. Ух, он злой на работу! Я ему знаешь какие создам условия... Давай!

— Я тоже серьезно. Не выйдет, ваше превосходительство. Мне самому нужен Грушевой.

Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в социалистическом соревновании и даже не обмолвился о происшедшем инциденте... Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он поймал взгляд Листопада, но не остановился.

Из комнаты театрального администратора Листопад позвонил по телефону в больницу. Ему сказали:

— Ваша жена помещена в четырнадцатой палате, второй этаж. Она чувствует себя хорошо. Нет, еще не родила. Даже схваток нет. Вы ее рано привезли. Она вам велела кланяться. Позвоните утром.

Вот тебе раз, оказывается рано, а Клавдия торопила. Что-то ей показалось, она — сразу в больницу. Паника от неопытности. Следующего придется рожать — будет уже смыслить кое-что...

Среди ночи он проснулся один на широкой постели и, еще не открывая глаз, подумал: вдруг Клаша уже родила? Которое сегодня число? Одиннадцатое января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына: одиннадцатое января... Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя и позвонил только утром, как ему велели.

Женский голос спросил, кто говорит. Он назвал себя и спросил, как обстоят дела у его жены — Листопад, Клавдия Васильевна, четырнадцатая палата. Женский голос повторил торопливо: «Листопад? Подождите минуточку, я сейчас»,— и трубка замолчала. Листопад ждал. Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались около аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли, и мужской, густой ровный голос сказал:

— Товарищ Листопад? Я прошу вас сейчас же приехать в больницу.

— Что случилось? — спросил Листопад.— Не рожает?

Голос повторил нарочито ровно:

— Приезжайте в больницу.

Таким голосом не зовут на радость.

— Несчастье? — спросил Листопад.

— Да. Несчастье.

На секунду у него помутилось в глазах.

— Может быть, надо что-нибудь... достать? привезти?

— Ничего не надо. Приезжайте.

Трубку повесили.

С вечера она была очень весела и смеялась над собой, что поторопилась. Схваток не было. Два раза она чувст-

вовала небольшую боль... Она поужинала и уснула. Утром стали ее будить — она была мертва. И неродившийся ребенок был уже мертв.

Главный врач рассказал об этом очень подробно. Он употреблял слова: «гипертония», «сосудистая система», «сердечная периферия». Взяв лист бумаги, он нарисовал много разветвляющихся линий, чтобы объяснить, отчего умерла Клавдия. Листопад следил за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, подлая, оскорбительная бессмыслица...

— Она когда-нибудь болела дистрофией? — спросил главный врач.

— Должно быть,— сказал Листопад.— Она перенесла ленинградскую блокаду... Да, конечно, болела.

— А на приливы крови к голове она не жаловалась? — спросил главный врач.

— Ни на что она не жаловалась,— сказал Листопад и пошел от врача, глядя себе под ноги.

Тело Клавдии привезли на Кружилиху и положили в Доме культуры. Все устраивал завком. Из института, где училась Клавдия, прибежали озябшие, заплаканные девушки — ее подруги. Они принесли венки и институтское знамя, убрали Клавдию... Листопад ни во что не вмешивался.

На гражданскую панихиду явилась Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора. Перекрестившись и пошептав, она поцеловала Клавдию в губы и в руку, потом подошла к Листопаду и обняла его.

— Ужасно,— сказала она,— когда такое юное существо...— и заплакала.

Он не отвечал и продолжал смотреть на Клавдию.

Веки Клавдии были окружены глубокими впадинами и казались очень большими, и вся она была не такая, как в жизни. В жизни у нее всегда были немного раскрыты губы, а теперь они сомкнуты плотно и строго, потому что челюсть подвязана: навечно подвязана, никогда уже не раскрыться милым губам... В жизни Клавдия ходила растрепанная, волосы у нее были пушистые, светлые, каждый волосок блестел на солнце, а сейчас она причесана гладко, с аккуратным пробором посредине, и приглаженные волосы кажутся более темными и делают лицо более взрослым, и гордым, и умным...

Листопад смотрел на это прекрасное новое лицо и все тяжелее чувствовал ужасную, несправедливую обиду, неизвестно кем причиненную.

Он не привык к таким обидам: жизнь его до сих пор баловала. От сознания вопиющей нелепости и непоправимости того, что произошло, у него чернело в глазах и спирало дыхание. Хоть бы все поскорее уж кончилось!.. А предстоял еще путь на кладбище, погребение,— эти девушки, ее подруги, вздумают еще, чего доброго, говорить речи на могиле...

Ему вспомнилось: месяца два назад, не больше,— Клавдия, растрепанная, с приоткрытым красивым ртом, сидит на диване и шьет что-то маленькое, а он рассказывает ей о своей матери.

— Ты любишь свою маму,— сказала Клавдия, слушавшая внимательно, как слушают дети.

— Люблю,— сказал Листопад задумчиво.

— И, наверно, не пишешь ей. Все сыновья такие — ленятся писать. Покойный брат редко-редко маме писал.

— Нет, я пишу,— сказал Листопад.— Как что важное у меня случится, я ей пишу. Вот — написал же, когда женился; сразу написал и послал твою карточку... Но, конечно, я оторвался от них. Мать умрет — телеграммы дать не догадаются. Письмом сообщат: такого-то числа умерла, такого-то числа похоронили, чтобы я поминал. И все.

И Клавдия слушала с участием, и в добрых, живых глазах ее блеснули слезы,— и вот прошло два месяца. Клавдия лежит в гробу, и придется писать матери о ее смерти...

Последний раз все подошли к Клавдии, гроб закрыли крышкой и понесли из комнаты. Маргарита Валерьяновна пробормотала испуганно: «Ногами, ногами!..» Гроб поставили на грузовик, убранный венками и гирляндами из сосновых веток. На другом грузовике ехал заводской оркестр с желтыми трубами. Похоронный марш они играли в медленном, торжественном ритме, а грузовики мчались полным ходом, и это было как бред...

После похорон Маргарита Валерьяновна уговаривала Листопада ехать к ним. Листопад отказался и поехал домой.

Квартиру прежнего директора он отдал главному конструктору, а сам жил с Клавдией в двух комнатах в старом заводском доме.

Широкая мраморная лестница с пологими ступенями вела наверх, на просторную площадку. Площадка была вымощена серыми и белыми плитками. Стены белые, очень

высокие; свет из громадного окна, отражаясь от них, резал глаза. Шаги по каменным плиткам звучали звонко, резко, пустынно. В обе стороны от светлой площадки расходился длинный сумрачный коридор. По левую сторону он был похож на туннель; далеко-далеко, в конце этого темного туннеля, светлело овальное окно. Стены туннеля были симметрично прорезаны высокими дверными нишами... С правой стороны коридор, разбежавшись, упирался в дверь, обитую черной клеенкой: там находилась директорская квартира. Листопад вошел, отперев дверь английским ключом.

(С одиннадцатого числа он здесь не был. Как ушел тогда утром в больницу, так и не заходил сюда, пропадал на заводе.)

Комнаты очень большие, холодные,— топили плохо.

В одной был кабинет Листопада, [redacted] в другой — Клашино царство: какие-то коробочки — не поймешь для чего, какие-то флакончики — бог знает с чем, и тетрадки со стенографическими записями, которых Листопад не умел прочитать, и книги, которые он прочитать не успевал... Старые туфли валялись под кроватью. На большом зеркале висел чулок; в зеркале отражалась недоштопанная дыра на пятке; тут же торчала игла.

Листопад не любил больших, высоких комнат,— он вырос в деревенской хате с белеными стенами и вымытыми фикусами. И Клавдия любила уют и часто рассказывала подругам, как она все тут великолепно устроит к рождению маленького. Она с увлечением рассказывала, какие гардины у секретарши Анны Ивановны, и как она непременно сделает себе такие же гардины, [redacted] что если кабинет разгородить книжной полкой надвое, то будет не так похоже на сарай. Но она никак не могла собраться купить материи на гардины или заказать столяру полку, и так все оставалось как есть. Один раз Листопад пришел домой в плохом настроении и накричал на Клавдию: он кричал, что ему осточертело жить по-цыгански, и, вызвав рабочих, велел отгородить часть спальни и устроить кухню [redacted] ванную. Клавдия, видя его усердие, побежала и раздобыла где-то фаянсовую ванну. Ванну притащили, перегородки сделали, но колонку для воды поставить все не удавалось: водопроводчиков на заводе было мало, а дела у них много. Так и стояла ванна без употребления, [redacted] мыться Листопад ходил в баню. Обед супругам приносили из заводской столовой. Уборщица заводоуправления убирала им квартиру и ходила за покупками...

Листопад постоял [redacted] спальне, постоял в кабинете, опять пошел в спальню... Казалось, кликнуть: «Клаша!»— и ответит голос: «Я-а!» На вешалке шубка, та самая... Синяя тетрадка, [redacted] ней крючки и закорючки. На обложке написано: «Сопротивление материалов». Это она стенографически записывала лекции... Убрать все с глаз долой.

Но убирать он не стал. Снял китель и сапоги и лег в кабинете на диване, укрывшись шинелью.

Зимние сумерки стояли в окнах. Было тихо. Не звонил телефон.

«Клаша!»— позвал он одним беззвучным движением губ. «Я-а!»— не прозвучал, а только припомнился голос... Была Клаша, и нет Клаши. Как сон прошла...

Он заснул: трое суток он почти не смыкал глаз. Когда проснулся, солнце било в окна с востока. Он проспал остаток дня и всю ночь!

Звонили. Он босиком пошел отворять, выглянул, не снимая цепочки: за дверью стоял Рябухин [redacted] синем байковом халате, без шапки.

— Ты откуда? — спросил Листопад, впустив его.

— Из госпиталя, как видишь.

— Ты мне снишься или нет? — спросил Листопад.

Рябухин улыбнулся.

— Нет, не снюсь.

Листопад сел на измятый диван. Почесывая открытую волосатую грудь, жмурясь и позевывая, смотрел на Рябухина.

— Удрал, что ли?

— Удрал,— улыбался Рябухин.— Пришлось удрать: не выписывают и отпуска не дают.

— Чудак,— сказал Листопад.— В халате по морозу. Простудишься, садовая голова, сляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне — я б тебе Мирзоева подослал с машиной и с дохой.

— Только у тебя сейчас и делов,— сказал Рябухин и отвел глаза. И от этого сочувствия, высказанного намеком, издалека,— сильнее засосало у Листопада в сердце...

— Чаю хочу,— сказал Рябухин и, хромая, ушел в кухню. Листопад слышал, как он возился там с примусом и чиркал спичками. (Рябухин жалеет его. Удрал из госпиталя в халате и от всего сердца кипятит ему чай. И верит, что этот чай поможет Листопаду уврачевать душевную рану.)

Пока Листопад умывался, чистил зубы, надевал чистую рубашку, чайник вскипел. Рябухин, ничего не спрашивая, отыскал чашки, хлеб, жестянку консервов, постелил газету на письменном столе, и они сели завтракать.

— Я к ним больше не вернусь, ты им меня не выдавай,— сказал Рябухин.— У меня уже зажило, они меня держат для наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша эта, самая главная, полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха, так она прямо сказала: «Я вас, говорит, выписать не могу, у вас замечательное созвездие осколков». Созвездие, слышишь? Астрономы.

(И болтает тоже для врачевания душевной раны.)

— Надо будет вернуть им эту робу, и от них получить мой костюм и шинель.

— Ты возьми пока у меня, что тебе надо,— сказал Листопад,— а халат отошли, а то еще, гляди, обвинят в краже казенного барахла. Ну, я тебе скажу, наскочил на меня Уздечкин на активе,— продолжал он.— Пух и перья!

— Слыхал,— ответил Рябухин.

— Ах, тебе уже доложили!

— Народ приходил проведать — рассказывал.

— Ты вот что! — сказал Листопад, вдруг почувствовав ревнивое раздражение.— Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему добрый совет: не тем путем действует, этак у него ни черта не получится, хоть три года бейся. В ЦК надо писать!

— Он напишет в ЦК,— сказал Рябухин, задумчиво разглядывая Листопада.— Он сказал, что дойдет до Сталина.

— Чего ж нейдет?

— Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень аккуратный в делах человек...

— Бездарность!

— ...Как человек дисциплинированный, аккуратный и... скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную партийную организацию.

— И пошел дальше по инстанциям.

— И пошел по инстанциям.

— Скучно мне с вами, черти зеленые,— сказал Листопад.— Даже склоку добрую не умеете заварить.

Он сказал так нарочно, чтобы раздразнить Рябухина и вывести его из равновесия. Но тот безмятежно смотрел ему в лицо голубыми глазами и хлебал чай.

— Ты двурушник,— сказал Листопад.— Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь за мной, а ведь ты меня не любишь. Ты Уздечкина любишь.

Позвонили. Рябухин пошел отворять. Это была Домна, уборщица.

— Домнушка! — закричал Рябухин.— Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая?.. Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи, на тебя вся надежда...

— Директор-то дома? — спросила Домна тонким для жалостливости голосом.— На службу не идет, сердечный? Тут чем свет пакет принесли, велели отдать...

— Вот тебе пакет,— сказал Рябухин, выпроводив Домну и возвращаясь в кабинет.

Листопад вскрыл конверт — там были фотографии Клавдии, снятой в гробу; за гробом смутно виднелся сам Листопад... Когда это успели сделать?.. Листопад спрятал конверт в стол, не показав Рябухину.

— Ты и Домну любишь,— сказал он, пренебрегая возней, которую подняли вокруг его несчастья.— Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести и протоколы писать.

— Люблю, люблю простеньких,— сказал Рябухин, прибирая на столе.— А ты сукин сын, эгоцентрист проклятый, но я и тебя люблю — черт тебя знает почему.

Перебил телефон. Звонила секретарша Анна Ивановна. Она спрашивала — доставить почту ему на квартиру или он сам придет, и между прочим сказала, что главный конструктор прибыл на завод и бушует в цехах.

Глава вторая

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была первой дамой на заводе.

Десять лет назад Серго Орджоникидзе призвал жен командиров промышленности к участию в общественной жизни предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось.

Всю жизнь она была только женой своего мужа, домашней хозяйкой, и ничего толком в общественной жизни не понимала. А тут вдруг взяла и организовала на заводе образцовый детский сад и диетическую столовую.

Ее похвалили, и она стала уважать себя. А до этого она уважала только своего мужа Владимира Ипполитовича. Она существовала для того, чтобы ему в положенный час был подан обед и в положенный — ужин, чтобы ящичек штучного дерева, стоявший на его столе с левой руки, всегда был наполнен папиросами, и медная спичечница, стоявшая с правой руки,— спичками и чтобы в шесть часов утра был готов крепкий, как йод, по особому способу приготовленный чай.

Начав свою деятельиость на южном заводе, где тогда служил Владимир Ипполитович, Маргарита Валерьяновна продолжала работать и на Кружилихе.

В годы войны работы было особенно много. Иногда Маргарита Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завкома и имела дело с врачами, бухгалтерами, инвалидами, эвакуированными, беременными, управдомами, поварихами, санитарной инспекцией, отделом иародного образования, отделом социальиого обеспечеиия, отделом рабочего снабжеиия и детьми ясельиого возраста.

Весь завод знал эту худенькую озабочениую женщину с плоской грудью, с бледным до голубизны лицом в сеточке мелких морщин и смешными мелкими кудерьками, подвязанными смешным бантом — не по моде, не по возрасту, не к лицу.

О ней говорили: «Старуха сказала, что достанет дров», «Позвоните старухе, пусть попросит директора...» Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее называют старухой, она бы очень удивилась. Она считала себя молодой. Тридцать пять лет назад, когда она выходила замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчииа в годах, а она была совсем юное существо. И все тридцать пять лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах, а она сама — как юное существо. Летом она носила платьица с оборочками, носочки и туфли-босоножки, какие носят молоденькие девушки. При случае проявляла милую кокетливую резвость.

Вообще наружностью и манерами она была похожа на старую девицу, а не иа замужиюю женщину почтенных лет.

Она никогда не была матерью, потому что Владимир Ипполитович не хотел детей. Он считал, что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые могут быть использованы более продуктивно. Из детей еще неизвестно, что получится, а из него, Владимира Ипполитовича,

уже получилось незаурядное явление, и этим явлением надо дорожить, и Маргарита Валерьяновна должна оберегать и лелеять его, Владимира Ипполитовича, выдающегося изобретателя, одного из крупнейших конструкторов в стране, а не каких-то там детей, из которых еще неизвестно, что получится.

Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие: чтобы от этой деятельности иикоим образом не страдали его интересы. Маргарита Валерьяновна, ужасаясь своей решимости, дала слово, что интересы не пострадают. И вот десять лет она держала свое обещание.

Владимир Ипполитович вставал по будильнику в половине шестого. В шесть он пил чай: очень крепкий, очень сладкий, не очень горячий, но и не чрезмерно остывший, ровно два стакана и без крошки хлеба. Потом он выкуривал папиросу. Пока он пил чай и курил, нельзя было разговаривать, нельзя было громко дышать: он в это время обдумывал свои занятия на предстоящий день. Несколько блокнотов лежало перед ним; он делал в них пометки. В шесть тридцать он забирал свои блокноты и уходил из столовой в кабинет, сказав «спасибо» и поцеловав у безмолвной Маргариты Валерьяновны ручку.

До девяти он работал один; потом приходили конструкторы. Они звонили робко, входили тихо: они боялись главного конструктора. То, что он сосредоточил основную работу отдела в своей квартире, было для них мучением.

Под эту работу он отвел в квартире три самые большие и светлые комнаты. В них было очень тепло: Владимир Ипполитович страдал ревматизмом. Удобные столы, отличные лампы, техническая библиотека на четырех языках, телефон, ковры под ногами... Любой конструктор с радостью променял бы этот комфорт на неуютное, плохо отопленное помещение отдела на заводе, где сидели теперь только копировщики,— лишь бы уйти от неусыпного, придирчивого надзора главного конструктора.

Они не могли не восхищаться им, потому что то, что он делал, было великолепно. Они понимали, что не каждому инженеру выпадает счастье иметь такого учителя. Но они не могли не ненавидеть его, потому что они были люди, усталые люди, со своими недомоганиями, детишками, бытовыми неурядицами, заботами,— а он не хотел считаться ни с чьей усталостью и ни с чьими недомоганиями и заботами. Если кто-нибудь не являлся на работу по болезни, он воспринимал это как личное оскорбление.

— Я же работаю! — говорил он.

Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений — за малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из каприза. Дальнейшее было делом дирекции и профсоюза; выгнанный волен был переводиться в цех или совсем уходить с завода, главного конструктора это не касалось.

С работниками, которыми он дорожил, он был корректнее, чем с другими; но ни с одним не был ласков.

Для него не существовал общезаводской распорядок дня; своих работников он подчинил своему режиму.

В половине второго он вставал и уходил из кабинета. Это был знак, что конструкторы могут расходиться на обеденный перерыв.

За приготовлением его обеда наблюдала сама Маргарита Валерьяновна. На домработницу опасно было положиться. Не дай бог что могло произойти, если бы еда оказалась не по вкусу Владимиру Ипполитовичу: он не стал бы есть! А Маргарита Валерьяновна захворала бы от раскаянья... Он ел всего два раза в день и помалу, но пища должна была ему нравиться. На сладкое он съедал маленький кусочек пирожного домашнего приготовления. И в самые трудные месяцы войны, когда город питался горохом и льняным маслом, Маргарита Валерьяновна героическими усилиями добывала белую муку, ваниль, шафран и пекла мужу пирожное, без которого, по ее убеждению, он не мог обойтись.

После обеда Владимир Ипполитович немного отдыхал, затем опять уходил в кабинет — до полуночи.

— Мало спите! — говорил пользовавший его доктор Иван Антоныч.— В наши с вами годы, уважаемый пациент, спать надо больше.

— Я сплю позорно много,— возражал Владимир Ипполитович.— Эдисон спал четыре часа в сутки.

Над его столом стоял на полочке радиорепродуктор. Он был включен лишь настолько, чтобы звуки из эфира доносились как тихий шепот,— этот шепот не мешал Владимиру Ипполитовичу. Когда из репродуктора — еле слышно — начинали доноситься позывные, всегда предшествовавшие приказу Сталина, Владимир Ипполитович включал репродуктор на полную слышимость и вызывал из соседних комнат своих конструкторов. Они входили, и он объявлял приподнято, с дрожью в руках:

— Сейчас будет приказ!

В первые месяцы войны, когда немцы захватили у нас большую территорию и подбирались к Москве, Владимир Ипполитович испытал мучительную горечь. У него не было сомнений в том, что захват этот временный, что победа останется за Советским Союзом; но горечь душила его. И теперь он брал реванш. Один летний вечер 1944 года, когда были переданы пять приказов, был для Владимира Ипполитовича одним из счастливейших вечеров в жизни. Январские победы Красной Армии в 1945 году возвращали ему молодость.

Иногда в нем проглядывало что-то похожее на сердечную доброту. Заметив, что у того или другого сотрудника глаза слипаются от утомления, он взглядывал на часы и говорил сухо и обиженно:

— Вы можете идти домой.

На часы взглядывал, чтобы намекнуть сотруднику: отпускаю-де тебя раньше положенного часа исключительно из сострадания к твоему жалкому положению.

Все-таки не каждый может трудиться так, как он. Да, не каждый.

Ему было семьдесят восемь лет.

В то утро, когда Рябухин сбежал из госпиталя, Владимир Ипполитович за утренним чаем вдруг заговорил.

— Опять больна! — сказал он с раздражением.

Маргарита Валерьяновна тонко, по-кошачьи чихнула в платочек и посмотрела на мужа покрасневшими глазами.

— Должно быть,— сказала она виновато,— я простудилась вчера на похоронах.

— Незачем было ходить на похороны,— сказал Владимир Ипполитович.— Ведь вот я не пошел же. Как будто горе Листопада стало меньше от того, что ты была на похоронах.

— Нет, конечно; но так, видишь ли, принято,— тихо оправдывалась Маргарита Валерьяновна.— Как же так: он бывает у нас, он с тобой работает,— и вдруг никто из нас не пришел бы на похороны...

— Предрассудки, провинция,— сказал Владимир Ипполитович.— Мужчина в наши дни переживает все это совершенно иначе.

Медленно переставляя больные ноги в валенках, он прошел в кабинет, сел к столу и задумался.

Похороны, похороны. Который день он слышит это слово. Умерла молодая женщина. Все ахают: подумайте, такая молодая, жить бы да жить!.. Не понимают, что для желания жизни нет предела.

И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он прожил три четверти века, его право на жизнь меньше, чем право этой молодой женщины?

Он внимательно посмотрел на свои бледные сухие руки, изуродованные ревматизмом. Осторожно сжал и разжал пальцы...

Доктор Иван Антоныч говорит прямо: «Пора, пора поберечь себя, потом спохватитесь — поздно будет». Да, пора. Война близится к концу, и близится к концу его жизненная миссия. Для завода он подготовил конструкторов; не справятся — пришлют им кого-нибудь вместо него... А он — на отдых, на отдых. На пенсию. Много ли им с Маргаритой нужно...

На покое можно будет заняться вещами, до которых сейчас не добраться — нет времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной энергии. Самая грандиозная область науки на ближайшее столетие. Новая эра техники... У него есть несколько мыслей, но они нуждаются в проверке. На проверку нужны годы...

Ужасно: человек достигает вершин своей творческой зрелости,— вот когда, подлинно, жить да жить!..— и тут, как в насмешку, сваливаются на него физические немощи...

Есть, в конце концов, кто-нибудь, кто отвечает за это свинство? Или действительно не с кого спрашивать?..

Он оставляет богатое наследство. Его автоматы совершеннее английских, американских, немецких. Его мотопилу знают все советские саперы.

На заводе нет ни одного станка, к которому он не приложил бы руку.

Время от времени, когда ему становилось легче, он отправлялся в цеха и, прохаживаясь, обозревал богатства, которые он оставляет наследникам.

Он положил руку на телефонный аппарат, подумал и снял трубку: «Транспортный отдел».—«Что на дворе?»—«Десять ниже нуля». Позвонил в гараж: машину к восьми часам...

Первой на работу пришла Нонна Сергеевна. В дверь кабинета заглянула ее белокурая голова.

— Доброе утро, Владимир Ипполитович.

— Доброе утро. Сейчас мы поедем на завод.

— Я вам обязательно там нужна?

— Да.

Она повернулась и пошла надевать пальто, которое только что сняла. У главного конструктора плохое настроение, вот он и едет на завод закатывать истерику. Будет таскаться из цеха в цех и ко всему придираться. Невозможный старик.

До завода было рукой подать.

Ныряя на выбоинах, объезжая кучи ржавого лома и колотого льда, замедляя ход на переездах через рельсы, машина ехала мимо складов. Главный конструктор сидел рядом с шофером и смотрел вперед холодными глазами.

Он повернулся к Нонне и сказал ей:

— Еще грязнее стало!

Она не ответила. Выражение лица у нее было такое же холодное, как у главного конструктора. Она все это видела каждый день. На ее глазах выросли эти горы хлама. Старику не вдолбишь, что некому их убирать...

Около деревообделочной главный конструктор вылез из машины и медленно пошел, опираясь на палку. Несмотря на малый рост и щуплость, он даже здесь, среди громадных штабелей леса, выглядел чрезвычайно внушительно. Котиковая шапка сидела у него на голове твердо и вызывающе.

Машина тихо двигалась за ним, а Нонна шла рядом, скучая и злясь, и думала: гулял бы без адъютантов; проклятое барство; ей и так по десять раз в день приходится бегать в лаборатории и цеха.

На стенах красной краской, потускневшей от влаги и копоти, были написаны лозунги: «Все силы на оборону страны!», «Смерть фашистским захватчикам!»— и другие того же содержания.

— Все то же самое! — сказал главный конструктор, указывая на надписи палкой.— Три года то же самое! Неужели трудно сделать новую надпись: «На Берлин!»

Пленные немцы убирали снег. Они отбивали лопатами слежавшийся лед и складывали его в вагонетки. Молоденький румяный русский боец, с винтовкой, караулил их. Главный конструктор приостановился: в эту войну он еще не видел ни одного немца. Немцы были поджарые, с испитыми лицами; одни почище, другие погрязнее, но в общем у всех вид не блестящий. Шинели — словно корова их жевала; на ногах худые ботинки и обмотки... Ра-

ботали они лениво, с безучастным выражением; и такое же выражение, что, мол, никакого проку от них не дождешься, и зря их сюда пригнали, и все это одна проформа,— такое же выражение было на лице молоденького бойца. Главный конструктор смотрел с ледяной любознательностью. Немцы посматривали на него... Он вдруг сказал по-немецки:

— Да, вы стреляли по Москве, а теперь вы делаете для нас эту черную работу.

— Война имеет свои гримасы,— не сразу ответил немец, который был почище других.

— Это очень злая гримаса,— сказал главный конструктор,— но это еще не худшая из гримас.

Он пошел дальше, опираясь на палку, закинув голову, медленно переставляя ноги в фетровых валенках; на валенки были надеты блестящие калоши. Немцы смотрели вслед ему и надменной молодой женщине, сопровождавшей его. Один из немцев спросил:

— Кто это?

— Конечно, владелец завода,— ответил тот немец, который был почище,— разве ты не видишь?

Оставшись дома одна, Маргарита Валерьяновна дала работнице хозяйственные инструкции, потом собственноручно вымыла и убрала в буфет стакан и подстаканник Владимира Ипполитовича, и потом позвонила доктору Ивану Антонычу и попросила его зайти к ией по дороге в поликлинику: что-то нездоровится, она боится расхвораться, а хворать ей никак нельзя.

Иван Аитоныч был самый старый и самый известный врач на Кружилихе. До революции он был здесь единственным лекарем, если не считать знахарок и повитух; акционеры очень гордились тем, что они так прогрессивны — держат на заводе штатного врача. Теперь Иван Антоныч заведовал заводской поликлиникой, у него под началом был большой штат врачей, стационарных и так называемых «расхожих». Ему очень верили и старались именио его заполучить к больному, и он шел на зов, хотя это уже не входило в его обязанности.

Он говорил:

— Это было — в котором же году? В том году, когда мы построили малярийную станцию, вот когда!

— Петров? — спрашивал он.— Это кто же? Ах, это тот, с предрасположением к ангинам, вы так и скажите!

Он помнил людей по болезням, как другие помнят по фамилиям и лицам. Фамилии в отдельных случаях еще запоминал кое-как; но имени-отчества запомнить не мог и не считал нужным.

— Чего ради,— говорил он,— я буду упражнять мою стариковскую память на этом предмете?

И во избежание недоразумений всех мужчин называл «уважаемый пациент», а всех женщин — просто «мадам».

— Лежать, мадам, лежать и лежать! — сказал он, выписывая Маргарите Валерьяновне рецепт.— У вас чистейшей воды грипп, я ни за что не поручусь, если вы будете прыгать.

— Вы же знаете, доктор,— со скромной гордостью отвечала Маргарита Валерьяновна,— что я прыгаю не для собственного удовольствия. У меня столько нагрузок!

— Нагрузки в нормальных дозах,— сказал доктор, стараясь попасть в калошу и делая при этом такие движения ногой, какие делает полотер,— не вредны для здоровья, я в принципе не возражаю против нагрузок. Но при злоупотреблении, как все излишества... одним словом — лежать!

Он ушел, а Маргарита Валерьяновна надела перед зеркалом девичий капор с помпонами и пошла в собес: надо было поговорить насчет пенсии для одной старушки, матери фронтовика; и дозвониться в собес по телефону — Маргарита Валерьяновна знала по опыту — совершенно немыслимо...

Она вышла на улицу и увидела подъезжающий знакомый автомобиль,— это возвращался с завода Владимир Ипполитович.

Она сама не знала, как это получилось, что она вдруг побежала со всех ног и юркнула за угол дома, хотя ей нужно было совсем в другую сторону. Стоя за углом, переводя дыхание, она прислушалась: вот машина остановилась, вот щелкнула дверцей, вот запела, разворачиваясь,— и уехала. Но Маргарита Валерьяновна не сразу вышла из своего убежища: Владимир Ипполитович обыкновенно очень долго взбирается на крыльцо.

Ей было немножко неловко, что она так улизнула. Господи, как маленькая.

«Он бы задержал меня,— оправдывалась она перед собой,— и я бы могла не застать заместителя председателя. А без заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело. И потом,— подумала она, набравшись храбрости,— ну, хорошо, я ради него встаю в пять часов

утра, и к половине второго я всегда обязательно должна быть дома,— но не могу же я постоянно быть прикованной к нему, ведь каждый человек имеет право брать от жизни что-то для себя!»

И она бодро заспешила своей деловитой походочкой в собес. По дороге зашла в аптеку и заказала себе лекарство от гриппа.

— Старик на заводе,— сказал Листопад Рябухину, выслушав сообщение Анны Ивановны.— Надо уважить, повидаться. Давай надевай, что найдешь подходящее,— едем.

— Я в партком,— сказал Рябухин,— у меня своих дел скопилось до черта. Передавай старику поклон.

Листопад оставил его примерять пиджаки и брюки, а сам пошел на завод. Встречные люди сказали, что главный конструктор в литейном. Но в литейном оказался только начальник цеха, взъерошенный и красный, как после бани.

— Был,— отвечал он на вопрос Листопада,— был, весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, орал!..— У начальника цеха была на лице широкая, восхищенная улыбка, как будто ему было очень приятно, что главный конструктор орал на него.— Так орал, я думал — из него душа вон...

Листопад бегло взглянул, что делается в цехе: второй конвейер опять стоял, заливку производили на полу. Износилась лента, время делать капитальный ремонт.

— А это что? — спросил Листопад.

В сторонке, где было меньше хлама, две женщины, запорошенные пылью, с черными подглазницами, формовали что-то большое и замысловатое. Они делали это особенно тщательно, любовно ровняли землю, отходили, чтобы взглянуть на свою работу со стороны...

— Решетку делаем,— сказал начальник цеха.— Заказ горисполкома. Решетка для городского сада. Первый заказ на благоустройство, Александр Игнатьевич...

Главного конструктора Листопад догнал около старых мартенов. Главный конструктор выходил из цеха, окруженный инженерами. Тут были и сталевары, и главный энергетик, и начальник отдела механизации Чекалдин, мальчик с образованием техника, которого Листопад недавно выдвинул на руководящую работу. В стороне от них

всех молчаливо держалась Нонна. На лице у нее было написано: «Ах, ну на что мы время тратим!..»

— Владимир Ипполитович,— сказал Листопад, здороваясь,— рад видеть вас на заводе.

— Я уже домой, домой,— сказал главный конструктор и маленькой сухой рукой отмахнулся от разговоров и дел.— Все видел, все сказал, до свиданья, товарищи, до свиданья... А вам, молодой человек,— сказал он Чекалдину,— советую подумать хорошенько над вашим планом. Фантазия у вас горячая, а обосновать не умеете. Опыта мало, опыта.— Чекалдин смотрел ему в глаза, краснея, серьезно и смущенно.— Но фантазируете вы недурно,— продолжал главный конструктор,— недурно! Я подумаю о том, что вы мне сказали,— великодушно пообещал он, и взгляд Чекалдина оживился, молодое широкое лицо озарилось простодушной доверчивой радостью.— Подумаю. Дней через десять позвоните Нонне Сергеевне...

— Я с вами,— сказал Листопад.

Он сел с главным конструктором на заднее сиденье, а рядом с шофером, спиной к Листопаду, села эта женщина, которую он терпеть не мог за ее чванный вид,— до того не мог терпеть, что даже не поздоровался с нею.

— Что,— спросил Листопад,— Чекалдин говорил вам о реконструкции литейных цехов? Я еще не смотрел его план; говорят, это сделано с темпераментом.

— Вряд ли этот план стоит первым вопросом в повестке дня,— отрезал главный конструктор.— Прежде чем реконструировать, надо очистить помещения. Всюду скрап, цеха обросли скрапом.— Он помолчал.— Конвейер отремонтировать не можем, а мечтаем о реконструкции.— Помолчал еще, пожевывая тонкими губами.— При мне заливали вторую печь, я велел проверить шихту — кремний и хром. В количествах недопустимых. Не удивительно, что бывает брак.

Ну, что еще? — весело подумал Листопад. Старик не до конца выговорился на заводе. Выговаривайся, что с тобой сделаешь. Срывай сердце.

— Очень мы еще далеки от совершенства.

Экие Америки открывает.

— Впрочем,— сказал главный конструктор,— ко мне это уже почти не имеет отношения.

Известное дело: сейчас скажет, что время на покой. Каждую встречу эти разговоры: в них — и ревность старости к молодости, и то смирение, которое паче гордости.

— Хочу предупредить вас, Александр Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет закончена война.

Уже и срок назначил.

— Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр Игнатьевич. Вам следует подумать, кем меня заменить.

Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену — для работы, но не для сердца. Вот — лежит сердце именно к этому старику, капризному, властному, вечно сующему нос туда, где его не спрашивают. Блеск ли таланта привлекает, или обаяние сильной воли, или то и другое вместе?.. Просто — взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь?..

Подъезжали к дому.

— Поговорим,— сказал Листопад.

Они сидят в жарко натопленном кабинете. Конструктор, чертивший что-то на большом столе у окна, при появлении директора деликатно удалился. Они вдвоем.

— Владимир Ипполитович, прежде всего: бросьте вы так близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это все страшно, как вам кажется. Как-никак, за войну три ордена завод получил. Зря расстраиваетесь. Предоставьте мне расстраиваться. Ведь вы непосредственно на производстве не работаете года с двадцать шестого?..

— Вы хорошо помните мою биографию.

— Да я ее наизусть знаю. Я о вас все знаю, я ж вас как брильянт берегу,— неужели не видите?

Все что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик оставил эту идею — уходить с завода.

— Что то было за производство, где вы работали, по сравнению с этим!

— Ну, знаете,— сказал главный конструктор, обидясь,— был прекрасный государственный завод на три тысячи рабочих — не таких, как у нас сейчас, а рабочих высокой квалификации.

— Потому что тогда был нэп и безработица, и вы могли подбирать кадры. И прекрасным ваш завод выглядел в те времена, сейчас вы на него и смотреть бы не стали.

Главный конструктор со скучающим видом передвигал детали, лежащие на столе.

— Подумаешь — скрап!.. Я вот вспоминаю зарю нашей индустриализации, первую пятилетку. Дорогие машины портили, брак выпускали, всякие были и ошибки, и жертвы, все испытал лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию, и в какие сроки! И куда бы шагнули, вы подумайте, если бы не помешали проклятые немцы! Владимир Ипполитович, вы социализм строили. Вы в борьбе с фашистами, себя не жалея, участвуете, как большой советский патриот. Неужели уйдете теперь?

— Я вам сказал, что уйду, когда война кончится.

— А в той жизни, которая начнется после войны, не хотите принять участие? К тому идет, что вот-вот предложат переходить на мирную продукцию.

— Гаданье на кофейной гуще.

— Почему ж на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам Информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые к нам поступают. Вы не видали в литейном, как формуют решетку для городского сада?.. Кто понимает — ведь это ж до слез..

— То, что для вас месяцы,— сказал главный конструктор, откинувшись на спинку кресла,— для меня — десятилетия. Мое время измеряется другими мерами, чем ваше. Вы говорите — скоро. Что значит скоро? Сколько это, вы считаете? Месяц?

— Больше.

— Год?

— Возможно, меньше.

— Возможно?.. Возможно, Александр Игнатьевич, что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность скоро будет вакантной.— Он открыл ящичек штучного дерева.— Курите, пожалуйста.

Они закурили. В кабинет вошла Нонна, с независимым видом, ни на кого не взглянув, подошла к шкафу, достала чертежи, вышла.

Главный конструктор проводил ее глазами.

— Начинали мы,— сказал он,— продолжать — им. Надо полагать,— сказал он немного погодя, окутанный дымом,— что номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению с довоенной.

— Безусловно,— отвечал Листопад.— Во-первых, за годы войны в стране возникли потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование наше сейчас мощнее довоенного, возможности расширились. Оставайтесь, Владимир Ипполитович. Будем думать вместе о будущем завода

— Я думаю о других вещах,— сказал главный конструктор,— о вещах печальных и скучных. Нет, на меня не рассчитывайте, Александр Игнатьевич. Со мной кончено.

— Вот видишь,— сказал он за ужином Маргарите Валерьяновне,— я говорил, что в наше время люди иначе переживают несчастья. Вчера Листопад похоронил жену, а сегодня был здесь у меня, строил прогнозы на мирное время — и с большим увлечением, представь.

Трудно было понять — хвалит он Листопада или осуждает. Маргарита Валерьяновна приняла его слова как осуждение и, всплеснув руками, сказала: «Какой ужас!..» Она испытывала некоторые угрызения совести перед мужем, и ей еще больше, чем обычно, хотелось угодить ему. Но Владимир Ипполитович обдал ее вскользь недобрым взглядом, и она поняла: не то сказала. Она попыталась исправить ошибку:

— То есть, разумеется, не то ужас, что он строил прогнозы...

— А то, что с увлечением, понимаю,— договорил за нее Владимир Ипполитович и тем положил конец разговору.— Передай, пожалуйста, солонку, Маргарита.

Глава третья

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛУКАШИНА

На заводском полустанке высадился сержант Семен Ефимович Лукашин.

Он был в шинели без погон, в кирзовых сапогах и нес на плече деревянный сундучок и мешок, скрепленные ремнем.

Время шло к вечеру. В крайнем окошке станционного домика, у кассира, уже горела лампочка, но на дворе было еще светло. Сразу за полустанком начиналась гора: крутая, белая,— и по белой горе черными зигзагами поднимались деревянные лестницы для пешеходов.

Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, и не так скользко. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече, и пошел вверх.

Так же, как четыре года назад, вереницами идут по лестницам люди с поезда. Так же стоят над заводом столбы дыма, растекаясь и сливаясь вершинами.

Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежно широкую улицу. Далеко-далеко друг против друга стояли высокие каменные дома. Необъятный закат разливался иад этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка.

Улица была новая, ее начали строить в первую пятилетку, строили до самой войны и не достроили: заборов у домов не было; на местах, где должны быть сады, лежали пустыри.

Прошел трамвай, люди висели иа подножках и иа буфере. Куда тут с багажом влезешь. Лукашин продолжал путь пешком.

Конца-края нет улице: дом — пустырь, два дома — опять пустырь на полкилометра.

Пожарный гараж с большим колоколом иад воротами. Кирпичные корпуса индустриального техникума, расположенные буквой «П». Длинный-длинный дощатый забор — неведомо, что за ним. И столбы, столбы, столбы с натянутой черной проволокой.

Забор поворачивал полукружием, улица вдруг сузилась и покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны без порядка деревянные дома. Эти строились давно, многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускались вниз, к трамвайным путям. Дерево построек почерневшее, суровое: словно углем на белой бумаге нарисован старый поселок.

К домам разбегались дорожки-тропки. Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой. И прежде она всегда была посыпана золой: это Мариамна посыпала, жеиа Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит: это Мариамна начищает ее до блеска. Лукашин позвонил: прежним голосом залился звоночек за дверью. Послышались шаги, громыхнул болт. Отворила Мариамна. Она не узнала Лукашина и стояла, хмуря брови и загородив дверь широким плечом... Он улыбнулся:

— Не узнаете, Мариамна Федоровна?

— О господи,— сказала Мариамна мужским голосом и впустила его в дом.

В доме все было на прежнем месте. Любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей жизни. Даже фарфоровая собачка с отбитой мордой стояла в стеклянном шкафчике на той же полке, между хрустальным яйцом и крымской раковиной.

Одно было новое — большой портрет Андрея, увитый красными и черными лентами. Лукашин увидел его сразу, как только Марианна зажгла электричество: портрет висел прямо против двери и смотрел на входящих веселыми глазами.

— Садись,— сказала Мариамна.— Сейчас старик придет.

Она была пермячка, до тридцати лет жила в деревне и вместо «ч» говорила «ц»: сейцас.

Лукашин сел.

— Давно?..— спросил он, глядя на портрет.

— Давно. В Сталинграде.

— А жиличка живет?

— Жиличка? Живет.

Она сказала «жилицка», презрительно и недружелюбно. Лукашин покивал головой: все, мол, понятно — и переменил разговор:

— А Павел что?

— А Павел едет,— другим тоном, оживленно и хвастливо, заговорила Мариамна.— Павел едет домой. Никитку не узнает, поди: отроком стал Никитка. А Катерина-то уехала — Павел сюда, она отсюда. На Украину ее услали, там немцы все пожгли, людей поугоняли, так ее туда назначили порядок наводить.

Катерина, жена Павла и мать Никитки, была партийный работник, вечно в разъездах и делах.

— Без ноги Павел, на протезе, а ты на своих ногах?

— Я на своих,— сказал Лукашин.— У меня только легкие прострелены и зубы чужие.

Глазами она сосчитала нашивки на его груди: семь нашивок — семь ранений. Гимнастерка на нем без погон. Мариамна спросила:

— Совсем уволен?

— Совсем.

Мариамна накрыла на стол, поставила четыре прибора. Когда-то много приборов ставилось на этом столе. Тогда был Андрей, были дома Павел и Катерина. Спускалась сверху жиличка Нонна Сергеевна, ее сажали рядом с Андреем. Прибегала Марийка, сестра Павла и Андрея, Мариамнина падчерица: болтала как сорока, ее дразнили соломенной вдовой, а она сердилась...

— Соломенная вдова в гору пошла,— сказала Мариамна.— В стахановцах ходит, на двух станках работает, орден ей дали, мои матушки...

Говоря с ним, она ни минуты не сидела без дела: затопила печку, где заранее были уложены дрова и лучина, прибрала шитье, укрыла швейную машину чехлом, принесла воды в чайнике и полила цветы.

Весь день она вот так ходила по дому своей тяжелой походкой либо сидела, согнувшись, над шитьем. Семья была большая, Мариамна шила на всех.

— А у тебя-то теперь собственный дом! — сказала она.— Старик сказывал — больше нашего, шесть комнат, будешь дачников пускать, разбогатеешь, Семен!

— Дом-то дом,— сказал Лукашин.— Возня с ним большая.

— Какая возня?

— Еще пока введут в иаследство. И налог надо платить за два года.

— Ты на фронте был, с тебя налог не возьмут,— сказала Мариамна. Она всегда все знала по части собственных домов.

— Да не с меня. Отец два года не платил.

— Мать-то, поди, от горя померла,— сказала Мариамна.— Всего на полгода и пережила отца.

— Она от печени померла,— сказал Лукашин.— Рак печени признали у нее.

— Но, а печень от чего болит? От горя.

Позвонили.

— Старик! — сказала Мариамна и проворно пошла отворять.

Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько ребят играло на улице, и никого она не боднула, только его боднула. И много лет спустя — уже у него усы росли — о нем говорили в деревне Рогачи:

— Лукашихин мальчонка, которого корова забодала.

Он мечтал о высшем образовании. На его глазах крестьянские сыновья уезжали в город учиться и возвращались учителями, врачами, агрономами. И он мечтал стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его, и чтобы матери приходили к нему и говорили:

— Дайте мне совет, Семен Ефимыч, что мне делать с моим Петькой, чтобы он слушался.

А он вызовет Петьку к себе и поведет с ним тихую, прочувствованную беседу, и Петька раскается и станет шелковый.

Но едва Лукашин окончил пять классов, как отец устроил его на краткие курсы счетоводства, а потом поместил счетоводом в заготконтору, где был заведующим.

Лукашин сидел в затхлой комнате, среди корзин с яйцами и мешков с пряжей, и страдал. Все люди как-то вместе, а он сидит один как сыч с утра до вечера...

Его мучило, что он подчинился отцу и погубил все свое будущее, и засел за эту работу, которую терпеть не может.

Ему казалось, что никогда у него не будет светлой и разумной жизни, о которой он мечтал, и он был грустен и молчалив даже на праздничных гуляньях и танцульках.

Люди говорили его матери:

— Это он у тебя потому такой, что его маленького корова забодала.

Мать пропускала это мимо ушей. У нее в жизни было только одно занятие, которому она предавалась с большой охотой: она лечилась. У нее всегда что-нибудь болело, она принимала порошки, микстуры, капли, ставила грелки, компрессы и горчичники, натиралась мазями, варила какие-то травы... Она зазывала к себе соседок и угощала их, чтобы поговорить с ними о своих болезнях. Чужие болезни интересовали ее гораздо меньше, она слушала о них ревниво и, не выдержав, перебивала:

— А вот у меня тоже...

Время от времени она уезжала в город — показаться городским докторам. Она столько рассказывала им о своих недомоганиях, что ее немедленно клали в больницу и начинали делать разные исследования. Через неделю-другую ее выпускали, сказав, что никакой болезни у нее нет. Она возвращалась домой разочарованная и говорила:

— Они ничего не понимают.

Позже, в старости, она действительно тяжело заболела. И когда ей сказали, что она должна серьезно лечиться,— она испугалась, опечалилась, лечилась без удовольствия и догорела быстро и грустно, в молчании, в недоумении — как же так: вот и жизнь прошла, а она и не заметила, только лечилась, и леченье-то оказалось ни к чему.

Лукашин просидел в заготконторе одиннадцать лет.

Когда отец уезжал по делам, он откладывал счеты и читал книги. Читая, плакал и смеялся, и бабы, входившие в контору, слышали из задней комнаты странные звуки — то сморканье, то клекот... В заднюю комнату бабы не входили: прилавок преграждал им путь. Они окликали: «Кто тут есть?»—«Сейчас!»— отвечал Лукашин, вытирал слезы подолом рубахи и выходил к прилавку.

Иногда отец отпускал его к крестному. Крестный был Никита Трофимыч Веденеев. Он доводился Лукашиным дальним родственником, таким дальним, что это родство не имело названия. Лукашин любил ездить к Веденеевым. Там жили дружно, большой согласной семьей. «Хорошо они живут!»— думал Лукашин, наблюдая их жизнь.

Два раза его брали на кратковременную службу в армию. Ему там понравилось: он был среди людей и делал то же, что люди. Дело это имело смысл, насущный для всего народа. Красноармеец, боец окружен общим уважением... В ученьях и походах Лукашин отдыхал от заготконторы, от своего одиночества. Когда началась война, его призвали снова — для настоящих битв.

«Что хорошо в армии,— думал Лукашин,— это то, что каждую минуту знаешь, что надо делать. Тут ведь как: сегодня ты все исполнил хорошо, и тебя уважают. Завтра покажешь себя в плохом свете — вся твоя вчерашняя заслуга насмарку. Станешь оправдываться — тебя и слушать не будут. Но послезавтра у тебя есть возможность опять заработать уважение и даже, может быть, на тебя будут смотреть с восторгом».

Он служил старательно и скоро заслужил сержантское звание. Был не по годам солиден; любил читать наставления молодым бойцам, и они в шутку называли его «папаша». На коротких солдатских ночевках он засыпал с ясными мыслями и с сознанием исполненного долга.

Говорят: плох солдат, который не мечтает стать генералом. Лукашин понимал, что генералом ему не быть никогда — талантов нету; но солдат он был хороший.

Ему везло: в самых трудных операциях он отделывался легкими ранениями. (Поневоле будешь считать эти ранения легкими, когда кругом люди гибнут либо тяжко калечатся, а ты повалялся в прифронтовом госпитале — и опять в часть.)

Война шла, Лукашин служил. Кругом люди получали ордена и медали, он ничего не получал. Он думал, что, пожалуй, многих награждают за точно такие дела, какие и он совершил; значит, он такую же пользу приносит, как и они. И он научился уважать солдата-фронтовика независимо от того, есть у него награды или нет.

Войне завиднелся конец: наши войска гнали немцев к границе. Что же — скоро по домам? Он вернется, отец его спросит: «Ну, когда приступаешь к занятиям в конторе?» А он ответит не сразу. Он будет сидеть и курить, [illegible] отец поймет, что он ушел из-под родительской власти и что на него уже нельзя гаркнуть, нельзя трахнуть кулаком... «В контору — нет,— скажет затем Лукашин.— Я остаюсь в армии...»

И вдруг под Станиславом тяжелое ранение — в лицо и грудь.

И это в момент, когда Лукашин уже спокойно уверовал в свою счастливую звезду!

«Ну, ясно,— подумал он, очнувшись в медсанбате.— Это же я! Со мной обязательно что-нибудь должно было случиться в этом роде...»

Его возили из госпиталя [illegible] госпиталь. Под конец повезли в Москву, и там знаменитый хирург-стоматолог в несколько приемов сделал ему операцию лица. Возились три месяца, замучили, зато сделали чисто: шрамы были едва заметны.

— Со временем и совсем исчезнут,— сказал хирург, любуясь своей работой.

После этого Лукашину вставили новую челюсть с жемчужными зубами. Зубы ему очень понравились; они даже отчасти вознаградили его за страдания.

В московском госпитале он получил письмо от односельчан. Они сообщали, что его родители умерли, что ему в наследство остался дом и деньги на сберкнижке, и спрашивали, не будет ли насчет дома каких-нибудь распоряжений.

Лукашин ответил, что дома ему сейчас не нужно, пускай сельсовет им пока что распоряжается,— и несколько дней пролежал в растерянности и печали, со странным чувством, что что-то от него оторвалось. Вот — отец загубил его молодость, [illegible] мать он любил не так уж горячо... [illegible] все-таки оторвалось!

Когда с него сняли бинты, он пошел [illegible] коридор к большому зеркалу и посмотрелся.

Исхудавшее, желтое лицо с глубокими морщинами вдоль щек. Морщины на лбу. Шрамы на подбородке. Нос торчит. Борода растет неровно: там, где нашита новая кожа, ничего не растет... Хорош. Никто и не подумает, что тридцать лет человеку. Много старше на вид!

Только зубы хороши.

«А что я буду делать?»— подумал Лукашин, стоя перед зеркалом.

В армию вряд ли пустят.

Как-то надо решать свою жизнь.

Очень трудно решать самому! Вдруг ошибешься — и некому сказать: вот видишь, а ты советовал...

Учителем быть он уже не мечтал. Прошли его молодые годочки. Он все забыл, кроме солдатской науки.

К счетоводству не лежала душа. Проще всего вернуться [illegible] заготконтору... Нет, не хочу!

Поеду к Веденеевым на Кружилиху.

Все-таки он заехал сначала в Рогачи. Увидел пустой дом, неотопленный, страшно холодный — в доме холоднее, чем на улице... Сходил на кладбище, посмотрел на родительские могилы, крытые снегом... И, зайдя в сельсовет и в сберкассу, чтобы получить деньги, оставленные отцом, отправился на станцию.

Две старухи проводили его. Они расспрашивали, и рассказывали, и жалели его. Он слушал молча.

— В контору пойдешь работать или в колхоз? — спросили старухи.

Он ответил:

— Да нет. Поеду на Кружилиху, там посмотрю.

Старухи как будто разочаровались, но не стали его уговаривать. Одна сказала:

— Что ж. Поезжай, посмотри, может, лучше там покажется, чем у нас.

Они караулили его багаж, пока он покупал билет. Они помнили его младенцем, они хоронили его родителей,— и вот теперь он уходил от них. Они не укоряли его. Он влез в вагон, [illegible] они пошли со станции в своих старых, заплатанных рабочих сапогах.

Никита Трофимыч пришел не один, с ним был его старый приятель Мартьянов, которого Лукашин знал.

— Здравствуйте! — сказал Мартьянов.— Еще одна живая душа прибыла! Я как знал — захватил пол-литра. Мариамна Федоровна! Разрешишь поставить на стол или подашь графинчик?

— Я те дам на стол,— сказала Мариамна.— Бутылка грязными руками захватана, [illegible] он на стол.

Старик Веденеев взял Лукашина за плечи, вгляделся ему в лицо.

— Да, брат,— сказал он,— не украсила нас война! А Андрея нет! — он отвернулся и ушел умываться, и за ним, на ходу стягивая промасленную спецовку, ушел Мартьянов.

— Он тебя любит, старик,— сказала Мариамна, ставя на стол пятый прибор.— Любит, вот и сказал про Андрея. Он никому про Андрея не говорит.

Прибежал с улицы Никитка, семилетний сын Павла и Катерины, названный в честь деда. Это был крупный красивый мальчик, румяный, с глазами зеленоватыми, как у всех Веденеевых.

— На отца похож? — спросила Мариамна.— Покажу тебе карточку Павла, когда тот был в Никиткиных годах: вылитый! — Гордость была в ее голосе; концом фартука она утерла Никитке лоб и щеки.— На морозе катался, а вспотел как в бане... Иди ручки мыть!

«Хорошо у них,— думал Лукашин, наблюдая эту милую семейную жизнь, которой он был лишен.— Ах, хорошо!»

Если бы позвали — навек бы тут остался жить...

Мужчины умылись и вышли к ужину. Все сели за стол. Мариамна подала горячую картошку и морковную кашу. Лукашин достал из своего мешка зачерствелый хлеб и консервы. Мартьянов разлил водку в рюмки.

— За вернувшихся и возвращающихся,— сказал он.

— Хорошая вещь,— сказал Лукашин, выпив рюмку.

— Напиток для молодых девиц,— сказал Мартьянов.— К старости я стал уважать чистый спирт. Действует без отказа, лишней воды в брюхо не льешь и великолепная дезинфекция для всего организма.

— Мартьянов, Мартьянов, ты этой отравой погубишь свое здоровье,— сказал Веденеев.

— Наоборот,— сказал Мартьянов.— Мне доктор Иван Антоныч поставил диагноз: вы, говорит, проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть хоть холерой, она вас не скрутит... За твое здоровье, Сема. Дай тебе бог устроиться... Я через эту свою культурную привычку думаю прожить сто лет.

— Сто? — переспросил Веденеев, подмигнул Лукашину.

— Как минимум,— отвечал Мартьянов.

— И хочется тебе?

— А ясно.

— Ты же верующий.

— И что из этого следует?

— Почему же ты цепляешься за земную жизнь? Если полагаешь, что твоя душа бессмертна...

— Как тебе сказать? — сказал Мартьянов.— Люблю не столь душу свою, сколь тело. Скажешь — нечего тут любить? Абсолютно с тобой согласен. Ну, что тут любить, откровенно говоря?.. Но люблю. Дорожу, и оберегаю, и ублажаю, как могу. Душа-то у меня, Трофимыч, еще хуже, чем тело: самая ординарная душонка. А я ценю души — знаешь какие? понимаешь, Сема?..— души высокие, души большого огня!.. Какой кому прок от бессмертия моей души? Пускай уж лучше тело поживет подольше...

Мартьянов был с Кубани, в здешних краях жил с 1931 года. «Пострадал по кулацкой лавочке»,— объяснял он. Приехал он с женой. Ему было тогда лет пятьдесят. Старуха не вынесла сурового климата, скоро умерла. Мартьянов сначала работал на баржах, потом его взяли на Кружилиху.

Он сразу понял, чего хочет от него Советская власть. С первых месяцев он стал в число ударников. Сила у него была большая. Всякую работу он соображал быстро. Он дорожил своим новым положением, аккуратно платил взносы в профсоюз, ходил на все собрания. Впрочем, он никогда не пересаливал: перед начальством не заискивал, допускал самокритику в приличной пропорции, а религиозностью своей даже кокетничал. Умный был мужик, непомерной живучести, хоть и пьяница.

За свою долгую жизнь он побывал во многих местах, перепробовал многие занятия, прочитал много книг. Умел красно говорить о чем угодно, и никогда нельзя было угадать — от души он говорит или с издевкой.

Павел Веденеев недолюбливал его, называл: «потенциальный мироед». Но старик Веденеев любил поговорить с Мартьяновым, который в рассказах и балагурстве был неиссякаем. Никита Трофимыч слушал его и изредка вставлял коротенькие нравоучительные фразы. При этом он был убежден, что воспитывает Мартьянова в коммунистическом духе и воспитывает приемами глубокими и тонкими, недоступными Павлу. С годами этот союз креп и превращался в обыкновенную стариковскую привязанность.

А покойный Андрей говорил, бывало, что на Мартьянове лежат напластования всех экономических реформ двадцатого века, начиная от столыпинской системы и кончая ликвидацией кулачества как класса.

В кухне с черного хода хлопнула дверь, застучали быстрые каблуки,— в столовую вбежала Марийка, дочь Веденеева.

— Батюшки мои! — сказала она, остановившись и всплеснув руками.— Сема!

Лукашин встал и, конфузливо улыбаясь, одернул гимнастерку. В прежнее время он держался от Марийки подальше — она смущала его... Чем? Да хотя бы тем, что она была молодая и — ему казалось — очень красивая. Она часто смеялась, и он думал, что она смеется над ним. Она была такая подвижная и шумная, что с ее приходом вся комната словно начинала кружиться. Закружилась и теперь.

До войны она два раза выходила замуж, оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили соломенной вдовой; и это тоже смущало Лукашина.

Разведясь со своими мужьями, она не вернулась к отцу и Мариамне, а продолжала жить отдельно, в комнате, которую ей дали в новом доме.

— Я человек разочарованный,— говорила она,— что ж, сердце у меня разбитое, оставьте меня одну слезы лить.

Что-то никто не видел, чтобы она лила слезы, но она любила говорить о разбитом сердце и о том, что из-за негодяев мужчин женщине не может быть счастья...

— Сема, ох, Семочка,— твердила она растерянно и радостно,— ох, ну какое счастье, когда люди возвращаются... Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина...

— А тогда он что же — женщиной был? — спросил Мартьянов.

— Он тогда был молодой человек,— отвечала Марийка.

— Ты садись,— сказал Веденеев, неодобрительно глядя на дочь.— Расскажи лучше, за что тебе выговор в приказе.

— Выговор! — вскричала Марийка.— Не говорите мне, я уже столько слез пролила!.. Уздечкинский Толька запорол деталь, а мне выговор как инструктору. Времечко, Сема: ты работаешь, а кругом детишки. Вот столько недосмотрел — не то приспособление возьмут, и все в брак... Когда уже настоящие работники к нам вернутся? — она пристально посмотрела на Лукашина зеленоватыми глазами, а он стал барабанить пальцами по столу.

— Ну? — спросил Веденеев, когда Марийка, отшумев, ушла домой и Мариамна увела Никитку спать, и в доме стало тихо.— Что делать будем?

Лукашин молчал. Не раз ему намекали в этот вечер, что прямая его дорога ведет на Кружилиху. Он и сам об этом подумывал... Но надо подумать еще. Выбрать — так уж выбрать накрепко, чтобы потом не раскаиваться и не метаться.

— Не трожь его! — сказал Мартьянов, подмигивая Лукашину.— Он теперь помещик, он с нами, пролетариями, может, и якшаться не захочет.

— Дом можно продать,— сказал Веденеев,— и купить другой здесь, в поселке. Но вперед всего надо стать на работу. Послушай меня, Семен, иди на завод. Каждый рабочий сейчас, пойми,— драгоценная вещь: ведь на фронт работаем...

— Не знаю,— сказал Лукашин,— посмотрю... У меня специальности нет,— что я заработаю?..

— Получишь специальность. Мартьянов из тебя за два месяца сделает токаря — он мужик с головой... У нашего профсоюза неправильная тенденция — демобилизованным норовят дать работу полегче: табельщиком или в магазин продавцом... Чтобы не напрягался, отдыхал... Не понимают, что ему не отдыхать надо, а становиться на твердую дорогу жизни... Будешь токарем, Семен.

Веденеев сказал это так же уверенно, как отец Лукашина сказал когда-то: «Будешь счетоводом». Лукашин вздохнул.

— А живи покуда у нас,— сказал Веденеев, вставая из-за стола,— покуда устроишься... Иди — Мариамна тебе постлала на сундуке...

«Недолго тебе валяться бобылем по чужим углам,— думал Мартьянов, вспоминая, как Марийка хлопотала весь вечер вокруг Лукашина,— устроишься... Ты парень не ершистый, тебя которая зацепит, за той и пойдешь...»

Перед тем как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой мороз, тихо, звездно. Праведным сном спал старый поселок... Звоня, прошел по улице под горкой поздний трамвай, его не было видно со двора, только зеленая звезда с шипеньем вспыхнула на дуге и осветила провода... Во втором этаже веденеевского дома вдруг осветилось окно, в окне Лукашин увидел Нонну Сергеевну, жиличку. Она была в пальто и в шапочке,— видно, только что вернулась домой. Он вспомнил, что о ней весь вечер не было сказано ни слова, точно ее не существовало в доме.

Она медленно подняла руки, сняла шапочку и задернула занавеску на окне...

Лукашин стоял, курил трубку и думал. Он думал, что не следует сразу поддаваться уговорам Веденеева, может, другие посоветуют что-нибудь лучшее — кто знает... Деньги у него есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает: вот так стоять и смотреть на белый свет — какой он, оказывается, бывает тихий, и ясный, и кроткий!.. Потом в его мысли вошла Марийка и произвела там шум и смятение. «Очень красивая женщина,— думал Лукашин с волнением,— замечательной красоты женщина!..» Он уже не думал, что она смеется над ним; он видел, что она обрадовалась ему от души... Он думал: каждому человеку нужно иметь около себя близкого товарища, родную душу. Ему представилось, как они с красивой и любящей женой сидят рядышком, рука в руке, и всем друг с другом делятся и советуются... «Что это я думаю, она, может, и в мыслях ничего не имеет... Напрасно я сказал Мариамне, что у меня зубы вставные: она уже, наверно, Марийке доложила...» Марийка, уходя, сказала между прочим, что придет завтра вечером, после смены. «Если придет завтра вечером, значит, хочет со мной увидеться; а не придет, значит — это все так, одно пустопорожнее кокетство...»

Марийка пришла на другой вечер, пришла и на третий. Через неделю они с Лукашиным объяснились. Еще через несколько дней Лукашин переехал со своим сундучком в Марийкину комнату.

В доме, где жила Марийка, было восемь подъездов, пять этажей. С каждой лестничной площадки вход в две квартиры. В каждой квартире — три комнаты и кухня.

Марийка жила по шестой лестнице, на пятом этаже.

В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин.

До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты; в третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней.

Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат — не

помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав, влезла на стул и стала снимать занавески с окон.

— Только полгода как куплены,— сказала она обиженно (хотя ее ни о чем не спрашивали).— Еще себе пригодятся.

Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так. За зеркалом обои были темные, невыгоревшие; из комочка паутины выбежал паук, побежал по стенке... Анна Ивановна, разбиравшая чемодан, встала с колен и сказала дочери:

— Ну-ка, Таня, помоги мне.

Они вдвоем вытащили в переднюю всю мебель, до последнего стула. С абажуром Анна Ивановна долго возилась, пока сняла, вся запылилась и раскраснелась, и сняв абажур, сказала Ольге Матвеевне:

— Лампочку не отдам. Без света сидеть не намерена. Куплю — тогда отдам.

Ольга Матвеевна была довольна, что все ее добро осталось при ней. Но было обидно, что приезжая гордячка так легко отказалась от даровой роскоши, ни о чем не просила, все вышвырнула.

— Спать-то на чем будете? — спросила Ольга Матвеевна.

— А это уж не ваша печаль,— ответила Анна Ивановна.

Ольга Матвеевна совсем обиделась. Ей сразу захотелось ссориться. Но придраться к Анне Ивановне было трудно: ее по целым дням не было дома, обедали они с Таней в столовой, в кухню почти не заходили. Поневоле Ольга Матвеевна довольствовалась тем, что всячески осуждала Анну Ивановну: за наряды («уж седая совсем, а все рядится, да еще губы мажет, как молодая!»); за гордость; за то, что с дочерью говорит не по-русски.

Анна Ивановна говорила с Таней по-французски и по-английски: четные дни у них были английские, а нечетные — французские. «Хау ду ю ду, ай эм глед ту си ю»,— говорила Таня, приходя из школы. «Гуд бай»,— говорила она, уходя. Но, лаская Таню, Анна Ивановна говорила ей по-русски: «Дурак мой маленький». И по-русски же кричала, выбегая за Таней на лестницу:

— Таня! Сейчас же вернись, надень платок, сумасшедшая, я кому говорю!

До войны Анна Ивановна жила в Ленинграде. У нее был муж архитектор. Таня была тогда небольшого роста и училась в балетном училище.

Началась война. Муж Анны Ивановны отправил жену и дочь в глубокий тыл, подальше от беды, а сам остался. Анна Ивановна привезла две пишущие машинки: одну с русским шрифтом, другую с латинским — и ни одного дня не сидела без работы. Сразу ее приняли на завод («оторвали с руками и с ногами»— говорила Марийка). Утром она шла в заводоуправление, а вечером в Дом культуры, на курсы, где она занималась с инженерами и техниками английским языком.

Выбросив Ольге Матвеевне за дверь все ее вещи, Анна Ивановна купила новую мебель: две кровати-раскладушки, два стула и два простых некрашеных стола; за одним столом занималась Таня, а на другом стояли под блестящими черными крышками обе машинки Анны Ивановны. Таня иногда говорила:

— Ох, до чего у нас в комнате некрасиво!

Стуча по клавишам машинки, Анна Ивановна отвечала:

— Девочка, потерпишь полтора-два года!

Прошел месяц, и Анна Ивановна получила от мужа письмо, что их квартира на Старо-Невском разрушена бомбой: от всего этажа ничего не осталось. Анна Ивановна плакала, получив это известие. Особенно жалко ей было маленького бюро, которое сделал ей в подарок покойный дядя, краснодеревщик. Работать за этим бюро было неудобно, оно стояло просто так, для украшения, и очень хлопотливо было вытирать пыль с его резьбы. Анна Ивановна сердилась на дурацкую резьбу,— а теперь вспоминала и резьбу, и фарфоровые медальоны с цветами, вделанные в стенки бюро, и, громко сморкаясь, спрашивала у Тани по-русски:

— Таня, а медальончики помнишь?

Таня молчала и думала: странная мама, плачет о бюро, а ведь там люди погибли, папа пишет — почти сорок человек... Пусть все пропадет, и мебель, и платья, и рояли, только бы остались живы люди.

Прошли еще какие-то страшные месяцы, в продолжение которых из Ленинграда почти не было известий. И вот однажды Анне Ивановне сообщили из третьих рук, через знакомых ленинградцев, что ее муж, с которым она дружно и согласно прожила девятнадцать лет, умер от истощения. Анна Ивановна пришла домой с виду спокойная и как-то вяло сказала Тане: «Знаешь, папа умер»,— и легла на раскладушку, и велела обомлевшей Тане укрыть ее теплым одеялом: ее била дрожь...

— Ну что ж, Таня,— сказала она недели через две,— надо устраиваться нормально.

Она съездила в город, продала свои золотые часы и купила два кресла, диван и кровать.

— Мы разве не вернемся в Ленинград? — спросила Таня.

— Мне не хочется,— сказала Анна Ивановна.— А тебе плохо здесь?

— Нет,— сказала задумчиво Таня,— не плохо.

— Мне тоже,— сказала Анна Ивановна.

Они вдруг обнялись и горько заплакали, и плакали долго.

Может быть, Анна Ивановна и решилась бы вернуться на пепелище своего былого счастья, если бы это требовалось для Таниной балетной карьеры. Но Таня за этот год так пошла в рост, что было ясно — для балета она потеряна. «Ну, куда такую версту коломенскую на сцену!»— думала Анна Ивановна и без колебаний устраивалась в новой жизни.

Наспех купленные, временные, некрасивые вещи были удалены и вскоре заменены дорогими, красивыми: Анна Ивановна любила жить хорошо. Чтобы заработать побольше, она бралась перепечатывать рукописи, дипломные работы, бухгалтерские отчеты. Зарабатывала стенографией, уроками.

Она очень уставала. Ночью по большей части спала крепко, и Таня должна была ее будить, чтобы она не опоздала на работу. Но иногда приходили приступы бессонницы. Тогда она лежала и смотрела в окно, которое было против ее изголовья. Легче на душе, когда окно черное, подернутое серебром мороза. Совсем сносно, если по стеклу стучит дождь. Когда на дворе непогода, Анне Ивановне приятно, что она и ее ребенок, ее ненаглядная верста коломенская, находятся под прочной кровлей, что им тепло, что люди к ним относятся с приязнью... И мучительны летние белые ночи! В белую ночь хочется выйти из дома и идти, идти... неведомо куда. В пустынные улицы,

под томящее небо, к тому, что было и чего никогда не будет больше...

Днем она была спокойна и приветлива. Они очень похожи были с Таней: обе круглолицые, белые и румяные, с черными глазами и темными усиками. Только Анна Ивановна была полная и седая, а Таня худенькая, с длинными черными косами.

Рядом с Марийкой жил директорский шофер Мирзоев. Он был красавец. От его улыбки, сладкой, нежной и белозубой, кружились женские головы. До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа самая лучшая и почетная, и все его любили и хвалили. В армии он стал шофером; тоже очень хорошая работа! За храбрость его полюбил командир батальона, взял к себе. Ах, комбат, дорогой комбат, вечная память!.. На одном отчаянном перегоне их машина попала под огонь. Комбат был убит, а Мирзоев попал в госпиталь, а потом на завод. В госпитале ему пришлось удалить почку. Он беззаботно подшучивал над своим увечьем.

— Я нахожу,— говорил он,— что две почки — роскошь, я великолепно обхожусь с одной...

Но он берегся — соблюдал диету и не пил, а только делал вид в компании, что пьет.

Он мог быть отчаянно храбрым и мог быть очень осторожным — когда случалось, например, возить беременную жену директора. Машина слушалась его беспрекословно. Он широко эксплуатировал ее и жил припеваючи.

Лукашин присматривался к нему: он не мог понять, почему Марийка выбрала его, Лукашина, когда в одной квартире с нею живет такой красавец и франт. «Неужели,— думал он,— я ей показался лучше?..»

Медовый месяц Лукашина протекал счастливо. Лукашин не мог налюбоваться на Марийку. Ему доставляло большое удовольствие исполнять все ее прихоти.

— Чего бы я, Сема, съела,— говорила Марийка томно,— съела бы я, Сема, пирога с мясом, с яичками, такой высокий и корочка румяная, а ты бы съел?

И Лукашин шел на рынок и покупал белую муку, мясо, яички, и Марийка пекла пирог с румяной корочкой, а Лукашин смотрел на Марийку с сознанием своего могущества и богатства и говорил:

— Ешь еще.

— У Нонны Сергеевны туфельки есть,— рассказывала Марийка.— Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук вот такой, носочки вот такие, а шнуровочка на боку, и на завязках кисточки, с ума сойти.

И Лукашин шел и покупал для Марийки туфли — еще лучше, чем у Нонны Сергеевны, самые шикарные и самые дорогие, вот с таким каблуком и с кисточками.

Марийка всю жизнь рассчитывала зарплату от получки до получки. У отца жила — даже собственные деньги нельзя было истратить без спроса: «Папа, я в кино схожу; два пятьдесят стоит билет...» Первый муж пропивал ее вещи, которые она покупала на свой заработок. Второй — бог с ним! — вспоминать стыдно... Почем она знала, когда полюбила его, что он негодяй и обманщик, что у него в Калуге уже есть жена и что эта жена к нему приедет и ославит ее, Марийку, на весь завод... Три месяца прожила с человеком и ничего не видела, кроме убытков и неприятностей... А Сема швыряет на нее деньги не считая, только бы сделать ей приятное. У Марийки голова закружилась от такого раздолья. Она не спрашивала Лукашина, сколько у него денег: тратит свободно — значит, есть что тратить.

Они любили строить планы дальнейшего процветания.

— Этот дом я продам,— говорил Лукашин, неторопливо дымя своей трубкой,— а другой хорошо бы купить, хоть маленький. Все-таки это приятно — своя крыша над головой.

Марийка не соглашалась:

— Семочка, с ним хлопот не оберешься, со своим домом. Крышу крась, ремонтируй, забор починяй... Полжизни в него надо вложить, вот как папа и мама вложили.

— Зато можно завести кур, огород при доме. Козу купить: козье молоко самое полезное.

— А я бы,— энергично говорила Марийка,— все вложила в золотой заем. Все, все. И государству помощь, и можно выиграть двадцать пять тысяч.

Никита Трофимыч был очень недоволен дочерью и зятем. Мысленно он подсчитывал их расходы: чудовищно! За какую-то усовершенствованную электрическую кастрюлю Марийка заплатила триста пятьдесят рублей. Триста пятьдесят рублей за кастрюлю?!!

Положить бы все на книжку и тратить осторожно, на самое необходимое. В один прекрасный день спохватятся — нет ни гроша. Так всегда бывает.

Подробно о своих тратах Лукашин и Марийка не сообщали. Никита Трофимыч мог вести им только приблизительный учет; не тем была занята голова, не держались в памяти все эти кофточки, мясорубки, абажуры...

— Надо купить кровать,— сказала однажды Марийка при отце.— Моя плохая.

Никита Трофимыч вышел из себя:

— Ведь в Рогачах есть кровати! Полная обстановка, а они все покупают!.. Я тебе, Марья, запрещаю!.. Извольте вывезти мебель из Рогачей!

Старик бушевал. Марийка притихла, надувшись. Лукашин оробел. В субботу он сказал Марийке:

— Едем завтра в Рогачи за кроватью.

— Да что там за кровати, чтобы за тридевять земель их везти,— сказала Марийка.— Наверно, сгнили все.

— Нет, у матери кровать была хорошая, с никелевыми шарами,— сказал Лукашин.

— Ну, поедем, проедемся,— сказала Марийка.— Я уж сколько лет от города не отъезжала.

В воскресенье они поехали в Рогачи.

В километре от станции Марийка увидела двухэтажный деревянный дом с башенкой и флюгером. Кругом были сосны, снег и безлюдье. Вслед за мужем Марийка вошла в маленькие сени. На нее пахнуло холодом, плесенью, пустотой. Неприютно, голо. В одной из комнат стояла железная кровать, постель с нее была снята, рваная перина посерела от пыли.

— Вот кровать! — сказал Лукашин.— Вполне хорошая, только перина старая, мы ее брать не будем.

Он достал из кармана веревку и стал складывать кровать. Она не поддавалась — заржавела. Пока Лукашин возился с нею, Марийка по лесенке поднялась наверх. Там были светлые комнатки с большими окнами, предназначенные для летнего жилья. «Милые какие комнатки»,— подумала Марийка, вздохнув. На подоконнике стоял большой фигурный самовар, весь позеленевший, без крышки и конфорки. Марийка попробовала кран самовара: повертывается или нет. Кран повертывался. Чудный вид был из окна — на озеро и лес... Марийка спустилась вниз. Лукашин уже сложил кровать и связывал ее веревкой.

— Возьми эти шары,— сказал он, сидя на корточках, с трубкой в зубах.

Марийка положила в карманы пальто три никелевых шара, которые Лукашин открутил от спинки кровати. Четвертый шар не откручивался,— должно быть, нарезка сильно заржавела. Шары сохранились отлично: блестящие, словно только что из магазина.

— Я возьму круглый столик,— сказала Марийка.— Мы его поставим в уголку около окна. А на столик — ту чугунную вазу.

— Вазу не бери, она тяжелая,— сказал Лукашин.— Ты женщина, тебе нельзя таскать тяжести. Я ее, может быть, потом отдельно привезу.

Он вынес кровать из дома и бодро взвалил ее себе на спину.

— Ну, пошли,— сказал он.

Марийка шла своей обычной быстрой походкой, положив легкий столик на плечо, и думала, какая это грустная вещь — брошенный дом, и как хорошо бы летом пожить в тех верхних комнатках и покупаться в озере.

— Знаешь?..— начала она, поворачиваясь к Лукашину, и вдруг увидела, что его нет рядом. Она оглянулась — Лукашин тащился позади, согнувшись в три погибели под тяжестью кровати.

— Давай понесем вместе! — сказала она, страдая за него.— Возьмем с двух сторон и понесем!

— Не говори глупости,— сказал Лукашин, задыхаясь.— Ты вот лучше не лети как сумасшедшая, а иди рядом, а то мне скучно без тебя.

Марийка не любила и не привыкла ходить медленно, она шла сердясь и доказывала Лукашину, что она гораздо сильнее его и уж во всяком случае вдвоем нести легче, а Лукашин не сдавался и наконец закричал, что его вся деревня осмеет, если увидят, что он несет кровать вместе с Марийкой; тоже мужчина — не может сам перенести такую пустяковину... Марийка перестала спорить. Шагов сто молчали. Остановились отдыхать. Лукашин положил кровать себе на голову.

— Так значительно легче,— сказал он.

И они пошли дальше. Но скоро Марийка заметила, что как она ни плетется, а Лукашин все равно отстает. У него иссякали силы. Она думала, как заставить его принять ее помощь, и ничего не могла придумать. Он, оказывается, бывает страшно упрямым!

До станции оставалось шагов триста.

— Нас, безусловно, оштрафуют в поезде,— сказал Лукашин еле слышным голосом.

— Почему? — спросила Марийка.

— Она не знает! — сказал Лукашин.— Потому что мебель в пассажирских вагонах возить нельзя.

Марийка нахмурилась: на штраф денег жалко.

— Знаешь? — сказала она деловито.— Если будут придираться, ты скажи, что кровать моя: уж я их как-нибудь уговорю...— И вдруг ее осенило: — Сема! Брось ее к черту!

Он сбросил кровать на землю сейчас же, как только она произнесла эти слова.

— Ну ее,— говорила Марийка, гладя его по спине и по голове, а он стоял, тяжело дыша, и дрожащими пальцами набивал трубку.— Неужели мы в городе не купим кровать! — Она достала платок и вытерла пот с лица Лукашина.— Как в раньше не сообразила! И как ты не сообразил!

— Я сообразил сразу,— отвечал Лукашин,— как только мы отошли от дома. Но не мог же я так прямо сразу взять и бросить ее!..

Подходил поезд.

— Бежим! — сказала Марийка.— А то опоздаем! — И, схватившись вдвоем за столик, счастливые и довольные, они побежали к платформе.

В вагоне было мало народу. Они сели в сторонке от всех, глядя друг другу в глаза. Лукашин взял Марийкину руку и пожал.

— Спасибо тебе,— сказал он.

— За что? — спросила Марийка, улыбаясь.

— За то, что ты хорошая,— сказал Лукашин.

Шары Марийка забыла выбросить из карманов — так и привезла их на Кружилиху.

Опасения Никиты Трофимыча оправдались очень скоро. Однажды утром выяснилось, что нет денег даже на обед.

— Надо что-нибудь продать из вещей,— сказал ошеломленный Лукашин.— Что-нибудь из старья, чтобы продержаться.

Марийка молчала со скучным лицом. Лукашин вздохнул и сказал:

— У меня есть как раз одна такая вещь.

— Какая вещь? — спросила Марийка.

— Кожаная куртка.

— А тебе она что — не пригодится?

— Она совсем старая. Ее носить уже нельзя.

— Тебе нельзя, а другим можно? — спросила Марийка.

— Как ты сворачиваешь!..— обиделся Лукашин.— Конечно, может кому-нибудь понадобиться. У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай.

— Почему я?

— Я мужчина,— сказал Лукашин,— мне неудобно.

— Ну, нет, знаешь,— сказала Марийка,— сроду не торговала и впредь не буду. Я стахановка, мне неприлично на базаре стоять с барахлом.

— Подумаешь! — возмутился Лукашин.— Какая графиня!

— Вот уж такая графиня,— отвечала Марийка и ушла на работу.

Пришлось Лукашину самому идти на рынок. Он встал в сторонке и, стесняясь, развернул свой товар. Сперва он держал куртку на руке. Потом взял ее обеими руками за воротник. Потом повернул к зрителям подкладкой... Один человек подошел, спросил:

— Сколько просите?

Лукашин хотел просить двести, но почему-то сказал сто.

— Двадцать пять дать? — спросил человек.

Лукашин замялся. Человек отдал ему куртку и равнодушно отошел.

«Надо просить пятьдесят,— подумал Лукашин,— так вернее будет».

Но ему не у кого было просить пятьдесят, потому что никто к нему больше не подошел. Лукашин постоял и пошел домой. У дверей квартиры он столкнулся с Мирзоевым. Мирзоев отправлялся на свадьбу к приятелю и заходил переодеться. Он был в толстом мохнатом пальто и шляпе, от него пахло одеколоном, черные усики его были идеально подстрижены.

— А, сосед, добрый день! — приветствовал он Лукашина.— Ну, как дела? Еще не работаете?

Лукашин пожаловался на свои затруднения.

— Что вы говорите! — сказал Мирзоев.— Один покупатель и двадцать пять рублей?.. А ну, покажите.

Он развернул куртку.

— Староватa. Лет пятнадцать, должно быть, носили... Потеряла цвет. Вот так у нас на сиденье вытираются штаны... Гм. Двадцать пять рублей?

«Если он предложит пятнадцать,— подумал Лукашин,— я отдам».

— Она совсем крепкая,— сказал он робко.

— Вы ее не продадите,— сказал Мирзоев.— Ну-ка, идемте.

Он помчался как ветер: он боялся опоздать на свадьбу .. Лукашин — за ним. Примчались на рынок.

— Вы только, пожалуйста, ничего не говорите,— попросил Мирзоев.— Стойте рядом, и больше ничего.

Он небрежно накинул куртку на одно плечо, поверх своего мохнатого пальто. Шляпа его сидела набекрень, ботинки на толстой подошве сверкали. Лукашин не успел оглянуться, как их окружила толпа.

— Что стоит? — спрашивали Мирзоева.

— Двести рублей,— отвечал Мирзоев.

«Он с ума сошел»,— подумал Лукашин.

— А сто? — спросил один из покупателей.

Лукашин толкнул Мирзоева.

— Я не спекулянт,— сказал Мирзоев с достоинством.— Вы разве не видите, какая кожа?

— Была,— поправил кто-то.

— Мало ли что! — холодно сказал Мирзоев.— В общем и целом, вещь стоит двести.

Была короткая пауза, стоившая Лукашину сильных переживаний.

— Я даю двести! — сказал вдруг голос в задних рядах.

— Я же торгуюсь! — возмутился первый покупатель.— Может быть, я тоже хочу дать двести. Гражданин, получайте. Вещь не стоит того, но я из принципа.

— Люблю хорошие принципы,— весело и любезно сказал Мирзоев, принял деньги, взял Лукашина под руку и помчал его с торжища.

— Получайте ваши деньги, товарищ Лукашин. Вот как надо действовать в жизни.

— Черт его знает,— сказал Лукашин.— Как вы это умеете?..

Мирзоев кокетливо посмеялся.

— Я вам объясню, пожалуйста. Когда вы стоите с таким, я извиняюсь, лицом, как будто вы сию минуту броситесь под трамвай, и в этой старой шинели, и в этих сапогах — слушайте, вы их выбросьте: у вас же новые есть,— то люди думают: вон какой-то неудачник спускает последнее барахлишко. А когда продаю я,— Мирзоев легким движением передвинул шляпу,— люди думают: продается вещь, которую носил шикарный молодой человек; у такого плохих вещей не бывает. И вот вам весь секрет, пожалуйста.

С этого дня Мирзоев стал относиться с живым интересом ко всем делам Лукашина. Так уж Мирзоев был устроен: однажды оказав человеку помощь, он начинал ощущать этого человека как бы своим братом.

— Самое выгодное в наши дни,— сказал Мирзоев,— это иметь машину. Устроиться на курсы водителей, перебиться временно, а там — пожалуйста: диплом в руках — и вы получаете машину в учреждении. Начальника надо выбирать крупного, чтоб был занят без передышки, желательно холостого,— машина, таким образом, в полном вашем распоряжении.

— Неприятности могут быть,— сказал Лукашин, которому не хотелось обижать Мирзоева.

— Какие неприятности! В этом же нет ничего общественно вредного... Что, я у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно полюбовное соглашение... Очень большой спрос при общем состоянии транспорта, в этом наше преимущество.

Лукашин курил и слушал.

— Если хотите,— сказал Мирзоев,— я могу закинуть удочку насчет курсов, у меня там есть маленький блат.

— Да нет,— сказал Лукашин,— я все-таки думаю поступить на завод.

Он пошел к старику Веденееву и попросил устроить его подручным к Мартьянову.

Через три дня Лукашин шел на работу вместе с Марийкой.

Он назвал в проходной свой номер, вахтер выдал ему пропуск и сказал: «Проходи». Лукашин вышел на территорию завода. Слежавшийся лед под ногами был серебристо-черным от угольной пыли и металлических опилок. Маленький паровоз неторопливо прошел мимо по рельсам и обдал лицо Лукашина теплым паром.

— Тебе вон туда,— деловито сказала Марийка и показала на проход между двумя кирпичными корпусами.— Ну, в добрый час! — она улыбнулась ему по-матерински и побежала от него.

Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были в шинелях, как и он.

Словно из земли поднялся медленный, торжественный гул, разросся в устрашающий, оглушающий рев,— второй гудок; через четверть часа начнется смена.

«В добрый час»,— торжественно и взволнованно повторил про себя Лукашин.

И, как в армии, почувствовал себя опять одним из многих, ратником огромной рати. И подумал: хорошо. Пусть всегда будет так. А Мирзоев — сукин сын, и все врет.

Глава четвертая

УЗДЕЧКИН И ТОЛЬКА

Уздечкин шел на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя больным, невыспавшимся, усталым.

Как он рвался домой! Думал: в своем коллективе, в своей семье все раны залечатся. Что-то не залечиваются пока...

И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? Двое маленьких детей; никто бы с нее не спросил — почему ие воевала. Подумаешь, санитарка, экая гроза для Гитлера, без нее не нашлось бы санитарок...

...Трудно с детьми. Никогда бы, со стороны глядя, не подумал, что столько с ними хлопот. Ольга Матвеевна, Нюрина мать, до войны была такая боевая — со всем хозяйством справлялась сама, во все вмешивалась, никому не давала жить спокойно. А когда пришло известие о Нюриной гибели,— рассказывала жиличка Анна Ивановна,— Ольга Матвеевна день ходила с растерянным лицом, бессмысленно хватаясь то за одно дело, то за другое; на второй день слегла в постель и стала охать,— и с тех пор у нее это вошло в привычку: каждый день, походив немного с утра, она ложилась и охала до позднего вечера. Она все забывала, теряла продовольственные карточки, разучилась стряпать.

Толька, брат Нюры, в отсутствие Уздечкина бросил школу, пошел на завод. Пожелал, видите ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становятся серьезнее, а Толька — в дурную компанию попал, что ли,— не слушается, учиться не хочет, мать жалуется — тащит вещи из дому, бригадир жалуется — на производстве от него мало пользы... Девочки, Валя и Оля, ходят

замарашками. Заведующая детским садом пишет записки с замечаниями: почему дети приходят в незаштопанных чулках, почему лифчики без пуговиц... И Уздечкин, придя с работы, берется за иглу и пришивает пуговицы: благо привык к этому занятию в армии...

Вчера было партбюро, потом собрание, пришел домой поздно. Девочки не спали. Валя обожгла руку об электрическую плитку. Никого не было дома — ни Ольги Матвеевны, ни Тольки, ни Анны Ивановны с Таней. Так Валя и сидела, держа обожженную руку в другой руке, и ждала кого-нибудь, чтобы перевязали; и обе ревели — Валя от боли, Оля — чтобы выразить сочувствие Вале. Уздечкин перевязал руку, покормил их, уложил. Вымыл посуду, подмел в комнатах, сварил суп — на завтра... Хозяйничал и злился на Ольгу Матвеевну: наверно, опять панихиду ушла служить, старая дура, очень Нюре нужны ее панихиды, смотрела бы лучше за детьми. Решил, когда придет, устроить скандал по всей форме. Но когда она пришла, заплаканная, охающая, с бессмысленными глазами,— стало жалко, и только спросил угрюмо:

— Намолились? Чаю хотите? — и сам поставил чайник подогреть.

Мирзоев, который лезет во все чужие дела, говорит: «Вам нужно жениться, чтобы выйти из положения». В морду хочется дать за такой совет...

Ночью не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал ночные шумы. Изредка проходил по улице трамвай. Вышла мышь на промысел, осторожно возилась с коркой под шкафом; он на нее шикнет — она притихнет на минуту, а потом опять возится. Анна Ивановна и Таня вернулись очень поздно — должно быть, из театра; тихо прошли к себе... Толька, поганец, так и не явился, шляется где-то... Представил себе, как в церкви кадили и возглашали за упокой души рабы божьей Анны. Встал, достал ее карточку, посмотрел...

Обыкновенная женщина, с перманентом, курносенькая, бранилась с матерью, обожала подарки, шлепала девочек, когда не слушались...

Завком помещался на четвертом этаже. Туда вели шесть лестничных маршей, девяносто ступенек.

Уже к середине второго марша начались знакомые отвратительные явления: сердце прыгнуло вверх и соскочило вниз, помолчало, словно прислушиваясь, и опять прыгнуло

вверх, и опять опустилось — большое, тяжелое... Уздечкину не хватило воздуха для дыхания; он приоткрыл рот и втянул воздух — ноги ослабели, колени подломились... Раньше Уздечкин и не замечал своего сердца, оно жило в нем, жило с ним, было частью его самого. А теперь оно существовало отдельно. У него появились свои привычки и желания. С утра оно приставало к Уздечкину, как сожитель со скверным характером: предъявляло требования, заставляло идти тихим шагом, отдыхать на каждой лестничной площадке. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем.

В завкоме пахло только что вымытым полом, и в пепельницах не было окурков. Не снимая шинели, Уздечкин взял телефонную трубку и вызвал механический. Вчера Толька не был на работе, дома не ночевал,— может быть, прошел прямо в цех?

— Веденееву позовите мне,— сказал Уздечкин.

Марийка подошла к телефону и сказала сердитым голосом, что Тольки и сегодня нет и что завком пускай принимает меры, а то она, Марийка, пошлет всех к черту и уйдет работать в сборочный, хватит с нее возиться с ребятами! Уздечкин сказал, что Тольки и дома не было. Марийка закричала: «Ну, в милицию звоните, я их не укараулю!»— и швырком повесила трубку. Уздечкин позвонил в милицию: не было ли несчастных случаев с подростками. Был несчастный случай: двое мальчишек баловались с патроном, патрон разорвался, мальчишку ранило в руку... Какого возраста мальчишка? Девять лет. Нет, не он...

Душа к высокому тянется. Хочется думать о громадных событиях, совершающихся на фронте, следить за приближением дня победы. Пока дошел до завкома, видел оживленные лица, слышал веселые разговоры: вчера сломлено сопротивление врага в Будапеште; выходит из войны Венгрия, немцы потеряли в Европе последнего союзника. Теперь скоро Берлин! Хочется подойти к карте, где в два ряда натыканы флажки. Подсчитать, на сколько же это мы продвинулись на запад с начала года... А вместо этого изволь разыскивать Тольку.

Сегодня в перерыв будут летучки по цехам. Обратиться бы к людям с хорошим словом, сильным, душевным. Но — не успел подготовиться: черт знает чем занимался до ночи — пришивал пуговицы, варил суп, будь он проклят. А выступаешь перед собранием без подготовки — получается казенно, сухо; совсем не те слова произносит язык, какие встают в воображении.

Во время телефонного разговора вошла Домна, уборщица заводоуправления.

— Тольку ищете? — спросила она. Она всех знала и со всеми была запанибрата.— Мотает где-нибудь... Что я хотела спросить, Федор Иваныч,— насчет огородов ничего не слыхать? То говорили — в Озерной нам земля выделена, а теперь замолчали. Ведь покуда получим да разделим — смотришь, и апрель на дворе, и копать время.

— Будут огороды,— сказал Уздечкин.

— Меланья говорит, не дадут будто. Но я не верю: как это мыслимо? Мне лично, Федор Иваныч, шесть соток необходимо.

— Получите, получите ваши сотки! — сказал Уздечкин и зарылся в папки, чтобы избавиться от нее. И опять тяжело и больно повернулось сердце...

Об этих огородах он должен был сегодня говорить с директором.

Каждый год заводу предоставлялась земля, иногда в нескольких часах езды от города. И на этот раз землю отрезали довольно далеко — в Озерной. Говорили, что земля неважная, но начальник ОРСа, по приказанию Листопада, раздобыл химические удобрения, так что с этой стороны все обстояло благополучно. Вспахать землю обязалась тамошняя МТС. В начале февраля завод посылал на МТС своих слесарей — ремонтировать тракторы.

Вдруг директор объявил завкому, что большая часть земли в Озерной пойдет в подсобное хозяйство; а рабочим остались самые пустяки.

— Не для чего каждому участок,— сказал Листопад.— Дадите только многосемейным.

Это было неслыханно. Испокон веков рабочие Кружилихи разводили огороды. Каждый стремился иметь на зиму свою картошку. По воскресеньям специальные поезда снаряжались за город; ехали целыми семьями, с лопатами, тяпками, провизией,— старые и малые. На платформах везли посадочный материал: картофель целый и в срезках, с заботливо проращенными ростками, увязанный в мешки,— на каждом мешке метка чернилами или краской: кому принадлежит мешок... Невозможно было так сразу взять и отменить все это.

Уздечкин побежал к Рябухину.

— Самое бы милое дело,— сказал Рябухин, задумчиво почесывая стриженую голову,— если бы ты лично договаривался с Листопадом о таких вещах. Для твоего же престижа было бы лучше.

— С Листопадом договариваться отказываюсь,— горячечно сказал Уздечкин.— Уволь.

— Говоришь не подумав, Федор Иваныч. Как это может быть, чтобы в советских условиях профсоюз отказывался договариваться с хозяйственником? Что тебе Листопад — частный предприниматель? Капиталист?

— Ладно, хватит меня воспитывать,— сказал Уздечкин.— Позвони-ка ему лучше.

Рябухин пожал плечами и позвонил Листопаду. Уговорились встретиться всем троим и потолковать об огородах.

Когда Уздечкин пришел к директору, Рябухин сидел уже там. «Поторопился прийти пораньше,— подумал Уздечкин.— Небось успели столковаться за моей спиной...»

— Этой Марье Веденеевой еще орден нужно дать,— говорил Листопад Рябухину.— Сама, понимаешь, работает на совесть и еще с пацанами возится — это подвиг, как ты хочешь.

— Безусловно, подвиг,— сказал Рябухин.

— Героиня, а? А ей самой — сколько ей? Года двадцать три?

— Больше,— сказал Рябухин.— Лет двадцать шесть, двадцать восемь. Кричит она на них. Я ей говорил.

— Ну, кричит. Кричит — это от темперамента и усердия к работе. Попробуй не кричать на ее месте. Когда они у нее разбегаются из-под рук... Здравствуйте, Федор Иваныч,— сказал Листопад, словно только что увидел Уздечкина.— Садитесь...

Уздечкин сел и развязал тесемки толстой папки.

— Тут весь материал,— сказал он.— Заявления от рабочих и служащих. И сводки по цехкомам. И общая сводка.

— Бумаги много,— сказал Листопад.— От всех рабочих собрали заявления?

— От всех.

— Не может быть,— сказал Листопад.— Цехкомы ввели вас в заблуждение. Нету в этой вашей божнице двадцати тысяч заявлений.

Уздечкин покраснел слабым сизым румянцем.

— Я имею в виду — от всех желающих.

— Дайте-ка общую сводку.— Взглянул, поднял брови, передал сводку Рябухину.— Ты видел? Восемьсот га. Восемьсот га под индивидуальные грядки. Сумасшедшие люди!

— Это минимум, который нужен,— сказал Уздечкин, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие.— До войны мы в отдельные годы брали больше.

Листопад отбросил сводку.

— Честное слово, Федор Иваныч... как с вами говорить? Мы все объясняемся и объясняемся, как супруги, которые не сошлись характерами... А что объяснять, когда вы не хотите понять простую вещь?.. Рабочему в выходной день надо отдохнуть. А вы ему вместо отдыха суете лопату в руки: поезжай к черту на кулички, сажай картошку! А сколько обуви он на этом деле истреплет? Это я, деревенский мужик, привычен, я по любым колючкам пройду босый... А городской человек не может. Я прошлое лето ездил, смотрел: а, боже!.. Вот такусенькие грядки — и народу на них как муравьев... Возится баба на своей грядке и думает: соседке делянку лучше дали, у соседки картошка крупнее. И мешочки, мешочки, меточки,— и баба думает: как бы по дороге из моего мешка не отсыпали... Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток, совсем не в духе нашего времени установление — от нужды за него держимся, а не от хорошей жизни! Ну, я понимаю — где нет других возможностей... так ведь я вам даю возможности!.. И все равно же не хватает рабочему на зиму этой картошки, вот в чем дело! Все равно — свой огород кормит его только до декабря, ну — до января, а потом он к нам же бежит! В ОРС! И ругает нас на всех перекрестках, если у нас картошки нет,— и правильно делает, что ругает... Я вам предлагаю что: я на себя беру снабжение картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне земля нужна. И я ее получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня там тысяча га — я вам даю двести, и распоряжайтесь ими, как хотите.

— Двести га — это капля в море,— сказал Уздечкин.— Этим никого не удовлетворишь. Только будут недовольство и жалобы — не расхлебаешь.

— А вы жалоб боитесь? Вы не можете людям объяснить толком?.. Если не можете, созовите собрание,— я им объясню, что это в их же интересах.

— Тут, понимаешь, какое дело,— сказал Рябухин.— Для многих это, помимо прочего, привычное препровож-

дение времени. В летний день он едет за город, с детишками, воздух, природа, он работает, работа на воздухе его бодрит...

— Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление, это ты сейчас думал и придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он в выходной день наработается дотемна, домой возвращается без задних ног, а утром ему к станку становиться... А если кто для моциона хочет покопаться в земле — пожалуйста. Пожалуйста! Пусть в выходной едет в подсобное хозяйство, милости просим. Еще и денег дадим.

— А где,— спросил Уздечкин,— вы возьмете достаточное количество рук, чтобы осилить такое хозяйство?

— Пленные немцы мне посадят и уберут.

— Не дадут вам пленных.

— Ну, не дадут пленных — я машины достану, пропашники, картофелекопалки,— механизируем все работы... В общем, это уж пусть у меня болит голова, где я возьму руки. Короче говоря, вот так. Двести га. Давайте многосемейным, у которых помощников много.

Он встал. Но Уздечкин не уходил.

— Двести га,— пробормотал он.— Это невозможно. Это насмешка. В конце концов, в отношении индивидуальных огородов есть установка партии и правительства...

— Ну,— сказал Листопад беззаботно,— партия и правительство с нас не взыщут, если мы через подсобное хозяйство обеспечим рабочих картошкой.

Уздечкина затрясло от этого беззаботного тона.

— Это все дутые обещания! — закричал он.— Лишь бы сделать широкий жест и показать свою власть, да!.. А рабочие в результате останутся без картошки!

Он схватил папку и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Анна Ивановна, сидевшая в соседней комнате, вздрогнула и посмотрела ему вслед большими глазами.

— Слышал? — спросил Листопад Рябухина.

— Ты его раздразнил своим тоном,— сказал Рябухин.— Так нельзя. Он человек нервный...

— Он псих. Ты его, пожалуйста, ко мне не води. Он меня когда-нибудь укусит, ей-богу.

Накануне, уйдя утром из дому, Толька отправился к своему приятелю Сережке. Они уговорились ехать в деревню к Сережкиной тетке.

Сережка был годом моложе Тольки, но Толька уважал его за широкий, образованный ум. У Сережки был брат Генька, пяти лет. Отец их был в армии, мать работала на Кружилихе. Сережка жил вольным казаком. Иногда он ходил в школу, где числился учеником седьмого класса, но по большей части проводил время в чтении книг и в беседах с друзьями.

Толька подождал под лестницей, пока Сережкина мать не ушла на работу, и потом поднялся наверх, в Сережкину квартиру, где был тот приятный кавардак, какой могут устроить двое мальчишек с разнообразными умственными интересами. Сережка и Генька были уже готовы. Все втроем они съехали по перилам и степенно пошли к трамвайной остановке. Сережка вел Геньку за руку.

Подошел переполненный трамвай.

— Ты на колбасе,— сказал Сережка Тольке,— а мне с ним придется с передней площадки.

Неподалеку от станции был рынок. Там Толька продал пайковый лярд и две банки рыбных консервов (ему не нравились рыбные консервы) и купил пряников, колбасы, две пачки папирос и белую булку для Геньки. Потом они сели в пригородный поезд и поехали.

Ехать было очень интересно. Поезд шел сначала вдоль берега реки. Река лежала взбаламученная, набухшая, грозная: глядя на нее, Толька подумал, что так, должно быть, выглядят арктические торосистые ледяные поля... Полоскался на холодном ветру полинялый вымпел возле пустого здания речного вокзала. Летом здесь будут приставать пассажирские пароходы, будет людно, а сейчас никого нет... Бетонированная стена замелькала перед окнами, в вагоне стало темнеть и вовсе стемнело: поезд вошел в туннель. Генька сделал вид, что ему страшно, и начал кричать, но тут же разочаровался: поезд вышел из туннеля, опять открылась грязно-белесая, вспухшая, в ледяных морщинах и складках река. Это оказался не настоящий туннель, а так, какой-то туннелишка... Грохот колес усилился; громадные, стальные, одна как другая — понеслись мимо окон фермы бесконечного моста. С моста было видно, как река уходит вдаль и сливается там с таким же серо-белесым холодным небом, с которого вот-вот пойдет снег...

Сережка с Толькой завели интересный разговор: кем надо быть, чтобы зарабатывать много денег. Сережка хорошо разбирался в этом вопросе. Он точно знал, сколько получают конструкторы самолетов, академики, чемпионы

спорта и артисты, которые снимаются в кинофильмах. Но в Сережкиных сведениях не было ничего утешительного: для всего этого надо было учиться много лет, а Тольке лень было проучиться еще хотя бы год, чтобы закончить семилетку.

— Не понимаю,— сказал Толька,— для чего, например, чемпиону бокса алгебра и геометрия?

Сережка пожал плечом:

— Я тоже не понимаю, но — факт остается фактом.

А Генька стоял ногами на скамейке и большими глазами смотрел, не отрываясь, в окно, за которым плыли высокие зеленые сосны.

— Лось! — закричал чей-то голос.— Смотрите — лось!..

Лес оборвался, открылась широкая прогалина,— и на прогалине стоял живой лось! «Где? Где? Где?»— кричал в отчаянии Генька, который не сразу увидел лося. «Да вон же, вон!» — вскочив, в таком же отчаянии кричали Сережка и Толька. Лось стоял неподвижно, он был удивлен видом поезда; он медленно поворачивал вслед поезду голову с ветвистыми рогами.

— Молоденький,— сказал большой краснолицый старик.— Молоденький, потому и не боится. Выскочил из лесу и смотрит, и ничего для него страшного нет.

И весь вагон долго говорил про лося. А Толька с Сережкой говорили о том, что можно, собственно говоря, и не зарабатывая много денег, хорошо жить: стать, например, охотниками, ходить по лесам, видеть разных зверей...

Высадились на маленькой станции, стоявшей среди толстых обомшелых пней.

Теткина деревня была видна отсюда как на ладони — она лежала по склону крутизны, густо окаймленной лесом. Крутизна была настоящая, крутая. На нее можно было подняться либо в обход, санной дорогой, либо по одной из узеньких обледенелых тропок, сбегавших вниз. Конечно, мальчики пошли по тропке. Геньку тащили за руки. Он пищал, что ему скользко, а когда его втащили наверх — задрал пальтишко и, сидя, лихо съехал вниз, к подножию крутизны. Глядя на него, съехал и Толька.

— Ненормальные! — сказал Сережка, глядя на них сверху. Сел. Спустил ноги, примерился и тоже поехал вниз с серьезным выражением лица.

Прокатившись несколько раз, пошли к тетке. Бревенчатая изба была обнесена бревенчатым забором, бревнами была вымощена улица перед избой... Тетка встретила гостей у ворот. Она закричала:

— Гулены, когда поезд гудел, а они только сейчас идут, я бы ушла и избу заперла, вы бы до вечера на улице стыли!..— и пошла впереди них в дом, добавив: — В оболочке в избу не вваливайтесь; оболочку в сенях оставьте.

Толька недоумевающе оглянулся на Сережку.

— Пальто сними,— объяснил Сережка.— Она оболочкой пальто называет...

Вход в избу был через крытый, полутемный двор, а сени светлые, как горница. Внутри почти вся изба занята громадной печью. Тетка скинула шаль, бросилась к печи, ухватом стала метать на стол горшки — большие и маленькие... Генька вошел из сеней, стоял и смотрел на тетку и вдруг сказал:

— Здравствуйте, тетя.

Тетка не обратила на эти слова никакого внимания и стала кормить их кашей и поить горячим молоком. Потом она убежала, шибко протопав валенками по лесенке. Генька видел в окошко — тетка пронеслась по улице, как автомобиль.

— Что у нее случилось? — спросил Толька.

— Ничего не случилось,— сказал Сережка,— просто боится опоздать на работу. Она бригадир.

На стене вокруг зеркала висели карточки офицеров. Их было много — с орденами и без орденов, с усами и без усов, а один с бородкой. Сережка сказал, что это теткины сыновья.

— А муж у нее есть? — спросил Толька.

— Так вон же муж,— сказал Сережка.— Тот, что с бородкой.

Оставив Геньку караулить дом, Толька и Сережка пошли гулять. Народу на улице не было.

— Им гулять сейчас некогда,— сказал Сережка, который часто бывал в деревне и все знал.— Ремонтируют инвентарь к весеннему севу. Мужчины ушли в армию, управляются женщины, старики и молодежь нашего возраста. В общем, та же картина, что у нас на Кружилихе.

Избы были одинаковые, из бревен, окна высоко — не дотянуться рукой. На одну такую избу показал Сережка и сказал:

— Тут живет батюшка.

— Какой батюшка? — спросил Толька.— Поп?

— Он не простой поп,— сказал Сережка.— У него медаль есть: он собрал деньги на танковую колонну. Среди этих, знаешь, что в церковь ходят молиться. Среди православных крестьян.

Остановившись, они посмотрели на окна. Ничего не было видно за белыми занавесками.

— Интересно,— сказал Толька,— откуда они берутся — батюшки? Как делаются батюшками?

Но этого даже Сережка не знал. И, строя разные предположения на этот счет, они по разъезженной дороге пошли к лесу.

— Вставайте, сони, будет спать! — разбудила их утром тетка.— Смотрите, день какой!

Толька вскочил и зажмурился: прямо в глаза ему ударило солнце. Невозможно жарко было от солнца, от пылающей печи, от овчин, расстеленных на полатях.

— Фу ты,— сказал Сережка, поскорей слезая с полатей,— я весь вспотел.

Он огляделся заспанными глазами:

— А Генька где?

— На огороде играет. Идите и вы, смотрите, как зима с весной встречается...

Толька вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх, круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку,— что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко!

— Толька,— сказал Генька,— давай не уезжать отсюда. Давай тут жить, и все.

— Ты это тетке скажи,— сказал Толька, которому и самому вдруг до тоски захотелось пожить в деревне.— Я тут не хозяин.

Генька побежал в избу и сказал тетке:

— Толька сказал, что мы у вас останемся жить.

— А живите, мне что,— сказала тетка.— Вот завтра с утра в район поеду, возьму вас с собой. Небось никогда лошадьми не правили, поучитесь.

Толька подумал: чтó-то говорят о нем на заводе. Ищут, наверно. Бригадир ругается, Федор ругается, мать охает и тоже ругается. Но так захотелось ему научиться править лошадьми, так не хотелось уезжать от сосен, приволья и от Сережки, что он прогнал неприятные мысли. А если бы он заболел? Если бы, например, он сломал себе руку? Ведь обошлись бы без него...

Целую неделю мальчики прожили в деревне и порозовевшие, с бидонами и кошелками гостинцев для Сережкиной матери возвратились на Кружилиху.

Толька скучнел по мере того, как поезд приближался к Кружилихе. Остаток дня он просидел у Сережки, потом с отвращением пошел домой. Открыл дверь своим ключом, посмотрел — мать и девчонки спят, Федора нет дома,— и поскорей забрался в постель... Скоро пришел Уздечкин; Толька закрыл глаза и стал ровно дышать.

Уздечкин повернул выключатель и увидел Тольку.

— Негодяй,— сказал он тихо, чтобы не разбудить девочек; лицо его потемнело, на скулах заходили желваки...— Негодяй, если бы *она* не сестра тебе, я бы сейчас, сию минуту... как есть — на улицу...

Он прислонился к дверному косяку и замолчал. Толька быстро сел на кровати и крикнул:

— Ну и ругайся, я знал, что ты будешь ругаться, ты только и знаешь, что ругаться...

Уздечкин смотрел на него, лицо его все темнело...

— Ты и *с ней* ругался! — кричал Толька, спеша взять перевес в этой ссоре, где — он это прекрасно понимал — он был кругом виноват, а Уздечкин прав.— У тебя все плохие, ты один хороший! Тебе плохо, так ты на всех кидаешься!..

Валя проснулась от крика и громко заплакала.

— Ну, ты еще чего! — сказал Уздечкин надорванным голосом.— Спи. Спи. Спи, слышишь?..— Он уложил ее, подоткнул одеяло.

Ольга Матвеевна поднялась, смотрела перепуганными глазами, спрашивала:

— Что тут?.. Кто кричит?.. Господи, и ночью покоя нету!

Толька отвернулся к стене и заплакал скупыми, душными мальчишескими слезами.

...И никто не спросит, что с тобой было в эти семь дней, и некому даже рассказать, как ты правил лошадьми!..

Глава пятая

ДЕТИ ЗАВОДА

Как-то был у Листопада спор с Зотовым: где рабочее место директора. Зотов доказывал, что в кабинете.

— Ты пойми,— говорил он,— мы с тобой действительно генералы, под нашим командованием армии. Начальники цехов, главный конструктор, главный технолог, главный механик, главный металлург, главный энергетик — это ведь высший командный состав! Что же мне, бегать за каждым? Слушай, ведь начальник цеха смыслит в своем деле, ей-богу, не меньше нас с тобой. Их нервирует, когда крутишься у них перед глазами; они думают, что директор им не доверяет... Я бываю на сборке и на испытаниях, а вообще я у себя, люди приходят — я на месте, моментально приму — культурно... А к тебе звонишь, звонишь — один ответ: он на заводе. А если ты кому-нибудь срочно нужен? Где тебя поймаешь? Это пережитки первого периода стройки: «Где начальство?»—«На лесах...»

А Листопад тосковал в кабинете. Сидеть за письменным столом было ему трудно. Посидит час-полтора и идет в цеха.

Но все-таки получалось так, что едва Листопад появлялся в кабинете, как раздавались телефонные звонки и приходили посетители, и всем им Листопад действительно был очень нужен,— очевидно, без сидения в кабинете никак не обойтись...

Вот и сегодня. Едва он вошел, как Анна Ивановна доложила, что три раза звонил комсорг завода Коневский, спрашивал директора. Коневский за все время обращался к Листопаду не больше четырех-пяти раз и всегда по серьезному делу. Листопад велел Анне Ивановне сейчас же созвониться с ним.

Коневский явился очень скоро. Это был узкоплечий, еще не сложившийся юноша с молодыми темными усиками, с горячими карими глазами, с лицом неправильным, подвижным и прелестным, какое может быть только у очень молодого и очень хорошего человека. Ворот вельветовой блузы с застежкой «молнией» не закрывал его шеи, нежной, как у девушки. Он старался выглядеть солидным и укротить свою горячность,— кровь то и дело приливала к его лицу.

Листопад оглядел его с чувством собственнической гордости. Эти вельветовые блузы достал по его заказу

начальник ОРСа: Листопаду хотелось, чтобы у молодых людей на заводе был вот именно этот демократически-элегантный, непринужденный вид...

Коневский рассказывал о слесаре, подростке пятнадцати лет, который проштрафился: прогулял целую неделю, и теперь его надо отдавать под суд. Коневскому было жалко Тольку, из-за этого он сюда и пришел; жалко потому, что прогулял он — Коневский это понимал — по ребяческому легкомыслию. Но чтобы выручить Тольку, надо было сделать что-то незаконное, и это было мучительно Коневскому. Кроме всего прочего, Толька — родственник Уздечкина. Об этом надо было сказать директору, но тот может подумать, что Коневский заступается за Тольку из соображений кумовства и семейственности. Сам Уздечкин ни за что не будет хлопотать за родственника, он в таких вещах человек щепетильный. Он даже задрожал, когда Коневский необдуманно сказал ему: «Федор Иваныч, а не поговорить ли вам с директором?..» Толька отмежевывается от Уздечкина (Коневский полагал — тоже по щепетильности), говорит: «Он мне вовсе не родственник, какой он мне родственник, подумаешь — сестрин муж. Он мне никто!»

Коневский так и изложил все дело, не упомянув о родстве Тольки с Уздечкиным.

Листопад смотрел на него ласковыми глазами и молчал. Волнуется парень: молодость! Пусть еще поволнуется — забавно смотреть, как он краснеет.

— Вы что же предлагаете? — спросил Листопад.— Конкретно — как, по-вашему, надо действовать, чтобы обойти закон?

Коневский побледнел и сразу залился румянцем — до чего это здорово у него получается...

— Я думал, что, может быть, можно задним числом дать приказ о недельном отпуске.

— Этим же не я занимаюсь,— сказал Листопад нарочно ленивым голосом.— Этим начальник цеха занимается.

— Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность.

— А я возьму, вы считаете?

Карие, с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно.

— Да, я считаю, что вы возьмете.

— Вот вы какого обо мне представления,— сказал Листопад.— Считаете, что я народные законы могу обходить... Но скажите мне такую вещь...

Он стал закуривать и закуривал очень долго.

— Вы с другой точки зрения — с партийной, комсомольской, государственной — не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?

Коневский встал.

— Александр Игнатьевич,— сказал он,— я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и с духом Конституции.

Он произнес эту маленькую речь сгоряча и, как только кончил, смутился ужасно.

— Как фамилия мальчугана? — спросил Листопад.

Он записал: Рыжов, Анатолий, механический цех.

— Я вам сейчас ничего не скажу. Позвоните мне вечером.

Анна Ивановна все эти четверть часа стояла у неплотно закрытой двери кабинета и вслушивалась в разговор. Она ничего не сказала Коневскому, но проводила его любящим взглядом.

Вот так живешь, думала Анна Ивановна, и воображаешь, что все делаешь как нужно. Думаешь, как бы не потревожить соседей, деликатничаешь, по коридору ходишь на цыпочках... А может быть, надо иногда без стука войти к ним и вмешаться в их жизнь. Скоро четыре года, как я живу в этой квартире, Толе не было двенадцати лет, когда я приехала, но уже тогда считалось, что дети — это Оля и Валя, а Толя взрослый. Мать посылала его во все очереди, и дрова он носил, и с девочками сидел, когда она уходила. Она была тогда здоровая, могла и сама стоять в очередях... Помню, Таня как-то сказала, что Толе совершенно некогда готовить уроки. А потом он остался на второй год и сказал, что ему все надоело, что, как только ему исполнится четырнадцать лет, он пойдет на производство... Все лучшее из еды отдавалось Вале и Оле, а о нем стали говорить, что он таскает из дому вещи, и я начала, уходя, запирать комнату, чтобы он не стащил что-нибудь... Он поступил на производство, и помню,— пришел при мне с работы весь перепачканный и мыл в кухне свои маленькие черные руки; мне стало его ужасно жалко, и я дала ему пирожок... Пирожок! Я должна была вмешаться, настоять, чтобы ему создали в семье нормальные условия, чтобы он продолжал учиться в школе,— ведь не было у них такой уж большой нужды... Может быть, и материально следовало ему помочь, а я не обращала на него внимания, заботилась только о Тане и о себе... О, какие мы черствые, отвратительные эгоистки!

А вот теперь он под суд пойдет, и мы все будем в этом виноваты, все его домашние... Александр Игнатьевич — добрый человек, он бы его выручил; но захочет ли он помогать родственнику Уздечкина, у них такие отношения... Саша Коневский не сказал, но ведь Александр Игнатьевич узнает!.. Как хорошо сказал Саша о Конституции. Чудный мальчик Саша, чувствуется, что вырос в очень хорошей семье...

Напрасно Федор Иваныч до такой степени обострил отношения с директором. На что это похоже — так хлопать дверью, как он на днях хлопнул! Но он очень несчастлив... Он, видимо, сильно любил жену и, видимо, привык работать в другой обстановке, и при его раздражительности и самолюбии ему, понятно, трудно работать с Александром Игнатьевичем... И дома у них тоска! Я не помню, чтобы они смеялись...

Как много горя принесла война. Какие хорошие вещи — человеческая взаимопомощь, человеческое внимание друг к другу. Вот когда они особенно нужны! Но мы о них так часто забываем...

Листопад велел плановому отделу подготовить сведения: сколько на заводе на сегодняшний день молодежи до восемнадцати лет, с разбивкой по возрастам, сколько из них учится, сколько не имеет семьи, и так далее. А сам пошел в механический — ему хотелось видеть мальчугана, о котором ходатайствовал Коневский.

За годы войны много подростков пришло на завод. Одни пошли по горячему желанию быть полезными родине в тяжелую минуту; других пригнала нужда: отцы-кормильцы воевали, надо было поддержать семью.

Из этих молоденьких многие оказались хорошими работниками, о них говорили на собраниях, писали в заводской газете, и Листопад знал их в лицо.

Так знал он Лиду Еремину, работавшую на сборке в литерном цехе. Ее все звали просто Лида. Она поступила

на завод шестнадцатилетней девочкой. Небольшая такая девочка с острыми локотками, в локонах, в белых туфельках — мамина дочка.

Лида привыкла жить так, чтобы были и туфельки, и конфетка после обеда, и чтобы, когда она ведет сестренок на детский утренник, то все бы на них засматривались и говорили:

— Какие прелестные, *присмотренные* девочки!

Когда отца мобилизовали, а мать собиралась поступать в почтовую контору, Лида нашла, что теперь ее очередь содержать семью.

— Ты сиди дома, мама,— сказала она.— Я заработаю больше тебя.

Ей было жаль бросать школу, но она решила, что доучится после войны.

В первый же день ей пришлось переменить несколько работ. Сперва ее посадили укупоривать изделия в бумагу. Потом велели укладывать в ящики. Потом бригадирша сказала: «Переходи туда, будешь навертывать восьмую деталь».

Она не сердилась и не терялась, она понимала, что ее пробуют. Она сосредоточила все мысли на этих незнакомых предметах, с которыми ей теперь придется иметь дело каждый день, пока не кончится война. У нее были легкие, ловкие пальцы: в классе никто не умел так завязывать бант, как она. Она работала на закатке и на клеймении, навертывала восьмую деталь — и так шла от хвоста конвейера к его голове, от последней операции к первой, от второго разряда к четвертому.

В нерабочие часы мастер преподавал работницам технический минимум. Лида аккуратно ходила на занятия и сдала испытания.

Первая операция: вставлять капсюль в корпус. Лида сидела в голове конвейера. Капсюли похожи на крохотные графинчики, с наперсток величиной: горлышко графинчика — сосок капсюля. Сторона, противоположная соску, обернута фольгой: прямо — елочная игрушка.

Около Лиды ставили ящички с капсюлями: по пятьсот штук в ящичке, особая упаковка, сургучная печать на веревочке, приклеенной мастикой,— сверху, как откроешь, лежит аттестат... Лида выработала специальные жесты: шикарно — молниеносным движением пальцев — срывала пломбу, шикарно — как бросают карту, которая выиграла,— бросала аттестат на конвейер... Норма на закладку капсюля была сперва одиннадцать тысяч за одиннадцать

часов, потом, поднимаясь постепенно, дошла до двадцати двух тысяч. Лида делала пятьдесят пять. Один раз она попробовала работать еще быстрее и сделала шестьдесят три тысячи. Но после этого у нее долго дрожали руки, и она почувствовала себя выжатой, опустошенной,— испугалась и запретила себе это делать: лучше отказаться от громких рекордов, но уж держаться на двух с половиной нормах и не сдавать этих позиций ни за что! Были женщины, которые начинали блестяще: напряжется, даст и какой-то месяц три нормы, а потом скатывается на сто — сто двадцать процентов...

Лида сидела у конвейера с повязанной платком головой. Кругом должно быть чисто, никаких лишних вещей, боже сохрани, чтоб были в одежде булавки, иголки! Может быть большая беда. Одна женщина вот так уколола первую деталь булавкой: ей оторвало палец и опалило лицо... Для Лиды лучше было умереть, чем потерять красоту; и она очень береглась... Металлические стаканчики двигались мимо нее по ленте, левой рукой она перехватывала стаканчик, правой вставляла сосок капсюля в канал. За Лидой сидели два контролера ОТК: они проверяли после нее взрыватели, чтобы не было пустых; они едва успевали проверять, так быстро она работала!

Сначала на закладке капсюлей, кроме Лиды, была еще одна работница. Но она начала спать. Сидит и дремлет, и пропускает взрыватели!

— Уберите ее,— сказала Лида бригадиру,— пусть она спит в другом месте.

Она была безжалостна, она ничего не прощала людям. В своем юном задоре она не понимала, как это можно опуститься до того, чтобы клевать носом у конвейера. Что вам снится, гражданка? Убирайтесь спать домой, я справлюсь без вас...

Иногда и ее размаривало от усталости. Тогда она не запевала песни, как делали другие: пение отвлекало ее от работы. Она предпочитала поссориться с кем-нибудь, чтобы взбодриться,— например, придраться к контролерам, что они по два раза просматривают один и тот же взрыватель. Видно, им двоим тут делать нечего; так пусть, которая лишняя, идет в транспортеры. Пусть кинут жребий — кому оставаться на конвейере, кому возить тележки...

А то можно было поднять шум на весь цех, чтобы сбежались и профорг, и парторг, и комсорг, и женорг, все орги, сколько их ни есть, и сам начальник товарищ Гру-

шевой: что за безобразие, опять ящики не подают вовремя, она двенадцать минут просидела без капсюлей, держат бездельников, когда это кончится!.. Ей очень нравилось, что все начинают ее уговаривать, и Грушевой бежит звонить по телефону, кого-то распекать и жаловаться директору.

После смены Лида мыла руки, снимала с головы платок и распускала по плечам свои крупные пепельные локоны. Выйдя из цеха, она принимала то мечтательное выражение, которое она любила у себя. Из маленького чертенка она превращалась в хорошо воспитанную девочку — мамину дочку. В редкие выходные дни она гуляла с молодыми офицерами и *морячками* из морского училища; они обращались с нею так, словно она была стеклянная: она создана для изысканных чувств и слов, все девушки кажутся грубоватыми рядом с нею... Восхищенным *морячкам* в голову не приходило, что она умеет кричать пронзительным голосом на весь цех, а при случае не задумается дать по физиономии — будьте уверены...

В сорок четвертом году ее наградили орденом «Знак Почета». Она носила колодочку с ленточкой: это эффектно; на мальчишек это производит жестокое впечатление...

В доме она занимала теперь то место, какое до войны занимал отец. Мать старалась, чтобы к ее приходу все было прибрано и ужин был горячий,— еще платье надо прогладить для Лидочки, чулочки заштопать для Лидочки... Мать вырезывала из газет все, что писалось о Лидочке, и Лидочкины портреты, и посылала отцу.

С Костей Бережковым Листопад познакомился так. Однажды позвонил к нему главный бухгалтер: как быть, одному рабочему начислили за месяц девятнадцать тысяч зарплаты, неслыханная цифра, начальник цеха и парторг настаивают на уплате, платить или воздержаться?..

— Что за рабочий? — спросил Листопад.

— В том-то и дело,— сказал главбух,— что если бы старый, кадровый, а то мальчишке семнадцать лет, без году неделю на производстве.— Видимо, последнее обстоятельство и внушало главбуху подозрение.

Листопад заинтересовался, позвонил Рябухину. Тот объяснил: полтора месяца назад завод получил срочный заказ. Выполнение заказа задерживалось из-за перегрузки станков «Sip». Тогда Костя Бережков изготовил на «Sip» кондуктор для сверления отверстий на расположе-

ние и с помощью этого кондуктора обработал детали. Да, действительно заработал девятнадцать тысяч, и действительно на заводе всего около двух лет, чертовски талантливый парнишка, из него будет инженер...

Листопад приказал немедленно выдать Косте Бережкову зарплату, а сам пошел в цех — посмотреть, что за Костя. Оказалось — обыкновенный мальчик, высокий, с крупными чертами добродушного лица, большерукий, рукава короткие — из спецовки вырос... Он поговорил с Костей: один, живет в общежитии; мать с четырьмя младшими детьми живет далеко, в маленьком городке; отец погиб на фронте. На завод Костя пришел из ремесленного училища.

— Не учишься? — спросил Листопад.

— Я занимаюсь с Нонной Сергеевной,— сказал Костя.

— С какой Нонной Сергеевной?

— С товарищем Ельниковой, конструктором. Нас несколько человек с нею занимается,— объяснил Костя.

Потом Листопаду сказали, что Нонна Сергеевна по собственному почину отобрала несколько мальчиков и девочек из бывших ремесленников, они ходят к ней домой, и она их учит. Саша Коневский считал, что следовало бы это дело ввести в общую систему технической учебы, время от времени устраивать ребятам экзамены, это было бы поучительно для всей заводской молодежи. Занятия лучше проводить в клубе, чтобы могли присутствовать все желающие... Рябухин не согласился с Коневским: ребята не ходят в клуб, потому что там холодно, а у Нонны Сергеевны тепло. И чаем она поит,— говорят ребята,— и у нее много интересных книг по технике, их можно брать с полок и рассматривать.

— А Нонне Сергеевне,— сказал Коневскому Рябухин,— ты и не заикайся, чтобы переходила в клуб и что ее учеников будут экзаменовать: женщина с фокусами, фыркнет и бросит все, и конец хорошему начинанию. Подождем, сама к нам придет.

Листопад премировал Костю, а когда спустя сколько-то времени захотел опять увидеть его, Кости на заводе уже не оказалось: отослал матери свои девятнадцать тысяч и ушел в индустриальный техникум.

Листопад рассердился: как отпустили человека, полезного для производства? Грушевой разводил руками, бормотал что-то насчет того, что Нонна Сергеевна очень настаивала... Эта Нонна Сергеевна крутит людьми по

своему усмотрению. Указать бы ей ее место, да не хочется связываться с бабой...

Вот таких молодых людей, как Костя Бережков, Лида Еремина, как способный техник Чекалдин, Листопад знал в лицо и живо интересовался ими. Но существовало еще несколько тысяч подростков, у которых не было никакой славы. От них, случалось, приходили в отчаянье старые мастера, привыкшие иметь дело с опытными и дисциплинированными рабочими. А между тем они работали и давали продукцию, и их неловкими усилиями, слитыми воедино, выполнялась программа военного времени. Кроме Лиды и Кости, был на заводе мальчик Анатолий Рыжов, он прогулял целую неделю, и его надо отдавать под суд.

Небольшого роста коренастый мальчуган работал у сверлильного станка. Кругом были такие же мальчуганы, в таких же спецовках, но у Анатолия Рыжова было выражение, отличавшее его от всех,— выражение угнетенности; и по этому выражению Листопад еще издали угадал прогульщика. Прогульщик мельком взглянул на подходившего директора и продолжал свое дело.

— Рыжов? — спросил Листопад.

— Рыжов,— ответил Толька.

— Это ты неделю шлендрал? — спросил Листопад.

— Я,— ответил Толька. Про себя он подумал: «Эх, люди!.. Тут преступление и наказание, а он с шутливыми словечками: шлендрал». Толька сурово насупился и вложил в зажим новую деталь...

Листопад остановил станок и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Шестнадцать,— отвечал Толька. Ему еще не исполнилось шестнадцати, но он исчислял свой возраст не со дня появления на свет, а по году рождения: если родился в 1929 году, значит, в 1945-м ему шестнадцать лет.

— Где же ты был? — спросил Листопад.

Толька ответил не сразу. Ему надоело отвечать на этот вопрос.

— В деревне.

— В деревне? Что делал? Работал, что ли?

Толька молчал.

— У тебя семья в деревне?

— Нет, тут у меня семья, на Кружилихе.

— Кто у тебя?

— Мать.

— Ты один у матери или много вас?

— Один,— сказал Толька и сам удивился: ему до сих пор не приходило в голову, что он у матери один. При матери он числил Федора, Ольку и Вальку, а себя — в последнюю очередь и между прочим.

— Ты по доброй воле к нам пришел,— сказал Листопад.— Законы военного времени тебе известны, так? Ты понимаешь, что мы тут не шутки шутим. Мы все силы напрягли — завершаем великое дело, ради которого сотни тысяч наших советских людей отдали жизнь; а ты дезертируешь...

Он говорил суровым голосом и чувствовал нежность ко всем этим ребятам, к этим чистым глазам, которые смотрели на него, которых он раньше почему-то не замечал.

— А вы где, ребята, живете?

Ребята замялись: никому не хотелось выскакивать — отвечать первым...

— Вот ты — где живешь?

— Я? — переспросил Алешка Малыгин.— Я тоже в семье живу.

— А ты?

— В юнгородке,— отвечал беленький, похожий на девочку Вася Суриков.— Я и вот он, и вот он — мы живем в юнгородке.

Юнгородком называли десяток стандартных двухэтажных домов, построенных в годы войны для молодых рабочих, не имевших жилья.

— Как там у вас, в юнгородке? — спросил Листопад.— Хорошо?

По тому, как переглянулись ребята, он понял: совсем не хорошо.

— Ничего,— сказал Вася Суриков со снисходительностью мужчины, понимающего трудности и не боящегося их,— жить можно.

Листопад смотрел на них, и чувство умиления, почти благоговения, наполняло его душу.

Он надвинул Тольке кепку на нос и сказал:

— Обожди, ребята, еще немного, перейдем на мирное положение, получите отпуска, дадим вам путевки в дом отдыха, кое-кто, наверно, пожелает идти учиться,— все еще будет, ребята. Все.

Подошла Марийка, расстроенная.

— Вот, товарищ директор, никакой сознательности,— сказала она, качая головой.— А еще родственник предсе-

дателя завкома. Осрамил Федора Иваныча на всю Кружилиху! — сказала она Тольке с сердцем.

Листопад не понял:

— Как председателя завкома? Кто родственник?

— Да он же, а кто же,— сказала Марийка.— Вот этот красавец молодой... Ну, как же. Покойной жены Федор-Иванычевой родной брат, вместе и живут.

Листопад помолчал, соображая.

— Ладно,— сказал он,— работай, Рыжов, замаливай грех.

«Ах, хорошая вещь ребята,— подумал он, уйдя от них,— ах, хорошая!..» Взбодренный, словно вспрыснутый весенним дождем, он прошел в конторку к мастеру Королькову, кликнул по телефону Мирзоева и поехал в юнгородок.

Мирзоев сидел за баранкой необычно серьезный и строгий, со сведенными тонкими бровями.

— Чего у тебя сегодня вид бледный? — спросил Листопад.

— Отмечаю траурный день,— тихо и торжественно отвечал Мирзоев, глядя перед собой печальными глазами.— Ровно три года назад погиб мой лучший начальник и товарищ, которого я возил: командир нашего батальона... Это был человек! Буду жить еще сто лет — буду помнить.

У каждого за годы войны выросли свежие могилы. Будь жива Клаша, был бы сын, сыновья, мальчики с чистыми глазами и мужскими душами... Сколько потеряно, сколько лет пройдет, пока зарастут могилы быльем-травой!

Чернее тучи вернулся Листопад из юнгородка и сразу позвонил Уздечкину.

— Федор Иваныч? Прошу вас ко мне зайти. Сейчас же.

В том, что увидел Листопад в юнгородке, был виноват не один Уздечкин. Вину с Уздечкиным делили и Рябухин, и Коневский, и прежде всего он сам, Листопад. Но Уздечкина Листопад не любил, и весь гнев его пал на Уздечкина.

Он встретил его стоя, в той надменной и неприступной позе, которая приводила Уздечкина в бешенство. И до конца разговора не сел, и Уздечкин вынужден был стоять перед ним. Уздечкин был худой, неуклюжий, сутулый,— и так неуклюже и сутуло и стоял перед великолепным директором.

— Федор Иваныч,— сказал Листопад,— на что это вы недавно просили у меня денег? Шестьдесят тысяч. На что?

— Шестьдесят тысяч мы просили у вас на ремонт Дома культуры,— отвечал Уздечкин.

— Ах, на ремонт Дома культуры. Что там нужно?

— Паровое отопление нуждается в ремонте. Частичное остекление. Общая окраска помещений. У директора Дома есть мысль перекрасить зрительный зал под мрамор.

— Могучая мысль. И на все про все шестьдесят тысяч?

— Мы же знаем, как вы неохотно отзываетесь на наши просьбы,— кольнул Уздечкин.— В основном вложим наши средства.

— Откуда у вас средства?

— Молодежь предлагает отработать субботник.

— Так... А скажите, Федор Иваныч, почему вы у меня не просите денег на ремонт юнгородка? Не под мрамор, а просто — чтобы создать там человеческие условия жизни?

«Ага! — подумал Уздечкин.— Ну, нет, тут не подкопаешься!»

— Мы занимаемся юнгородком,— сказал он.— У нас есть акт обследования комиссии, который мы на днях будем обсуждать.

— Обсуждать?! — обрушился на него Листопад.— Что вы, черт вас побери, будете обсуждать?! Степень активности членов комиссии? или каким цветом крышу красить?.. Там же все отсырело, ребята пропадают от сырости! Мусор, грязь, у управхоза вот такая морда — дрыхнет, должно быть, по целым дням... Вы раковину видели, водопроводную, над которой они умываются? Трубы забиты — до края грязная вода стоит! — это он, чтобы умыться, должен сначала всю эту мерзость вычерпать оттуда... Это — жилье? Вас бы поселить в таком жилье, товарищ председатель завкома, тогда бы вы занимались не престижем своим, не склоками, а занимались бы тем, чем нужно, чего ждут от вас рабочие!.. Вы публично в грудь себя кулаками колотите, кричите, что я вас подменяю, что я вам не даю вашу марку ставить на всем, что на заводе делается, а на поверку выходит, что если я лично не влезу в самое вот такое малюсенькое дело, то оно с места не двинется! Черт бы вас побрал, кто этой раковиной должен заниматься, я или вы?.. Я вас спрашиваю: я или вы?

— Мы не перестаем заниматься бытом,— со страшной выдержкой сказал Уздечкин.— Весь наш жилищный фонд требует ремонта, а не только юнгородок. Мы отремонтировали три квартиры для семей фронтовиков, у нас двадцать семей остронуждающихся,— в конце концов, не может завком охватить все сразу...

— А не может охватить, так уходите — уступите место тем, которые могут!

Уздечкин презрительно смотрел в сторону. Настоящее, непритворное спокойствие вдруг овладело им. Вот куда клонит директор: чтобы Уздечкин ушел с поста. Ну, нет. Его не Листопад назначил: он избран членами профсоюза — тайным, прямым, всеобщим голосованием... Директору придется считаться с этим.

— Всеобщие трудности, за них завком не несет ответственности,— сказал он тихо.— У нас сотни заявлений, разбираем в порядке очередности... Вот намечен ремонт Дома культуры, делаем, что можем, для семей фронтовиков,— этим в первую, конечно, очередь, потому что это прямые иждивенцы завода...

Листопада затрясло.

— Слушайте,— сказал он,— вы мне этого слова не говорите. На заводе нет иждивенцев, ни прямых, ни косвенных. Есть дети завода, одни учатся, другие работают, но все они дети завода, все до единого — и потрудитесь обо всех заботиться!.. Это я вам говорю как член профсоюза, как ваш избиратель, которому вы обязаны отчетом! Понятно? Да как на вас положиться,— заключил он,— когда вы и своей собственной семье не можете позаботиться о парнишке, не можете дать ему лад... Чего другим от вас дожидаться!..

Тяжело ненавидеть человека, с которым приходится работать вместе. Это началось, когда жена Листопада лежала в гробу. Уздечкин поймал себя тогда на подлой мысли, что вот-де и у Листопада такое же горе, вот и у Листопада жена умерла, есть же все-таки на свете справедливость... Он ужаснулся этой мысли, прогнал ее, постарался забыть...

Но больное самолюбие — а Листопад его не щадил — раздражалось изо дня в день. Организм отказывался бороться с этой болезнью. Силы падали. Уздечкин вышел от Листопада в состоянии мертвенной усталости и нервного оцепенения.

Листопад сказал начальнику соцбыта:

— Съездите в юнгородок, осмотрите дома, представьте смету на ремонт... И не так ремонтировать, чтобы главные дыры заткнуть,— добавил он, засверкав глазами,— а так, как вы бы отремонтировали собственную квартиру!

Глава шестая

ТЕТРАДКИ

У покойной Клавдии жизнь была коротенькая, но событий в ней было порядочно.

Накануне войны Клавдия перешла в десятый класс. Ей сшили белое платье. Она завилась у парикмахера и первый раз в жизни сделала маникюр. В школе был вечер. Строгий учитель математики пригласил Клавдию на вальс и говорил ей «вы». Она поняла, что она уже взрослая, но все-таки робела перед ним по-прежнему. Отец и мать пришли на вечер празднично одетые; мать — в пестреньком платье с кружевным бантом у ворота — сидела гордая и торжественная...

Клавдия не знала, что ей делать дальше.

— Самое хорошее для женщины,— говорила мать,— выйти замуж и растить детей.— Но Клавдии еще не хотелось замуж.

— Пускай, пускай учится,— говорил отец.— Пускай подольше длится ее золотое детство! — Но Клавдии и учиться не особенно хотелось.

Прежде всего хотелось хорошенько выспаться после экзаменов. Потом — съездить с девочками и мальчиками в Терийоки. Эту прогулку они задумали еще во время экзаменов. И вот ранним утром 22 июня они поехали в Терийоки. Утро было холодное, они озябли в поезде, а к полудню стало очень жарко. Они пришли в лес и сели завтракать, и сразу съели всю еду, взятую из дому на целый день. Потом отправились бродить — и Клавдия всегда вспоминала эту прогулку с улыбкой: как было хорошо, как ни о чем не думалось трудном, сколько было смешного! Нагулявшись, пришли на станцию. Проголодались, как звери, но денег у них хватило только на мороженое. Смеясь, они покупали мороженое и вдруг увидели, что продавщица плачет. Они притихли, а Клавдия спросила: «Что с вами, почему вы плачете?» Женщина вытерла слезы и сказала сердито:

— С вас три рубля пятьдесят копеек.

Они взяли у нее каждый по замороженной трубочке, истекавшей липкой белой жидкостью, и сели в вагон, облизывая эту жидкость и подсчитывая, хватит ли им денег на трамвай. И в поезде от хмурых, расстроенных людей, возвращавшихся в Ленинград после воскресной прогулки, они услышали слово: война.

Так кончилось Клавдино детство.

Потом она носила на чердак мешки с песком, дежурила по ночам на крыше, ездила в Лугу копать окопы. Она изучила правила противопожарной и химической обороны и первой помощи раненым. Руки у нее были в мозолях и ссадинах. Ей всегда хотелось есть. Постепенно чувство голода стало менее острым, она перестала бегать и громко говорить, стала вялой. Когда она наклонялась, у нее кружилась голова и звенело в ушах. Но она умела скрывать свою слабость, и все думали: она еще ничего — держится; и когда комсомольцы шли оказывать помощь людям, которые слегли от голода и не могли вставать,— в самые верхние этажи шла Клавдия. Окна на площадках были забиты фанерой. Редко кто попадался навстречу; только Клавдины шаги звучали в черном колодце лестницы. Подъем казался бесконечным, но она добиралась до цели. Это была чья-нибудь незнакомая дверь. Случалось, что никто не выходил на стук...

Отца больше месяца не было дома, он ночевал на заводе. Пришло известие, что брат убит. Клавдия пошла к отцу, чтобы сказать ему об этом. Он выслушал ее и сказал: «Иди к маме, я завтра к вам приду». На другой день его должны были отвезти в больницу вместе с другими рабочими, которые очень ослабели. По дороге в больницу он заставил шофера остановиться, вышел из машины, пошел домой и пропал без вести где-то в сугробах Лиговки. А в конце января умерла мать: пошла за хлебом на Суворовский, присела отдохнуть на углу Заячьего переулка и тихо заснула от слабости. Ее принесли домой. Соседки помогали Клавдии одеть уже окоченевшее тело в праздничное платье (пестренькое, с кружевом у ворота). Они же отвезли покойницу на кладбище. Клавдия шла за саночками и думала: «Бедная мама, так ей спокойнее, никуда не ходить, ничего не делать...» Мать жаловалась, что ей трудно ходить за хлебом и за водой, и сердилась на Клавдию, что та уходит на целый день по своим делам... И еще Клавдия думала о том, что на обратном пути с кладбища ветер будет в спину и не будет так холодно...

Ночью она спала крепко, усталая, и вдруг проснулась. Луна ярко и беспощадно светила сквозь толстый лед окна. Все было видно. Прямо против себя Клавдия увидела кровать матери. Одеяло было сбито и в подушке вмятина, как будто мать только что встала с постели. Клавдия села и крикнула: «Мама!»— так громко, что ей самой стало страшно. Крик раздался — и опять гробовая тишина в квартире, где умирают люди. Клавдия легла, дрожа, укрылась с головой...

Через несколько дней она поняла, что подходит ее очередь. Стало очевидно, что мать уделяла ей часть своего пайка; потому-то Клавдия и держалась. Теперь ее силы уходили с каждым часом. Наступил день, когда она не могла пойти купить себе хлеба. Соседка купила ей хлеб и принесла кружку теплой воды. Клавдия легла и лежала четыре дня. На пятый день пришли знакомые комсомольцы. Когда она их узнала, она сказала шепотом, требовательно: «Я не хочу умирать! Имейте в виду, я ни за что не хочу умирать!» Ее отвезли в больницу, а весной вывезли из Ленинграда...

Когда Листопад увидел Клавдию, это была рослая, полная девушка с румяным, цветущим лицом. Ни следа ленинградской зимы не осталось на этом лице. Она добродушно хохотала, была доверчивая, щедрая, по-бабьи жалостливая. Она училась в Политехническом институте и понемножку занималась стенографией, думая впоследствии этим прирабатывать.

В числе других студенток ее прислали на завод на практику. Тогда очень трудно было с рабочей силой, и Листопад особо присматривался к практикантам. Из Клавдии — он это сразу увидел — никогда инженера не получится. К технике — никакого расположения. Почему она пошла в Политехнический? Так — чтобы куда-нибудь пойти... Потом найдет профессию по вкусу, будет переучиваться. Нерасчетлива молодость, не знает цены дням, беззаботно бросает на ветер целые годы... И вдруг его потянуло к этой молодости, к этой беззаботности, свежести, доверчивости...

— Кончай, Клаша, эту музыку,— сказал Листопад об ее учебе, когда они поженились.

Клавдии очень надоело в институте, но бросить его она стеснялась: она думала, что ее осудят, будут говорить: вот, вышла замуж, стала директоршей, генеральшей и перешла в домашние хозяйки, обнаружила свою мещанскую сущность. И она стала уверять мужа, что науки

ее очень интересуют, а особенно техника, и что цель ее жизни — быть инженером. Листопад посмеялся, погладил ее по голове, сказал: «Ну, будь, будь кем хочешь!» И больше в ее занятия не вмешивался.

Однажды Клавдия рассказала ему, как она жила в ту зиму в Ленинграде. Его пронзила жалость:

— Маленькая, маленькая, бедняжечка моя!..

Обхватив ее обеими руками, он твердил с нежностью:

— Бедная, бедная...

— Я была страшная — знаешь какая? Груди у меня совсем как будто бы не было. Как у худого-прехудого мальчика. А лицо как у старухи. И волосы не вились — куда там! — высохли все...

— Больше не надо,— сказал он.— Не говори. Сейчас тебе хорошо?

— Ты знаешь.

— Ну, вот. Ну, вот. И всегда будет так. Куда ты смотришь?

Смотрит поверх его головы. Туда смотрит, назад. Видит опять все это...

— Анна Ивановна,— сказал Листопад,— вы хорошо знаете стенографию.

Он держал в руке стопку тетрадей. Анна Ивановна ждала. То, что он сказал, было вступлением. Должно последовать приказание.

— Мне хотелось бы, чтобы вы это расшифровали,— сказал Листопад, перелистывая тетради и морщась.

Он бросил тетради на стол.

— Остались после жены. Единственное, что осталось, если не считать тряпок. Так вот... Иногда... почитать... Эти записи ее, институтские, она записывала лекции...

Анна Ивановна аккуратно собрала тетради и сказала:

— Хорошо, Александр Игнатьевич.

В этот вечер у нее не было занятий с инженерами. Она пришла домой раньше обычного и села расшифровывать Клавдины записи.

Дело оказалось нелегким. Во-первых, Клавдия писала часто и мелко, строчки набегали одна на другую: должно быть, экономила тетради. «Не успела привыкнуть к достатку, к возможностям»,— подумала Анна Ивановна. Во-вторых, Клавдия очень плохо знала стенографию. Система, по которой она писала, была знакома Анне Ивановне, но Клавдия путала, пропускала знаки, несла

отсебятину, а иногда переходила на непонятную доморощенную скоропись, где были одни согласные буквы... «Надо вчитываться и вчитываться,— подумала Анна Ивановна,— постепенно я войду в ее манеру и найду ключ».

Путем кропотливого сличения значков удалось добиться кое-каких результатов. Так, Анна Ивановна установила, что кружок с косым крестом посредине означает у Клавдии слог «пре», а кружок с прямым крестом — слог «ост». Пользуясь такими заключениями, Анна Ивановна прочитывала отдельные слова. Разгадав одно слово, она разгадывала — больше предположительно, как в ребусе,— смежные, а это влекло за собой, в свою очередь, новые открытия и заключения. «В один прекрасный день эта стена опрокинется сразу,— подумала Анна Ивановна,— и я прочту все так легко, как будто сама это писала».

По вечерам, покончив со своими делами, она садилась к столу и раскрывала тетрадки, которые ей дал Листопад. С грехом пополам удалось расшифровать конспекты лекций по сопротивлению материалов.

Ночью Анне Ивановне снились Клавдины закорючки.

Все это была скука смертная, и Анне Ивановне ни к чему, но ей хотелось исполнить просьбу Листопада, первую его личную просьбу, да еще такую задушевную.

С одной тетрадкой кончено, слава богу. Анна Ивановна взяла другую. Она раскрыла ее наудачу и вдруг прочитала слово: «подушку».

Что такое?

«Облили подушку».

Она открыла тетрадь на другой странице и прочла: «чепуха на постном масле». Прочла, как будто это было написано обыкновенными буквами.

Странные фразы. Им не место в конспекте. Дневник?..

Осторожно, с суеверной робостью, она потянула к себе чистый лист бумаги... Неужели она будет сейчас подряд все читать? Даже не верится, что мученью конец.

Она схватила глазами еще две-три фразы и убедилась, что это дневник, страничка дневника. Это по крайней мере интереснее, чем сопротивление материалов.

«...Это, я думаю, чепуха на постном масле,— читала Анна Ивановна, еще боясь, что наитие вдруг кончится и пелена опять застелет ей глаза.— Эти ненужные мысли лезут мне в голову, потому что я беременна. Домна говорит, что когда она была беременна, то она часто плакала «из-за ничего». Вот и у меня это так, «из-за ничего»...»

Бояться больше нечего, чудо произошло, стена опрокинулась. Отдельные заключения вдруг стали — как связка ключей: каждым ключом открывался какой-то замок; китайская грамота покойной Клавдии предстала вдруг стройной системой; свет пролился на темные страницы, и Анна Ивановна читала их одну за другой.

«Вчера он пришел с какого-то совещания в четвертом часу ночи. Я нарочно не ложилась, чтобы дождаться его. Он не заметил, что я еще не ложилась, и сказал: «Спи, спи». Я сказала: «Ничего не спи, я дам тебе ужинать». Он сказал «хорошо» и сел на диван. Я пошла на кухню, прихожу — он спит на диване сидя, в кителе и в сапогах. Я стала будить его, чтобы он лег как человек. Он не проснулся. Я тогда потушила свет, пошла и легла, а утром просыпаюсь — его уже нет: ушел на завод...»

Анна Ивановна подумала: когда его скорбь смягчится, ему будет приятно читать это. Грустно, а все-таки приятно.

«Когда мы друг друга полюбили, я не знала, как его называть. Я спросила у него. Он сказал: «Только не по имени-отчеству». Я спросила: а как тебя называли родные, как тебя называла твоя мама? Он сказал: «Так, как мама называла, ты меня называть не будешь, здесь так не принято». (Он на Украине родился). Я стала называть его Сашей. Ему не идет, это имя для мальчика или для молодого человека, но я не знаю, как называть иначе...»

«Сегодня давали стипендию. Я все не решу, как быть. С одной стороны, я теперь всем обеспечена. Было бы справедливо, если бы я отказалась от стипендии. Лучше бы ее дали тем, кому она действительно нужна. Но если отказаться, то подумают, что я из хвастовства. А если я сама отдам какой-нибудь девочке, то она подумает: «Стала генеральшей и благотворительностью занимается». Я посоветовалась с Сашей. Он сказал: «Конечно, бери. Раз тебе полагается, значит, бери». Я сказала: «Но ведь у меня все есть». Он сказал: «Ну, не знаю. Это тебе государство дает. Оно в твоей благотворительности не нуждается». Он тоже не понял, что это никакая не благотворительность, а просто справедливость. В общем, опять стояла в очереди в кассе, и опять получила стипендию, и опять мне было совестно до ужаса».

Анна Ивановна улыбнулась и перелистала несколько страниц...

«...приходили Зоя и Лена, мы вместе занимались английским. Мне и Лене дается трудно, а Зоя знает немецкий

и немножко французский, ей легко. У нас очень холодно, мы сняли туфли и в чулках залезли под одеяло, и нам было тепло. Чай пили тоже на кровати, облили подушку и засыпали все крошками. Хохотали ужасно. Потом они ушли. Звали в кино, но я не пошла, потому что Саша сказал, что придет рано. Я прибрала и стала его ждать. Часто звонили по телефону, спрашивали его. Потом он позвонил и сказал, что задержится на заводе и чтобы я не сидела одна, а пошла куда-нибудь. Но уже было поздно идти куда-нибудь. Я попробовала заниматься, но мне не хотелось. Стала штопать ему носки, но у меня озябли руки: батареи чуть теплые, пар изо рта идет. С сыном будет веселее: я буду с ним все время возиться. Возьму няню, какую-нибудь хорошую бабушку, и буду с ней разговаривать...»

«...даже если бы мама была жива, я постеснялась бы сказать ей. Я отгоняю эти мысли, но что же мне делать, если они возвращаются,— даже не мысли, а какое-то тягостное ощущение или грусть, я сама не знаю что. И поделиться не с кем, да и невозможно. Одному-единственному человеку на свете я бы могла сказать это — Нине Сухотиной, но где она??? Я писала всем общим знакомым, никто не знает. В квартире их живут чужие люди и тоже ничего не знают. Интересно, найдем ли мы друг друга когда-нибудь, если она жива?»

«Ниночка, милая, дорогая, здравствуй! Я все-таки пишу тебе, хотя не знаю, где ты. Но я решила, что ты обязательно где-то существуешь: не такая ты девочка, чтобы тебя какие-то фашисты могли убить! Ниночка, я живу очень хорошо...»

«...не должна меня винить. Помнишь нашу клятву? Мы поклялись, что будем все говорить друг другу. Скажу тебе откровенно, я это для того тогда придумала, чтобы рассказать тебе, что я влюблена в Колю З.: иначе я никак не умела подойти к этому разговору. А ты рассердилась и сказала, что в шестом классе еще рано влюбляться и что Коля З.— противный, грубый мальчишка, который страшно много о себе воображает. А на другой день ты пришла очень рано, я еще спала, и попросила прощенья, что была неискренней, и призналась, что сама влюблена в Колю. Нинка, какие мы тогда были счастливые!»

«...люблю его, он любит меня, у нас будет ребенок. Все думают: она счастливая! А счастья нет».

«Может быть, потому, что нас воспитали очень-очень требовательными к счастью?..»

«...Если, например, я кончу институт и меня пошлют работать в другой город (этого не будет, но я просто для примера),— он бы перевелся туда, где я? Никогда! Потому что тут дело, к которому он привязан. А я — между прочим. Я — после всего. Если я умру, он без меня прекрасно обойдется».

«Я думала: когда любят, то всюду вместе. А мы врозь. Конечно, он очень занят, я понимаю, я уважаю его занятия, как можно их не уважать. Но хоть бы он пожалел, понимаешь — хоть бы пожалел, что мы врозь! Ему наших коротеньких встреч достаточно. Редко-редко когда что расскажет о себе. Один раз как-то о своем детстве немножко рассказал. И меня не спросит — что у меня в институте, как зачеты. У меня ужасная неприятность была — я комсомольский билет потеряла. Сколько я с этим делом набегалась и наревелась, а он только шутил...»

«...не потому, что война. Война кончится — будет то же самое. Просто такой характер».

Тут кончалась тетрадь.

«Мне стыдно того, что я написала,— читала Анна Ивановна в другой тетради.— Кончу институт, буду работать, буду заниматься ребенком...»

«...никогда не скажет: ты мне дороже всего на свете! И сыну не скажет... В какую-то минуту, между работой и сном, он увидит сына и вспомнит: ах, да!.. и немножко займется сыном...»

«Вчера я расплакалась при нем. Он испугался и спросил, о чем я. Я сказала: «Хоть бы один день ты провел со мной, хоть бы один день!» Он как-то поскучнел, потом погладил меня и сказал: «Хорошо, завтра я рано приду». И действительно, сегодня он пришел в два часа (не ночи, а дня). Я обрадовалась, побежала надеть новый капотик, слышу, он говорит по телефону: «Рябухин, зайди ко мне, ты мне очень нужен». Сейчас же после обеда пришел Рябухин, и они все время говорили о делах, только в шесть часов Рябухин ушел. Саша пришел в спальню, лег на кровать и сказал: «Ну, вот мы с тобой вдвоем; хочешь, поедем в театр?» И вижу, что он засыпает, последние слова произносит уже сквозь сон. Я долго сидела и смотрела, как он спит. Я его не любила в это время ужасно, ужасно! Я нарочно громко спросила: «Зачем же ты лгал, что любишь меня? Я без тебя была счастливая, а с тобой несчастная». Он не слышал, спал крепко. Я спросила еще громче: «Для чего я тут сижу около тебя? Меня для того спасли, чтобы я тут сидела около тебя?» И я стала задавать ему вопрос за вопросом. «Для чего ты женился на мне?»—«Кто ты мне?»—«Что мне делать?» Я спрашивала громко, так, что мне даже жутко было, а он спал...»

«...прости меня, если я требую больше, чем мне полагается, но я не могу жить без счастья».

. . . .
. . . .

Анна Ивановна расшифровала конспекты лекций и перепечатала стенограмму на своем старомодном ундервуде с большой кареткой. Ундервуд гремел, как товарный поезд. Таня сладко спала под грохот.

Дневники и письма Анна Ивановна не стала расшифровывать: незачем Листопаду их читать. Они остались похороненными в старых тетрадках, исписанных непонятными каракульками.

— Александр Игнатьевич, вот, пожалуйста,— сказала Анна Ивановна и положила перед Листопадом стопку тетрадок и толстую стенограмму.— Вот здесь лекции по политэкономии, по металловедению, по сопромату...

Листопад раскрыл стенограмму, пробежал какую-то фразу, где обстоятельно перечислялись мировые месторождения меди, и задумался... Клавдины иероглифы, переложенные на аккуратную машинопись, перестали быть тайной и болью, стали общедоступны и обыденны.

— Спасибо, Анна Ивановна. Сколько я вам должен за эту работу?

— О, не беспокойтесь... У меня к вам просьба, Александр Игнатьевич: если у вас есть лишняя карточка Клавдии Васильевны, дайте мне.

Он приподнял брови.

— Я порядочно посидела над ее тетрадями. У меня такое ощущение, как будто я с нею очень сблизилась.

Она сказала это без чувствительной дрожи в голосе, без сентиментальных гримас. У нее было серьезное, доброе лицо... «Какое хорошее человеческое лицо,— подумал Листопад.— Она очень хорошая женщина!» Он почувствовал к ней благодарность, и ему захотелось показать ей свое доверие и дружбу. Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт с Клавдиными фотографиями.

— Выбирайте.

Шесть живых Клавдий — растрепанных, смеющихся, со светлыми глазами, и шесть Клавдий мертвых, с сомкнутыми губами, с большими строгими веками.

— Я возьму две, можно?

— Берите.

Он положил тетради и стенограмму в ящик стола. Звякнул ключ...

«В лучшем случае,— думала Анна Ивановна, выходя из кабинета,— он как-нибудь на досуге просмотрит стенограмму. И то вряд ли».

Она положила перед собой обе фотографии и смотрела на них с странным чувством.

«У меня нет никаких секретов! — говорило смеющееся, добродушно-озорное лицо живой Клавдии.— Какие могут быть секреты, когда в жизни все прекрасно и ясно, как апельсин!»

«Никто в этом не виноват,— говорило мертвое лицо, полное знания, печали и достоинства,— я никого не упрекаю, прощайте, желаю вам счастья!»

— Ах, бедная моя девочка! — прошептала Анна Ивановна и со слезами на глазах прикоснулась щекой к мертвому лицу.

Глава седьмая
НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

Двадцать седьмая годовщина Красной Армии не была отмечена в городе ни парадами, ни салютом. Заводы работали как обычно; только были вывешены красные флаги. И все-таки было у людей ощущение праздника!

Ощущение праздника — потому что Красная Армия дорога каждому сердцу, потому что Красная Армия — это сын, брат, муж, отец, жених; Красная Армия — это тот, о ком думают наяву и во сне, от кого ждут писем, чью фотографию берегут как святыню.

Ощущение праздника — потому что в этот день были подведены итоги последних битв Красной Армии.

Голос радиодиктора Левитана, знакомый каждому советскому человеку, медленно читал:

«За 40 дней наступления в январе — феврале 1945 года наши войска изгнали немцев из 300 городов, захватили до сотни военных заводов, производящих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2400 железно-

дорожных станций, овладели сетью железных дорог протяжением более 15 000 километров. За этот короткий срок Германия потеряла свыше 350 000 солдат и офицеров пленными и не менее 800 000 убитыми. За тот же период Красная Армия уничтожила и захватила около 3000 немецких самолетов, более 4500 танков и самоходных орудий и не менее 12 000 орудий.

В результате Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную часть территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии в Европе — Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина».

— Берлин! — повторил главный конструктор, слушавший стоя, с поднятой головой.— Скоро будем в Берлине!

«Полная победа над немцами,— слушали люди голос Левитана,— теперь уже близка. Но победа никогда не приходит сама — она добывается в тяжелых боях и в упорном труде».

— А я за февраль тридцать процентов до трех норм недодала,— сказала Марийка Лукашину.— А до конца месяца шесть дней. Или пять? Батюшки мои, Сема, этот год не високосный: пять дней мне осталось. Теперь до первого марта прощай, не забывай, шли письма и телеграммы: буду гнать, пока не выгоню мои три нормочки.

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»— на торжественных нотах реквиема дочитывал Левитан.

— Вечная память! — скорбно шептал Никита Трофимович Веденеев, глядя на портрет Андрея.

День и ночь дымили высокие трубы Кружилихи. По одиннадцать часов, без выходных дней работали люди. В тупичке между полустанком и заводом грузились маршруты; могучие паровозы ФД увозили оружие на запад.

«Очень трудно жить с Марийкой,— думал Лукашин.— Нелегкая мне досталась женщина. Все время кричит, болтает. Только усадишь ее, чтобы поговорить о серьезном — и ведь кажется, с интересом слушает и разумно отвечает,— и вдруг вскочит и убежит. Жена не должна убегать, когда муж с нею разговаривает, она обязана выслушать его до конца, может, он ей что-нибудь хочет посоветовать, а она вскакивает.

И вечно по чужим кухням. Надо же ухитриться успеть: и на заводе, и в очереди, и дома по хозяйству, и всю подноготную узнать о соседях — кто за кем ухаживает, кто с кем поссорился, кто что купил».

Прошел угар первых поцелуев, и Марийка вернулась к прежнему образу жизни, из-за которого она в свое время не могла ужиться с отцом и мачехой. Она не стала меньше заботиться о Лукашине; но уже не могла быть с ним долго наедине. А Лукашин всю жизнь был лишен семейного тепла, ласки, внимания. Он привязался к своему маленькому очагу. Он не был жадным, но тут он ни с кем не хотел делиться! Ни с Марийкиными подругами, ни с соседями, ни с кем. Марийкина общительность огорчала его до глубины души.

Если бы Марийка не портила настроение, все было бы хорошо. На заводе Лукашину понравилось с первого взгляда. Все большое, массивное, внушительное. Станок — так уж видно, что добротная вещь... Читая в газетах о перевыполнении норм, Лукашин, бывало, представлял себе, как рабочие суетятся и бегают, перевыполняя нормы. Оказалось, работают солидно, неспешно... Мастер, пожилой человек, поздоровался с Лукашиным за руку. Подошел Мартьянов. Покурили, потолковали о том, на каких фронтах побывал Лукашин. Мартьянов рассказал случай из времен империалистической войны четырнадцатого года. Мастер был глуховат, подставлял ухо, чтобы лучше слышать, и приятно улыбался... Он поручил Лукашина Мартьянову и сказал: «Желаю успеха».

Мартьянов подвел Лукашина к станку и сказал:

— Вот, Сема, смотри: вот это передняя бабка станка,— Мартьянов похлопал по бабке рукой,— вот это задняя. Вот здесь имеем шпиндель передней бабки.— Он перечислил главные части станка.— Теперь смотри внимательно: здесь имеем — что? — патрон самоцентрирующий кулачковый. Теперь — что я делаю? — нажимаю рукоятку — включаю станок. Смотри, Сема, внимательно!! Что я делаю? — Лукашин смотрел во все глаза, но не мог понять, что делает Мартьянов. Нежным валиком ложилась на станину мельчайшая металлическая стружка... Мартьянов поднес к лицу Лукашина какую-то блестящую штуку и сказал, подняв толстый черный палец: — Я выточил канавку при помощи поперечного суппорта!

Лукашин очень испугался, что Мартьянов сейчас велит ему вытачивать канавки при помощи поперечного суппорта, а он, Лукашин, понял еще только канавку, а суппорт не понял, и из всех частей станка усвоил только три: рукоятку и две бабки, переднюю и заднюю. Ему было стыдно сознаться в этом, он выражал на лице понимание и кивал головой, а внутренне дрожал — вдруг Мартьянов ему поверит и скажет: «Ну, вот и хорошо, молодец, понятливый, валяй дальше сам»,— и уйдет, оставив Лукашина наедине со всей этой чертовщиной... Но Мартьянов не ушел, он терпеливо возился с Лукашиным до самого обеда и после обеда, и к вечеру Лукашин умел уже самостоятельно выточить канавку и просверлить отверстие.

— Токарное дело ничего,— сказал под конец Мартьянов,— умное дело. Требует души и изящества. Душу придется тебе вкладывать с первых дней, а изящества достигнешь со временем.

Глухой мастер преподавал техминимум. Он плохо слышал, о чем его спрашивают, и с любезностью подставлял ухо, но все же он был действительно мастер своего дела, и Лукашин многому научился у него. А во время работы Лукашину помогал Мартьянов. Понемногу Лукашин стал разбираться в приспособлениях и свободно орудовать словами «развертка», «зенкер», «отверстия на расположение» и другими, которые сначала испугали его.

Его волновало, что он работает хуже других. Иногда начальник цеха или парторганизатор подходили к его станку и смотрели, как он работает; он готов был сквозь землю провалиться оттого, что он так медлителен и неловок. Но однажды к нему подошел незнакомый человек. Лукашин слышал, как он спросил у мастера: «Вот этот?» И мастер ответил: «Этот». Человек заговорил с Лукашиным, стал его расспрашивать, вынул блокнот и карандаш и что-то записал. Уходя, сказал:

— Будем знакомы: редактор газеты.

Потом прибежал другой незнакомый человек с фотоаппаратом; он сфотографировал Лукашина и его станок.

Дня через три снимок был напечатан в газете, а под снимком указано: кто, из какого цеха, и что воевал за Родину, а сейчас работает токарем и сразу зарекомендовал себя дисциплинированным и старательным рабочим. Даже совестно, что так сразу похвалили, неизвестно за что; но в то же время приятно, что все люди на заводе прочтут эту статью и увидят его портрет,— очень приятно. Наверно, и Марийке было приятно, когда принесли газету в цех и она увидела...

После того как они привыкли швырять деньгами не считая, Лукашину и Марийке трудновато было жить. Посоветовавшись с Марийкой, Лукашин решил продать наследственный дом. «Еще неизвестно,— рассудили они,— понадобится ли он нам когда-нибудь; а деньги всегда нужны».

Выбрав время, Лукашин поехал в Рогачи — проведать дом и поговорить в сельсовете о его продаже.

Еще издали он увидел, что из обеих труб дома вьется дымок. Похоже, что в доме кто-то поселился. Лукашин подошел ближе: за частоколом, во дворе, незнакомая женщина развешивала белье на веревке. Трое малых ребятишек, присев на корточки, строили из подтаявшего снега крепость, прокладывали кругом крепости ров. Лукашин остановился, посмотрел: во рву сразу скапливалась вода, снег был как мокрый сахар. Ребятишки перестали строить, смотрели на Лукашина. Женщина подошла и тоже смотрела боязливо. Она была городская, из образованных, это видно было по платью, хотя и поношенному.

— Вам что угодно? — спросила женщина.

— Да нет, ничего,— ответил Лукашин.— Так, мимо шел и зашел...

Ему хотелось посмотреть, что делается в доме, но неудобно было лезть без зова в квартиру к незнакомым людям. Он подождал,— может быть, женщина скажет: «Зайдите». Но она не сказала. В окне мелькнула какая-то старуха со сковородкой в руке и сердитым лицом. Лукашин вздохнул и сказал:

— Ну, до свиданья.

— До свиданья,— ответила женщина. Он повернулся и пошел, и женщина с недоумением глядела ему вслед...

Председатель сельсовета немного смутился, когда вошел Лукашин, но потом сказал храбро:

— Видишь, Семен Ефимыч, какое дело. Остались нам после реэвакуации две семьи — кормильцев потеряли, жилище потеряли,— куда девать? Войди в положение. Поселили пока что в твоем доме. Не взыщи за самоуправство. Когда велишь — переведем их куда-нибудь, хотя куда — ума не приложу. Из обстановки выделили им самое необходимое, остальные твои вещи заперты там в комнатушке, вот тебе ключ.

— Ладно,— сказал Лукашин, подумав.— Пускай живут. Ничего...

И поехал обратно на Кружилиху.

Наконец-то приехал Павел — и все ожило в доме Веденеевых! Просияло, помолодело лицо Никиты Трофимыча, забегала, заболтала, закричала от радости Марийка, захлопотала Мариамна, готовя большой пир. Жив-здоров вернулся Павел, а что нога с протезом — что поделаешь. Одет-обут, как все люди, ничего даже не заметно...

Павел почти не изменился, только немного пополнел и на висках появились большие зализы — начал лысеть.

— Старею, папа, старею! — сказал он.

— Ничего подобного,— сказал Никита Трофимыч.— Все Веденеевы рано лысеют, это у нас родовое.— Присмотревшись к сыну, старик увидел проседь в его волосах и огорчился: — А вот это уже не родовое. Это — война тебя выбелила.

— Кого она не выбелила! — сказал Павел.

Он попросил дать ему Катины письма. Катя, Катерина, его жена, работала на Украине, в Мариуполе, ее послала партия. Павел читал ее письма, зажав Никитку между коленями, как будто не хотел больше ни на минуту отпустить от себя сына. Никитка еще не успел заскучать от такого ничегонеделанья, стоял тихо и смотрел отцу в лицо.

Потом Павел прочел письма Андрея. Эти хранились у Никиты Трофимыча в шкатулке, оклеенной мелкими ракушками; там же лежало несколько рисунков, которые Андрей прислал с фронта... Павел аккуратно положил письма на место, отстранил Никитку и вышел молча. Нерадостно показалось ему дома — он заново переживал и гибель брата, и разлуку с женой.

Вечером собрались на семейный ужин. Кроме хозяев, были Марийка с Лукашиным и Мартьянов. Павел был приветлив, рассказывал о фронте, о госпитале, шутил, но все как бы вполголоса; веселья не получалось. Потускнел, глядя на него, и Никита Трофимыч. Марийка выпила две рюмки, положила локоть на стол, лицо уткнула в локоть — заснула, как младенец. Жизнерадостно разглагольствовал один Мартьянов.

— Трагедия заключается в том,— говорил он,— что все помрем, так или иначе. Кто мне даст гарантию, что моя смерть будет легче, чем смерть воина, сраженного в бою? Может, я буду страдать в сто раз больше. Сдохну, замученный докторами и сиделками, отволокут на кладбище, ни памятников, ни салютов, ни орденов не понесут перед гробом, разве что сыграют какую-нибудь музычку... Но я не об этом хотел. Об чем я хотел?.. Да,— в этом заключается человеческая трагедия, а задача заключается

в том, чтоб жить. Умей скорбеть, умей и помереть доблестно, но умей и радоваться жизни. Живем-то ведь один раз! Квартирка временная, а ничего! Каждый день, абсолютно каждый день приносит удовольствие,— друзья!.. Разве нет? Котеночек вон играется; Никитка, прекрасный ангел, к отцу припал; не удовольствие смотреть на него? Поговоришь с умным человеком, почувствуешь его ум и свой ум, игру эту умственную почувствуешь, силу разума,— два властелина природы беседуют, два царя,— не удовольствие?.. Я вам даю честное слово, каждый день жизни — как отборный огурчик, как вот этот красивый огурчик,— хорошая ты хозяйка, Мариамна Федоровна; дай тебе бог. Хороша временная квартирочка, невзирая на все печали...

Пришел Рябухин. С Павлом ему довелось работать немного: несколько летних месяцев 1942 года; потом Павла взяли в армию. Но у них были общие воспоминания о том времени — они вместе добивались снятия директора завода.

В мирное время завод занимался только станкостроением, и все шло благополучно. Когда началась война, производство было частично переведено на военную продукцию, для этого выделили большую часть цехов. На остальные цеха легла двойная нагрузка: южные заводы, эвакуированные в тыл, только что обосновались тут и продукции давали мало; пришлось напрягаться местным заводам. Программа была повышена, что ни месяц — новый план, не было конца срочным и сверхсрочным заказам,— директор попытался барахтаться, но не выдержал и поставил на бюро партийного комитета вопрос о том, что планы завышены — не соответствуют мощности завода.

Рябухин резко выступил против, заявил, что мощности хватает, только надо научить людей ее использовать. Некоторые члены бюро клонились на сторону директора: чего Рябухин поднимает шум, он на заводе человек новый, ориентирован недостаточно,— и вообще: чем плохо, если наркомат срежет план процентов на пятнадцать? Легче же! Завод даст лучшие показатели, будем на хорошем счету в наркомате... А то уже на авиационном идут разговорчики, мол, станкостроители в новых условиях зашиваются,— кому не обидно?..

— Чересчур мы, товарищи, большие патриоты завода! — с горячностью сказал Павел Веденеев.— Такие большие, что это мешает нам быть хорошими патриотами родины...

Директор поехал в Москву. Рябухин пошел к Макарову, секретарю горкома. Макаров, хоть был сердцем на стороне Рябухина, отказался сказать решительное слово: наркомат разберется, это дело тонкое... В наркомате создали комиссию для обследования положения на месте. А тем временем Рябухин создал на заводе свою комиссию. Помогали ему Павел и старик Веденеев, который всю жизнь проработал на заводе и знал, на кого тут можно положиться. Взяли лучших инженеров и техников, мастера из инструментального цеха, стахановцев — сталеваров и слесарей; вылез из своего святилища старый зубр — главный конструктор, принял участие в работе комиссии. Когда прибыли товарищи из наркомата, у Рябухина уже были на руках акты и выводы; товарищам из наркомата оставалось только проверить их. Рябухин в присутствии директора сказал:

— Заводу нужен другой руководитель. Человек напористый и сильный, понимающий обстановку.

Директора освободили от его обязанностей, а на заводе появился Листопад.

Старик Веденеев постеснялся пригласить Рябухина на свой семейный праздник, но Рябухин, узнав о приезде Павла, пришел сам.

— Экой мордастый стал мужик! — восклицал он, тряся руку Павла.— Растолстел, как в санатории! Слушай, мы тебе гулять не дадим; верно, отец? У вас, фронтовиков, есть такая манера — возвращаетесь и гуляете, на работу не сразу идете, набиваете себе цену... Тебе отдыхать нечего; ты и так — вон какой дядя...

— Отдыхать мне нечего,— подтвердил Павел,— в госпитале наотдыхался... Мне съездить придется.

— Куда это?

— В Мариуполь. Что смотришь? Жена у меня в Мариуполе. Его мать,— он показал на Никитку.— Возьму его — хочешь, Никитка, к маме?.. Надо повидаться.

— Ты не вернешься,— сказал разочарованный Рябухин.— Ты там в Мариуполе и останешься, вижу тебя насквозь.

— А что же,— сказал Павел,— что же, в Мариуполе тоже люди живут... Завод там восстанавливают. Пойду лекальщиком...

Старик Веденеев сидел как громом пришибленный. Да-да-да! Так оно и будет. И как он раньше не догадался, что обязательно так будет, что Павел не останется здесь без Катерины, полетит за нею и Никитку заберет... Из само-

любия он говорит: «Съезжу повидаться» — на всякий случай: вдруг изменились Катеринины чувства — мало ли что бывает в проклятой разлуке... Но не изменились Катеринины чувства, не такая это женщина; не вернется Павел из Мариуполя... Что же это за закон непреложный,— у людей, как у птиц,— и мудрость в этом законе, и жестокая печаль: растишь-растишь детей, вкладываешь в них все силы ума и сердца, все помыслы, всю кровь свою,— а они вырастут, оглядятся по сторонам и улетают вить другие гнезда — и пустеет старое гнездо...

По тому, как собирался Павел в дорогу, как укладывал все решительно вещи, и свои, и Никиткины, как прощался с старыми знакомыми на заводе,— было ясно: уезжает навсегда или, во всяком случае, очень надолго.

— Может, обратно отпустят Катерину,— заикнулась Мариамна, которая на Никитку и смотреть не могла в эти дни — отворачивалась...

— Может быть,— сказал Павел.

Он зашел повидаться с Нонной Сергеевной, хотя и знал, что это неприятно отцу. Но Павел не желал потакать чудачествам старика... Нонна встретила его приветливо:

— Я так и знала, Паша, что уж вы-то зайдете.

Вот кто изменился за войну — это Нонна Сергеевна. Вместо цветущей девушки перед Павлом стояла усталая женщина с затененными глазами.

— Садитесь, Паша, рассказывайте, я рада вас видеть... Как вы смотрите на меня, я так подурнела?

Нет, она не то что подурнела, она стала, может быть, еще красивее...

— Я просто смотрю, что вы переменили прическу.

— Вы превосходно выглядите. Что вы думаете делать?

Он рассказал.

— Да, конечно, это и не может быть иначе. Катя заходила перед отъездом, я ей сказала: увидишь, он приедет к тебе... Но для ваших стариков это новый удар.

— Я слышал, Нонна, вы теперь правая рука у главного конструктора.

— Что вы, Паша, разве у него можно быть правой рукой. Я единственная там у нас решаюсь с ним спорить иногда, когда он становится уже совершенно непереносимым. И его так удивляет моя дерзость, что он ее терпит — исключительно из удивления...

— По-прежнему невыносим?

— Ах, ужасно! Но когда он уйдет — а он скоро уйдет,— мы все не раз вспомним его...

Говоря с нею, он рассматривал стены и письменный стол: есть ли где-нибудь карточка Андрея. Но нигде не было карточки Андрея, и рисунков не было, а ведь Андрей дарил ей много рисунков. Помнится, один его пейзаж висел над туалетным столиком...

— Вы ищете рисунки Андрюши? Я их все отправила в Москву. Прочла в газете, что будет выставка, и переслала в Союз художников. Такие вещи не могут находиться в пользовании одного лица. Я оставила себе только мой собственный незаконченный портрет.

Какое спокойствие. Так-таки до самого конца она ни капельки не любила Андрея.

— Владимир Ипполитович,— сказала Нонна главному конструктору,— может быть, вы скажете, к чему нам следует быть готовыми?

— То есть? — спросил главный конструктор.

— О чем нам придется думать, когда кончится война?

— Кажется, вы здесь не первый день. Профиль завода определен.

— Дело в том, что наши технические возможности стали обширнее,— сказала она.— Мы могли бы попутно освоить массовый выпуск, скажем, тракторных частей. Вы не думали об этом?

— Пока я не услышал, что войне конец и что мы переходим на мирную продукцию, я не считаю нужным отвлекаться от работы для прожектов такого рода. И вам не советую. У вас готовы габариты, которые я вам поручил?

— У меня готовы габариты,— ответила она, подала ему листок с расчетами и вышла, слегка вздохнув.

Конструкторы говорят: что вы, Нонна Сергеевна; да нас засмеют; что мы с мелочишкой будем возиться? Напротив, наши изделия теперь укрупнятся; какие могут быть тракторные части...

Спросила Грушевого: «Что вы будете делать в вашем цехе, когда взрыватели станут не нужны?» Он ответил: «Ну, буду делать что-нибудь другое».—«Например?»—«А это Москва укажет, главк».

С главным конструктором невозможно стало говорить о чем бы то ни было, кроме военных успехов. Настроение

у него меняется, как апрельская погода: прослушает главный конструктор сводку — становится общительным, веселым, почти приветливым,— солнце, оттепель. А потом опять стужа: он вспоминает о том, что ему скоро уходить на покой, ему нужно уходить, и ему не хочется уходить.

— Маргарита,— сказал однажды главный конструктор жене,— где бы ты хотела жить?

Она вздрогнула от неожиданности.

— Как — где жить? Я не понимаю, извини.

— Ну, хотела бы ты жить в Москве или Ростове-на-Дону — тебе, помнится, нравилось в Ростове-на-Дону...

— Да, очень нравилось; там такие розы чудные...

— Или, может быть, ты хочешь в Ялту, там розы еще лучше. В Гагры, Сухуми. Да, ты теперь плохо переносишь жару... Можно что-нибудь севернее. Исключительно красивые места на Карельском перешейке. Помнишь, мы перед той войной отдыхали в пансионе в Куоккала, а ближе к Выборгу еще лучше... Там сыро, правда. Лучше что-нибудь вроде Одессы... Хочешь жить в Одессе? В Курске? В Полтаве? В Вологде? В Симеизе?..

Он перечислял со злостью. Маргарита Валерьяновна смотрела на него с ужасом. Наконец она поняла:

— Мы уедем отсюда?

— Да, конечно. Ты что же, думала, что мы вечно тут будем жить?

Он говорил еще что-то, она не слышала, только механически поддакивала: «угу», «угу». До чего это внезапно. Ему следовало подготовить ее. Она становится очень нервной, ее потрясает всякая неожиданность. Если даже кто-нибудь вдруг кашлянет рядом, она вскрикивает. А тут такое известие...

Постепенно его слова опять стали доходить до нее. Он говорит, что они будут жить совсем иначе. На полном покое. Это необходимо. Конечно, конечно, для такого пожилого человека, как он, покой необходим...

— И ты отдохнешь, Маргарита.

Ну, в ее годы еще рано отдыхать...

— У меня станет лучше с ногами, мы будем совершать прогулки.

Она судорожно улыбнулась и представила себе, какой пыткой будут эти прогулки — он будет тащиться рядом и ворчать, ворчать...

— Ну так вот, Маргарита. Я сказал тебе, чтобы ты думала о переезде и готовилась. Многое можно упаковать заранее. Громоздкую мебель надо продать,— ты посмотри, что именно. Помни — ничего лишнего: будет маленький домик, двое стариков, никаких больших приемов, все очень скромно; вот тебе ориентир.

Он поцеловал ей руку и ушел в кабинет, а она осталась одна — думать о переезде.

В первый раз в жизни бурный протест поднялся в ее душе.

Она не хочет уезжать! Она хочет остаться здесь — кто ей может запретить?! Вот возьмет и не уедет. Возьмет и скажет: «Володечка, ты как хочешь, а я не уеду». Насильно ее никто не потащит. В каком закоие написано, что человек имеет право пить кровь другого человека? Нет такого закона в наше время!

Квартиру отдадут новому главному конструктору... ну и что же?

Александр Игнатьевич всегда устроит ей комнатку в поселке.

Господи, ей же так мало нужно! Она возьмет только диванчик, стол и несколько стульев... и свой трельяж, и зеркальный шкаф, и маленький шкафчик для посуды, и вешалку, и вот это креслице, и этажерочку для книг,— и больше ей решительно ничего не нужно. Будет жить одна, уходить из дому, когда хочет, заниматься общественной работой!..

Потом она подумала, что Владимир Ипполитович болен, и ему много лет, и у него нет близких, кроме нее, и поняла, что она уедет с ним, иначе невозможно, будет немилосердно и ужасно, если она оставит его после того, как они — хорошо ли, плохо ли — прожили жизнь вместе. И она горько-горько заплакала, свернувшись комочком на низеньком кресле.

Павел уехал и увез Никитку. И остались в доме Веденеевых — внизу старик да Мариамна, а наверху чужая, нелюбимая женщина, Нонна Сергеевна.

У Рябухина мать была ткачиха, и бабка была ткачиха, и прабабка; отец, настройщик станков, и сестры-ткачихи до сих пор работали в Иванове на той самой фабрике, которая была вотчиной пролетарского рода Рябухиных. И только Сергей, потомственный текстильщик, оторвался от родных мест и фамильной профессии; жизнь иосила его по всему Советскому Союзу. Институт он кончил в Ива-

нове, высшие партийные курсы — в Москве, работал в Краматорске, Перми, Свердловске. Жизненные удобства не имели для него большой цены; общежитие или отдельная комната — ему было неважно. Он и в общежитии преспокойно занимался своими делами — читал, писал, готовился к докладу. Была у него как бы дверца в мозгу: захлопнет ее — и не замечает окружающего; ни разговоры, ни смех, ни даже музыка и пение, бывало, ие отвлекали его...

Жизнь партии была жизнью Рябухина. Как дома чувствовал он себя в партийных комитетах, на собраниях, во главе ли президиума или на задней скамейке — одинаково хорошо, по-домашнему чувствовал себя.

Партийная работа сталкивала его с множеством людей. Память у него была цепкая: запоминал лица, имена, должности,— но как эти люди живут, не слишком интересовался. Выполняет человек свои общественные обязанности, держится достойно, худого о нем не слыхать — и слава богу.

Войиа бросила его на Украину. Он был назначен комиссаром дивизии и выполнял свои обязанности так же самозабвенно и вместе методично, как и в мирное время. Ему недолго пришлось выполнять их: под Киевом его подкосила немецкая мина. При ранении он был тяжело контужен и на два месяца потерял зрение и слух. Слепого, глухого, пораженного газовой гангреной, его отвезли в дальний тыл, в госпиталь.

Странные это были дни, ни на что не похожие,— дни пребывания в госпитале. Когда прошел жар и бред и Рябухин осознал свое положение, ужаса у него не было: он быстро сообразил, что если глаза ие болят и целы, то зрение обязательно вернется, нужно только терпеливо ждать; так же и слух вернется. Трудно было быть терпеливым в такое время; но Рябухин держал себя в руках. Он спросил кого-то, кто ставил ему градусник: «Немцев выгнали? Если да — сожмите мне руку». Никто не дотронулся до его руки, которую он протянул перед собой. Ему стало жутко, он спросил: «Москва цела? Если да — сожмите руку». На этот раз невидимый собеседник взял его за руку и сжал крепко...

Этим способом Рябухин получал сведения о войне.

В глазах был мрак, днем красный, ночью черный. В ушах — словно вода налита... Доносился запах пищи — значит, принесли обед. Ложка дотрагивалась до губ. Рябухин открывал рот, его кормили. Быстрые, привычные руки ловко меняли белье на нем и под ним. Поднимали, клали на носилки — значит, на перевязку. «Товарищи,— говорил Рябухин в пространство,— кто тут близко ходячий, дай закурить». В безмолвии, окружавшем его, кто-то вставлял ему в рот папиросу, подносил зажженную спичку — от нее мгновенным теплом веяло на лицо,— и он курил...

Рябухин лежал и думал. Он думал обо всем на свете! Представлял себе линию фронта и соотношение наших сил с силами противника, представлял опустошения и беды, причиненные нам немцами, подсчитывал наши ресурсы. Он думал о будущем страны, о будущем мира, о родных своих, о людях, которых знал. Он видел их, он слышал их голоса. Он думал о человеческом сердце, о жизни, о смерти... Однажды утром, проснувшись, он открыл глаза и увидел перед собой белую стену, на штукатурке была маленькая змеевидная трещина. Рябухин повернулся на другой бок и увидел койку, на койке спал человек такой красоты, какой ни раньше, ни потом не встречал Рябухии. Взял со столика папироску и спички, потряс коробком — спички весело затарахтели в коробке — и закурил. Подошла старуха сиделка.

— Батюшки, видит! — сказала она.

— И слышу,— сказал Рябухин.— Какая вы, оказывается, красавица, няня.

— Да уж теперь все мы для вас будем красавцы,— сказала сиделка.— Соскучились, столько времени нас не видавши; вот и красавцы.

Прошло больше трех лет. Рябухин уже не помнил, как это он был незрячим и какие думы его тогда посещали: он весь был в сегодняшнем своем труде и сегодняшних заботах. Но до сих пор ему казались прекрасными все лица кругом. Скажи ему кто-нибудь, что, например, Уздечкин некрасив, или он сам, Рябухин, некрасив,— он бы не поверил.

Когда он выписался из госпиталя, ЦК партии послал его парторгом на Кружилиху. То, что Рябухин видел на Кружилихе, с каждым днем укрепляло его веру в человека, в красоту человеческой души. Люди не жалели сил, жертвовали всем, чтобы помочь Красной Армии разбить врага. Рябухин знал, что им нелегко; ему и самому было нелегко; но никто не жаловался, никто ни разу не помыслил о мире без победы.

И вот завиднелся светлый день, во имя которого совершался этот великий всенародный подвиг: Красная Армия приближалась к Берлину.

Первого марта из Москвы пришел заказ иа оборудование для К-ского завода боеприпасов; заказ почти в два раза превышал обычные. Листопад, рассмотрев его, сказал:

— Так. Понятно.

И по телефону сказал Рябухину:

— Сергей, будет жарко.

— Кому жарко? — спросил Рябухин.

— Гитлеру,— отвечал Листопад.— Иди сюда.

Они сидели вдвоем с полчаса; потом пришли начальники цехов, вызванные на совещание. Предстояло обсудить вопрос, как расставить силы, чтобы сдать заказ своевременно.

Совещание было бурное. Только Грушевой, начальник литерного цеха, сидел молча, со скучающим и равнодушным видом. В литерном цехе производились взрыватели для минометов; заказ на оборудование его не касался. Грушевому это было досадно: кто-то другой станет в центре внимания заводских и городских организаций, получит награды...

— А на погрузку,— сказал кто-то,— придется позаимствовать людей из цеха товарища Грушевого.

Грушевой даже качнулся: этого недоставало! Его уже начинают третировать... Можно подумать, что у него рабочие сидят сложа руки...

— Вряд ли это будет возможно,— сказал Листопад.— Полагаю, что на цех Грушевого тоже ляжет в этом месяце двойиая нагрузка.

Он рассчитал правильно: через два дня поступил дополнительный заказ на взрыватели.

Грушевой воспрянул духом и потребовал добавочиой рабочей силы. Он привык к тому, чтобы все его требования удовлетворялись сразу. Но на этот раз Листопад сказал:

— Не выйдет. Управляйтесь собственными силами. Во всех цехах такое же напряженное положение, как у вас.

За все годы войны завод не имел такого высокого задания.

———

Марийка пришла домой поздно вечером, против обыкновения молчаливая и задумчивая. Взяла листок бумаги и карандаш и стала писать какие-то цифры, шевеля губами.

— Ты что считаешь? — спросил Лукашин.

— Ох, Сема, не мешай,— сказала Марийка. Писала долго, потом бросила карандаш и сказала: — Ну, не получается. Что я поделаю?

— Да что не получается? — спросил Лукашин.

— Рябухин говорит, я вполне могу на трех автоматах справиться,— сказала Марийка со слезами на глазах.— А я подсчитала, что не выйдет. Если бы я инструктором не была; полдня с ребятами вожусь. Никак мне.

Лукашин видел, что она расстроена. Ему очень хотелось утешить ее, но он не умел: если бы какая-нибудь домашняя неприятность, а то такое тонкое дело, в котором он, новичок на производстве, вовсе не разбирается. Он еще едва свою норму начал выполнять. Он посматривал на Марийку с уважением.

— Я не знаю, откуда он выдумал три автомата,— жаловалась Марийка.— Ты, говорит, стахановка. Ты, говорит, рабочий коммунистического будущего.— Марийка засмеялась.— И мастеру наговорил: она может! И мастер посулил: завтра, говорит, поставлю тебя на автоматы «Берд», давай нажимай. Я нажму! — вдруг закричала Марийка.— Только пускай они ко мне не подпускают детишек!

Ночью она спала тревожно, а утром пришла на работу сердитая и сказала своим ребятам:

— Чтоб не морочили мне голову зря. Буду сегодня рекорд становить. Чтоб тихо было мне.— А мастеру Королькову сказала: — Ну, давайте три автомата.

К Марийкиным ребятам, в числе которых был Толька, приставили временно другого инструктора.

— Ребята,— сказал им Саша Коневский,— нашего брата, молодежи, на Кружилихе тридцать пять процеитов. Если не возьмемся с полной ответственностью, заказ не может быть выполнен в срок, сами понимаете.

— Агитация агитацией,— сказал Вася Суриков, когда Коневский ушел,— а ведь на самом деле, разобраться практически: на этих станках, которые мы делаем, сделают снаряды, и эти снаряды полетят на Берлин.

— Прямо в Гитлера,— сказал Алешка Малыгин и свистнул.— Я докажу Веденеевой,— с ожесточением

сказал он немного погодя,— что я и без нее обойдусь. Раскричалась!

— Она орет, так дело делает,— солидно сказал похожий на девочку Вася.— А ты орешь, так от этого толку мало. Что смотришь? Смети вон стружку со станка!

Перед концом смены Марийка забежала в цех к Лукашину и сказала:

— Сема, ты не волнуйся, я сегодня ночевать не приду. Возьмешь на окошке, между рамами, котлеты, разогреешь и съешь. Хлеб выкупишь, вот тебе карточки. Я, может быть, рано утром приду, а может, и не приду, не волнуйся.

Марийкина спецовка за один день вся пропиталась маслом от автоматов, коричневый масляный мазок был на виске,— верно, тронула висок запачканной рукой, заправляя волосы под косынку. И вся Марийка показалась Лукашину новой и трогательной,— было досадно, что кругом люди и нельзя ее даже обнять. Он скрыл свои чувства и сказал независимо:

— Ладно, придешь, когда сможешь.

В этот день он впервые выработал сто десять процентов нормы. Не потому, что работал лучше обычного: лучше он еще не умел. Но он рассудил, что если потратить на обед не час, а полчаса, и если курить не больше трех раз за смену, то сэкономится какое-то время, и больше можно будет сделать. Так он и поступил: не пошел обедать в столовую, а присел возле станка и поел хлеба, взятого из дому. Курил всего три раза. И был доволен своим маленьким результатом так же, как другие довольны своими тремя, четырьмя нормами: все-таки уже не сто процентов, а больше ста.

Он обтирал станок, когда к нему подошел председатель завкома Уздечкин.

— Домой?

— Вроде как домой,— отвечал Лукашин,— а что?

— Собираю роту,— сказал Уздечкин,— надо маршрут погрузить. Не чересчур устал?

— Нет, ничего,— ответил Лукашин.— Только я схожу, хлеб выкуплю.

— Рукавицы есть у тебя? — спросил Уздечкин.— Там на путях ветрище — у! — он вздрогнул и повел плечами.

— Ничего,— сказал Лукашин,— у меня рукавицы добрые.

«А кто сшил? — подумал он с благодарностью.— Марийка сшила. А я на нее все обижаюсь».

У выхода из цеха его догнал Мартьянов, на ходу застегивая тулуп.

— Баиньки, Сема?

— Нет,— отвечал Лукашин,— маршрут грузить будем.

— Помогай бог. А я опохмелиться иду. Мне без чекушки ночь не отработать — ноги протяну. Я, Сема, раб правильного режима.

И Мартьянов исчез в густом вечернем мраке.

«Тоже остается на ночь,— подумал Лукашин.— А что, если и я завтра останусь? От меня, конечно, не такая польза, как от него или от Марийки; но все же...»

Только вышел из проходной, его окликнули:

— Семен!

Под фонарем стояла Мариамна с кошелкой в руке.

— Старика не видал?

— Не видал,— отвечал Лукашин.— Я же в другом цехе работаю.

— Несчастье с ним,— сказала Мариамна.— Велел поужинать принесть и забыл. Который раз так: велит прийти и забывает, и сидит голодный до утра.

«Обязательно завтра останусь на ночь»,— подумал Лукашин.

Мороз был маленький, но с пронзительным ветром, и было холодно. Вызвездило. Порою ветер доносил гулкий голос репродуктора, обрывки фраз: читали сводку. Лукашин шел, размахивая руками в больших рукавицах, и думал: где-то сейчас его боевые товарищи, с которыми он дошел до Станислава. Одних нет уже, а другие за тысячи километров отсюда, за границей, в Германии, может быть подходят к Берлину. Вспоминают ли они своего сержанта? Наверно, вспоминают; нет-нет и скажет кто-нибудь: «А помните, был у нас такой —«папаша», интересно, жив ли он?» Жив, ребята, жив!

Гудит гудок на Кружилихе, сзывает людей на работу. По неделе не выходят люди из цехов: станет человеку невмоготу — ляжет тут же в сторонке и засыпает каменным сном. Проснется — и опять к станку: давай-давай, нажимай!

У Грушевого раздувались ноздри, горели глаза: тем лучше, что отказали в добавочной рабочей силе; тем больше заслуга цеха,— мартовский заказ все равно будет выполнен к 28 марта, если ничего не случится с Лидой Ереминой. Дай бог этой девушке хорошего жениха. Она — форменный якорь спасения.

Что она делает своими золотыми руками! Из города приезжало большое начальство, чтобы посмотреть на нее. Сам Макаров, первый секретарь горкома, с полчаса простоял у конвейера, глядя на ее руки. «Ну и ну!»— сказал он, уходя. Лида на него и не взглянула. Поднимала оиа глаза — и то лишь на секунду,— только когда приближался к конвейеру Саша Коневский.

Пятого марта Лида Еремина постучалась в кабинет Грушевого. Он усадил ее. Она села, скромно одернула юбочку на коленях и сказала:

— Знаете, товарищ Грушевой, я решила давать шестьдесят тысяч, хотя это очень неважно действует на мое самочувствие.

Грушевой был человек расчетливый. Он насторожился:

— А не может случиться, что вы два-три дня дадите шестьдесят тысяч, а потом скатитесь на тридцать?

— Почему вы так думаете, товарищ Грушевой?

— Вы же сами говорили, что больше двух с половиной норм не можете.

Лида сжала губки:

— Всегда — не могу. Но месяц могу, пожалуйста. Я просто, товарищ Грушевой, увидела, что если я не дам шестьдесят тысяч, то мы завалим мартовский план. А меня обеспечат капсюлями? Чтобы, понимаете, подавали без перебоев, а то я с темпа сбиваюсь каждый раз...

— Да, да, подачей обеспечим!

— Я могу быть уверена?

— Коиечно, конечно...

— Мне можно идти, товарищ Грушевой?

Лида встала, прилично простилась, наклонив голову, и ушла.

В тот же день в цехе она закатила Грушевому скандал, потому что ей не подали достаточного количества капсюлей. К следующему утру около ее рабочего места поставили целую гору ящиков с капсюлями, и Лида села за работу с довольным лицом.

Ее волосы были скрыты под туго стянутым голубым платком, от этого худенькое лицо и тонкая шейка казались совсем детскими. Прикусив губу, она взяла ящик

и придвинула его так, чтобы удобно было доставать капсюли. Почти незаметным движением пальцев она сорвала пломбу...

— Начали! — резко крикнула она и бросила аттестат на конвейер небрежно-победоносно, как бросают выигравшую карту... Бумажка поплыла по серой ленте конвейера, пока не подхватила ее работница, сидевшая на другом конце, против Лиды. И вслед за бумажкой поплыли заряженные взрыватели...

— Лидочка, что с тобой? — тревожно спросила мать, когда Лида вернулась домой.— Ты такая бледная...

— Ничего, мама,— спокойно ответила Лида, расстегивая блузку,— за ночь отдохну...

С тех пор до конца войны она твердо держалась своих шестидесяти тысяч. Меньше ни разу не дала, излишки были ничтожны,— на сто, сто пятьдесят штук. Это больше всего изумляло тех, кто видел ее работу: уменье с такой точностью приспособить свой ритм к заданию.

У Рябухина сильно болела нога и начинался жар: как бы не пришлось опять ложиться на операцию с флегмоной, чтоб она провалилась... Тем не менее Рябухин вечером, как обычно, отправился на погрузку.

По дороге зашел в механический: ему сказали, что старик Веденеев получил письмо от Павла из Мариуполя, и Рябухин хотел узнать новости. Новостей узнать не удалось, потому что Веденеев спал. Он спал, как другие, на полу, но кругом было чисто подметено, было подстелено старое чисто вымытое и заплатанное одеяло, в головах подушка в темненькой ситцевой наволочке. Станок блестел чистотой, вся стружка убрана, инструмент разложен в строгом порядке. Казалось, незримо присутствует здесь домовитая и опрятная Мариамна... «Экая прелесть»,— подумал Рябухин и отошел тихо, чтобы не потревожить старика.

Его обогнали три мальчугана, он их знал: это из Марийкиных пацанов. Молодцы ребята, не подкачали в трудные дни, не отстают от взрослых. Даже Толька Рыжов, худший по дисциплине, старается изо всех сил. И вот сейчас сворачивают не вправо, к проходной, а влево, к путям,— значит, тоже шагают на погрузку. Проходят мимо высокой освещенной стены. На стене лозунг, написанный еще три с половиной года назад: «Все силы на оборону страны!» Что-то говорит самый маленький из

мальчуганов, показывая на надпись рукой. Останавливаются, совещаются о чем-то. Видят Рябухина и ждут его.

— Товарищ парторг, разрешите обратиться,— серьезно говорит маленький, похожий на девочку.

— Что, ребята?

— Нам краски надо, новый лозунг написать.

— Хорошо, я скажу,— говорит Рябухин.— Вы на погрузку? Пошли вместе.

Но ребятам не хочется идти с парторгом, они стесняются при нем разговаривать о своих делах. Они дожидаются, пока присоединяется к ним еще один попутчик, и деликатно отстают, оставив взрослых вдвоем.

Новый попутчик — Мартьянов. Он здоровается с Рябухиным почтительно, но с оттенком приятельских отношений,— они встречались у Веденеевых.

— Что Павел пишет? — спрашивает у него Рябухин.

— Вот не скажу,— отвечает Мартьянов.— Днем некогда было забежать к Никите Трофимычу, а сейчас заглянул — он спит. Будить не стал: ему плохо, когда не поспит свои три часа. Годы наши не юношеские...

Рябухин смотрит на него с сложным чувством. Рябухин воспитан в духе отвращения к эксплуататорам всех видов и категорий, и прошлое Мартьянова претит ему так же, как Павлу, откровенно называвшему Мартьянова мироедом. Но, с другой стороны, ведь он давно уже не мироед, он отличный токарь, о нем отзываются с высокой похвалой как о работнике. А богатырская наружность его Рябухину положительно нравится, и манера держаться — тоже.

— Нынче, прежде чем грузить, приглашают нас снежок почистить,— говорит Мартьянов.— Обращаю ваше внимание, прошлый раз на снегоочистке лопат не хватило. Народу пришла тыща, а лопат не организовали. Вышло, как на школьном субботнике: один работает, а двое смотрят.

Они выходят к складам, в тупичок, где производится погрузка. Товарный состав стоит в тупичке. Здесь уже много людей; Рябухин узнает их одного за другим. Вон Уздечкин в шинели, окруженный женщинами,— там, кажется, сам по себе возник митинг по поводу огородов; вон Саша Коневский, окруженный ребятами. В раме открытой двери одного из вагонов, непринужденно скрестив ноги в маленьких чесанках, сидит Нонна Сергеевна, конструктор. Вокруг нее тоже молодежь, в том числе Костя Бережков, студент, бывший рабочий Кружилихи, тот самый, который однажды потряс бухгалтеров, заработав в месяц

девятнадцать тысяч... И Костя пришел. Все сюда сходятся. Все дороги ведут на Кружилиху.

— Обратно сидим? — громко и требовательно кричит Мартьянов.— Обратно нет лопат? А начальники где? Об чем думают?

— Будут, будут лопаты! — кричат мальчишеские голоса.— Вон везут лопаты! Глазами смотри!..

Тяжело пыхтя, подходит пятитонка. Ребятишки на ходу лезут в кузов и сбрасывают лопаты. Рябухин нагибается, морщась от боли в ноге, поднимает и для себя лопату. Откуда-то появляется Листопад, берет Рябухина за локоть.

— Ты опять тут? — спрашивает грозно.— Что ты тут забыл? Тебя твоя профессорша который день ожидает!

— Брось, брось,— бормочет Рябухин с усталой и светлой улыбкой.— Пусти, говорю! Ни черта ты не понимаешь... Пошли, товарищи!

Утром на территорию завода прибыл главный конструктор.

Первое, что он увидел, выйдя из машины, была лестница, приставленная к высокой стене. Двое подростков держали лестницу внизу, третий был на самом верху. В руке у него была кисть, он подправлял только что написанный яркой краской лозунг:

«На Берлин!»

Глава восьмая

МАТЬ

И вот конец великому испытанию. Враг сложил оружие. Отгремели победные громы. Мир на земле!

Еще не миновала вероятность войны с Японией, но что значила бы эта война по сравнению со страшной бурей, которая пронеслась над Советской страной! Всем существом своим, всем дыханьем люди чувствуют: мир. Они очищают города от развалин, находят потерянных близких, строят светлые планы на будущее. На полях, пропитанных кровью, колосится хлеб. Стоит благодатный месяц июнь.

Листопад вышел из кузнечного. Там жара тяжелая — рубашка прилипла к спине Листопада, перед глазами

плыли красные круги. Вышел на воздух — охватило нежным ветром с реки; Листопад снял кепку, освежил на ветру раскаленный лоб... И по какой-то связи ему вспомнился один летний день...

Ему было лет семь, может быть восемь. Куда-то они с матерью шли степной дорогой... кажется, возвращались из церкви. Очень душно было, ветерок не подувал, горизонт мигал от зноя. Они шли, шли тихой пыльной дорогой. Кругом ничего не было, кроме скошенных лугов. Сашко шел молча и терпеливо, но по временам не мог удержаться от громкого вздоха: ему хотелось пить, дороге не было конца... Завиднелось с правой стороны гречаное поле: розовая полоска. Подошли ближе. Тяжелые пчелы висели над розовыми цветами. (Казалось, от пчелы к цветку тянется нитка.) Наискосок через поле убегала едва приметная стежка. «Вот эта стежка!»— сказала мать, и они пошли через поле, в сторону от большой дороги. Сашко не понимал, куда они идут. От жары и усталости ему не хотелось спрашивать. Стежка вела вниз. Потянуло прохладой... и вдруг открылись у ног ивовые заросли, и стало холодно ногам. В зарослях негромко, но отчетливо говорил ключ. Сашко и его мать спустились в сумрак, в холодную, сумасшедшую, перепутанную траву. Они напились из ключа и умылись. Мать подстелила Сашку подол своей юбки. Он прилег — плечами и головой на ее коленях — и сразу заснул. Заснул с чувством наслаждения покоем, прохладой, всей этой нечаянной благодатью. Мать потом говорила, что он спал больше часу и все время улыбался во сне.

Чуть не сорок лет пролежало воспоминание в потаенных кладовых. Почему оно пришло именно в этот день и в этот час? Курьезные штуки бывают на свете...

Он пошел к себе — облиться водой и переменить белье. Терпеть не мог, чтобы от него разило пóтом, как от жеребца.

Дверь его квартиры была открыта настежь. На пороге стояла Домна, уборщица. По толстой согнутой спине ее было видно, что она удручена. Что-то случилось. Что могло случиться?

Домна повернула к нему обиженное лицо и молча посторонилась. Дорожный сундучок, зашитый в холст и обвязанный новой веревкой, стоял в передней. Листопад вошел и увидел: мать приехала!

Она мыла пол в его кабинете. Верхнюю шерстяную юбку она сняла, рукава засучила почти до плеч. Выжимая тряпку, она ядовито говорила что-то Домне. Услышав шаги, бросила тряпку в ведро и пошла навстречу.

— Здравствуй, Сашко,— сказала она.

— Мамо! — сказал он радостно.

Она отвела мокрые руки, чтобы не запачкать его, он обнял ее, они поцеловались. От нее пахло молоком, смальцем, чистым бельем, которое полоскали в речке и расстилали сушить на траве под солнцем,— всеми родными запахами детства.

— А покажься! — сказала она и внимательно посмотрела ему в лицо. По глазам ее он понял, что постарел и не особенно нравится ей. Да она и не думала это скрывать.

— О-о! — сказала она и покачала головой.— Какой же ты стал старый да поганый.— Она опять наклонилась к ведру.— Сидай, Сашко, вон там в уголочку, там уже помыто. Обожди, пока домою. На мокрое не ступай.

Он покорно переступил через лужу, сел на стул и сразу почувствовал себя хлопчиком.

— Не угодила, вишь ты,— сказала Домна с убитым видом.— Всегда всем угождала, а тут не угодила, сами схватились мыть. Как будто я не так помою.

— Вы идите по своим делам,— сказала мать.— Вы за ним не смóтрите, в хорошей такой квартире, бачь, мусору развела.

— Так я при чем,— сказала Домна,— три дня Меланья дежурила, прах ее возьми, она всегда...

Листопад засмеялся.

— Ладно, ладно,— сказал он, сидя с подобранными под стул ногами.— Чай будете, мама, пить?

— И чаю выпью, и покрепче чего, если угостишь гостью,— отвечала мать. Разогнув спину, она полюбовалась своей работой.— Все ж таки никто так не вымоет, как родная мать,— сказала она.

С детских лет Листопад гордился своей матерью.

Это была мужская гордость. Ему нравилось, как она говорит, как ходит. И лицо ее нравилось. И голос — негромкий, словно нарочно притушенный, словно она могла бы говорить громче, да не хотела.

Сейчас ей шестьдесят два года — она на семнадцать лет старше его. В темных косах уже сильная проседь. Больше всего постарели руки — стали жилистыми, не-

красивыми. И все-таки трудно ей дать больше пятидесяти, и все-таки хороша... и какая была когда-то!

Была она хорошего роста, суховатая, с длинными ногами, легкая, ловкая. Лицо орлиного складу, нежно-смуглое, без румянца. Длинные карие глаза под длинными темными бровями. Рот нежно окрашенный, с прекрасными зубами. Станет косы переплетать — до колен закроется волосами...

Бабы считали ее некрасивой: округлости нету, румянец не играет, голос незвонок... Но когда она овдовела, стали прятать от нее своих мужей. Она была не очень разговорчива; но что-то было в ее сдержанном голосе, на что оборачивались все мужские головы. И была у нее такая повадка: говорит-говорит со строгим, немного нахмуренным лицом и вдруг взмахнет длинными бровями и улыбнется, сверкнут зубы — и на всех мужских лицах в ту же секунду возникает покорная ответная улыбка...

Она выросла в большой, бедной и безалаберной семье. Шестнадцати лет ее выдали замуж за зажиточного хуторянина. Он женился на ней по горячей любви, против воли своих родных. В первый год замужества она родила сына Александра; других детей у нее не было во всю жизнь.

На третий год ее муж умер от укуса бешеной собаки. Она осталась с маленьким Сашком. Она заметно грустила, стала небрежна в одежде, до глаз повязывалась серым платком, как монашка. Мужняя родня ее не любила. Свои родичи нахлынули — за подачками. Она равнодушно раздавала им добро, оставшееся после мужа. Раздала почти все. Хозяйство пришло в упадок. Если ей не хотелось полоть, она не шла полоть, огород зарастал сорняками. Ей лень было возиться с курами, и куры одичали, ночевали в саду на деревьях. Занимал ее только Сашко. Она кормила его сладко, гуляла с ним, перешивала для него свои кофты и спидницы.

Такой дремотной и скучной вдовьей жизнью она прожила четыре года. И вдруг заехал к ней родич, муж родной ее тетки. Он был глава большой семьи, уважаемый, степенный, важный. Всю жизнь она звала его: «дядька Олексий». А он ее звал Настькой. Он проезжал мимо хутора и заехал из-за непогоды: в пути его застиг ливень, надо было переночевать где-то; и он вспомнил, что тут поблизости живет жинкина родичка, которую он знал еще девчонкой и у которой чоловик помер от бешеной собаки. Он почти не взглянул на нее, когда она вышла к нему затрапезно одетая, в сером платке до глаз. Но, угощая его,

она сняла платок и улыбнулась, и взмахнула бровями,— и он в первый раз увидел ее! Он сразу потерял свою важность, стал смеяться и шутить, стал как парубок. Она смотрела на него удивленными, сияющими глазами,— она тоже в первый раз его увидела. Так зародилась эта любовь, которую они пронесли через всю жизнь и донесут до гробовой доски.

Он оставил все свое имение жене и детям и переехал к Насте на хутор. Пожилой, женатый человек пошел в приймы к молодой вдове, небогатой, безродной! Шум поднялся в округе. Закричала, забушевала вся родня и Олексия, и Насти, и покойного Настиного мужа. Приезжал поп. Увещевали, срамили. Брошенная жена, Настина тетка, грозила выжечь разлучнице очи кислотой. Дети отреклись от отца, оскорбившего мать, опозорившего семью. Только люди, не дорожившие своим добрым именем, заходили теперь в Настину хату.

Ей было это нипочем: она только смеялась. Но Олексий не привык так жить, ему было тяжело. Он продал Настину хату и купил другую, подальше от родных мест, в селе Братешки, около станции. Хата была куплена на Настины деньги, она принадлежала Насте и ее сыну. Олексий не хотел ходить в приймаках; он поступил сцепщиком на железную дорогу, чтобы остаться хозяином самому себе. О нем говорили, что он обувает и разувает Настю, что он косы ей плетет... Плевать он хотел на эти балачки, когда он хозяин самому себе!

Отчим он был никакой. Привезет иногда игрушку с ярмарки. Скажет: «Сашко, сбегай за табаком». И больше ничего. Сашко рос по-прежнему при матери. Она его воспитывала: рассказывала путаные и нескладные — не поймешь, что к чему — истории про домовиков и русалок. Лечила тоже сама: если делался жар, она укладывала сына на печь и ставила ему горчичник на затылок. Жар проходил.

Она сшила ему новую рубашку и за руку отвела его в школу, когда ему исполнилось девять лет.

— Ты разумный, Сашко,— сказала она,— тебя учить треба. Без ученья разумной людине — ой, погано жить!..

Сама она едва умела читать и не брала книжки в руки, но любила, чтобы читали вслух, и Олексий иногда читал ей по вечерам...

Случалось, на нее находили приступы детского раздумья. Летней ночью она выходила на середину двора

и, сложив руки на груди, закинув голову, подолгу смотрела на яркие звезды.

— Дивись, Сашко,— говорила она,— сколько их, зирок, и что там на них,— как бы дознаться, ага, Сашко?

Однажды, прибежав из школы, он увидел ее сидящей на крыльце. Она ничего не делала, просто сидела, уронив руки между коленями, и смотрела на землю, в одну точку.

— Тише,— сказала она,— тише, не напугай его...

Он посмотрел в направлении ее взгляда и увидел маленького толстого червяка, *гусень,* который страшно медленно, судорожно переливаясь всем телом, полз к крыльцу.

— Лезет, лезет,— шептала мать.— Уже час целый лезет, такое малое... И куда оно лезет, и чего ему надо?.. Обедать хочешь? — спохватилась она и встала с сожалением. Взяла червяка и осторожно перенесла на траву.

— Вот здесь гуляй, нечего тебе робить в хате...

Пятнадцатилетний Сашко Листопад стоял на узком деревянном перроне станции Братешки и смотрел на поезда. Воинские эшелоны иногда останавливались здесь, и на несколько минут маленькая станция наводнялась защитными рубахами, говором, запахом солдатских тел... Поезда дальнего следования проносились без остановки. Люди смотрели из окошек. Жизнь летела, судьбы, надежды. Сашко любил пассажирские поезда!

Вдоль перрона росли серебряные тополя. Летними вечерами на перроне гуляли дивчата и парубки. Диспетчер Володька играл на мандолине и пел: «Я милого узнала по похо-о-одке...» В темные и томные украинские ночи, под шуршащими тополями, глупая песня звучала грустно, и фонарь обходчика, удаляясь по путям, тревожил сердце.

И мать любила приходить сюда, хотя ей это было совсем не к лицу: ей было уже за тридцать, а здесь гуляла молодежь. Мать садилась на самую дальнюю лавочку и сидела одна, луща семечки, ни с кем не заговаривая и не замечая сына, который гулял поодаль с компанией. Она его нарочно не замечала, чтобы не смущать. Он понимал, что она тут не для того, чтобы присматривать за ним. Ей бы это и в голову не пришло. Она приходит слушать мандолину и смотреть на огоньки, и та же тревога у нее в сердце, и те же неясные думы, что у него... Ах, как он любил ее за то, что думы те же и тревога та же!

Семиадцатилетним он уехал из Братешек. И за двадцать восемь лет всего четыре раза посетил родной дом.

В последний раз он побывал там в 1936 году, после Испании. Он больше года работал на заводе в Каталонии, научился объясняться по-испански, носил синий берет, и лицо его под пиренейским солнцем стало оливковым, как у испанца. Ему нравилась эта страна, нравились ее горы, и ее народ с мужественной, свободолюбивой душой, и ее женщины, и ее музыка,— но кончились его сроки, его отозвали в Москву, ему дали отпуск, и вот ранним летним утром он стоял у колодца во дворе своей хаты. Он стоял босиком, а земля у колодца была мокрая, ногам было приятно. Утреннее небо голубело над его головой. Прохладно шептались листочки на яблонях и вишнях, которые он когда-то посадил около дома. Аист стоял на соломенной крыше... Аист, добрая птица, ты каждую зиму проводишь в Африке, в чужих, тридевятых странах,— и каждое лето, перелетев через моря и пустыни, повидав все на свете, возвращаешься на станцию Братешки, на кровлю хаты Насти Листопад,— и Настя уж так и знает, что ты обязательно прилетишь, и бережет твое гнездо...

В тот приезд Листопада тронули старики: и мать, и отчим.

Тронула прекрасная старость Олексия. Глубокий старик, он не потерял ни памяти, ни работоспособности, был по-прежнему опрятен в одежде, воздержан в еде, полон достоинства. На станции он уже не служил, работал в колхозе — ходил за жеребятами. Он просыпался в три часа утра и шел на конюшню. В полдень приходил обедать, после обеда спал часа полтора и опять уходил к своим жеребятам — до поздней вечери.

Мать была членом правления колхоза. Она заведовала молочной фермой и находилась в острой вражде с председателем колхоза. Из страстных и путаных ее рассказов Листопад узнал, что мать хочет получше устроить помещение для скота, а председатель противится и не дает средств.

— Но я молчать не буду! — сказала мать.— Пусть он не ждет, чтоб я молчала!.. Олексий! Как будешь выходной, напишешь мне заявление в райземотдел!

Она командовала им, как прежде, и он подчинялся с той же готовностью. Ни тени старческой брюзгливости, раздражительности. Друг с другом они все оставались молодыми.

— Олексий не приходил? — спрашивала мать, возвращаясь с фермы.

— Настя не приходила? — спрашивал Олексий, едва переступив порог.

Листопад смотрел на мать и думал: откуда у нее эта энергия, этот новый живой огонь?

Ему много случалось видеть, как растут люди, как формируется их политическое сознание, как они становятся общественными деятелями,— и это казалось ему обыкновенным явлением. А то, что его мать читает газеты и ездила на съезды в Киев и в Москву,— это казалось ему необыкновенным.

— Мама, как это вы стали такие?

Она сразу поняла, что́ он имеет в виду, и улыбнулась чуть-чуть:

— А что? Тебе не нравится?

— Нравится. Я только не понимаю, как вы к этому пришли.

Она тронула орден на его груди:

— А ты как к этому пришел?.. Каждый, Сашко, идет своей стежкой, а выходит на ту же дорогу. Дорога одна, а стежек — миллионы и миллионы. Сколько людей в Радянськом Союзе, столько стежек.

— Вот она какая, моя мама! — сказал он, глядя на нее.— Вот она как разговаривает!..

...Он погостил у нее с неделю, и они расстались — на девять лет.

В первый год войны она известила его, что они с Олексием эвакуировались на Алтай. Потом было еще одно письмо из Барнаула. Потом опять письмо из Братешек — что вернулись, что немцы, уходя, спалили село и разорили колхоз, и очень трудно, но на душе радостно, что все-таки дома... Когда Листопад написал матери о своей женитьбе, она прислала свое родительское благословение. На сообщение о смерти Клавдии ничего не ответила — приехала сама. Приехала и моет пол в его кабинете.

— Я не надолго,— сказала она, закончив уборку и садясь с ним за стол.— На неделю, ну, дней на десять, самое большее...— Суровыми глазами она смотрела на Клавдин портрет над диваном.— Аборт делали, что ли?

— Какой аборт! Она голод в Ленинграде пережила, во время блокады. После голода болезнь развилась. При родах умерла.

— Проклятые, проклятые! — жарким шепотом сказала мать.— Бачь, и разбили их, и уничтожили, и лихо от злодейства тянется и тянется... Молодая, красивая,— я думала: наведет внуков полную хату...

— Не надо об этом говорить,— попросил Листопад.— Почему вы только на десять дней? Что за сроки такие? Вы у меня поживете лето.

— Лето? Ловкий ты, Сашко! Через две недели жнива начнутся. Я ж теперь голова колхоза, ты и не спросишь. И про Олексия не спросишь. Отстал ты, ой, совсем отстал от нас, Сашко!

Ему до того стало стыдно — даже покраснел.

— Как дядя Олексий?

— Скоро буду расставаться с ним,— сказала она, слегка задохнувшись, закинула голову и выпрямилась, будто подставила грудь под удар.— Скоро, скоро. Восемьдесят девятый год ему, чего ты хочешь?.. Он еще работает! Косы точил перед косьбой на всю бригаду... Ой, Сашко, до чего жалко смотреть — ведь он слепой совсем: точит, все пальцы в крови, а он не видит. Что это, говорит, кровью мне пахнет,— а сам не видит...— Слезы побежали по ее лицу, и Листопад с легкой грустной ревностью подумал, что никого в своей жизни она не любила так, как Олексия... Но и ее никто так не любил, как Олексий, и эта неизбежная разлука будет для нее самым тяжелым ударом.

— Если это случится,— сказал он,— вам там незачем оставаться. Переедете ко мне, будем вместе: где я, там и вы.

Она улыбнулась сквозь слезы прежней знакомой улыбкой, взмахнув бровями и показав подковку чуть пожелтевших зубов:

— А что я у тебя буду делать, Сашко?

— То, что все старушки. Хозяйничать будете, отдыхать. На покое жить! Вы в театре были хоть раз? В настоящем.

— А вот была! — подхватила она лукаво.— И не один раз, а шесть раз была. Как поеду в Киев или в Москву, так нас ведут в театр. И в музее была, и в Ботаническом саду, и где, где я только не была, Сашко... Помнишь, мы с тобой все ходили дивиться на поезда? Я тогда думала: да неужели я тоже когда-нибудь сяду и поеду далеко?.. А теперь привыкла ездить, где там! К тебе хотела на самолете полететь, так от нас сюда не летают...

Отвлекшись мыслью от Олексия, она опять оживилась, и лицо ее играло прежней затаенной игрой, полной чувства: как будто свет то и дело пробегал по лицу,— вот на что была похожа эта игра.

— Какой, Сашко, на сегодняшний день может быть покой! — Она задумалась.— Сашко, до чего ловко живут наши переселенцы на Алтае! О-о, ты б подивился... А у нас трудно, страшно трудно...

— До сих пор в землянках?

— Нет, в землянках уже мало кто живет, кой-как отстроились: кто сарайчик поставил, кто хатынку... Ни коней, ни тракторов. Весной замучились! Пригнали к нам немецких коров, такие хорошие коровы, нашими украинскими кормами Гитлер выкормил... Так мы на них пахали. Вот такими слезами жинки плакали, а все ж таки пришлось пахать на коровах... Но самое главное — рабочая сила. Не хватает рук, хоть ты кричи! Стареньки, молоденьки, а настоящих работников почти что нема... Я вот бачу несправедливость: такая здоровая баба, а что она робит? Ничего она не робит. Полы помоет и треплет хвостом целый день.

— Кто это?

— А Домаха твоя.

— Какая Домаха?

— Ну, Домна, уборщица эта твоя, которую я вылаяла за грязь.

— Вам дай власть! — сказал Листопад.— Вам, мама, разреши — вы бы всех наших городских Домах приспособили к вашему колхозу.

— А хлеб твоя Домаха хочет есть? — спросила мать.— Тут еще какая-то Меланья у тебя, тоже, бачь, лодырь... Так ты б с Домахи на Меланью перегрузил работу, а Домаху в колхоз! Хочет хлеб есть — пускай идет, поможет хоть трошки. Я вот голова правления; а в жнива пойду жать, как все.

— Но, мама, голубочка вы моя! Вам же седьмой десяток идет. На сколько лет вас хватит при такой работе?

— Вот и я стала загадывать: на сколько меня хватит? Так никто, понимаешь, не говорит... У тебя большой завод, Сашко?

— Большой.

— У нашего колхоза тоже очень большое было хозяйство.

— Ваш колхоз — это колхоз. А мой завод... Это я вам покажу. Такого вы в театре не увидите.

Мать и Домна пьют чай и разговаривают о своей бабьей жизни.

— Говорит: с тобой хочу быть, и больше никаких,— говорит Домна, дуя на блюдце.— Жена у него, вишь, колотовка и дочерей взрастила к нему недобрых. А он человек легкий, что заработал, то и пропил, в чужой карман не лезет, ни на кого не обижается,— скучно ему с ними. Так плакал, когда уходил,— ужасно!

Домна ставит блюдце и вытирает слезу.

— А я что ему скажу? Нешто я разлучница? Уезжай, говорю, любовь у нас общая, а судьба, знать, розная. У тебя дочеря, у тебя жена. Ты себя обязан перед ними оправдывать. «Это, говорит, была моя ошибка; ты судьба моя». Что же, говорю, что ошибка; не взашей тебя толкали на ней жениться. Ошибка твоя, и казнь твоя.

— Вот вы как рассуждаете! — говорит мать, дуя на блюдце.

— Да, я так рассуждаю,— говорит Домна, гордая своей добродетелью.— У меня покойный муж был страшно грубый, я за ним жила как на каторге, а все-таки жила. И по сию бы пору жила, если бы его господь не прибрал. Поскольку я жена, постольку я обязана быть ему верной по гроб.

— Вы его любили, мужа? — спрашивает мать.

— Куды любила! Говорю вам: чисто на каторге.

Молчат. Дуют на блюдца.

— Я вашего характера не понимаю,— говорит мать своим сдержанным голосом.— Как же так: одного не любили и жили с ним, другого любили — прогнали... Счастье наше жиночье само в руки не дается, его ухватить сумей — счастье...

— Такая мне судьба — век прожить без счастья,— надрывно говорит Домна.

— Судьбе моей я господыня,— говорит мать, глаза ее блестят.

— Вам, Настасья Ильинична, в жизни повезло, что вы встретили хорошего человека.

— Я того хорошего человека ногтями оторвала, зубами отгрызла, приговорами приговорила. Меня через него родная мать прокляла, соседи мне вслед плевали. Никого не побоялась, не отдала. Вот мое везенье в жизни. Я каждый день моего счастья в бою отбила, понятно вам?

Молчание.

— Я не уважаю ваш характер,— говорит мать.— Вам никто ничего в торбинке не принесет. У нас с вами ничего нет дареного, все завоеванное, на что ни посмотрите.

— Семью разбить — не велико завоевание.

— Поганая та семья, которую разбить можно.

Поссорились. Дуют на блюдца.

— Ешьте мед, Домаха Васильевна. Ешьте, будь ласка.

— Очень благодарна, Настасья Ильинична; я уже кушала.

— Берите еще, будь ласка.

— Очень благодарна.

И так как разговор, которым началась ссора, для Домны слаще всякого меда, Домна начинает сначала:

— Так вот. У тебя, говорю, дочеря. Какие ни есть, а твоя кровь. Ты их обязан содерживать и воспитывать. А он слушает и плачет, и плачет — рекой разливается...

Сложив руки на груди, будто вышла прогуляться, мать шла по заводскому двору. Белый в черную крапинку платочек, щегольски-небрежно завязанный под подбородком, защищал ее глаза от неистового солнца.

Лето грянуло в полную силу! Всем предметам сообщило солнце свою способность излучать жар: и камню, и металлу, и человеческому телу. Все было накалено, все обдавало знойным дыханием. Короткие черные тени лежали у подножья огнедышащих цехов,— да кому есть время прохлаждаться в тени? Пропадала животворная тень впустую.

— Жарко у вас! — сказала мать.— У нас хоть в какую жару, все ж легче: ветерок подувает...

Подошли к лесобирже.

— У нас в районе тоже есть лесопилка,— сказала мать.

— Наверно, поменьше, чем наша,— сказал Листопад.

— Трошки поменьше,— согласилась мать,— так почему? Потому что у нас леса мало. Строим из кирпича. Будь у нас столько леса, сколько у вас, мы б тоже величеньку поставили лесопилку...

Дерево не источало зноя, оно радовало светлым, свежим своим цветом, от него веяло смолистой лесной прохладой... Листопад велел запустить мотопилу, чтобы мать посмотрела, как она работает. Крановщица включила кран; он повернулся, наклонился, поднял огромное — в четыре охвата — бревно, осторожно перенес — мать

следила сузившимися глазами — и вложил в зажим. Запел мотор. Сверкающая сталь коснулась бревна и стала погружаться в его толщу. Ручейками стекали по обе стороны бревна кремовые опилки. Минуты шли. Уже где-то глубоко-глубоко, разделяя последние волокна древесины, трудилась сталь... Кусок бревна отвалился, как отрезанный ножом кусок масла, и мотор замолчал.

— Ну! — сказал Листопад.— Трошки не такая лесопилка у вас в районе? А мы эти пилы делаем сами.

Мать ничего на это не ответила, но с лесобиржи уходила неохотно, даже оглянулась разок... Пройдя немного, она сказала:

— Нам бы такую силу.

— Пилу вам такую?

— Ту машину, что тяжелое носит.

— Коров в степь выносить?

— Ой, какой ты, Сашко! Ты так со мной не говори. Не коров, а с весов зерно в камору.

— Что ж, правильно. Только куда подъемному крану с каморой. Вы сначала зернохранилище постройте.

— А что ты думаешь? — сказала мать.— Мы собирались строить. Как же! Перед самой войной. Настоящее зернохранилище было запроектировано, с бетонированными камерами для разного зерна. Все б у нас уже было, Сашко, если б не те немцы!

В сталелитейном готовились к приему плавки. Ковш был уже подведен к печи, мастер проверял ставку изложниц.

— Смотрите, мама, сейчас сталь пойдет! — сказал Листопад, придержав мать за плечи, чтобы не шла дальше.

Подручный коротко взмахнул сечкой, и огненная струя бросилась в ковш. Заполыхало на стенах и потолке невыносимое зарево...

— Вот она, красавица наша! — в ухо матери сказал Листопад, сам не в силах отвести глаз от этого блеска, от этой тяжкой, богатой струи, бегущей в ковш неукротимо, царственно и вольно... Фонтаны искр взлетали к металлическим переплетам, запахло горячо, горько и страшно,— Листопаду всегда казалось, что так должно было пахнуть на земле, когда она была расплавленным телом... Ковш поплыл над изложницами, пятидесятитонная махина, точная и осторожная в движениях... Дав матери посмот-

реть, как заполняются изложницы, Листопад повел ее из цеха. Хотел было опять пошутить: «А такого ковша вам не требуется в колхозе?»— но увидел по ее глазам, что она охвачена каким-то новым впечатлением, взволнована, смягчена,— и отложил шуточки до другого раза...

По дороге к сборке им повстречалась Нонна. Поздоровавшись с Листопадом, она внимательно посмотрела на мать, прошла и оглянулась. И мать оглянулась, говоря:

— Вон какая женщина прошла.

— Нравится? — спросил Листопад с усмешкой.

— То орлица прошла,— сказала мать,— королева. Такой попадешься — приберет в жменю, и край тебе.

Она пробыла на заводе до конца смены и посмотрела все работы. Сборка оставила ее равнодушной: «Скучное дело,— сказала она,— одно и то ж все время; это не на мой характер». Так же, к удивлению Листопада, не произвели на нее впечатления станки-автоматы, которыми он думал ее поразить. Чтобы не огорчать его, она постояла и посмотрела, как движутся части черной машины, лоснящейся от масла, и как время от времени падает в желобок маленькая металлическая вороночка... «В Москве я тоже видала автоматы,— сказала она,— на станции метро. Ты опустишь ей в щелку два раза по пятнадцать копеек, а она тебе билет выдает. А одну монетку положишь — не выдаст, ее не обманешь».

Уходя с завода, она сняла платок, взглянула и покачала головой: платок стал черным.

— То ж труд у людей,— сказала она с мягким выражением глаз,— то тяжкий и святой труд...— Она шла довольно долго молча, думая о чем-то.— Сашко,— сказала она,— ты Клаву не забывай.

— Мама, я вас просил: о Клавдии — не нужно.

— Нет, я скажу: ты — живи, как хочешь, ты еще не старый, женишься,— но ее не забывай. Вспоминай. Она тоже за то умерла, чтоб мы все жили и чтоб наш труд не пропал. Ты вспоминай, Сашко. Нет-нет и вспомни. Нельзя забывать.

Он не ответил: ему сдавило горло. И в молчании они пришли домой.

Через два дня она уехала.

Он отвез ее в город, на вокзал, и усадил в вагон. Они посидели. Беседа не вязалась. Проводник заглянул в купе,

сказал: «Провожающих — попрошу!» Они поцеловались бегло, стесняясь свидетелей. Листопад ушел...

В последний раз мать улыбнулась ему из открытого окна. Вдруг нахмурилась и уголком платка вытерла глаза...

— Ну что это за местность: уголь летит прямо в очи,— сказала она.

Поезд тронулся. Листопад шел рядом с вагоном. Она стояла у окна и смотрела на него, потом поезд пошел быстрее, быстрее, быстрее,— ушел.

Листопад смотрел ему вслед. Может быть, это была последняя встреча. Разлуки, разлуки... Эта разлука — не самая ли большая?

Поезд удалялся, он был уже как черная точка вдали, где сужаются рельсы... Маневровый паровоз вышел на пути, закричал, выпустил кудрявый дым, дымом этим застлало даль и черную точку вдали...

Мамо, мамо. Живите, будьте благословенны, спасибо вам за все, сердце мое!

Глава девятая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НОННЫ

Нонне исполнилось тридцать лет.

В это утро она посидела перед зеркалом, рассматривая свое лицо. Она нашла, что выглядит гораздо лучше. Это оттого, что она стала высыпаться. За всю войну она только два или три раза выспалась досыта, и у нее постоянно был удручающе утомленный вид.

С августа снизилась программа завода. Люди работают по восемь часов в день. Часть рабочих уехала в подсобное хозяйство. Многие подростки ушли учиться. Кое-где уже подкрашены крыши, подновлены мостовые. Каждый день слышишь: такой-то вернулся, такая-то вышла замуж... Мир!

Но еще не скоро кончится человеческое передвижение. Приезжают, уезжают, переселяются — ищут где лучше, заново устраиваются на земле, обретшей тишину.

Уехал и главный конструктор.

Его прощание с отделом неожиданно вышло трогательным. Он созвал конструкторов. Они стояли, и он стоял за своим столом, маленький, еще более ссохшийся за лето. Он сказал: «Товарищи, я расстаюсь с вами в уверенности,

что вы и без меня, как при мне...» Ну, совершенно то же самое, что говорит учитель начальной школы, передавая своих питомцев в среднюю. А они, питомцы, вдруг забыли его капризы и грубости и помнили только одно — сколькнм они обязаны учителю, как много он им дал. Они подходили по очереди пожать ему руку, и он поцеловался с каждым по-русски. И его очень жалко было, старика.

Он уехал куда-то на юг, на грязи, лечить свой ревматизм. Там он хочет устроиться на постоянное жительство. Его жена еще приедет за вещами. Квартира его пока заперта, из нее вынесены модели, телефонные аппараты, книги,— свою библиотеку он подарил заводу. Конструкторский отдел переместился в заводоуправление. На месте главного конструктора еще никого нет. Отношения между сотрудниками ровные, благожелательные...

Как будет дальше? Каков будет профиль завода, его особое место в хозяйстве страны? Этот вопрос волнует всех конструкторов: хочется заранее знать, над чем придется работать...

Нонна смотрелась в зеркало.

Тридцать лет...

По сторонам зеркала стояли две стеклянные вазы. Перед войной в день ее рождения не хватило не только этих ваз — не хватило всех ваз, какие есть в доме; пришлось забрать у Мариамны из кухни все глиняные кувшины и стеклянные банки: Андрей притащил целый цветочный магазин. В городе не было таких цветов, он кудато ездил за ними. Сейчас две маленькие вазы стояли пустые. Они отражались в зеркале, и казалось, что стоят четыре пустые вазы.

Два звонка. Должно быть, Костя. Они условились, что он придет в десять, а сейчас без десяти десять. Нонна спустилась вниз и открыла дверь. Да, Костя. Аккуратный мальчик. Она впустила его.

— Ради бога, Костя, ноги! — сказала она.— А то моя хозяйка оторвет мне голову.

Улыбаясь, он старательно вытер ноги о половик. Ночью был дождь, и к его ботинкам пристала грязь, а калош у этих мальчуганов никогда не бывает.

У Кости в руках был портфель, который она ему подарила, когда он поступил в техникум. Он открыл портфель и выложил на стол несколько маленьких дешевых зеркалец в бумажной окантовке.

— Можете себе представить, это стоило довольно дорого, сказал он,— в общей сложности двадцать три рубля. Зато я выбрал самые лучшие. Я захватил молоток и гвозди.

— Это очень хорошо,— сказала она,— потому что у меня нет ни молотка, ни гвоздей. Когда мне надо что-нибудь прибить, я пользуюсь вот этим пресс-папье.

Она с удовольствием смотрела на него, пока он возился у окошка, примеряя зеркальца к раме. Какой он опрятный и скромно-уверенный, и большие мальчишеские руки чисто вымыты, ногти острижены... На брюках складочка. Живет мальчишка в общежитии, а на брюках складочка. Утюг, значит, завели, молодцы.

— Костя,— сказала Нонна,— вы выглядите просто замечательно. У вас потрясающе джентльменский вид.

Он покраснел и сказал:

— Я думаю, вот так будет хорошо. Посмотрите. Видна парадная дверь и часть улицы. Или вам надо больше?

Эта затея насчет зеркалец пришла в голову Нонне дня три назад, когда она поняла, что Грушевой совершенно сошел с ума и что она больше не в силах переносить его визиты.

Когда Нонна начала рано возвращаться домой и к ней стало ходить много людей, старик Веденеев повесил на входной двери бумажку с надписью: «Веденеевым — 1 звонок, Н. С. Ельниковой — 2 звонка». Этим он дал Нонне понять, что они с Мариамной не желают отворять дверь ее гостям. Нонна решила, что это справедливо.

Приходили мальчики и девочки с завода и из техникума. Она сама приучила их приходить — ей нравилось на них смотреть. Приходили товарищи, инженеры. Приходили женщины, которые считали ее своей приятельницей. У них была несносная привычка целоваться. Для тех, которые красят губы, это просто неприлично.

Она всех радушно принимала, она вела эти годы напряженную трудовую жизнь и теперь была рада поболтать с людьми. Грушевой — особая статья. Голубок с пучком незабудок в клюве. После одного его посещения, когда он до двух часов ночи рассказывал ей свою жизнь, начиная от нежного детского возраста и кончая первой любовью, Нонна шла утром на работу злая и придумывала противоядие.

«При такой обстоятельности,— думала она, зевая,— автобиографического материала ему хватит на год. И он на таком взводе, что на него не подействует, если сказать ему по-честному: пошел вон, дурак. Будет еще хуже: он пустится в объяснения. Установить, что ли, на окне

систему зеркал, чтоб было видно, кто стоит у парадного?.. Тогда пусть звонит сколько угодно: меня нет дома. Веденеевы на два звонка не откроют, хоть он звони до утра».

Она увидела Костю Бережкова, шедшего навстречу.

— Костя,— сказала она,— у меня к вам дело.

Она дала ему денег на расходы и объяснила, что ей нужно.

— Чудно, Костя,— сказала она, поглядев на его работу.— Вы мне сделали подарок: сегодня день моего рождения.

Он широко улыбнулся и сказал: «Поздравляю вас». Потом они сели пить кофе. Большое удовольствие — готовить бутерброды для такого птенца.

— Если встретите кого-нибудь при выходе,— сказала Нонна, прощаясь с Костей,— и спросят меня, вы не знаете, дома я или нет. Вы идете от Веденеевых. Пусть звонит два раза.

Предчувствие ее не обмануло. Едва она взялась за перо (она решила в этот день ответить на все письма родственников и знакомых, скопившиеся за полгода), как снова позвонили два раза. Осторожно, чтобы ее не увидели с улицы, она посмотрела в зеркальце: на крылечке стоял Грушевой. Поза его выражала искательность и нетерпение. Время от времени он нажимал на кнопку звонка.

«Он звонил мне в отдел,— подумала Нонна,— и ему сказали, что сегодня мое рождение. И он кубарем примчался сюда. Он полагает, что я сижу и млею, и жду его».

На всякий случай она заперлась на ключ: вдруг Марианне надоест слушать звонки и она отворит.

«Дорогая Соня,— хладнокровно писала Нонна под отчаянные звонки,— я не писала тебе так давно потому, что...»

У Марианны был железный характер. Она не отворила Грушевому.

Очень трудно писать людям, с которыми давно разлучила жизнь.

Это милые люди, дай бог им удачи и счастья. С ними связаны благодарные воспоминания. Но человек не живет воспоминаниями. Всходит солнце и возглашает новый день. Человек поднимается от сна и думает не о том, что с ним было десять лет назад, а о том, что ему предстоит сделать сегодня. Он думает не о тех людях, которые были около него десять лет назад, а о тех, которые будут около

него сегодня и завтра. Может быть, те, прежние, были милее; но с сегодняшними ему жить. И уже этим они гораздо нужнее.

Кровное родство — большая вещь! Но прости меня, сестра: сегодня не ты мне ближе, а та женщина, которая разрабатывает технологию по моим чертежам. Мы озабочены одной заботой. Мы единый организм. А тебе все это неинтересно. Если я напишу тебе, что последний месяц моей жизни я посвятила кривошипному механизму, это тебя нимало не взволнует...

У тебя прелестные дети; я желаю им всего, всего лучшего! Как они учатся? Как твой муж, прошло ли у него воспаление среднего уха? У меня все благополучно. Работаю, как прежде. Замуж — нет, не вышла...

«Дорогая Лиза, я не писала тебе так долго потому, что...»

Нонна приехала на Кружилиху шесть лет назад, когда окончила политехнический. Она не выбирала, куда ехать. Ее послали. Ей было все равно, только не терпелось скорее начать самостоятельный путь.

У нее не было никакого опыта. Ее назначили в отдел главного технолога.

Надо было где-то жить. Ей сказали, что в доме Веденеева сдается светелка. Нонна пришла в дом, где и сейчас живет. Он ей понравился сразу. Дверь открыл Андрей, который как раз тогда приехал домой на каникулы.

Светелка была веселая, солнечная. Перед светелкой — маленькая темная передняя, где можно поставить умывальник и примус. Из окна был виден старый поселок и полоска леса на горизонте. Нонна села в старомодное кресло и подумала: хочу тут жить. Явилась Марианна. Нонна быстро договорилась: столько-то за комнату, столько-то за дрова, столько-то за уборку. «У вас очень чисто, и у меня будет так чисто?» Марианна в ответ только шмыгнула носом... Андрей стоял и смотрел на Нонну, пока та разговаривала с Марианной.

Она быстро привыкла к этой семье. Никто ее не стеснял. Марианна убирала наверху в те часы, когда Нонны не было дома. Иногда вечером раздавался стук в дверь, заглядывала Катя, молодая жена Павла: «Нонна Сергеевна, идите с нами ужинать, мы пельменей наварили». Нонна брала какое-нибудь угощение и спускалась вниз. За столом она видела, что Андрей все время смотрит на

нее. Потом он уехал в свою академию. На следующий год, окончив ученье, он приехал уже совсем.

Этот год для Нонны был годом страданий. Главный технолог спросил ее:

— У вас какая была дипломная работа?

— Шатунная группа.

(Кстати сказать, диплом у нее был отличный, она для него изучала по журналам технологию обработки шатунной группы на передовых предприятиях.)

— А приспособления вы делали? — спросил главный технолог.

— Да,— ответила она.— У нас был курс приспособлений.

Он поручил ей сделать поворотное приспособление для расточки отверстий в поршне. Она разобралась в задаче и выяснила, что ни теоретическая механика, ни металловедение, ни курс деталей машин, ни прочие науки, которым ее учили в институте, не могут ей здесь помочь. Надо увидеть, так сказать, живое приспособление, похожее на то, которое она должна сделать. Но она не нашла такого.

Она пошла в техническую библиотеку. Перелистала кучу книг... У Грюнгагена увидела похожий чертеж. Но он был дан в одной проекции, потому что книга рассчитана на опытного конструктора.

Она принесла книгу в отдел и вычертила поршень в трех проекциях. Потом вычертила основание. Потом стала думать о фиксации... В мозгу ее созрела конфигурация приспособления, но — размеры его деталей? их соотношение между собой?.. Все было темно.

Как определить пропорции, когда нет пространственного представления о вещи?..

Она терзалась неделю, пока сдала чертежи общего вида приспособления и деталей к нему. Любой конструктор сделал бы все это за два дня.

Через сколько-то времени ее вызвали в цех.

— Узнаете? — спросил мастер Корольков, спокойный блондин, с тем постоянным присутствием духа и юмора, какое бывает у старых производственников.

Нет, она не узнала свое приспособление, оно получилось совсем не похожим на чертеж, и оно было очень громоздким — это она увидела сразу. А его еще нарочно поставили на пол, чтобы посмеяться.

— Требуется специальная рабочая сила, чтобы поднять это приспособление,— сказал Корольков.

Для обработки легкой детали это действительно никуда не годилось. Кроме того, это было чудовищно по форме...

— Ничего,— серьезно продолжал Корольков.— Бывает хуже.

Кто-то из рабочих сказал:

— Главное то, что с ним сделаешь одну деталь, а без него десять. Его пока установишь, черта!

Рабочие не приняли этого приспособления. И Нонна долго носила в душе жгучий стыд.

Зато она поняла очень важную вещь: создавать новое надо на основе уже накопленного техникой опыта. Смело заимствовать детали из других конструкций, а не изобретать заново каждый болт. Быть хорошим конструктором — значит творчески, умело использовать созданное до тебя... Нонна стала присматриваться к работе станочников и изучать приспособления, которыми они пользовались: они любили то, что ускоряло процесс обработки...

Поиски, поиски! Каждая деталь — загадочный мир: какой толщины сделать шайбу? Зажать деталь гайкой или откидной планкой с быстродействующим зажимом? А габариты — размеры деталей!.. Нонна спрашивала у товарищей:

— Почему вы указываете именно эти габариты?

Что они могли ответить? Габариты рождаются в голове конструктора, как рифма в голове поэта. Они отвечали беспомощно:

— Из конструктивных соображений.

Они помогали ей. После своего первого несчастного опыта она, преодолевая гордость, стала обращаться к ним за консультацией. По-прежнему, чуть какая заминка, бежала в техническую библиотеку. Она называла библиотеку: мой пункт первой помощи.

Она чувствовала, что постепенно выходит из пеленок. Ей поручили сделать оправку для обработки шестерен — она сделала, и над нею уже не смеялись. Потом сделала чертежи приспособлений для обработки цилиндра.

Теперь она не чувствовала себя скованной, когда разговаривала с более опытными работниками. У нее еще не было их квалификации, но они говорили на одном языке.

— Девица самолюбивая и с характером,— говорил старик Веденеев.

У старика это было самое счастливое время его жизни. Все ладилось на заводе и дома. Павла выбрали в бюро

парторганизации, он шел [redacted] большие руководители. Маленький Никитка рос красивым, здоровым мальчиком. Андрей стал художником. Он пишет картину, в которой прославит Кружилиху. Написав картину, поедет в заграничную командировку. Они поженятся с Нонной Сергеевной, будет пара — загляденье.

Портила музыку одна Марийка: то выходит замуж, то разводится, противно смотреть. Как она выросла такая под Мариамниной рукой?.. Зато невестками обеими можно будет гордиться: Катерина — достойная женщина [redacted] хороший работник, и Нонна Сергеевна... Нонна Сергеевна — умница. Туда взойдет, куда простенькой Катерине и не мечтать взойти. Ровня Андрею.

Старик со стыдом вспоминал, как он противился желанию Андрея стать художником. С малых лет Андрей рисовал картинки. Он рисовал их и бросал где попало, [redacted] Мариамна, по приказанию мужа, подбирала и прятала. Когда приходили гости, Никита Трофимыч выносил картинки и говорил с притворным равнодушием:

— Вот Андрюша еще картинки нарисовал...

Гости смотрели и удивлялись, откуда у мальчика такие способности.

Но когда Андрей подрос и стал проситься, чтобы его отдали в школу, где учат рисованию, старик встревожился. Уедет, оторвется от семьи. Будет водиться с товарищами, которые не знают, что такое труд, а это самая плохая компания. Начнет пить и сопьется, тем дело и кончится. Мало ли у кого какие способности. Вот у него, Никиты Трофимыча, смолоду была склонность к музыке, он играл на корнет-а-пистоне, [redacted] не пошел же в музыканты. Есть для мужчины более достойные занятия, особенно [redacted] наше время, когда каждый должен беспокоиться о пользе государства и общества. Нравится рисовать — рисуй на здоровье, никто не запрещает. Но избери главное дело жизни, ему себя и посвяти. Картинки не могут быть главным делом жизни. Я, конечно, не говорю о выдающихся гениях: это единицы.

— Нет,— ответил мальчик Андрей с задумчивой улыбкой,— картинки могут быть главным делом жизни.

Он настоял на своем и поехал учиться [redacted] Москву, потом в Ленинград. Павел был [redacted] этом споре на стороне Андрея. Старик обиделся и долго сердился на обоих сыновей, [redacted] потом ему было неловко вспоминать об этом.

Андрей приезжал каждый год на каникулы, и вот теперь не остался в Ленинграде, где ему предлагали хорошую службу, [redacted] вернулся домой [redacted] беседует с Нонной Сергеевной о чем-то таком умном и важном, что старик Веденеев не все понимает, хотя и слушает из соседней комнаты, стараясь не пропустить ни слова...

— Единственный метод искусства,— говорит Андрей,— это правда. Все другие порочны.

«Хорошо говорит,— думает старик Веденеев.— Все, что не правда,— все порочно».

— Правда,— говорит Нонна,— то есть реализм. Боюсь, не пресно ли это.

«А ты не бойся,— думает старик Веденеев,— он знает, что говорит; тебе бояться нечего».

— Жизнь не может быть пресной,— говорит Андрей.— Наша жизнь — благородное, вольно растущее дерево. Нелепо вешать на это дерево елочные украшения; оно и без них прекрасно.

— Мне кажется,— говорит Нонна,— что вы обедняете искусство.

— А мне кажется,— с живостью говорит Андрей,— что вы об этом судите непродуманно.

«Получила?»— думает старик Веденеев.

— Ну, конечно,— лениво говорит Нонна.— Я занимаюсь другими вопросами.

— Реализм,— говорит Андрей,— настолько широк и могуч, что вмещает [redacted] себя все остальные методы.

— Говорите проще,— просит Нонна,— не показывайте свою образованность. Что вы этим хотите сказать?

«Ага, сдалась!»— думает старик Веденеев. Он снимает очки и вытирает пот, выступивший на лбу от напряжения мысли...

Все же, когда они объяснятся? Каждый день вместе. Беседуют часами. Беседы, прогулки — все это прекрасно, но девушка ждет, чтобы с ней объяснились.

Андрей писал картину: река, розовый туман над рекой, на том берегу, сквозь розовый туман,— трубы Кружилихи. Он уезжал в город перед зарей, на исходе ночи; перебирался на тот берег и до полудня писал свою картину. Он загорел, как рыбак, и среди разговоров вдруг задумывался и начинал кусать губы: он думал о картнне.

Однажды он показал ее Нонне.

— Ну? — спросил он.— Как?

Она сказала:

— Андрюша, вы знаете, [redacted] в этом ничего не понимаю.

— Нравится или не нравится? — спросил он отрывисто.

— Нравится,— сказала она.

— А что вам больше всего нравится?

Она подумала и сказала:

— Вот это облако.

— Вы действительно ни черта не понимаете,— сказал он и закрыл картину тряпкой.— А замуж за меня вы можете выйти?

Она засмеялась.

— Вам это очень нужно?

— Очень,— сказал он.— Я из-за вас не остался в Ленинграде.— И он обнял ее и сказал: — Нонна!..

Она отстранила его руки.

— Нет, пожалуйста.

— Нет?

— Нет.

...Не понимают обыкновенной человеческой дружбы. Если ей нравится ходить с ним по окрестностям и любоваться пейзажами, это вовсе не значит, что она готова быть около него всю жизнь.

У Мариамны — слух как у кошки: все слышала. Подслушала — хоть была за две комнаты,— как Андрей сделал жиличке предложение, а та отказала. В тот же вечер Мариамна рассказала об этом Никите Трофимычу.

Старик пришел в ярость: что же она о себе думает, жиличка? Какого мужа ей надо? Андрей — ей не пара?..

— Андрюша,— сказал он, оставшись с сыном наедине,— ты как хочешь, а я ее на квартире держать не буду.

Андрей посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот что, папа...— Он помолчал.— Пусть она живет. Можешь ты это сделать для меня?

— Сынок,— сказал Веденеев ласково,— я же вижу, что вся твоя жизнь около нее. И мне за тебя обидно; пойми.

— Пусть она живет,— повторил Андрей, встал и вышел.

Старик наблюдал с болью в сердце: ничего не изменилось. Нонна по-прежнему разговаривала и смеялась, а Андрей — как пришитый около нее...

«Сколько слов сказано,— думал Никита Трофимыч, слушая их разговоры,— сколько слов хороших — и все напрасно, и такой человек, как Андрюша, страдает зря».

И о заграничной командировке больше ни слова. Картину увезли в Москву, и о ней ни слуху ни духу, а Андрей — дурак! — пишет портрет Нонны Сергеевны.

«Если бы она была хорошая девушка,— думал старик Веденеев,— она бы дорожила его любовью. Такая любовь на земле не валяется: знай подбирай».

Вдруг принесли телеграмму: картина «Завод у реки» получила премию. Пришла газета, в которой был снимок с картины и большая статья. В статье Андрея называли: молодой талантливый художник. Старик Веденеев созвал гостей на большую выпивку. Такого праздника в доме не было со дня свадьбы Павла. Праздник был испорчен Нонной: она опоздала, и Андрей сидел скучный, как день осенний. Наконец она явилась, и надо было видеть, как взошло солнышко, как Андрей стал говорить, двигаться, смеяться... Этого вечера Никита Трофимыч не простил Нонне.

А Нонна опоздала потому, что ее задержали на заводе. Задержал разговор, один из тех разговоров, которыми отмечаются этапные пункты судьбы. Утром она сдала чертежи приспособлений для обработки деталей мотопилы. Мотопила — это было новое детище завода, детище главного конструктора. После работы главный конструктор вдруг вызвал Нонну.

«Неужели что-нибудь напутала?» — подумала она.

Главный конструктор был тогда еще здоров и сидел в заводоуправлении. Она сейчас же пошла к нему.

— Садитесь,— сказал он.— Я хотел поговорить с вами о вашем будущем. Вы как, серьезно собрались посвятить себя технике?

— Я не понимаю,— сказала она,— что вы имеете в виду.

— Что для вас машины? Страничка биографии или жизненная программа?

Она улыбнулась его высокопарности.

— Я не думала об этом.

— Ну да, ну да! — сказал он с сердцем.— Сегодня вы подаете надежды, а завтра уйдете в декретный отпуск. А потом у ребенка коклюш, корь, всякое там — как оно называется,— и вы бросаете работу... Сколько раз я это видел!

Собственно, какое отношение все это имеет к ней?

— Вот я и хочу знать, у вас это всерьез или от нечего делать?

— Мне казалось,— сказала Нонна холодно,— что я достаточно серьезно отношусь к моим обязанностям.

— Не то слово! — сказал он.— Обязанность — не то слово. Наше дело, как всякое искусство, требует жреческого служения.

Пожалуй, она готова согласиться с ним.

— Что такое настоящий конструктор? Он должен быть металловедом, механиком, моделистом, литейщиком. Должен знать термообработку, электросварку, инструмент — и быть художником. Обязательно быть художником! Науки конструирования нет, как нет рецепта, как написать «Войну и мир». Мы идем дорогами творцов.

Разговор становился интересным.

— Художник,— сказал главный конструктор,— это человек, обладающий чувством прекрасного. Ощущение меры, формы, габаритов мне необходимо не меньше, чем Рафаэлю.

Нонна вспомнила свое первое приспособление...

— Чувство изящного развивается,— сказал главный конструктор,— оно приходит с опытом — при одном условии: если посвятить себя своей специальности полностью. Я видел вашу последнюю работу. Мне рассказывали, что вы быстро поднялись и пошли вверх. Я вам предлагаю работу в моем отделе.

Нонна молчала, опустив глаза.

— Вы согласны?

— Это так неожиданно,— сказала она.

— Вам что же, технология больше по душе?

Она уже привыкла работать у главного технолога, и о ней там сложилось мнение, которым она дорожила. Здесь ей придется заново завоевывать себе место. Кроме того, о неуживчивости главного конструктора ходит столько разговоров...

— Вы не понимаете себя,— сказал главный конструктор,— у вас способности, вы их разовьете, работая в моем отделе. У вас живая мысль. Я предлагаю вам лучшее, что вы могли бы пожелать для себя. Идите, подумайте, завтра утром скажете ответ.

Вот почему Нонна опоздала на веденеевский пир. И на пиру она сидела задумчивая, все решала: переходить к главному конструктору или нет.

Утром она позвонила ему и сказала, что согласна.

Вот так обстояли у Нонны дела накануне войны.

Уходя из дому, Андрей сказал отцу:

— Дай мне слово, что она будет жить здесь, пока сама не захочет уйти.

— Хорошо,— сказал старик Веденеев.

— Что бы со мной ни случилось,— сказал Андрей.

— Хорошо,— сказал Веденеев тихо.

— И что вы будете относиться к ней с уважением и симпатией, как она заслуживает.

Старик прижал руки к груди.

— Андрюша,— сказал он,— с уважением — да; но ты не можешь требовать...

Андрей усмехнулся и погладил отца по спине.

— Понятно,— сказал он.— Ты не прав... Ну, ладно. Замяли.

Опять у Веденеева был приступ тоскливой злобы, когда он смотрел, как Нонна прощалась с Андреем: хоть бы слезинку пролила!.. И на призывной пункт не пошла проводить, только вышла за калитку...

Каждые два-три дня приходило ей письмо от него. Иногда сразу несколько писем. Своим Андрей писал куда реже. И это тоже было для Никиты Трофимыча источником ревности и обиды.

С тех пор как она отказала Андрею, старик был с Нонной официально сух, а Мариамна едва отвечала ей. Нонне не надо было объяснять, что это значит. Когда Андрей уехал, она перестала ходить к ним. Ее не звали.

Они не хотят ее. Это их право. Жалко будет, если попросят освободить квартиру: она тут привыкла. Но от квартиры не отказывали.

По-прежнему Мариамна приходила, когда Нонны не было, и убирала комнату. По-прежнему складывались у печки дрова, чтобы Нонна могла протопить перед сном. Никаких других отношений не было.

«Так лучше,— думала Нонна,— без излияний и упреков». Квартирную плату она оставляла на письменном столе; на деньги клала бумажку с надписью: за такой-то месяц. Деньги исчезали вместе с бумажкой. Платила Нонна аккуратно: Веденеевы любили порядок.

У нее не было времени раздумывать обо всем этом. Иногда некогда было даже прочесть письмо Андрея. Письма лежали по нескольку дней, пока она выкраивала для них четверть часа. И уж, разумеется, она не могла писать ему часто и помногу...

В те годы сместились обычные понятия о рабочих часах, об отдыхе, о служебных обязанностях. Сутки не делились на часы, ночь была не для сна. Силы людей удесятерились, и все жили известиями с фронтов, в великом напряжении ожидая неизбежного перелома событий. И Нонна, как другие инженеры, работала на сборке и отгребала снег на путях и, как все, не видела в этом подвига, а видела только необходимость. Конвейер и снегоочистка — это было по вечерам, а днем она была конструктором, и начальством ее был не кто-нибудь, а Владимир Ипполитович, который удивительно до чего умел выматывать жилы из людей... Были времена, когда Нонна почти не отходила от чертежного стола, у нее затекали ноги, горели шейные позвонки...

Во вторую военную зиму она получила задание усовершенствовать сепаратор, применяемый для очистки горючих масел. При существовавшей конструкции очистка производилась в три цикла; трижды приходилось пропускать горючее через аппарат, пока получали нужные результаты. Необходимо было сократить обработку до двух циклов. Нонна просидела над этой работой больше месяца. Проба за пробой оказывались неудовлетворительными: задача была не из легких. Наконец Нонна решила ее.

Поздно ночью она закончила последний чертеж. И в ту же ночь страна услышала по радио о сталинградской победе. Гора свалилась с плеч.

Как ни устала Нонна, она не ушла с завода: не то было настроение, чтобы сидеть дома. Ушла только на другой день, часов в пять.

Был тихий мороз, заря догорала, высоко лежали пуховые снега. Нонна шла, не чувствуя усталости, а только радость: от победы под Сталинградом радость и от своей маленькой победы радость. Две радости дополняли одна другую. Было очень хорошо на душе.

Около дома она увидела маленького Никитку. Он стоял с салазками, вид у него был нерешительный, словно он размышлял: идти кататься или вернуться домой.

— Ну что, Никитка? — спросила Нонна весело и, вынув руку из муфточки, мимоходом погладила мальчика по щеке.— Ну что, дорогой? Иди катайся, смотри, какой снег!

Он поднял на нее недоумевающие глаза и сказал:

— Дядю Андрюшу убили.

Сняв пальто, она спустилась к Веденеевым.

Полтора года она не входила в эту дверь, за которой ее когда-то так нетерпеливо ждали.

Она постучалась.

— Войдите,— послышался голос старика Веденеева.

В знакомой комнате в прежнем порядке стояла мебель, и на обычном своем месте сидел Никита Трофимыч. Лампа не была зажжена, плечи и голова старика силуэтом выделялись на сумеречном фоне окна. Догорала за плечом узкая коричневая полоска зари. Тонко шелестела бумажка — Никита Трофимыч скручивал папиросу. Нонна стояла у двери и ждала, пока он скрутит папиросу.

— Заходите, прошу вас,— сказал он и закурил.

Нонна подошла.

— Я узнала о вашем горе,— сказала она и испугалась: все слова звучали сейчас фальшиво в этой комнате. Лучше молчать.

— Садитесь, прошу вас,— с сухой вежливостью сказал Веденеев и придвинул Нонне стул.

Она села. Папироса в губах Веденеева прерывисто вспыхивала, освещала нахмуренное, в каменных складках лицо.

— Да, горе,— с хрипотой сказал Веденеев.— Как же не горе, когда уничтожается...— Он не сказал, что́ уничтожается.— Двадцать восемь лет. Ведь это что ж...

Папироса выпала из мундштука, рассыпалась по полу искрами. Он нагнулся поднимать ее и долго шарил по полу, пальцами туша искры и ища окурок.

Из задних комнат вышла женская фигура, постояла, спросила мужским голосом:

— Свет зажечь?

— Здоровайся,— сказал Веденеев, не отвечая на вопро́с.— Нонна Сергеевна у нас.

Мариамна подошла — лица ее Нонна не видела — и сказала:

— Здравствуйте.

— Она! — тонко закричал Веденеев, указывая на Мариамну вытянутой рукой, и в сумраке было видно, как дрожит эта рука.— Она! Весь груз моего вдовства приняла на себя! Детей моих, сирот, пожалела и служила им всю жизнь, как родная мать,— на том и состарится, с тем и в гроб ляжет!.. Вы! образованные, в мужеских пиджаках,— вы ведь на такую бабу с высоты своей взираете, вы ее за самое бесполезное почитаете, за самое низменное,— вот вы как! вот вы как!.. А не подумаете, что она, не при-

севши, весь день по дому топчется, чтобы рабочему человеку существовать на высоте! Вы не знаете, что значит, когда трое детей за юбку держатся: тому нос утереть, того к доктору своди, тот штаны разорвал; и всех накорми, обшей, обмой!.. Свои дети — и то трудно, а когда чужие? У святой, я думаю, и то иной раз душа воспротивится: чего это я,— другая зачала, другая родила, а я им себя по кровинке отдавай! Да вам разве это понять! Вы это ни во что не ставите... А я вам скажу, что для меня она — первая из женщин. Потому что она моих сирот на своем горбу вынесла, все им отдала!.. Вы знаете, что она своих детей отказалась иметь — боялась из-за своего ребенка чужим детям мачехой стать?! (Мариамна стояла без движения у печи, прислонясь спиной к изразцам.) Она ничего не требует: ни спасибо, никакой другой награды! Но я, по сути дела, обязан вечно ей ноги мыть — за Марью, за Павла и за Андрю... Андрюшу... покойного сына моего!

Он уронил голову и зарыдал лающим рыданьем.

Женщины не шевелились, дыхания их не было слышно. Уже совсем стемнело. Полоска заката погасла за окном. Мариамна отделилась от печи, подошла, стала за спиной старика.

— Поди ляжь,— сказала она тихо, с такой мягкостью, какой не ждала от нее Нонна.— Ляжь. Что сделаешь...

— Она его не жалеет! — прокричал Веденеев, поворачиваясь к Мариамне.— Думаешь, потому пришла, что жалеет? От хорошего воспитания пришла! Полагается прийти, она и пришла! У нее для него и слезы нету! А он только ее одну и признавал...

Нонна встала и ушла к себе наверх.

У нее тоже было темно. Она прилегла на кровать, свесив ноги в туфлях, чтобы не пачкать покрывало. Она почувствовала себя разбитой. Не было даже сил нагнуться, чтобы расстегнуть туфли.

Тишина была в доме. Нонна неподвижно смотрела перед собой, и перед нею вдруг встало лицо Андрея. «Жизнь — благородное, вольно растущее дерево; незачем вешать на него елочные игрушки, оно и так прекрасно...» Она услышала этот молодой голос, забытые слова всплыли из памяти сами собой...

Она заплакала. Она плакала не о нем. О благородных жизнях, отданных за прекрасное?.. О стариках, убитых скорбью?.. О том, что в мире так много печали, когда должна быть только радость?.. Или о том, что большая любовь, которой она была окружена как воздухом, которую она чувствовала даже на расстоянии,— что эта любовь ушла навсегда, и пусто сердцу, и одиноко?..

Обо всем.

Глава десятая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НОННЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Это было и прошло. «Что прошло, то быльем поросло». «Что пройдет, то будет мило». Не все бывает мило. Есть дни, на которые и оглянуться не хочется: живешь, и сам перед собой делаешь вид, что не было у тебя этих дней...

Была девочка с аномалией — так ее называли в семье. Мальчики строят модели, а девочки играют в куклы и занимаются рукоделием. Эта девочка строила модели. Собственно, строили соседские мальчишки, а она командовала: сделаем то, сделаем это. По всей квартире валялись куски железа и проволоки. Соорудили светофор и поставили на окно: когда отец был дома, на светофоре горела красная лампочка. Построили мост, который разводился, как настоящий. Маша велела убрать его с рояля и вынести в переднюю. Сестра Соня споткнулась о мост, разорвала шелковый чулок и в сердцах вышвырнула проклятую игрушку на черную лестницу. Нонна и мальчишки издевались иад Соней: психопатка. Подумаешь, чулок, велика важность. Захотим — построим десять таких мостов...

Детство было как детство: папа, мама, школа, летом дача, зимой коньки. Жили у Тверской, которая тогда еще не была переименована в улицу Горького, в тихом переулке. На Тверской было людно, по вечерам — свет, сияющие витрины, а в переулке — провинция: старые дома, прохожих мало, голубой снежок, зорька малиновая, как леденец, за ветхой церквушкой... Москва была — родной дом. Все было известно: что у Мясницких ворот заложили шахту для постройки метрополитена, что на Трубной вздорожали снегири, что Москвин заболел и неизвестно — пойдет во вторник «На дне» или что-нибудь другое...

О, чистые сны; о, горны и красные галстучки; о, старый дом в переулке с ветхой церквушкой!..

В пятнадцать лет вдруг стало ясно, что техника ерунда. И снегири ерунда, и горны, и спорт. Есть только одно дело, достойное того, чтобы о нем думать: любовь. Сладчайшие и горчайшие стихи написаны о любви. Откроешь

книгу — в ней любовь, пойдешь в театр — говорят о любви, поют о любви, танцуют любовь. Ленский погиб от любви, Онегин страдал от любви, Демон убил Тамару смертельным ядом своего лобзанья, Отелло задушил Дездемону, Анна Каренина бросилась под поезд... И что такое любовь?! «Ветерок, шелестящий в розах, нет — золотое свечение крови...» Суламифь, Изольда, Джульетта, леди Гамильтон, Айседора Дункан... Тысячелетия назад — как сегодня, и сегодня — как тысячелетия назад...

Любовь явилась раньше, чем предмет любви.

Когда никого не было дома, Нонна смотрелась в зеркало. Она могла смотреть часами: вот ее глаза; вот ее губы; вот она улыбнулась; вот закинула руки за голову и опустила ресницы...

Она была красива. Она это не столько видела, сколько чувствовала каждой клеточкой своего тела: я красивая! Любить меня — радость и счастье!.. Но все, все это пропадало зря: мальчики, которые таскали в дом проволоку и гвозди, а теперь смотрят издали с почтительным недоверием,— это не объекты для той любви, о которой пишут в романах...

Было лето. На Пушкинской площади продавали цветы, спрыснутые водой. Площадь пахла горячим асфальтом, бензином и цветами. На Тверском бульваре шептались парочки. Любовь была в шепотах, в запахах, в каждом бутоне. И к первому человеку, который этого захотел, девчонка бросилась безудержно, закрыв глаза и не думая ни о чем.

Она опомнилась, как после тяжелого угара. Так же было тошно, и не собраться с мыслями, и не смотрела бы ни на что. Это — любовь? «Ветерок, шелестящий в розах...» О, низость!..

Неужели все кругом лжет: и книги, и музыка, и человеческие глаза, и человеческие голоса — все только маска, а под маской — животное, зоологическая особь?..

Не может быть! Ведь вот и она — униженная, дрожащая от омерзенья к себе — все-таки чувствует: она — человек! Человек, а не зоологическая особь! Дороговато заплачено за это сознание; другим оно обходится дешевле... Ну, что сделано, то сделано; впредь не повторится. Она — мыслящее существо прежде всего, прежде всего! Она докажет это!..

— Девочка,— говорила мама,— когда это кончится? Когда ты войдешь в колею? Все крайности, аномалии; это становится утомительным...

А Нонна на все смотрела отсутствующими глазами... Это было летом, а осенью — совершенно другая картина: она зарылась в книги. Попросила папу заниматься с нею немецким языком. В театр не выгонишь: вдруг охладела и к Большому, и к Художественному, и к кумиру своему — Алисе Коонен. Даже на «Адриенну» отказалась пойти, когда однажды собрались всей семьей... Похудела, побледнела,— мама боялась за ее легкие...

Человек, с которым сошлась Нонна, был не первой юности. Позер, краснобай, он привык быть баловнем женщин. Многих он оставил, не заботясь о том, как это отразится на их судьбе. Он был озадачен и оскорблен тем, что его прогнала девчонка,— и когда прогнала: на самой заре их отношений! «Я вас видеть не хочу,— сказала эта сумасшедшая дура, когда он пришел к ним в дом,— сделайте, пожалуйста, так, чтобы я вас больше не видела, иначе я скажу папе». Папа был начальством этого человека, и человек не захотел поднимать историю. Он проглотил обиду и возмущение и сделал так, что Нонна его больше не видела.

...Не все, что пройдет, будет мило. Как горькая муть, лежит иное воспоминание на дне души. И холод от него, и отвращение.

С тех пор прошло четырнадцать лет. Она — конструктор большого станкостроительного завода. Она ничего не растеряла за это время — ни сил, ни молодости; как в сказке — сколько она ни отдавала, у нее не становилось меньше. Напротив: с каждым днем она богаче, у нее растет уверенность в себе. Война навсегда закрепила эту уверенность.

Война также приучила Нонну мыслить шире, в больших масштабах: приходилось думать о громадных территориях, громадных материальных ценностях, о судьбах народов. Ничто не измерялось грошами, счет шел на миллионы и миллиарды, чего бы это ни коснулось. В какой-то степени по направлению мыслей они все стали государственными людьми...

Великолепно, когда имеешь возможность бесстрашно смотреть в свой завтрашний день и в завтрашний день твоей страны. Отсюда другое великолепное ощущение — независимости: с кем хочу — я ласкова и приветлива; не понравился ты мне — приму пренебрежительное выраже-

ние, замкнусь от тебя — и думай обо мне что хочешь; подлаживаться к тебе не стану: на каждого не угодишь.

Главный конструктор порядочно поиздевался над нею. Ведь это издевательство, что он приковал их, конструкторов, к своей персоне и заставил работать у него дома. Дурацкий каприз. Совершенно прав председатель завкома, который, говорят, с пеной у рта выступал на партийном активе против этого безобразного нововведения. Мог сам работать дома, а с ними сноситься по телефону; так некоторые и делают. А они бы работали в заводоуправлении. Раз в две-три недели приезжал бы проконсультировать их. Они конструкторы, а не сапожные подмастерья. Восемь месяцев они были на положении сапожных подмастерий. Было противно и унизительно звонить у этой двери, обитой толстым серым войлоком. А сколько раз в течение дня им приходилось бегать на завод. То в измерительную лабораторию, то на испытательную станцию, то вызывали в цех...

Нонна вытерпела все это до конца, потому что иначе ей пришлось бы уйти из отдела. Никто не защитил бы ее от гнева главного конструктора: директор, посмеиваясь, всегда оправдывал его, парторг не вмешивался, председатель завкома — что же, один в поле не воин... Ей пришлось бы уйти, и она бы потеряла превосходного учителя. И она терпела, и даже ездила с ним на завод в идиотской роли не то адъютанта, не то няньки при больном младенце. Но она делала это не из страха перед ним. Никогда она не заискивала. Ни малейшей не сделала попытки установить более тесное трудовое содружество, хотя иногда ей казалось, что он ждет этого от нее. Дерзости его выслушивала не моргнув глазом. Когда другие работники отдела жаловались на него, она пожимала плечами: милый мой! на то вам даны голова и язык, чтобы вы постояли за себя.

Хорошо, что он уехал. Жалко, конечно,— надо понимать: пятьдесят пять лет был человек на производстве, и вдруг — курортный городишко, безделье... но хорошо, что нет его. Голова яснее, решения смелее приходят, когда нет над тобой этого ежечасного мелкого контроля...

Он сужал их горизонты, в этом была его ошибка как руководителя; в этом проявилась старость. Как он срезал ее, когда она пришла к нему с тракторными деталями. Он считал, что они художники и больше ничего. А она по-другому понимала свои задачи.

Еще не поздно поставить этот вопрос. Завод переживает странные дни. Как в военное время, планы из наркомата спускаются ежемесячно: столько-то таких-то станков, столько-то таких... Планы пока небольшие. Исчез накал, который вынуждает работника постоянно держать себя в струне. Не те ритмы. Пятилетний план давал почти физическое чувство достижения: еще усилие, еще, еще — осталось несколько шагов, остался один шаг — и вот финиш, цель достигнута! И с нового старта начинался дальнейший стремительный бег...

В отпуск пока пойти, что ли. Но еще не дают отпусков. Рабочую силу придерживают, хотя ее сейчас явный избыток на заводе. Цех Грушевого работает случайные мелкие изделия. Ощущение ожидания во всем и у всех...

Ремонтируют оборудование, начали реконструировать литейные цеха по проекту начальника отдела механизации Чекалдина. Нажали на техническую учебу. Между рабочими высших разрядов проводят соревнование на звание лучшего по профессии... Ожидание во всем.

Директор ездил в Москву — приехал, видимо, ни с чем. Интересно, что они там говорят между собой по этому вопросу, большие начальники.

Она решила обратиться к директору. Он здесь самый крупный человек, пусть поднимет вопрос от своего имени: он, по-видимому, смертельно самолюбив. Она подарит ему свою инициативу, ей это, как говорится, ни копейки не стоит: ее честолюбие в другом.

Он неплохой организатор. Живо отзывается на все новое, смело выдвигает людей. Рабочие говорят о нем с симпатией. Он для них свой парень, несмотря на пышный чин генерал-майора инженерно-артиллерийской службы. Как спокойно, по-домашнему шел он тогда рядом с деревенской женщиной в платочке! Это была его мать, сказали Нонне. Он показывал ей завод. Он почти постоянно на заводе, ходит из цеха в цех; на ходу всей пятерней отмахивает назад густые невьющиеся волосы. Воспитан неважно: часто не здоровается. Но душевной грубости в нем, кажется, нет. Однажды она видела, как он сидел на корточках — это очень смешно, когда такой большой человек сидит на корточках! — и, держась за свои колени, рассматривал что-то в механизме автомата «New-Britain». У него было выражение ребенка, изучающего новую игрушку...

Вчера она позвонила его секретарше: может ли директор ее принять? Секретарша передала: сегодня дирек-

тор принять не может, едет на бюро горкома; пожалуйста, завтра в два часа, если вам удобно. Секретарша у него обаятельная.

В четверть второго Нонна вышла из дому. Без трех минут два вошла в преддверие директорского кабинета. Анна Ивановна, седая, румяная, с усиками, встретила ее доброжелательно:

— Присаживайтесь, Нонна Сергеевна.

Она исчезла в дверях кабинета и сейчас же вернулась.

— Пожалуйста...

Анна Ивановна сообщала директорскому святилищу в высшей степени респектабельный тон.

Листопад сидел и читал газету. Он не тотчас поднял голову, когда Нонна вошла, а несколько секунд еще дочитывал какую-то статью. Он встал, когда Нонна уже была у самого стола, и отодвинул газету с видом сожаления. Под пиджаком у него была надета косоворотка; верхняя пуговка косоворотки расстегнута. Все это выглядело совсем не респектабельно.

— Садитесь, товарищ Ельникова.

Мог бы назвать по имени-отчеству. Все на заводе зовут ее Нонна Сергеевна.

— Что скажете хорошенького?

— Я по поводу наших производственных перспектив.

Он смотрел на нее с прежним безразличием. И эта туда же. Господи боже мой, сколько за последнее время в эту комнату приходило людей «по поводу наших производственных перспектив»! У каждого свои планы; каждый защищает свою излюбленную продукцию. Один спит и во сне видит экскаваторы. Другой, любитель изящного, носится с настольными станками. Третьего с чего-то позывает на пластмассовые изделия: по линии ширпотреба выпускать мыльницы и чашки, используя для этого освободившийся цех Грушевого. Может, эта дама тоже пришла с мыльницами?

— Цех Грушевого сейчас используется бессистемно. Мы просто передаем туда детали, не требующие особенной квалификации.

Скажи на милость: «мы». Мы передаем...

— Цех не имеет профиля. Он будет его иметь, если за ним закрепить какой-то вид продукции. Это имеет значение и для лица завода в целом.

Чего она меня учит? Что, я без нее этого не знаю? Уселась и учит.

— Мне кажется, что самое рациональное — перевести цех Грушевого на тракторные части.

Его взгляд оживился: а, лукавая баба, что выдумала! Такое выдумала, что не знаешь, как ей и отвечать.

— Мы ведь и сейчас выполняем заказы на запасные части к тракторам,— сказал он небрежно.

Она покачала головой:

— Вы понимаете, о чем я говорю: о том, чтобы запчасти стали у нас не случайной, а постоянной номенклатурной продукцией.

Тряся коленкой, Листопад молчал. Есть вещи, которые неловко говорить вслух. Неудобно партийцу-производственнику взять и брякнуть: «Что вы ко мне с мелочью лезете». О мыльницах он мог бы так сказать, а о запчастях — язык не поворачивается: лучше, чем любой другой инженер на заводе, он, мужик, понимает, что значат для послевоенного советского хозяйства тракторные части... Но, с другой стороны, почему этой неимпозантной продукцией должен заниматься именно его завод? Может, ее закрепят за другими предприятиями, а его сия чаша минует, дал бы бог. А он бы выпускал машины, имеющие решающее значение в предстоящем грандиозном строительстве послевоенных лет: станки, экскаваторы, мотопилы (вот когда мотопила Владимира Ипполитовича выходит в королевы!).

Нонна продолжала хладнокровно: именно сейчас можно переоборудовать цех Грушевого для выпуска тракторных деталей. Есть и время, и люди. Все заказы по запчастям сосредоточить у Грушевого — это очень легко сделать, если обеспечить соответствующую технику.

— А с Грушевым вы на эту тему говорили?

— Говорила.

— А он что?

— Ну, конечно, слышать не хочет. Разве вы не знаете, как у нас относятся к запчастям. Я могла бы не беспокоить вас, а протолкнуть свой проект через организации. Но для этого нужно особое прилежание; у меня не хватит терпения.

Хватит терпения. Вон у тебя какая повадка. Ты за свое будешь драться до последнего.

— Если мне удастся вас убедить, пожалуйста, не упоминайте нигде, что это исходит от меня: чего доброго, мне придется все это тянуть, как инициатору.

Покупаешь. Предлагаешь мне в подарок твою инициативу, ужасно она мне нужна, всю жизнь мечтал... Постой, вот я сейчас тебе отплачу.

— Ну, а как же! — сказал Листопад благодушно.— Как же иначе! Конечно, вы, как инициатор, должны играть главную роль! Мы их все тогда по конструкторской линии вам и передадим, тракторные части...

Получай за свой проект!

— Нет,— сказала она,— я на тракторные детали не пойду. Немного, по совместительству,— пожалуйста. Но исключительно на запчасти — нет. Это не входит в мои планы.

— А почему? — спросил он все тем же ласковым голосом.— Хорошее дело, вам под него целый цех отдать не жалко... Чего ж не хотите?

Они пристально взглянули друг другу в глаза и улыбнулись оба. Как-то вдруг этим взглядом они заглянули друг в друга, и каждый увидел другого по-новому.

— Я конструктор машин,— сказала она.— Нерационально использовать меня на запасных частях.

Пусть ему будет известно, что она знает себе цену.

«Откровенно! — подумал Листопад.— Я давно знал, что тут самомнения — ой-ой сколько! Я таки умею читать в человеческих душах».

Зазвонил внутренний телефон. Он взял трубку и крикнул: «Что надо? Через полчаса: я занят...» Нонна встала.

— Я все сказала. Остальное — дело дирекции. Видите ли,— сказала она, надевая перчатку,— нельзя принимать во внимание только громкое имя завода. Приходится в первую очередь думать о потребностях государства. Вы знаете, в каком состоянии находится наш тракторный парк после войны...

Она ушла. Она сказала на прощание несколько сухих, общих слов. Но он задумался над ними. Подумал о бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах... «Вот такими слезами жинки плакали, а пришлось пахать на коровах»,— вспомнил он тихий голос матери... То, что предлагает эта женщина,— настоящее дело, партийное дело! Да, а сама небось не хочет переходить на запчасти! Так и изложила, без лишней скромности: я, дескать, создана для крупных достижений, мелочью пусть занимается кто-нибудь другой... Нет, это нечестно! Если болеешь за что, так уж потрудись болеть до конца, иначе у меня в тебя веры нет!.. Ему вдруг захотелось — он уже сделал движение — догнать ее, вернуть сюда, поспорить по-настоящему, начистоту, не выбирая слов... Но он одумался: еще чего! Сейчас Рябухин придет на разговор.

Запершись на английский замок, Рябухин долго разговаривал с Уздечкиным.

— Нет, этого я не понимаю,— говорил он.— Тебе личная неприязнь застит глаза.

— Да личная неприязнь ведь на чем-то базируется? — возразил Уздечкин.

— Ангелов не бывает.

— Он индивидуалист.

— Нет, не индивидуалист. Неправильно его понимаешь. Он хороший человек,— сказал Рябухин.

— Ну и целуйся со своим хорошим человеком,— сказал Уздечкин.

— Ценный человек. Человек для жизни, для созидания. И надо ради больших душевных качеств прощать людям мелкие недостатки.

— Это у него мелкие недостатки? — поднял угрюмые глаза Уздечкин.

— Правда твоя: у него мелкого ничего нету. Ну, такому можно простить и крупные недостатки и жить с ним в мире.

— Я тут на заводе вырос,— сказал Уздечкин сдавленным голосом,— меня старые рабочие вот таким мальчонкой помнят. Я мимо новых домов иду и вспоминаю, что было на месте каждого из них. Пионером тут бегал, и в комсомол тут вступал, и в партию. И является, понимаешь, новый человек, ставит себя выше всех. Явился и отпихнул: туда не лезь, этого не касайся, это не твое дело... И от зазнайства, от самомнения совершает ошибки, за которые многие платятся. Вот ты посмотришь, чем кончится история с огородами.

— А чем она кончится? Картошку убирать начали, возят в хранилища.

— Да кто убирает? Те же рабочие. Никаких пленных ему, конечно, не дали, все фантазия. Окучивали кое-как, некому было; картошка дрянь, мелкая. Хорошо еще, подоспело мирное положение, оказались свободные руки для уборки, а если бы иначе?.. Ох и сел бы директор со своей тысячей га! Ох и сел бы!..

Рябухин слушает и смотрит на собеседника: лицо у Уздечкина желтое, виски запали...

— Федор Иваныч,— говорит Рябухин тихо,— что, дома у тебя больно плохо? Выглядишь ты паршиво...

Уздечкин краснеет.

— Людям до всего дело,— недовольно говорит он.

— Подожди, подожди. Послушай. Спрашиваю как товарищ: что тебе нужно, как тебя облегчить, ты скажи...

— Ничего мне не нужно. Живу и живу.— Уздечкин со стулом отодвигается от Рябухина, резко встает.— Всё?..

— Что такое! — говорит Листопад, послушав Рябухина.— А вы не можете оставить меня в покое с вашим Уздечкиным? Можете? Ну, что ты клохчешь, как квочка? Что я, работать ему мешаю? Ты мне лучше вот что скажи, как ты смотришь на такую вещь: если мы бывший литерный цех полностью переведем на запасные части для тракторов? — Рябухин удивился, открыл было рот что-то сказать...— Постой. Все это известно. Ты сперва послушай...

И начал говорить то, о чем думал перед приходом Рябухина: о бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах...

А Нонна, придя домой, затопила печку. Она любила топить печку и всегда топила сама. Сначала она взяла тонкие светлые лучинки и подожгла их; они загорелись нежным беглым огнем. Потом положила несколько сухих полешек. Стоя на коленях перед печкой, она смотрела, как разгораются полешки, как летят легкие искры... Когда разгорится как следует, она положит вот эти толстые бруски, сырые бруски с корой и мохом, которые горят долго и глухо, синим угарным огнем. Ничего, что сырые,— это береза, она и сырая горит хорошо. Груда золотого жара остается после нее; нельзя сразу закрывать вьюшки, а то можно угореть насмерть. До чего приятно в осенний день в чистой комнате затопить печку!

Нонна встала с колен, включила репродуктор — был час музыки — и села к столу: надо же кончить с письмами... Два-три аккорда, знакомых с детства, донеслись из черной трубы, и далеко-далеко, в родной Москве, запел знакомый тенор: «Во поле березонька стояла. Во поле кудрявая стояла...» Человек, который пел, еще недавно был безвестен; он был простой человек, красноармеец, солдат; Нонна сначала слушала его по радио и полюбила

его пение больше всякого другого, а потом уже, когда он стал знаменит, узнала его имя. Русский жар, и русская тоска, и русское раздолье были в голосе и в песне... Нонна обмакнула перо, положила на стол,— на незаконченном письме растеклось чернильное пятно... «Некому березу заломати! Некому кудряву защипати!»— тоскливо заливался сладостный голос далеко-далеко в Москве... Нонна сидела и вспоминала человека, с которым разговаривала два часа назад. Большого, неважно воспитанного, немножко наивного человека. Она думала о том, что через сколько-то времени они будут вместе, она и он. Они непременно будут вместе. Она узнала это в тот момент, когда они поглядели друг другу в глаза.

Глава одиннадцатая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Люди добрые, что делается! — сказала Марийка, вбежав в свою кухню.— Федор Иваныч из последних сил стирает белье. Старухино ситцевое платье вкинул в корыто вместе со своими кальсонами. Из кальсон теперь зеленая вода хлещет, он их отжимает, довел до салатного цвета — больше, говорит, ничего поделать не могу; так и присужден в зеленых кальсонах ходить. Я говорю: ты их вывари. Говорит: не в чем. А у них был бачок, Нюра покупала. Это Толька забрал, холера,— он конфеты жрет, а Федор Иваныч, изволь радоваться, в Анны-Иваннином корыте стирает, и бачка в доме нет...

Марийка схватила свой бачок для кипячения белья и убежала. Было утро воскресенья, выходного дня. В кухне топилась плита, на ней в больших и малых кастрюлях варился обед. Мирзоев брился у кухонного столика. Задрав намыленный подбородок, не отрываясь от своего занятия, он скосил глаза на Лукашина, который над раковиной чистил свою вставную челюсть. Лукашин, сжав запавшие губы, взглянул на Мирзоева. Мужчины поняли друг друга. Мирзоев сказал, вздохнув:

— Тяжелое зрелище, когда видный человек принужден погрязать в мелочах быта...

Он кончил бриться, проворно убрал со стола бритвенный прибор и остановился перед Лукашиным — статный, ловкий, в новых красивых подтяжках.

— Беда! — сказал он весело.— Проведаем, сосед, Уздечкина, а?

Лукашин обмыл челюсть под краном и, стыдливо отвернувшись, вставил ее в рот. Дар речи вернулся к нему.

— Можно,— сказал он.

— Вечерком,— сказал Мирзоев.

Лукашин подумал: вечером они с Марийкой уговорились идти в кино... Но тут же он решил, что Марийку баловать не стоит. В кои веки есть возможность целый день провести вместе с мужем, а она убежала к Уздечкину. А в пятницу или, кажется, в четверг она на всю лестницу расхваливала зубы Мирзоева...

— Сходим,— сказал Лукашин Мирзоеву.— Развлечем человека.

Уздечкин трудился над корытом с раннего утра.

Уже не было ничего чистого, чтобы сменить. В прачечной стирали долго, и надо было платить, а денег у Уздечкина, вследствие одного несчастного случая, совсем не было. Решил стирать сам.

— Федя! — стонала Ольга Матвеевна.— Оставь, сынок, я поправлюсь — перестираю...

— Когда это будет! — буркнул Уздечкин.

В армии он нередко стирал на себя, и это не казалось ему трудным. Он храбро вытащил из чулана узел с грязным бельем. Из узла посыпались старушечьи кофты, детские платьишки, замазанные до черноты, детские лифчики, такие маленькие, что неизвестно как их держать в руках... Черт его знает. Как будто и носить нечего, а смотри-ка, целая куча барахла.

Попался под руку Толькин белый свитер и промасленный комбинезон,— Уздечкин бросил их обратно в чулан: это пускай Толька сам стирает.

Оля стояла, прижав к животу кукольную кровать, и смотрела, как отец растапливает плиту.

— Я тоже буду стирать,— сказала она.

— Будешь, дочка, будешь,— сказал Уздечкин.— Лет через пяток будешь стирать.

Анна Ивановна в лиловой пижаме (не разберешь: юбка на женщине или штаны), с папиросой в зубах, румяная со сна, вышла в кухню, когда Уздечкин намыливал белье в эмалированном тазике.

— Господи! — сказала она.— Разве в таком тазике выстираешь? Вы возьмите мое корыто, оно же там, в чулане, на самом виду стоит.

— Я не рискнул взять, не спросясь,— сказал Уздечкин.

— Подумаешь, драгоценность,— сказала она и сама принесла ему корыто.

Она выдвинула на середину кухни скамью, положила на скамью несколько поленьев, чтоб было повыше, а на поленья поставила корыто. Уздечкин не догадался ей помочь. Он стоял с мокрыми руками и думал, что, когда она поднимает тяжести и сгибается над кучей дров, выбирая поленья поровнее,— забываются ее необыкновенные платья, и красные ногти, и непонятные разговоры по-английски с Таней, а видна рабочая женщина с широкими плечами, которая не погнушается никаким трудом...

— Ну, вот. По крайней мере вы все сразу теперь можете намочить,— сказала она и стала умываться под краном — плескать водой во все стороны, крепко обеими руками мылить уши и забавно полоскать горло, откидывая голову...

Уздечкин принял ее совет буквально: взял и вывалил в корыто разом все — белое и цветное. Спохватился, когда белье уже было перепачкано зеленой краской от старого крашеного платья Ольги Матвеевны. Тут и застала его Марийка, заскочившая узнать, что у соседей.

— Караул, батюшки мои, спасите! — сказала она, заглянув в корыто.

Она принесла бачок и стала вместе с Уздечкиным отжимать белье.

— Знала бы — переоделась бы,— сказала она, с сожалением глядя на свою праздничную розовую кофточку.— Погублю свой туалет, купишь мне новый, Федор Иваныч.

— Так вы идите,— сказал Уздечкин, смутившись.— Я сам. А то, в самом деле, испортите вещь...

— А что на нее, на ту вещь, молиться, что ли? — закричала Марийка.

— Ну конечно, здесь Марийка,— сказала Анна Ивановна, входя в кухню.— Где крик, там и Марийка. Угостите табаком, Федор Иваныч, у меня кончились папиросы.

Оля постояла немного в кухне, глядя на стирку, потом ей наскучило, она ушла.

У себя в комнате ей тоже показалось скучно: Вали нет — ушла к девочке в гости; бабушка дремлет, на столе

ничего хорошего — хлебные крошки, да солонка, да остатки овсяной каши на сковороде... Оля вздохнула и пошла к Анне Ивановне.

Там была только Таня, она стояла коленями на стуле, облокотившись на стол, и читала книгу. Черные ее косы лежали на белой скатерти по обе стороны книги. Таня подняла глаза, спросила рассеянно: «Это ты?» «Я»,— ответила тонким голосом Оля, закрывая за собой дверь, как приказывала Анна Ивановна.

Таня больше не замечала ее, и Оля тихонько пошла по комнате, высматривая, нет ли чего нового. Было новое: на этажерке лежало большое красное яблоко. Особенно хорошо его было видно, если стать около качалки. Оля замерла около качалки, глядя на яблоко.

Таня дочитала книгу, закрыла ее, закрыла глаза и положила щеку на переплет. «Как закалялась сталь»— было написано на переплете. На щеках Тани, под ресницами, блестели слезы... Таня подняла голову и увидела близко от себя Олин профиль и светлый, чистый, серьезный глаз, вдохновенно устремленный на этажерку. Таня засмеялась и слезла со стула.

— Ты что? — спросила она.

Оля подняла к ней лицо и спросила:

— Для кому это яблоко?

Таня взяла гребень и стала расчесывать светлые прямые волосы Оли.

— Яблоко — для одной очень хорошей девочки, которая всех слушается...

— Всех? — переспросила Оля.

— ...и никогда не капризничает.

— Совсем-совсем никогда? — переспросила Оля.

Взгляд ее стал печальным: ясно, что яблоко не для нее.

— Дурак мой маленький,— тоном Анны Ивановны сказала Таня, отрезала половину яблока и дала Оле.

— А эту половинку мы оставим для Вали,— сказала она.

Оля взяла яблоко обеими руками и поскорее пошла из комнаты, забыв кукольную кровать на качалке: Таня могла передумать и забрать яблоко обратно. Уже в коридоре Оля сообразила, что оставлять другую половину Вале несправедливо: может быть, Валя ест яблоки в гостях у девочки; конечно же, Таня должна была отдать Оле все яблоко. Оле стало так тяжело от человеческой несправедливости, что она зарыдала. Никто не пришел на ее рыдания: в кухне кричала Марийка, ничего, кроме ее крика, не было слышно. Рыдая, Оля съела яблоко и еще долго потом плакала, размазывая по щекам слезы грязными кулачками. Наконец сказала:

— А может, там в гостях никаких яблок и нету.

И, высморкавшись в подол платья, пошла по квартире искать новых приключений.

У Тольки сегодня большой день: пришла его очередь на «Графа Монте-Кристо».

Принес эту книжку в бригаду Алешка Малыгин. Откуда достал такую — не сказал. Книжка была толстая, растрепанная, до того зачитана — ободраны не только поля, но и концы строк. Носил ее Алешка с величайшей бережностью — завернутую в газету и перевязанную веревочкой. Он сказал, что если начнешь эту книгу читать, то уже не будешь ни спать, ни есть, пока не дочитаешь до конца, и что писатель, который сочинил это,— прямо-таки невозможный гений. Тотчас ребята стали записываться в очередь; чтобы установить очередь, тянули жребий. Те, которым достались последние номера, возмутились: они не соглашались ждать так долго. Чуть было не разодрались. Шум поднялся — рабочие, входившие в цех, затыкали уши.

— Об чем базар? — спросил, подойдя, мастер Корольков.

Ему не ответили: и голоса-то его не услышали. Марийка пришла, и та не сумела перекричать ребят. Орали до тех пор, пока Вася Суриков не внес предложение: разделить книгу на три равные части, чтобы одновременно читали три человека. Один читает начало, другой — середину, третий — конец; потом меняются между собой. Таким образом сроки прочтения сократятся в три раза.

— Триста процентов экономии во времени,— сказал Вася.

Алешка, жадина, сперва объявил, что не позволит такую ценную книгу делить на части. Но ему доказали, что это с его стороны глупость и больше ничего: у книги все равно нет корешка, она вся распадается на листочки. Тут же, на станине, разделили книгу. Перенумеровали части красным карандашом, упаковали каждую заботливо и вручили трем счастливцам, которым выпал жребий читать в первую очередь.

И вот на целый месяц заболела бригада! После бессонных ночей, проведенных за чтением, ребята приходили

в цех бледные, изнуренные. И только и было разговоров, что о графе Монте-Кристо. В книге не хватало многих листков, и некоторые читатели не могли уловить связи событий, но другие все поняли и с жаром давали объяснения непонимающим; и те слушали благоговейно... Слушали с жадностью и те, кто еще не читал.

Корольков пытался восстановить порядок. Саша Коневский провел воспитательную беседу. Рябухин разговаривал с ребятами, вызывали их к начальнику цеха — ничего не помогало. Заикнулись было о том, что книга для производства вредная и хорошо бы ее изъять совсем,— куда там!..

— Через наши трупы,— сказал маленький Вася Суриков: он еще не читал, его очередь была следующая.

В конце концов Корольков рассудил так: пускай переболеют, что поделаешь — эпидемия вроде скарлатины.

— Только давайте читайте проворнее,— сказал он.— На пять частей, что ли, ее поделите, будь она трижды проклята.

Если остаться на выходной день дома, то пошлют за хлебом, за керосином, в аптеку, Федор скажет: «Ну-ка, пошли дрова пилить», Валька и Олька будут реветь и приставать, мать будет охать,— никакого отдыха рабочему человеку.

И Толька, чуть проснувшись, удирает к Сережке, испытанному другу.

У Сережки не житье, а малина. Отец его жив-здоров, он теперь подполковник и служит в Таллине. Прислал письмо, чтобы мать приехала, посмотрела: если понравится — пусть переезжают всей семьей. Мать поехала в Таллин, а Сережка и Генька остались дома полными хозяевами. Жизнь!

Толька приносит «Графа Монте-Кристо», завернутого в газету. Сережка на электрической плитке варит манную кашу для Геньки. Он обещал матери, что будет заботиться о Геньке, и свято держит слово.

— Принес? — спрашивает он у Тольки.

— Принес. Кончай эту муру.

— Сейчас. Надо позавтракать.

Каша тяжело пыхтит, пузыри вздуваются на ней и лопаются с треском. Сережка сыплет в кашу сахар, размешивает и выключает плитку:

— Готово!

И облизывает ложку.

Генька на полу вырезывает фигуры из карточной колоды. Королей и валетов он уже вырезал, остались дамы. С дамами большая возня: надо пририсовать каждой усы и бороду, иначе взвод будет неполный.

— Генька, завтракать! — говорит Сережка.

Генька лениво съедает несколько ложек и возвращается к картам. Кашу доедают Сережа и Толька. После каши они чувствуют себя недостаточно сытыми и едят кислую капусту с постным маслом. После капусты им хочется пить, они пьют сначала холодную воду из-под крана, а потом теплое кипяченое молоко.

— Я очень удачно устроился с молоком,— говорит Сережка.— Не надо ходить на рынок: молочница приносит мне на дом. Понимаешь, Геньке необходимо молоко.

— Сами пейте эту отраву,— говорит Генька, лежа на полу и орудуя ножницами,— а мне купите газированной воды с сиропом.

— Он страшно обнаглел за последнее время,— говорит Сережка.— Прямо не знаю, что с ним делать.

Толька достает деньги и говорит:

— Генька, а Генька! Пойди купи себе воды с сиропом. И мороженого.

— Мороженого близко нет,— говорит Генька, принимая деньги.

— Мороженое около рынка продают,— говорит Сережка.— Знаешь, немного не доходя до рынка, там мороженщица всегда стоит. Только смотри, не попади под машину.

— Хорошо,— говорит Генька, одевается и уходит.

Толька и Сережка остаются одни в квартире. Толька разворачивает «Графа Монте-Кристо».

Лукашин сидел на диване и умирал от скуки и злости.

Комната была убрана по-воскресному: на столе богатая скатерть с разводами и в вазе свежие бумажные цветы — пышные розы и маки... Марийка это умела — создать уют. Вымыла полы, нарядилась в розовую кофточку, велела и Лукашину надеть праздничный костюм; он послушался, сбрил щетину с лица, вычистил ботинки и челюсть и теперь сидит, как дурак, один против вазы с цветами. А Марийка застряла у Уздечкина.

Он сидел и строил планы страшной мести: пожалуйста, будьте любезны, я вас не связываю. Но позвольте мне

в таком случае и себя считать свободным человеком. Она придет, я ее встречу равнодушно и скажу: наконец-то ты, Марийка. Я тебя жду для серьезного разговора. Не сошлись мы с тобой, как хочешь, не сошлись. Неосновательный ты человек. Какая из тебя жена. Ставлю тебя в известность, что я сейчас же переезжаю к твоим старикам. И пожалуйста, без слез, Марийка. Достань мне, будь добра, мое белье, я не хотел без тебя копаться в комоде, теперь это уже не мой комод...

Тут Марийка зарыдает и станет уговаривать его остаться. Но он возьмет свои вещи и пойдет ночевать к Никите Трофимычу. С неделю придется там пожить... Нет, недели много: дня три. Каждый день после работы Марийка будет прибегать к нему в цех и молить, чтобы он вернулся. Два дня он будет неумолим, а на третий смягчится. Только он поставит жесткие условия: по чужим квартирам не бегать, если кому нужен бачок — пусть сами приходят за бачком... Второе условие — проявлять тактичность: если у твоего мужа вставная челюсть, то хвалить зубы холостого соседа — просто бессовестно. Скажете: мелочь, и нечего на нее так болезненно реагировать? Я бы посмотрел, как бы вы реагировали, будь у вас вставная челюсть...

Марийка прилетела, вся розовая, от нее пахло щелоком и теплом. Лукашин бросил короткий, пронзительный взгляд и увидел, что руки у нее красные, кожа разбухла от воды. «Стирала! — ужалило его.— Стирала с Уздечкиным!»

— Семочка, мученик, страдалец, умираешь от голоду, и главное, в потемках, хоть бы свет зажег,— с порога пошла сыпать Марийка, бросаясь к буфету.— Сейчас все будет, щи на плите горячие, чуть не умер мой котик,— но вообрази положение Уздечкина: руководящий работник — и живой души нет, чтобы позаботилась...— Марийка духом выбросила на стол тарелки, ложки, рюмки, вылетела в кухню, примчалась обратно, и не успел Лукашин приступить к объяснению, как уже сидел за столом, пил водку и ел пирог.

— Вообрази! — говорила Марийка, тараща добрые глаза.— Такое у него жалованье и снабжение хорошее — и не хватает на жизнь! Что значит мужчина: не умеет жить! Как хочешь, Сема, женщина в доме — это все...

Пирог был с картошкой и грибами. Картошку растила Марийка, грибы сушила Марийка. Лукашин ел и думал, что сегодня он уже не уйдет к Никите Трофимычу: момент для объяснения упущен, в другой раз как-нибудь. Марийка оскорбила его без злого умысла, по глупости. За глупость не следует наказывать так жестоко. Да и лень тащиться после сытного обеда на другой конец поселка, да еще с тяжелым сундуком...

Вошел Мирзоев.

— Приятного аппетита,— сказал он.

— Пирога не съешь ли? — спросила Марийка.— А водку, не взыщи, Сема выпил.

— У меня своя есть, вот, пожалуйста,— сказал Мирзоев и, потянув за горлышки из карманов, показал две бутылки.— Сосед! Уговор не забывать.

— Рано,— сказал Лукашин, жуя.— Попозже. После обеда надо отдохнуть.

— Что это вы затеваете? — спросила Марийка.

— Хотим проведать Федора Иваныча,— отвечал Мирзоев.— А то, понимаете, что у него за жизнь!

— А в кино?! — вскричала Марийка, гневно обернувшись к Лукашину.

— Никакого кино,— сказал Лукашин, очень довольный, что может тут же рассчитаться с Марийкой за ее дурное поведение.— Иди сама, если хочешь. Мы сегодня собираемся мужской компанией.

— Папа,— спрашивает Оля,— у нас правда была мама или же нет?

— Правда,— отвечает Уздечкин.— Была. Вон она, ты ведь знаешь.

Оля в рубашонке лежит на кроватке, а он стрижет ей ногти на ногах. Портрет Нюры висит на стене напротив: волосы, завитые «перманентом», феерически освещены, простенькие глаза под подбритыми бровями подняты с мечтательным выражением...

— Ты — как мама,— говорит Оля, у которой одна щека ушла в подушку, а другая как бы подпухла, и от этого маленькие губы тоже как бы припухли и сдвинулись с места.— Ты все для нас делаешь. Я маму не помню, а только тебя помню.

Это она говорит для того, чтобы подлизаться к нему.

— Я тебя люблю,— говорит она.

— Ты угомонишься или нет? — спрашивает Уздечкин. Он проводит рукой по ее теплой шелковой головке и хочет уйти.

— А конфету? — спрашивает Оля.

— Надоела ты мне, дочка! — говорит Уздечкин и приносит конфету.

Звонок. Пришли Мирзоев и Лукашин. У Мирзоева такой вид, словно он пришел на именины. Лукашин робко держится за его спиной.

— Мы к вам, сосед,— говорит Мирзоев.— Принимаете гостей?

Уздечкин ведет их в комнату. Он уверен, что они пришли по делу, с просьбой или жалобой.

— Добрый вечер, бабушка! — восторженно приветствует Мирзоев Ольгу Матвеевну.— Вы не будете так любезны похлопотать насчет чайника? Знаете, после выпивки стакан горячего чая...

— Какая выпивка? — спрашивает Уздечкин, недоумевая.— Вы что, товарищи?

Лукашин пятится к двери...

— Я надеюсь,— говорит Мирзоев, прикладывая руку к сердцу,— что вы не примете за недостаток уважения или за что-нибудь другое и не побрезгуете нашей компанией.

— Я не пью,— говорит Уздечкин.

— Пьет даже чижик,— говорит Мирзоев, нежно касаясь его локтей.— Извиняюсь, конечно, я не в смысле сравнения. Вы понимаете! Мы с товарищем Лукашиным захотели выпить по случаю воскресенья, вдвоем как-то скучновато, я говорю — пойдем к соседу, может, он согласится составить нам компанию...

— Вы ошиблись, товарищи. Я не могу составить вам компанию.

Уздечкин говорит нерешительно. Ему бы и хотелось посидеть с людьми, но он боится: Мирзоев — шофер Листопада; вдруг Листопад потом скажет: «Председатель завкома пьянствует с моим шофером...»

Мирзоев в недоумении: как может человек не принять другого человека, который пришел с открытой душой и со своей выпивкой?! Лукашин говорит уже из-за двери:

— Пошли.

— Федор Иваныч,— говорит Мирзоев,— вы шутите: почему нам не выпить немножко?

— Мне, товарищи, некогда,— говорит Уздечкин.— У меня еще работа есть.

Так красиво вошел Мирзоев,— как теперь уходить?.. С какими словами?..

— Да что вы? — говорит он вяло.— Действительно, вам и отдохнуть некогда...

— Должность такая,— притворно улыбается Уздечкин.

— Действительно,— притворно улыбается Мирзоев.— Хлопотливая должность... Ну, так — так та́к. Всего лучшего, извините за беспокойство...

Домой вернулись молча.

— Вы что обратно? — встретила их Марийка.— Не приняли вас?

— Некомпанейский человек,— сказал Мирзоев.

— Промахнулись мы с вами,— сказал Лукашин.— В самом деле, чего ради он будет с нами пить? Ну, сосед, так что из этого? Он же руководство все-таки; а мы люди небольшие... А водке что же — пропадать?

— Нет, зачем же ей пропадать,— морщась, сказал Мирзоев, которому вовсе не хотелось пить.— Выпьем.

Они присели к Марийкиному столу и вдвоем, вздыхая, грустно распили водку.

Глава двенадцатая

НЕПРИЯТНОСТИ ЛИЧНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ

Как-то, еще летом, к Уздечкину прибежал сборщик членских взносов из инструментального: схватило живот, доктор велел идти домой, кассир в банке,— возьми, ради бога, членские взносы, не хочу таскать с собой... Уздечкин взял деньги, чтобы передать кассиру, когда тот вернется: толстенная пачка, завернутая в бумагу, на бумаге карандашом написана сумма; с трудом влезла пачка в карман галифе... Сперва она ему мешала, он о ней помнил, а потом забыл. Он никогда не носил при себе профсоюзные деньги... В трамвае, в давке, он вспомнил о пачке, схватился за карман — пусто.

Его прошиб пот... Толпа сжала его и вынесла из трамвая. Трамвай ушел, а Уздечкин стоял на углу и не мог собраться с мыслями.

Он очень торопился в город, а тут даже забыл, зачем приехал. Увидел сквер со скамейками, добрел до скамейки и присел.

Будет очень трудно вернуть эти деньги.

При его болезненной щепетильности ему и в голову не пришло, что он должен заявить о пропаже, попросить ссуды, рассрочки... Украдены деньги, по рублям собран-

ные у рабочих. Украдены из-за рассеянности его, Уздечкина.

Уздечкин встал со скамейки, вышел из сквера — ноги были как ватные — и пошел в ближайшую часовую мастерскую. Там он снял с руки часы и продал их. Потом заехал к старому знакомому, у которого водились деньги; тот повел его в сберкассу, взял с книжки две тысячи, дал Уздечкину. У старухи тещи, Ольги Матвеевны, были припрятаны четыреста рублей. Уздечкин и их взял. В кассе взаимопомощи взял. Как раз подоспела получка, он получил зарплату. Через три дня он полностью сдал кассиру сумму, полученную от сборщика. Кстати, сборщик болел и не справлялся о деньгах, все вышло тихо и незаметно. Но Уздечкин очутился весь в долгах. С тех пор три четверти его зарплаты уходило на покрытие долгов. Оставшейся четверти не хватало на самое необходимое, приходилось влезать все в новые и новые долги.

В день праздника победы над Японией Уздечкин жестоко обиделся на Листопада.

В тот вечер он поздно вернулся домой из Дома культуры. Первое, что он увидел, когда зажег свет, была посылка, стоявшая на столе. Аккуратная посылка, упакованная в глянцевитую белую бумагу и перевязанная деликатным белым шнурком. За шнурок заткнута картонная карточка, на ней написано красивым почерком: «Федору Ивановичу Уздечкину»— и больше ничего.

От кого, что такое?

Он разбудил Ольгу Матвеевну:

— Это кто принес?

— Директорский шофер. От директора подарок к празднику...

До войны Листопад любил делать к праздникам небольшие подарки своим подчиненным. И теперь, после войны, он решил тряхнуть стариной: почему не оказать внимание людям, каждому приятно... Ничего особенного, просто набор лакомых вещей: немного фруктов, закуски, бутылка хорошего вина... Заместителям директора, начальникам цехов и милому другу Рябухину, сироте-холостяку, которому и праздника-то никто не устроит, разве что квартирная хозяйка угостит пельменями... Когда уже набросал список, мелькнула мысль: а почему бы не порадовать и Уздечкина? Пусть и Уздечкин получит порцию директорского внимания.

Развозил посылки Мирзоев. Это как раз для Мирзоева было занятие — порхать из дома в дом этаким рождественским дедом и раздавать посылочки. Уздечкину Мирзоев занес посылку последнему, когда шел домой отдыхать от дневных трудов.

Уздечкин смотрел на посылку так, словно это была мина замедленного действия, и он не знал, когда она разорвется. Он пощупал сквозь бумагу: консервные жестянки, фрукты, бутылка... И вдруг страшная обида обожгла его. Он схватил посылку и бросился к Мирзоеву.

Долго не отворяли, наконец вышла сонная Марийка. Он спросил у нее:

— Мирзоев в какой комнате живет?

Мирзоев спал сном младенца и не проснулся, когда Уздечкин вошел в комнату и зажег электричество. Он только почмокал губами и нежно сказал что-то неразборчивое... Уздечкин тряс его за плечо минуты две, пока он открыл глаза.

— Слушай,— сказал Уздечкин, наклонясь к нему,— завтра — слышишь? — завтра с утра отнесешь это обратно директору. Понял? Отнеси и отдай. Директору. Понял? С утра.

Мирзоев в рубашке сидел на кровати и туманно смотрел на тяжелый предмет, который положили ему на колени. Сначала он подумал, что это ему снится: полдня возил подарки, вот и приснилось под этим впечатлением, что и к нему пришли и принесли подарок... Потом он разобрался, в чем дело, и сказал: «Хорошо, Федор Иваныч». Он добавил: «Будьте покойны», видя, что Уздечкин все не уходит и продолжает говорить то же самое. Но едва Уздечкин ушел, сон опять одолел Мирзоева: он повалился на подушку, дрыгнул ногой — посылка свалилась на пол — и сладко заснул, не заботясь о том, кто же закроет дверь за Уздечкиным...

В сентябре все цехи дали продукцию сверх плана, кроме цеха Грушевого. У Грушевого все не клеится, заказы он сдает с опозданием. Уже ходит по заводу такой разговор, что Грушевой в мирных условиях не соответствует своему назначению.

Уздечкин первый произнес эту фразу: еще когда он сигнализировал относительно Грушевого! А Листопад попрежнему относится к Грушевому с недопустимым либерализмом.

Легко быть хорошим начальником цеха, когда вокруг тебя все танцуют. Когда для тебя все в первую очередь — оборудование, кадры, материалы. Когда тебе и почет, и ордена, и надбавки к зарплате. Вот ты сейчас прояви-ка себя хорошим начальником. На мирной продукции. На невыигрышных заказах.

Уздечкин поставил на завком отчет профорганизатора бывшего литерного цеха и дал в протоколе суровую оценку Грушевому.

Уже две недели Толька ходил скучный.

Уехал Сережка! Мать приехала за Сережкой и Генькой и увезла их в Таллин, к отцу. Толька помогал им при посадке. Сережкина тетка приехала из деревни проводить сестру и племянников. Увидев Тольку, она сказала:

— Так и не остались у меня жить.

А Тольке даже на тетку грустно было смотреть: она стала воспоминанием, связанным с Сережкой...

Вот так жестокая судьба разрывает самую прекрасную дружбу: был около тебя золотой человек, на которого ты во всем мог положиться,— и нет его.

Очень пусто стало без Сережки. Обещали письма писать друг другу — что письма...

Дома становилось все хуже и хуже. Мать, правда, поднялась и стала заниматься хозяйством, но от этого было не легче. Она все что-то теряла и не могла найти: то ножик, которым она чистила картошку, то веник, то посудное полотенце. Стоило ей взяться за какую-нибудь вещь, как она ее теряла. Она подозрительно смотрела на Тольку и спрашивала:

— Толька, ты ножика не брал?

И Федор — девчонки утащат его карандаш, или топор лежит не на месте — сейчас же к Тольке:

— Не ты взял?

«Чего им надо? — думал Толька.— Чего они ко мне привязываются? Я уже сколько времени ничего у них не брал. Как подружился с Сережкой, ничего не брал, а они привязываются».

И Толька приходил к печальному выводу, что замарать себя в глазах людей легко, а очистить — трудно.

И с деньгами стало у них очень плохо. Толька не мог понять почему. Один разговор — о долгах и займах...

Скука.

Анна Ивановна с Таней очень с ним стали ласковые. То комнату от него запирали, а теперь зовут, угощают: «Посиди, Толя. Скушай, Толя. Ты у нас читай, если хочешь». А чего он будет у них читать. У них своя жизнь, у него своя. Он лучше в юнгородок пойдет, к ребятам.

В юнгородке теперь хорошо! Все покрасили снаружи и внутри. Поставили новые печки, навезли дров — полный двор. Ребята топят сами, сколько душе угодно. У каждого теперь кровать, тумбочка, деревянный сундучок для вещей. В каждой комнате стоит большой стол, над ним лампа, кругом стулья. В двух домах, где были веранды, эти веранды утеплили и сделали спортивные залы. Девчонки в своем общежитии вовсе как царицы живут, даже занавески себе сшили и развесили на всех окнах. И цветы выставили.

Директор обещал ребятам, что будущим летом ко всем домам пристроят такие залы-веранды, а кругом посадят деревья и устроят цветники.

Ребятам нравятся их дома, и они по силе возможности стараются держать свое хозяйство в чистоте. Установили дежурство для уборки. К Международному юношескому дню так надраили полы — что твоя палуба. Директор прислал в этот день грузовик с подарками: каждому жителю юнгородка по кулечку с печеньем и конфетами, словно они дошколята, и всем вместе — библиотечку на пятьсот книг. Хороший дядька — директор...

И ребята хорошие есть в юнгородке, но кто из них может заменить Сережку? У кого найдет Толька такое всестороннее и глубокое знание жизни, такой широкий и ясный ум? С кем возможно такое взаимное понимание и симпатия, когда и молчать вдвоем — и то весело!

— Переходи к нам жить, Рыжов,— сказал беленький Вася Суриков, похожий на девочку. Он играл на гитаре и был главным коноводом в своей комнате.— У нас Петька Черемных скоро свою комнату получит,— к нему семья приезжает из деревни; сыпь к нам! А то посадят на шею какую-нибудь зануду...

Толька повел глазами: светло, тихо, играет радио, теплынь — можно в нижней рубашке сидеть... Никто ни к кому не пристает, всякий занят своим делом: Вася Суриков латает штаны, двое читают, двое играют в шашки. Толька вздохнул, ему захотелось остаться здесь, не возвращаться в постылую семью, где все огрызаются друг на друга...

— Адриан Адрианович,— сказал Толька мастеру Королькову,— похлопочите, чтобы меня приняли в юнгородок: там место освобождается.

Корольков был членом завкома и знал о родственных отношениях Тольки с Уздечкиным. Он посмотрел озадаченно.

— Ты же с семьей живешь.

— Я лучше буду отдельно жить,— сказал Толька.

— Чудило,— сказал Корольков.— Как же это можно — уходить от своих?

— Бывает,— сказал Толька,— что чужие лучше своих.

— Думай, что говоришь,— сказал Корольков.— Ты вот так ляпнешь иной раз, не подумав, а люди слушают. А Уздечкину неприятность.

— Думаете, Федор будет против? — сказал Толька.— Он обрадуется.

— Глупости,— сказал Корольков.— Не хочу слушать. Молодой еще срамить авторитетных работников. Уживаться надо! Когда и не так что-нибудь, стерпи, промолчи, уступи старшим... Ни о чем я хлопотать не буду. Со своими не уживаешься — в общежитии вовсе не уживешься. Иди.

Толька пришел домой с работы в отвратительном настроении. Дома были мать и Валя, которая теперь ходила в школу; Оля еще не возвращалась из детского сада. Мать не спросила у Тольки, не хочет ли он есть: Толька и сам о себе позаботится, а у них сейчас скудно... Она сказала тем боязливо-неприязненным, раздраженным тоном, каким всегда говорила с ним:

— Хоть бы переобулся. Мела-мела, а он грязищу в комнату тащит... Валенки обуй! Федя придет — заругает.

Для нее Федор был — Федя, и покойная Нюра была — Нюрочка, и их дети были — Валечка и Олечка, а он, ее младший сын, был — Толька. Потому что Федя и Нюрочка ее кормили-поили, одевали и обували, она жила при них хозяйкой приличного дома. Толька же не давал ей ничего; а эта рабья душа отдавала свою привязанность не иначе как за плату.

Толька сердито моргнул, отошел к окну и стал спиной к матери. На улице было мокро, грязно. И выходить не хочется в такую погоду, а все-таки он сейчас переоденется — и айда из дому, в юнгородок или в кино, куда-нибудь, чтобы не сидеть тут с ними... Скорей бы снег! Так хорошо в валенках по снегу, легко. Надоела осень. Надоело это ненастное небо, черно-серое, взлохмаченное,— не разберешь, где тучи, а где дым от заводских труб.

Захотелось курить. Мужским движением похлопав себя по карманам штанов, Толька достал папиросы и спички и стал закуривать. В это время в комнату вошел Уздечкин, вернувшийся с работы.

Он и прежде не раз видел, как Толька курит, и не обращал на это внимания. Но сегодня вид мальчишки, стоящего к нему спиной и закуривающего папиросу, вдруг привел его в бешенство. Он бросился к Тольке, схватил его за шиворот и потащил к двери:

— На улице кури, дрянной мальчишка!

— Что ты делаешь! — сквозь зубы говорил Толька, упираясь.— Что ты делаешь!..

— Федя! Толька! — жалобно закричала Ольга Матвеевна, привстав с места.

Она испугалась, что они подерутся.

Когда входная дверь захлопнулась за Толькой, а Уздечкин вернулся в комнату, она успокоилась: Федя, конечно, чересчур разволновался, но Тольке ничего не сделается. Покурит на улице, Федя прав, нечего в квартире дымить.

Наутро в кабинет Уздечкина пришел Рябухин.

— Федор Иваныч, нехорошая вещь получается,— тихо и серьезно сказал он.— Парнишка, родственник твой, в юнгородок просится; ты его выгнал, что ли... Воля твоя, не можем мы в своей среде допускать такие явления...

Уздечкину стало душно: этого недоставало...

— Подожди,— сказал он.— В чем дело? Я его не выгонял, я велел ему курить на улице...

— Там как-то получилось, что когда ты его выталкивал, по лестнице поднималась Марья Веденеева, она увидела... Коневский расстроенный пришел. Парнишка-то твой не учится, даже семилетку не кончил... Как это так, Федор Иваныч? Как ты допустил? Как получилось, что, живя в семье, парнишка был предоставлен самому себе, даже кормился отдельно? Ты же человек с положением... Ни-че-го не понимаю!

Уздечкин молчал, собираясь с мыслями. Нападение было слишком неожиданно.

— Теперь он в юнгородок просится и слышать не хочет — вернуться домой. Ты его ожесточил... Он говорит, его все в доме вором считали, а он не был вором.

— Врет! — сказал Уздечкин, ударив по столу кулаком.

— Ну,— сказал Рябухин,— если он был вором, это для тебя не так уж благовидно, Федор Иваныч. А почему он не учится?

Уздечкин не ответил.

— А почему его выделили из семьи в смысле харчей?

— А черт его знает,— сказал Уздечкин растерянно.— Это еще до моего возвращения у них началось... Не знаю я этого ничего...

Рябухин прямо посмотрел ему в лицо:

— Не знаешь? Ты же председатель завкома, большая фигура! Он сегодня у приятелей в юнгородке ночевал, твой парень; приятели и разнесли по цеху. А после работы он к Коневскому пошел, а Коневский ко мне. Я повидал парнишку, просил поменьше языком трепать... Реноме твое берегу! Ты чувствуешь, как это выглядит? У руководящего работника, призванного воспитывать беспартийных рабочих, сын сбежал от дурного обращения...

— Он мне не сын!

— Это все равно, Федор Иваныч, ты сам прекрасно понимаешь, что это все равно. А еще уговариваем людей: берите на воспитание сирот из детского дома. А сами...

Рябухин помолчал.

— Ты вот Листопада обвиняешь. Рассердился на него — сердись. Борешься с ним,— если борьба принципиальная, борись. Во многом он ошибается, верно. Но по человечеству — я ему сто грехов прощу хотя бы за его отношение к молодежи, только за это одно, не говоря о другом!..

«Надо помирить их с Листопадом,— думал он, уходя от Уздечкина,— пускай Макаров скажет Листопаду пару веских слов».

К Листопаду позвонил Макаров, секретарь горкома:

— Александр Игнатьевич, не можете ли заехать на минутку, очень нужно.

У Листопада были дела на заводе, но он их отложил и поехал в горком. С Макаровым у него были хорошие отношения. Макаров вмешивался в его дела редко и всегда тактично. Постепенно у Листопада о Макарове выработалось мнение, что это человек умный и очень осторожный — из тех, которые семь раз отмерят, прежде чем отрезать. «Полная противоположность Рябухину,— думал Листопад.— Рябухину придет в голову мысль, он ее изложит сразу. А Макаров помалкивает, говорит только самое необходимое, проверенное».

Росту Макаров был высокого, но сутул — от этого казался ниже. Лицо широкое, бледное, голос ровный; руки белые — руки человека, давно не занимавшегося физическим трудом...

Листопад не очень понимал этого человека, но старался с ним ладить.

Макаров был не один, против него сидел в кресле Рябухин. Листопад насторожился. Здороваясь с Макаровым, он сказал беззаботно:

— Гадал по дороге, для чего я вам экстренно понадобился.

— Поговорить надо, Александр Игнатьевич. Прошу садиться.— Макаров медленным жестом указал на кресло.— Поговорить о жизни, о работе, о душе и прочих таких вещах... Об Уздечкине надо поговорить! — коротко и резко вдруг закончил он, ударив по столу суставами пальцев.

Листопада задело за живое. Никогда с ним так не говорили в горкоме!

Все дело в том, как сложатся отношения. Иной человек всю жизнь говорит тебе в глаза резкости — и ты ничего, как будто так и надо; даже нравится. А тут отношения сложились иначе. Тут все было отменно корректно в течение трех с лишком лет. И вдруг такая перемена тона.

Мирить его с Уздечкиным будут, что ли?

Листопад сел и вольно положил руки на подлокотники кресла.

— Так! — сказал он.— Кто же перед кем извиняться должен: я перед Уздечкиным или Уздечкин передо мной? И как нам — христосоваться или нет? Шагу не могу ступить, чтобы меня не попрекнули Уздечкиным.

— Куда бы мы ни ступили,— сказал Макаров,— мы приходим к вопросу о человеке, о нашем советском человеке, строителе и защитнике нашего будущего.

— Слишком общо,— сказал Листопад.— Под это определение подходит каждый советский гражданин.

— В том числе и Уздечкин,— сказал Макаров.

— Сложность положения в том,— сказал Листопад,— что с Уздечкиным ровно ничего не происходит. Есть взаимное непонимание, основанное на несходстве характеров и вкусов. Не думаю, чтобы с этим что-нибудь удалось поделать.

— Есть разные формы так называемого «непонимания»,— сказал Макаров.— Партии они все одинаково чужды. И как бы ни расходились характеры и вкусы, есть база, на которой всегда сходятся два коммуниста: эта база — их общая принадлежность в партии и партийный долг, обязательный для каждого из них. Партия не может приказать вам питать симпатию к Уздечкину. Но создать ему нормальную обстановку для работы — это ваш долг.

— Тем более,— сказал Рябухин,— что он человек очень достойный.

— Друзья! — сказал Листопад добродушно-беспомощно.— Допустим, я ему выкрашу кабинет под мрамор — он любит мрамор; это ж ему не улучшит самочувствия!

— Александр Игнатьевич,— сказал Рябухин, поморщившись,— разговор идет всерьез. У него было другое самочувствие, когда он вернулся из армии.

— Вы знаете,— сказал Макаров,— на что сейчас пойдут все силы народа; и если ваша новая эра начинается с недоразумений между дирекцией и профсоюзом, то плохое это начало. Вы ссылаетесь на разность вкусов и склонностей,— не знаю. Не знаю. Не могу входить в такие тонкости. Но объективно это выглядит так, что вы не переносите критики и иногда теряете принципиальность.

— Это тяжелое обвинение,— сказал Листопад.

— При объективном рассмотрении многие вещи принимают другую окраску,— сказал Макаров.— Я мог бы предъявить вам и другое обвинение, не менее тяжелое.

— Что ж не предъявляете?

— Потому что знаю ваш упорный характер. Если я скажу — не поверите, будете оспаривать. Очень скоро сами увидите свою ошибку.

— Какую это?

— Взахлеб живете, Александр Игнатьевич; оглянуться на себя нет времени. Улучите минутку — перевести дух; и увидите ошибку.

— Ошибки бывают у каждого из нас. Вы уж скажите, что вы имеете в виду.

— Имею в виду ваш метод управления заводом. Вы как будто и не заметили, что война кончилась.

— Вот как — не заметил?

— Или не придали этому должного значения. Сейчас уже невозможно руководить заводом так, как в военное время. Это, конечно, очень эффектно, когда без директора

станка не настроят; но объективно — опять-таки объективно — это выльется в зажим, подмену и прочее такое...

Темно покраснев, Листопад перевел глаза на Рябухина:

— И ты таких мыслей?

Рябухин ответил тихо:

— Вот объявят новую пятилетку... Волной хлынет инициатива! Попробуй единолично управиться...

Листопад встал, двинув креслом:

— Так дайте людей посильнее! Таких, чтобы меня чему-нибудь научили.

— Уздечкин — работник самоотверженный и честный,— убежденно сказал Рябухин.

— Партийная организация,— сказал Макаров,— не может рассматривать характеры и вкусы, это материал хрупкий и недостоверный. Но партийная организация может и должна уберечь товарища. Вам придется жить в мире с человеком, который волей рабочих поставлен на один участок с вами и который ничем себя не запятнал.

— Хорошо,— сказал Листопад с недобрым выражением глаз,— я буду жить с ним в мире.

— Парторг! — сказал Макаров, проводив Листопада взглядом.— У тебя, парторг, для работы с Листопадом глаза чересчур голубые!

— Когда я добивался снятия прежнего директора,— сказал Рябухин шутливо,— никто не замечал, что у меня чересчур голубые глаза.

— Для Листопада, для Листопада ты мягок. На такого нужен парторг — кремень. Ты его любишь — вот и пристрастен.

— Он с талантом человек,— сказал Рябухин.— Вы хорошо помните Евангелие? — Макаров взглянул с удивлением; Рябухин засмеялся.— Я когда-то, парнишкой, знал наизусть: изучал в целях антирелигиозной пропаганды. С митрополитами спорил на диспутах — так, чтобы они своими цитатами не застигли врасплох... Да, так вот: там есть замечательная притча о талантах...

— Помню,— сказал Макаров.

— Там о человеке, который зарыл в землю свой талант, сказано: «Лукавый раб и ленивый!» Как сказано, а? Придумайте слова такой же силы.

— «Лукавый раб и ленивый...»— повторил Макаров с удовольствием.— Хорошо!

— Листопад не зарыл свой талант. Он не раб, не ленивый и не лукавый. Горит и не сгорает.

— Талантливые люди у нас на каждом шагу,— сказал Макаров.— И не ленятся, и не лукавят, и горят на работе не хуже твоего Листопада. Не в этом дело... А в том дело...— Макаров подумал, ему было трудно выразить свою мысль в точных словах.— Дело в том, что одни работают, жертвуя чем-то своим личным: долг выполняют... С радостью выполняют, с готовностью, с пониманием цели,— а все-таки каждую минуту чувствует человек: я выполняю свой долг. А такие, как Листопад, ничем не жертвуют, они за собой и долга-то не числят, они о долге и не думают, они со своей работой слиты органически, чуть ли не физически. Ты понимаешь, успех дела — его личный успех, провал дела — его личный провал, и не из соображений карьеры, а потому, что ему вне его работы и жизни нет. Ты понимаешь: для других пятилетний план завода, а для него — пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный интерес; тут вся его цель, и страсть, и масштабы его, и азарт, и размах — что хочешь.

— Таких тоже уже много,— сказал Рябухин задумчиво.

— Много,— подтвердил Макаров, вставая и прибирая бумаги на столе.— Да не всякому, видите ли, дан простор по его темпераменту.— Он опять перешел с интимного «ты» на официальное «вы».— А Листопаду есть где разгуляться.

Глава тринадцатая

ЛЮБОВЬ

Главный конструктор был прав, когда сравнивал себя с Рафаэлем.

«Логически,— думала Нонна,— процесс творчества у художника должен протекать так же, как у конструктора машин». Особенно это применимо, казалось ей, к художникам слова.

Что бы Нонна ни делала, в основе основ должно было находиться ощущение внутренней необходимости. «Это семя,— думала Нонна,— из которого развивается и новая машина, и поэма, и вся живая жизнь на земле». Ощущение беспокоило, мешало думать о другом, искало выхода и удовлетворения. Утверждаясь и определяясь, оно становилось мыслью. Конструктор одевает свою мысль в металлические детали, поэт свою — одевает в слова. Детали сочетаются в узлы, слова — в строфы. Вот поставлена

последняя гайка или последняя точка, творческая мысль материализовалась, стала вещью, вещь поступает к людям, в мир вещей, машина или поэма — это все равно: процесс творчества был одинаков.

«И как странно,— думала она, сжимая руки,— что схожими путями идет любовь».

Все началось с ощущения, внезапного и резкого, как укол: два человека вдруг взглянули друг другу в зрачки...

Сколько-то дней она носила в себе тревогу. Тревога мешала думать о другом, искала выхода.

Выход был один: видеть его.

Она его видела очень редко. Иногда он подходил к ней, они перебрасывались несколькими словами. Чаще не подходил.

Иногда она слышала его шаги в коридоре. Стремительные, мужественные,— она их теперь отличала от всех других.

И она слышала, как все в ней настораживается и собирается и как горячо становится в груди, когда раздаются эти шаги или когда при ней произносят его имя.

Ни разу она не вышла из конструкторской навстречу его шагам: женская гордость, которая сильнее любви, запрещала ей это. Но она знала, что он хочет, чтобы она вышла. И она ликовала, все в ней дрожало от ликованья. Знала, что она с ним, как он с ней. Откуда она знала, кто ей сказал, что это творится такое...

Как это будет, когда без страха, без оглядки, не думая — можно или нельзя, мы заглянем друг другу в глаза? Что ты мне скажешь? Я скажу вот что; а что скажешь ты?..

Шаги замедлялись у дверей конструкторской, но он не входил. У мужчин тоже есть своя гордость. И потом — может быть, у него нет такой уверенности в их будущем, какая есть у нее?

Однажды он вошел. Конструкторы сидели со своими рейсшинами и логарифмическими линейками.

Он сказал:

— Добрый день, товарищи.

— Добрый день,— дружно ответили ему.

Он сделал два-три шага и остановился, держа в пальцах незакуренную папиросу. Нонна с трудом удержала улыбку.

— Ну,— сказал он,— как вам работается без Владимира Ипполитовича? Не скучаете?

Кое-кто засмеялся. Кто-то чиркнул спичкой и дал ему закурить. Нонна сидела у своего стола, не поворачивая головы. Он говорил о том, когда будут готовы чертежи для пилы горячей резки, и о погоде. Разговаривая, бегло взглянул на Нонну. Сказал, что скоро будут топить лучше. Остановился около модели РНП, которую видел двадцать раз. Подошел к копировщице:

— Что это у вас? — и долго смотрел в чертежи какого-то узла.

Все-таки делать ему тут было нечего, хоть он и старался приискать себе занятие. Поэтому посещение не затянулось. Он сказал:

— Ну, так, товарищи. Значит, все благополучно?

Его заверили, что все благополучно, и он ушел.

Конструктор, с которым он разговаривал о пиле и о погоде, сказал:

— Вы не скажете, зачем он приходил?

Нонна громко засмеялась, смехом давая выход своей радости. Ее не поддержали: директора любили и не считали возможным высмеивать его. Просто удивительно, до чего хорошо относятся к нему люди...

Эта встреча была как крошка хлеба для голодного.

Пришел из Москвы план. Он назывался: план развития завода на 1946—1950 годы. Но с самого начала все назвали его: послевоенная пятилетка.

Вокруг пятилетки шли на заводе все разговоры, официальные и частные. 1 января 1946 года маячило перед очами как дверь, за которой открывается большая дорога.

Мартьянов, который знал все заводские новости, сказал Веденееву:

— Грушевой-то, начальник литерного...

— А что такое? — спросил Никита Трофимыч.

— Сматывает удочки.

— Как так?

— Говорил давеча при всех: поставят меня на запчасти — уйду к Зотову, на авиазавод.

— А пускай уходит,— холодно сказал Веденеев.— Никто не заплачет.

— В войну, однако ж, соколом парил,— заметил Мартьянов.

— А вот видишь,— поучительно сказал Веденеев,— про войну говорили, что она проявляет людей: кто хорош, а кто плох — сразу обнаружится, с первых дней. А я тебе

скажу, что нынешнее время таким же явится проявителем, если не еще покрепче. Новая пятилетка всех переметит: кто творец и созидатель, а кто убогий прихвостень. А Грушевой сейчас, понятное дело, пойдет метаться, искать, где работа полегче да где ордена близко лежат... Его в войну десять нянек нянчили, вот и парил соколом. А по мирному периоду он совершенно не соответствует своему назначению. Пусть уходит с богом к Зотову.

Никите Трофимычу очень хотелось, чтобы Грушевой ушел с Кружилихи.

Не потому, что Грушевой не соответствовал своему назначению. К таким вещам Никита Трофимыч относился философски. Он думал: сколько в Советском Союзе директоров, заместителей директоров, начальников цехов, их заместителей, начальников отделов, главных бухгалтеров, управляющих делами! Сотни тысяч. Мыслимо ли требовать, чтобы каждый из них так-таки и соответствовал своему назначению? Никита Трофимыч считал, что немыслимо.

Вот, например, за его век на заводе сменилось одиннадцать директоров. Тех, которые справлялись с работой, переводили с повышением в другое место. Несправившихся тоже переводили куда-то. С директорами таким же проточным ручьем плыли их заместители. Иногда какой-нибудь заместитель оказывался лучше директора. Был на памяти Никиты Трофимыча случай, когда заместителя назначили директором, а директора посадили заместителем. И что же? Поменявшись местами, они оба прекрасно работали. И через год их обоих перевели с повышением — одного, кажется, в партийный аппарат, другого в ВСНХ (это давненько уже было...).

Никита Трофимыч терпеть не мог Грушевого за то, что тот ходил к Нонне. «Если ты женатый человек,— ревниво думал Никита Трофимыч,— то незачем шляться к незамужним женщинам: одно неудобство, и сплетни, и дурной пример для молодежи». Ему очень не хотелось, чтобы Нонна выходила замуж. Он понимал, что это неразумное, жестокое желание, но не мог его заглушить. Пусть бы жила тут и жила, как вдова Андрея. Иногда он думал, что она, может быть, раскаялась, только из гордости не показывает; раскаялась и оплакивает Андрюшу, и так и доживет до старости, верная его памяти... Если бы это было так! Он бы ее ближе дочери принял к сердцу, наравне с Павлом принял бы.

В один прекрасный день Грушевой позвонил в конструкторский отдел и вызвал Нонну.

— Нонна Сергеевна,— сказал он срывающимся голосом, не поздоровавшись,— вы избегаете меня, не изволите отворять на мои звонки, когда я заведомо знаю, что вы дома... Но я настоятельно прошу вас принять меня сегодня по делу, касающемуся всей моей дальнейшей судьбы...

Она вслушалась: тон ожесточенный,— пожалуй, здесь не пахнет любовным объяснением... Она спросила:

— Может быть, мы поговорим у нас в отделе?..

— Нет! — сказал он.— Избавьте меня хоть от этого. Я не задержу вас больше десяти минут.

— Хорошо, приходите,— сказала она.

Конечно, он пробыл не десять минут, а два часа,— но уж бог с ним: это был его последний визит. Он обрушился на Нонну с отчаянными упреками: она погубила его будущее! Сегодня директор сказал ему, что его цех будет оборудован для массового производства тракторных деталей! Какие-то форсунки... Его цех! Столько раз отличавшийся в годы войны!.. Он будет начальником цеха, производящего форсунки!.. Да как он будет смотреть в глаза людям, которые привыкли уважать его?! Конец жизни, конец всему! И кто это сделал? Она! Она! Которую он боготворил! В пятилетнем плане завода никаких запчастей нет! Директор сказал: «Это инициатива Нонны Сергеевны...»

— Он сказал так? — переспросила Нонна и больше не слушала Грушевого.

Под конец он закричал, что Зотов хоть сейчас возьмет его к себе, что Листопад не имеет права задерживать его черт знает для чего, и выбежал как безумный. Нонна спустилась вслед и заперла за ним дверь,— его уж и в помине не было... Она не думала о Грушевом, она повторяла про себя: «Это инициатива Нонны Сергеевны»— и старалась представить себе голос, который это произнес...

На другое утро к ней в отдел позвонил Листопад.

— Нонна Сергеевна,— сказал он,— здравствуйте, Нонна Сергеевна... Я вас побеспокоил, чтобы сказать вам, что я решил послушаться вашего совета — перевести цех Грушевого на тракторные части.

«Совсем не для этого ты меня побеспокоил,— подумала она,— ты рад, что у тебя есть этот предлог...»

А вслух сказала:

— Очень рада. По-моему, это хорошо.

— Не знаю,— сказал он,— люди не очень-то довольны. Мечтали о большем... как вы.— У него был возбужденный, счастливый голос.— Вот так, значит, Нонна Сергеевна...

— Очень рада,— повторила она.

Она подождала, не скажет ли он еще что-нибудь. И он молчал и ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. Но что она могла сказать? Флиртовать по телефону?.. Подождав несколько секунд, она сказала:

— Благодарю вас, Александр Игнатьевич. До свиданья.

— До свиданья,— ответил он.

Вот и весь разговор. Сколько он длился? Минуту?

Как-то раз они встретились в коридоре заводоуправления, на повороте. Она шла быстро, он чуть не наскочил на нее, вздрогнул и забыл поздороваться. Она улыбнулась и прошла. Слыша, как удаляются его шаги за ее спиной, она подумала:

«Так пройдет и зима, и лето, и не будет ничего, что должно быть. Раз это должно быть, зачем откладывать? Я пойду навстречу тому, что должно быть».

Лида Еремина терзала Сашу Коневского по всем правилам жестокой любовной науки.

Как только она заметила, что он влюблен, она сейчас же стала его терзать и ни разу не давала ему пощады. Мальчишек надо терзать, иначе они слишком много воображают о себе.

Если Саша предлагал пойти вместе в Дом культуры или в кино, Лида говорила:

— Не знаю, я, кажется, уже кем-то приглашена...

Если Саша убеждал ее, что она не может сделать ничего умнее, как выйти за него замуж, она говорила:

— Что ты, что ты! Я так молода, мне учиться нужно, я, наверное, поеду учиться в Москву.

— Почему же,— горячо спрашивал он,— ты не можешь учиться здесь?

— Ах, мне здесь все надоело! — отвечала Лида.

Когда она видела, что у Саши вот-вот лопнет терпение и молодое самолюбие восторжествует над любовью, Лида надевала свое голубое платьице, в котором она выглядела уже вовсе неземным созданием, и начинала отвлеченно говорить о том, что все-таки только девушки способны на глубокое и самоотверженное чувство, а у молодых людей

все больше на словах... И Саша снова присыхал накрепко. Смелый и честный Саша Коневский, перечитавший кучу книг, член бюро горкома комсомола, был беззащитен перед тоненькой девушкой с голубыми глазами.

Может быть, он меньше любил бы ее, если бы хоть раз слышал собственными ушами, как она скандалила в цехе. Но он не слышал этого собственными ушами, а когда ему об этом рассказывали, он не верил.

А Лида была хитрая: с тех пор как Саша в нее влюбился, она перестала скандалить в цехе.

Как раз сейчас поводов для скандалов было сколько угодно, так что Лиде нелегко было сдерживаться. Цех переустраивался: одни станки убирали в сторону и вешали на них пломбы; другие привозили и устанавливали. Военную продукцию уже не работали — исчезли постоянное напряжение и тот красивый ритм, который обожала Лида. Иногда материал не поступал по нескольку дней, и рабочим нечего было делать. Тогда начальник цеха товарищ Грушевой отпускал их по домам, говоря:

— Отдыхайте.

Лидин папа демобилизовался и опять поступил машинистом на железную дорогу, так что Лида могла бы уволиться с завода и пойти учиться. Но ей было жалко бросать цех.

То, что делалось тут сейчас, нисколько ее не устраивало, но это временное, все говорят, что временное: пятилетка всех возьмет в работу... Пока, на досуге, Лида присматривалась к станкам. Ей нравилось токарное дело, нравилось и фрезерное; особенно прелестен был настольно-токарный станочек. «Это именно для моих рук»,— думала Лида, любуясь станочком. Пожалуй, она все-таки пойдет работать на штампы, ей нужно что-нибудь такое, где она могла бы, найдя ритм, развить высокую производительность. Она привыкла играть выдающуюся роль и не собиралась уходить в тень.

Однажды ей позвонила подружка из заводоуправления: плановому отделу нужна машинистка, и подружка подумала: почему бы Лиде не пойти в машинистки? Работа легкая, Лида научится в два счета.

«Вот еще! — подумала Лида, сделав гримаску.— Подумаешь, счастье — быть машинисткой...» Вслух она благовоспитанно поблагодарила подружку. Та уговаривала: «Подумай, Лидочка, будешь сидеть в чистой комнате, никакого масла, ни грязи, кругом интеллигенция, всегда будет в порядке маникюр...» Маникюр был большим соблазном, но Лида все-таки отказалась. По ее мнению, ничего не могло быть мизернее и бесперспективнее работы машинистки...

На производстве у нее будут перспективы. Она переживет временный затор, а дальше все будет хорошо... Надо как-то решать вопрос с Сашей Коневским.

Те морячки, с которыми она гуляла и которые осторожно ухаживали за нею и угощали ее мороженым,— это было несерьезно, она их и не принимала всерьез, она и поцеловалась-то всего раза три или четыре за свою жизнь — и не потому, что ей хотелось целоваться, а опять-таки по требованиям любовной науки: мальчишек надо иногда целовать, чтобы они не впадали в отчаяние.

А Саша — это была настоящая судьба: прочно, прилично, муж будет носить на руках. Он ее любит. И очень легко сделать так, чтобы любил всю жизнь.

Она мечтала, правда, о другом. Она мечтала, что сама пламенно влюбится в человека, так влюбится, что пойдет на безумства. Ей хотелось пламенеть и идти на безумства! Но ах! сколько было знакомств, и ни разу она не влюбилась пламенно. Даже маленький огонек, и тот не загорался...

«Может быть,— думала Лида,— я и не способна на пламенную страсть, может, это только мечты мои... Тогда чего же я жду? Может быть, никогда не будет другого такого хорошего и хорошенького, как Саша. Очень приятно, когда муж, вдобавок ко всем другим качествам, еще и хорошенький. Посмотришь на некоторых девушек — ходят с такими некрасивыми, я бы таких и близко не подпустила...»

И потом — ей уже двадцать лет, скоро двадцать один, молодость проходит! Хоть она и говорит Саше, что она слишком молода, но это у нее просто вид девчоночий,— на деле уже приходится скрывать свои годы... Скоро она будет старой девой. Ах, это будет ужасно несправедливо!

Надо выходить замуж. Ничего не поделаешь.

— Мамочка,— однажды утром сказала Лида тоненьким голоском,— ты ничего не будешь иметь против, если я выйду замуж за Сашу Коневского?

(Никто в доме, даже отец, никогда ни в чем не смел перечить Лиде, но она свято соблюдала дочернюю почтительность.)

Мамочка хорошо знала Сашу — он уже несколько месяцев околачивался в доме — и ждала этого вопроса каждый день. Она немножко всплакнула, сказала:

— Как же ты нас бросишь, Лидочка? Вы уж с нами живите...— и поцеловала Лиду.

Лида уложила локоны по плечам и пошла на завод.

Вечером она вернулась с Сашей. Он еще не совсем пришел в себя от неожиданного счастья и на вопросы отвечал хотя горячо и сразу, но невпопад. Вид у него был такой — кажется, вышел бы один против своры волков, немцев, кого угодно... Лида, невинно улыбаясь, расставляла на столе чайную посуду.

Саша сидел бы до утра, но она дала ему понять, что папе и маме пора ложиться, особенно папе: он с дежурства... Она вышла на крыльцо проводить Сашу. Он обнял ее и стал целовать. Она тихо отстранила его:

— Довольно, довольно...

— Скажи,— сказал он, нежно держа ее за плечи и близко глядя ей в лицо,— для чего ты мучила меня, если любишь?

— Разве ты мучился?

— Очень! — сказал он откровенно и грустно.

Она красиво положила голову ему на грудь.

— Саша, я себя тогда не понимала...

— А теперь понимаешь?

Она кивнула...

Когда он ушел наконец, она не сразу ушла с крыльца, стояла и смотрела ему вслед, завернувшись в мамин платок. Ей показалось, что в какой-то час она вспомнит этот вечер, и это крыльцо, и Сашин восторженный, доверчивый шепот, и это будет очень важное воспоминание, за которое ей дорого придется заплатить. Сознание ответственности за его судьбу, которой она так своенравно распорядилась, вдруг пронзило ее. И с этим новым сознанием, задумчивая, она вернулась в дом.

«Я пойду навстречу тому, что должно быть»,— решила Нонна.

После работы, когда все разошлись, она осталась в конструкторской. Она приоткрыла дверь, чтобы свет падал в коридор.

Он увидит свет и войдет.

Она пробыла в конструкторской до десяти часов — он не пришел. Утром она узнала, что накануне он улетел в Москву.

А что, если бы его вдруг перевели на другое предприятие? Что бы она сделала? Пошла бы к нему и сказала: «Возьми меня с собой...»

Он вернулся через четыре дня.

Кто-то сказал: «Листопад приехал». И сейчас же раздался телефонный звонок. Она сразу встала и пошла к аппарату, потому что знала, что это он ей звонит.

— Здравствуйте, Нонна Сергеевна. Как живете? А я в Москве побывал. Знаете, для чего?

— Откуда же мне знать?

— Насчет наших добавлений и пожеланий к плану и насчет, в частности, тракторных частей. Основные заказы к нам пойдут... Грушевой уходит, так я договорился в наркомате, что вы на его месте будете. Начальником цеха запчастей... Ну-ну, шучу. Зачем вам это... Нонна Сергеевна, ну, а вообще как?.. Все благополучно?

— Все благополучно.

— Значит, до свиданья, Нонна Сергеевна?

— Значит, до свиданья, Александр Игнатьевич.

От первого и второго мужа у Марийки не было детей, она уж думала, что никогда и не будет. И вдруг ей показалось, что она забеременела!

— Семочка,— сказала она Лукашину торжественно и таинственно,— ты знаешь что?

— Что? — спросил Лукашин.

— Ох, ни за что не скажу! — сказала Марийка.— Сглазить боюсь.

И тут же рассказала, потому что у нее ни от кого не было секретов, а тем более от Лукашина.

— То есть, ты понимаешь,— закончила она,— это не то что наверное, но я предполагаю.

Лукашин задумался. В первую минуту ему представилось, как тесно станет в Марийкиной комнате. На секунду он пожалел, что отдал свой дом... И вообще не оберешься хлопот с детьми — вон Уздечкин как мучается...

Но вдруг Лукашин представил себе, как здесь вокруг стола будет ходить такое маленькое, с пушистой головкой, как у детей Уздечкина,— и это будет его, Лукашина, дитя, его плоть, убереженная судьбой в кровавых боях, его теплота,— неизведанная нежность задрожала в его сердце и поднялась к горлу...

— Ничего, Марийка,— сказал он, отвернувшись.— Ты, главное дело, ешь побольше и береги себя.

Она заметила слезы, блеснувшие на его глазах, и сама заплакала от умиления. И многое, многое, в чем они, мо-

жет быть, согрешат в будущем, они простили друг другу за эти слезы!

— Как только стану побольше зарабатывать,— сказал он,— я тебя с работы сниму, будешь дома при мне и при детях.

Марийка сейчас же перестала плакать и подняла крик: да ни за что она с завода не уйдет! За кого он ее принимает?! Сроду не ходила в иждивенках! Ее тут, на Кружилихе, все знают, и она всех знает, да она с тоски повесится, если ее в домашние хозяйки переквалифицируют! Ребенка на день в ясли, и она будет работать, как работала, он что же думал?! Нежный какой, няня ему нужна...

В веденеевском доме новость приняли хорошо. Старик Мартьянов сказал:

— Надо полагать, горластый будет ребеночек...

Никита Трофимыч сказал:

— Ну, Марья, больше не разрешу жить на отшибе! Будет внук — перейдете в наш дом. Что, в самом деле! За какие грехи мы должны одинокую старость мыкать?

А Мариамна ничего не сказала — пошла копаться в сундуках: где-то должны быть Никиткины младенческие вещички — распашонки, чепчики, вязаные башмачки. Вот опять пригодятся!.. По временам Мариамна смеялась тихим густым смехом: сегодня в обед пришло письмо из Мариуполя от Павла и Катерины, и в конверт было вложено письмецо от Никитки, написанное по-украински. Павел писал, что Никитка учится в школе, где преподают и русский язык, и украинский, и вот написал деду и бабке по-украински, чтобы видели его успехи. Мариамна перебирала крошечные, кукольные чепчики и смеялась, перестать не могла: господи боже, Никитка пишет на украинском языке, можно с ума сойти от смеха...

В этот вечер Нонна опять осталась одна в конструкторской, и Листопад пришел.

Еще издали в пустынном коридоре она услышала его шаги, смотрела на дверь и ждала: шла судьба.

— Не помешаю? — спросил он с порога.

— Нет,— ответила она.

— Можно?..— он взялся за спинку стула.

— Да.

Он сел и облокотился на ее стол.

— Нонна Сергеевна...— он замолчал.

— Ну, что? — спросила она с ласковой иронией.

— Мы тогда не доспорили,— сказал он.— Помните?..

— Разве мы спорили? О чем мы спорили?

— По поводу того, что́ в производстве мелко, что́ крупно. Еще вы сказали, что вы — конструктор машин и чтобы вас оставили в покое...

Она смотрела на него и думала: «Ну, о чем ты говоришь, тебе совсем не об этом хочется говорить, вот мы вдвоем с тобой... Встать, подойти к нему, откинуть ему волосы со лба...»

И она вдруг сказала — точно бросилась с высоты:

— О чем вы говорите? Вам совсем не об этом хочется говорить.

Он отшатнулся от неожиданности... Она бесстрашно смотрела на него.

Он достал папиросу, закурил.

— Вы разве знаете? — спросил он.

— Да,— сказала она, продолжая свой сумасшедший полет.— Я знаю с самого начала.

Стол разделял их, они не двигались с места, ни один из них не знал, что он сейчас скажет. Потому что ни один не выбирал слов.

— С самого начала? — повторил он, доверчиво глядя на нее.— Это когда вы приходили ко мне?

— Ну да.

У нее тоже было полное доверие к нему. Ни на секунду ей не пришло в голову, что он может подумать: «кокетничает», «вешается на шею» или что-нибудь в этом роде. Это было исключено.

— Не знаю,— сказал он,— на радость это или на беду, но вот как оно получалось...

Она подошла к нему, стала рядом и обеими руками откинула ему волосы со лба.

В серый ноябрьский день Толька с чемоданишком в руке вышел из дому.

Он перебирался в юнгородок. Ему предоставили койку, освободившуюся после Петьки Черемных.

Матери Толька сказал, что будет жить в общежитии. Мать заплакала — не от горя, а от растерянности; слезы ее не смягчили Тольку.

Выйдя на улицу, он окинул взглядом знакомые дома, и они вдруг посмотрели на него очень серьезно. Вся улица, и осеннее небо, и заводские трубы, дымящие в отдале-

нии, выглядели сегодня как-то скучнее, взрослее. И Толька понял, что с этой минуты жизнь начинается всерьез.

Дул холодный ветер. Толька на минутку поставил чемодан на землю, опустил наушники шапки и, снова взяв чемодан, быстро пошел к трамвайной остановке.

Глава четырнадцатая
НОЧЬЮ

Ночь над поселком.

Фонари здесь не стоят правильными рядами, они разбросаны беспорядочно: фонарь тут, фонарь там; один — у трамвайной остановки, другой — над воротами пожарного парка. Единственное освещенное окно — высоко под крышей пятиэтажного дома. Кругом чернота, в черноте местами поблескивают рельсы и немые, спящие стоят дома.

Это час, когда последний трамвай давно прошел. Когда ночная смена на заводе давно заступила. И в Доме культуры, и в кинематографах не осталось никого, кроме ночных сторожей. И гуляки угомонились. И влюбленные не шепчутся в подъездах.

Тихо в домах. Люди спят, и каждый видит свои сны.

Мирзоев провел минувший день хлопотливо.

Утром он возил директора в горком. Директор велел дожидаться, но Мирзоеву подвернулась работа: хорошенькая дамочка попросила подвезти ей швейную машину, и он вез ее к чертям на кулички, на окраину, и дамочка в благодарность пригласила позавтракать, и машина, как выяснилось, шила плохо, и дамочка была прелесть какая хорошенькая, и Мирзоев починял машину и любезничал с дамочкой, и потом гнал свой ЗИС на третьей скорости обратно к горкому, и милиционер остановил его и записал номер, и он чуть не опоздал,— но ему повезло по обыкновению: подкатил к подъезду горкома как раз в тот момент, когда директор спускался с лестницы. Мирзоев вез его на завод и, смеясь, подмигивал своему счастью.

Директор дожидался инженеров на совещание и разрешил Мирзоеву съездить проведать земляка, находившегося на излечении после тяжелой контузии. Почти два года земляк лечился: чем его ни лечили — и электричеством, и ваннами, и гипнозом, и возили на курорты, и припадки не проходили. Никакой особенной дружбы у Мирзоева с земляком не было, но Мирзоев считал бы себя последним скотом, если бы раз в месяц не проведал земляка и не отвез ему гостинцев.

В клинике Мирзоев попросил швейцара присмотреть за машиной, с удовольствием надел белый халат и, чувствуя себя похожим на доктора, поднялся во второй этаж. Он шел неторопливо, чтобы встречные девушки успели наглядеться на него. Он понимал, что девушкам, работающим в клинике для нервнобольных, приятно посмотреть на красивого нормального мужчину... Земляк встретил Мирзоева восторженно, другие больные тоже. Мирзоев вытащил из кармана гостинцы. Больные уселись в тесный кружок, выпили и закусили. Сестра, входившая в палату, сделала вид, что ничего не заметила. Мирзоев налил было и для нее полстакана и сделал ей томные глаза, но она отвернулась и вышла. Потом русские больные пели по-русски, и Мирзоев и земляк — по-тюркски. Потом Мирзоев спел хорошую русскую песню «Выхожу один я на дорогу...» «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит»,— пел он высоким, несильным тенором, и от умиления слезы проступали у него на глазах: хороша песня!..

Довольный, ушел он из клиники и решил съездить на вокзал к московскому поезду.

По пути прихватил какое-то семейство с узлами и чемоданами. Приехал на вокзальную площадь — денек только чуть смеркался... Семейство хотело уплатить мелочишку, но Мирзоев поглядел на детишек, на узлы и сказал: «Ну что вы, не надо мне ничего...»

Скоро народ посыпал с вокзала — пришел московский поезд. К машине Мирзоева, хромая, подошел человек в демисезонном пальто и теплой кепке,— в одной руке чемодан, другая глубоко запрятана в карман, на глазах черные очки...

— В горисполком сколько возьмешь? — спросил он.

Явно, командированный. Столковались. Командированный сел на заднее сиденье. Поехали.

Мирзоев не был равнодушен к людям, которых возил, он всегда интересовался, кого везет и за какой надобностью. И он уже хотел повернуться к седоку и спросить прилично-сочувственно, указывая на очки и на руку, спрятанную в карман: «На Отечественной потеряли?..»—

как вдруг седок положил здоровую руку ему на плечо и сказал:

— Ахмет.

Мирзоев повернулся, подскочил на сиденье: как только этот голос произнес его имя, он узнал его сразу.

— Товарищ комбат! — закричал он.

Машина вильнула и чуть не налетела на проходивший трамвай...

— Смотри, черт,— сказал, улыбаясь, комбат.— Ты меня второй раз закатаешь!

Мирзоев задохнулся, слезы брызнули у него из глаз.

— Постойте,— сказал он. Остановил машину около тротуара, повернулся к комбату, и прохожие замедляли шаг, наблюдая с удивлением, как в машине целуются долго и нежно шофер и седок.

— Нализались,— сказал кто-то.

— Вы живые! — восклицал Мирзоев.

— Да, брат, выпутался,— сказал комбат.— Ну-ка, поедем все-таки. А то мы вон толпу собрали.

— Я вас везу к себе,— сказал Мирзоев, берясь за баранку.

— В другой раз,— сказал комбат.— Мне в горисполком срочно.

— Завтра! — сказал Мирзоев.— Завтра я вас лично отвезу в горисполком к началу занятий. Сегодня не может быть никакого горисполкома. Я вас во сне видел сколько раз. Мы только заедем на минутку в магазин «Гастроном».

— Ладно,— сказал комбат,— только в горисполком все-таки сегодня, часа через два. Я всего-то на сутки. А водочки с тобой, по старой памяти, выпьем.

Мирзоев не стал рассказывать о том, что у него вырезана почка и что он воздерживается пить по этой причине: совестно выскакивать с какой-то почкой перед человеком, который так пострадал. Он заехал в магазин и купил всякой снеди на все деньги, какие нашлись в карманах. Потом доставил комбата к себе на квартиру, завел машину по соседству в пожарный гараж, чтобы была под рукой, и, запыхавшись, примчался домой. Он был в детском восторге, ему приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы говорить связно.

— На-ка, выпей успокоительных капель,— сказал комбат, налив ему в стакан.

Мирзоев обеими руками принял от него стакан, глотнул в экстазе — с отвычки водка опалила ему горло и в самом деле несколько успокоила.

— Ну, как же вы? — спрашивал он счастливо, с любовью заглядывая комбату в очки.— Как вы?.. Где вы?..

Комбат рассказал, что работает в Москве по строительной части. На вопрос: «А как вообще жизнь?»— ответил:

— Да что. Время трудное, что же тут скрывать. Сам знаешь, какова международная обстановка. Ничего, переживем. Не такое переживали, вспомни-ка.— Он улыбнулся своей спокойной улыбкой.

— Международная обстановка — да,— сказал Мирзоев.— Нет, я в смысле вашего личного устройства. Вашего личного, чисто бытового устройства.

Комбат немного нахмурился.

— Ну, что ж личное, чисто бытовое,— сказал он.— Живу, как все.— И, оглядев стол, добавил: — А ты, кажется, устроился неплохо.

— Я живу очень хорошо,— сказал Мирзоев.— Не хуже директора, между нами говоря.

— Зарабатываешь слева,— сказал комбат.— Понятно.

— Знаете,— сказал Мирзоев, с тревогой почувствовав, куда ведет разговор,— иметь такую машину и такого директора, как у нас, и не заработать слева — это надо быть форменным идиотом.

Он достал еще свертки и выложил яства на тарелку.

— Слишком, слишком хорошо живешь,— сказал комбат.— Это тебе вредно. Откровенно сказать,— прибавил он,— я воевал не за то, чтобы несколько веселых парней могли зарабатывать слева и жить без забот.

— Я понимаю вашу мысль,— сказал Мирзоев, покраснев.— Я тоже. Я воевал за то самое, что и вы.

— Постой,— сказал комбат, откинувшись на спинку стула и глядя на Мирзоева черными очками,— ты же комбайнер?.. Ну да, комбайнер. Где же твой комбайн, лодырь собачий? Чего ты околачиваешься в директорских шоферах?

— Вы думаете, он меня отпустит?.. Ого!

— Да ты у него просился?

— Сколько раз,— не моргнув, сказал Мирзоев.— Слышать не хочет.

— Врешь, врешь,— сказал комбат.— Вижу, что врешь.

Он взглянул на часы и встал, обдергивая пиджак на фронтовой манер, как гимнастерку.

— Время. Вези.

— Еще пятнадцать минут! — вскричал Мирзоев.— Вы должны меня выслушать! Сядьте, я вас прошу! Наш спор не кончен.

— Да какой же спор? — сказал комбат добродушно.— Спора нет и не может быть.

Действительно, спора не было, но в душе Мирзоева под влиянием смущения, огорчения и водки поднялся такой вихрь, что ему показалось, будто они с комбатом ожесточенно спорят уже несколько часов.

— Вы должны выслушать,— твердил он, хватая комбата за плечи.— У каждого может быть своя точка зрения. Вы должны узнать мою точку зрения.

— Ладно, валяй,— сказал комбат.— Только быстро.

— Вы сядьте, пожалуйста. Такую вещь я не могу быстро.

Комбат терпеливо сел. Мирзоев перевел дух и заговорил вдохновенно.

Он был фантаст. Мысли рождались в его мозгу мгновенно.

Он сам был уверен, что исповедует то, что только что пришло ему в голову.

Почему люди жалуются на жизнь? Потому что они недостаточно активны.

Разве Советская власть говорит мне: «Не думай, я буду думать за тебя»? Да ничего подобного. Только дураку она говорит: «Поступай вот так-то, а то пропадешь». Умному она говорит: «Думай хорошенько, думай сам; все обдумай, а я тебе помогу». Я умный, я думаю сам.

Молодой человек хочет быть инженером. Держит экзамен и проваливается. Озирается кругом и видит, что еще успеет в этом году поступить учиться на агронома. Есть, видите ли, вакантные места, и смотрят сквозь пальцы на то, что он плохо знает алгебру. И только из-за того, что он плохо выучил алгебру, он идет учиться на агронома, когда он не отличает редьку от капусты. И пожалуйста — судьба человека испорчена. Он будет растить редьку и думать про эту редьку: чтоб ты провалилась. Вы скажете, что все-таки он молодой, что при нем остается и любовь, и физкультура, и хорошая погода, так что он все

равно и с редькой будет счастлив. Я не так понимаю счастье...

Человек мечтает жить в Тбилиси, а живет тут у нас. Я его спрашиваю: почему же ты не живешь в Тбилиси? Он говорит: меня не прописали. Вы понимаете, его не прописали, он заплакал и поехал жить в этот климат... Могу я к нему относиться серьезно?

Мне говорят: почему не женишься, столько кругом девушек. Потому что я знаю, на какой я женюсь. Я ее еще не встречал. Если встречу завтра, то завтра женюсь. А если не встречу, то не женюсь ни на ком. Я не плыву по течению. Я выбираю себе жизнь.

Он замолчал со страстно блестящими глазами. Когда он начинал свою речь, она представлялась ему до конца последовательной и убедительной. И вдруг мысль оборвалась и за нею не оказалось ничего.

— Вы понимаете, чего я хочу?

— Понимаю,— сказал комбат.— Ты хочешь еще выпить. Чтобы дойти окончательно.

Он налил Мирзоеву еще водки.

— Я хочу,— торжественно сказал Мирзоев, поднимая стакан,— чтобы человек не был иждивенцем. Чтобы он не плыл, куда его несет, а размышлял и выбирал. Боже мой, в нашей ли жизни мало возможностей выбора?.. Когда нашей молодежи открыты все дороги...

— Хватит,— сказал комбат и встал решительно.— Ты полчаса учил меня жить, а теперь еще начнешь агитировать за Советскую власть... Поехали.

Мирзоев убито натянул свое кожаное пальто. Он не убедил комбата, наоборот, еще больше испортил дело: у комбата суровое лицо; он рассердился...

Комбату стало жаль Мирзоева. Он обнял его здоровой рукой.

— Ахмет,— сказал он,— послушай меня. Это все бред собачий. Упражнения блудливого и праздного ума. Дело, брат, настолько ясное, что яснее быть не может: раны нам нанесли страшные, стройке нашей помешали... Сейчас залечиваем раны, возобновляем стройку, дорога у нас у всех одна — в коммунистическое общество, без этого народу не будет ни счастья, ни настоящего устройства. И нечего тут воду мутить. А если принять твою речь всерьез, то иждивенец — не тот, кто в трудной жизни свое дело делает и заработка слева не ищет, а иждивенец настоящий, махровый, ничем не прикрытый — это ты. Ты

плывешь по течению. Я не плыву!.. Не понимаешь? Подумай и поймешь: ты же умный...

В город ехали молча. Простились коротким поцелуем. Комбат отклонил предложение Мирзоева отвезти его завтра на вокзал: он попросит машину в горисполкоме... Обменялись адресами и обещали писать. Очень поздно Мирзоев вернулся домой.

В своей комнате он долго стоял неподвижно, не снимая пальто и не зажигая света. Мелко и нежно тикали часы на его запястье...

— Стоп,— сказал Мирзоев.

Где он только ни шлялся сегодня, чтобы уйти от этого отвратительного настроения. Ходил до поздней ночи, исходил весь поселок — не ушел.

Все равно как в морду дали...

В сущности, что за драма? Он же всегда смотрел на эту службу как на временную. Может человек, отвоевав, отдохнуть и подкормиться на легкой работе? Он имеет настоящее место в жизни. А может быть, он пойдет учиться. На инженера.

Сколько это лет учиться? Года два в техникуме. Потом четыре (или пять?) в институте. Минимум шесть лет. Гм...

Сколько студенты получают стипендию?..

Вспоминалась легкость нынешнего бытия, разные житейские соблазны, дамочка с швейной машиной — ух, мировая дамочка...

Комбат сказал: «Пиши в дальнейшем...»

Вернуться в совхоз? Заработок на комбайне очень и очень приличный... Воображаю, как меня будут встречать!

Или лучше в студенты?..

В общем, буду говорить с директором. Я не хочу, чтобы хорошие люди плевали в физиономию. Прижму директора в машине: отпускайте на учебу, я эти вузы и втузы отстаивал своей кровью, имею право, в конце концов...

— Трудно тебе будет, лодырь собачий,— сказал кто-то из темноты голосом комбата.

Мирзоев улыбнулся темноте.

— Товарищ комбат, дорогой, это кому-нибудь будет трудно, а Мирзоеву везде будет замечательно. Такой он человек.

———

Лукашину приснилась война. Он лежал в окопчике, близко кругом разрывались мины. Всякий раз как, противно мяукнув, рвалась мина, Лукашин падал лицом на подсохшую, колючую, жирно пахнущую землю и думал: вот сейчас; вот конец; вот меня уже нет. Вдруг рыхлый бугорок перед лицом Лукашина зашевелился, начал вспухать, посыпались комья в окопчик, из земли показались человеческие пальцы, потом стала подниматься голова. Лукашину стало так страшно, что он и о смерти думать перестал.

«Ну, что, Сема? — сказала голова и подмигнула веселым глазом.— Когда приступаешь к занятиям в конторе?» Лукашин закричал и проснулся. Марийка сидела около него, испуганная, и говорила:

— Что с тобой? Приснилось что-нибудь?

Она поцеловала Лукашина, укрыла его и прижалась к нему, бормоча что-то теплым сонным голосом. Но он боялся заснуть, чтобы опять не увидеть страшное, и попросил:

— Не спи. Говори что-нибудь.

— Что же говорить? — спросила она, засмеявшись.— Стих наизусть, что ли?

Но он сказал:

— Мы так до сих пор и не решили, куда поставить кроватку.

— Как не решили? — сказала Марийка бодрым, деловым тоном.— Ты забыл: между шифоньером и столиком; если столик отодвинуть к окну, станет в аккурат. И как хочешь, Сема, придется купить цинковую ванночку: ванночка будет служить лет десять, а так что? В тазу годов до трех докупаешь, не больше.

— Можно и в корыте купать,— сказал Лукашин.

Марийка всплеснула руками.

— В деревянном корыте, где грязное белье стираем?! Ну, Сема...

Лукашин вздохнул. Ванночка так ванночка. Тут была граница его мужского царства.

— Какую он фамилию будет носить? — спросила Марийка и засмеялась: так не шло к тому, о чем они говорили, слово «фамилия».— Твою или мою?

— Конечно, мою,— сказал Лукашин.— И ты — мою, какая у тебя может быть своя фамилия.— И он собрался поцеловать Марийку, но подумал, что эта женщина во многом перед ним виновата, и сказал другим тоном, очень веско: — Но только, Марийка, семейная жизнь может по-

лучиться тогда, если и муж и жена идут на уступки. Один раз я уступлю, другой раз — ты. А у нас получается такая картина, что уступаю только я, а ты делаешь все, что хочешь, и не считаешься со мной ни на копейку.

— Семочка,— скороговоркой и шепотом отвечала Марийка, привалившись к нему,— ангел мой, котик мой, прямо совести у тебя нет, ну, когда же я с тобой не считалась?!

— Я тебя просил,— сказал Лукашин,— оказать мне пустяковую услугу — я говорю о кожаной куртке,— ты отказала. Раз. Я тебя просил не бегать по соседям, когда я дома, но это, видать, выше твоих сил. Два.

Он долго перечислял Марийкины вины и в темноте загибал пальцы, чтобы не сбиться со счета. Марийка слушала-слушала и вдруг сказала радостно:

— Сема, ты вообрази, мне теперь все время соленого хочется. Ничего бы не ела, только огурцы и селедку. И до того хочется — ужас!

— Глупая ты у меня,— сказал Лукашин, сбившись со счета.— Что мне с тобой делать, что ты такая глупая?

За поздней беседой засиделись два старика — Веденеев и Мартьянов.

Мартьянов пьян. Большое мясистое лицо его налилось кровью. Печь уже остыла — пока нет больших морозов, Мариамна топит экономно,— но Мартьянову жарко. Он расстегнул рубаху на широкой груди.

— Вот так я жил,— говорит он, тяжело отдуваясь,— вот такая была моя, Никита, блудная и черная жизнь...

Склонив аккуратно остриженную седую голову, сощурясь, Веденеев задумчиво водит по столу тоненькую рюмку...

— Только что крови не лил,— к этому не причастен, нет,— а почему? Совести боялся?

— Нет,— тихо говорит Веденеев,— не совести.

— Кодекса боялся, ну да. Формально — руки чистые. А фактически — сколько грехов на мне?..

— Можешь не считать,— говорит Веденеев так же тихо.— Мы сочли без тебя.

— Ты мне одно скажи,— говорит Мартьянов, подперев обеими руками большую лохматую голову и приблизив ее над столом к Веденееву,— отробил я свою черноту перед людьми или нет?

Веденеев молчит.

— Отробил или не отробил? — страстно повторяет Мартьянов.— Скажи!

— Ты-то сам как понимаешь? — спрашивает Веденеев.— Сам ты как чувствуешь?

— Не знаю! — с задышкой говорит Мартьянов и широко разводит руками.— Не знаю!

— Все прощается за труд,— сухо говорит Веденеев.— Сужу человека смотря по тому, какую долю труда он внес.

— Ну! Ну! — говорит Мартьянов с ожесточением и надеждой.— Слыхал я это от тебя. Ты про меня, про меня скажи: отробил я?..

Веденеев встает, закладывает руки в карманы и ходит по комнате, размышляя. Подходит к печке, трогает ладонью остывшие кафели... И оттуда, от печки, доносится слово, которого ждет Мартьянов:

— Отробил...

И над маленьким южным городом тоже ночь.

Большое окно открыто в сад, в саду сухо, с жестяным постукиваньем шелестят листья какого-то растения.

Вот так в ветреную погоду постукивают на кладбищенских крестах жестяные венки...

Запихали в могилу и радуются. Сами живут, а он лежи и умирай.

— Маргарита! Будь добра, Маргарита, закрой окно.

Маргарита Валерьяновна входит из соседней комнаты и торопливо закрывает окно.

— Как ты хлопаешь. Неужели нельзя не хлопать... И спрашивается: для чего держать окна настежь, когда такая сырость?

— Но ведь доктор сказал, что, пока тепло...

— Какое же тепло. Сырость, ужасная сырость. Неужели ты не замечаешь, что одеяло к утру совершенно отсыревает?

— Извини, я не...

— Ты многого не замечаешь, Маргарита, когда речь идет обо мне. Нельзя так слепо выполнять предписания доктора, как ты выполняешь. Надо жить своим умом. Эти курортные врачи вообще ничего не понимают.

— Я каждый день вспоминаю Ивана Антоныча,— со слезами на глазах говорит Маргарита Валерьяновна.

— Это очень мило, что ты вспоминаешь его каждый день, но, к сожалению, это ни в какой степени не может мне помочь.

Владимир Ипполитович садится в постели и принимается, кряхтя, перекладывать подушки.

— Нет, я сам. Оставь, пожалуйста. Никому до меня нет дела. Не могу допроситься, чтобы клали подушки так, как мне удобно.

Действительно: нет рядом души, которая бы посочувствовала. Некому даже подушки переложить...

Маргарита делает вид, что вот-вот свалится с ног. Чего ей валиться с ног? Ей еще и шестидесяти нету. А молодая, здоровенная Оксана храпит так, что [redacted] спальне слышно. Отвратительно тонкие стены у этих маленьких домишек. Лежать всю ночь и слушать храп — тоже удовольствие...

В открытую дверь виден пустой чемодан, стоящий на полу, и женские тряпки, разбросанные по стульям.

— Еще не уложилась?

— Нет еще.

— Подумаешь, сложные сборы,— едешь на неделю.

— Представь, я как-то не могу сообразить, что надо взять с собой. Здесь тепло, и Оксана мне выгладила летние платья, я стала укладывать и вдруг думаю себе: ведь там морозы!

— Ну конечно, морозы. Ты — как младенец, Маргарита. Надо взять шубу, [redacted] валенки, и все теплое.

— Да, валенки,— говорит она,— надо вынуть из нафталина...— и она уходит, [redacted] он знает, что она рада предлогу уйти.

Все рады уйти.

Листопад за все время прислал одно письмо. Еще одно пришло от группы конструкторов — какое-то вялое, принужденное... Людей сближает совместная работа, остальное — сентиментальное вранье. Отработал человек — его спихивают к черту на кулички. На *покой.* И радуются...

Кажется, он поторопился с этим домиком.

Ему здесь гораздо хуже. Просто несравненно хуже. Болваны доктора не понимают.

Инерция работы держала его на ногах. И еще десять лет продержала бы. Нет, дернула нелегкая бросить все, изменить привычному ритму жизни. И сразу начал распадаться весь механизм.

Вот и окно закрыто, [redacted] одеяло все-таки сырое.

На севере топят большие печи. Топят дровами. Тепло.

Вот он, покой: никто ничего от тебя не ждет, никто не придет, можешь совсем не вставать с постели. Постукивают в саду жестяные мертвые листья...

Маргарита рвется скорее привезти мебель, чтобы устроить здесь по-городскому. Маргарита хитра, но глупа, все хитрости ее как на ладони. Вовсе не мебель ей нужна. Она хочет на неделю-две вырваться из этой могилы...

Что же, по человечеству ее можно понять. Хотя это возмутительно, что [redacted] она бежит от него.

Соскучилась по своим председателям [redacted] заместителям председателей.

Надо ей сказать, чтобы спала в его бывшем кабинете,— там теплее всего. Там печь очень хорошая... Два чертежных стола так и стоят там у окна. Кто-то будет жить в том кабинете? Унесут чертежные столы, поставят дамский туалет или детские кровати...

Ломит поясницу, ноют ноги, голова тяжелая, сна нет. Вот вам и знаменитые целебные грязи!

Не те времена! Никто не протянет над тобой руки и не скажет: «Встань и иди!» Сам вставай, сам иди. Сам воскрешайся из мертвых.

Маргарита может спорить сколько угодно, [redacted] одеяло сырое.

— Маргарита! Маргарита! Достань и мои валенки из нафталина. Мы едем вместе.

Этому нельзя перестать удивляться. Кто ты был для меня? Никто. А сейчас ты мне ближе всех на свете. Был безразличен мне, [redacted] сейчас для меня самое интересное — то, что ты говоришь, то, что я хочу сказать тебе, то, что я о тебе думаю, то, что думаешь ты. Ты умнее всех, ты прекраснее всех; если бы я хоть секунду думала иначе, разве я потянулась бы так к тебе, разве бы я так гордилась тем, что имею право прислониться к тебе? Как это другие не видят, что ты лучше всех? Как я сама этого раньше не видела? И почему теперь увидела? Откуда взялось прозрение? Не потому же, что я искала любви? Я не искала любви! Если бы искала, нашла бы давно, она под ногами у меня лежала, я и не нагнулась поднять... Нет, я искала любви, не нужно быть нечестной. Но почему именно ты? За какие такие твои заслуги? Чего ради я ряжу тебя во все это великолепие? Ничего не понятно, от непонимания кружится голова...

Листопад и Нонна идут медленно. Оба устали. Устали оттого, что просидели в накуренной конструкторской до глубокой ночи, [redacted] оттого, что за все эти часы ни разу по-настоящему не приблизились друг к другу...

Он что-то говорит. Она отрывается от своих мыслей и вслушивается.

— Только не испугайтесь моего жилья,— говорит он как бы шутя, но голос вздрагивает.— У меня пусто и холодно, похоже на сарай.

— Это же все равно,— говорит она почти шепотом.

Они условились, что она придет к нему. Когда? «Я тогда позвоню»,— сказала она коротко. У нее такое ощущение, словно она раскачивается на качелях: выше — выше — выше...

— Лодки,— говорит она.

— Лодки? — повторяет он, заглядывая ей в лицо.— Какие лодки?

Она отрицательно качает головой, ей не хочется объяснять. Это в детстве было: качели-лодки, подвешенные на стальных тросах к толстой перекладине. Девушки и ребята становились по двое, держась за тросы, и раскачивались что было силы. Раскачавшись, лодка перелетала через перекладину, описывая полный круг. Кто слабонервный — и не суйся!

— Ты хочешь спать,— говорит он, и первый раз называя ее на ты.— Ты спишь на ходу.— Он обнимает ее бережно и нежно.

Вот и горка, и лесенка, ведущая к веденеевскому дому. Пришли! Она останавливается и поднимает к нему лицо...

— Ноннушка,— говорит он, целуя ее закрытые глаза.

— Еще,— говорит она, не открывая глаз.

И наконец они расстаются. Она отпирает дверь — целая связка хитроумных ключей, бесчисленные веденеевские затворы — и входит в дом. Он идет обратно, из старого поселка в новый, по необъятно широкой пустынной улице, обставленной высокими домами.

Куда же он сворачивает, разве не домой лежит его путь? Слишком поздно, чтобы идти в гости. Только всполошишь хозяев, вызовешь недоумение, неудовольствие, насмешку... Но он идет уверенно. Его ведет радостный подъем — он убежден, что все, что он сейчас сделает, будет хорошо! На мгновение он задерживается, чтобы разглядеть номер дома: белая эмалевая дощечка ясно и доверчиво освещена электрической лампочкой. Листопад входит в полутемный подъезд, поднимается на пятый этаж: вот та дверь. Нажимает кнопку звонка: звонок не действует. Листопад стучит.

— Кто там? — спросил Уздечкин.

Он только что собирался ложиться. По-прежнему по утрам ему трудно было работать, а к вечеру силы приливали, он словно оживал и с удовольствием засиживался над делами до глубокой ночи. Закончив работу, он приготовился уже раздеваться, как вдруг постучали. Он прислушался — не померещилось ли? Нет, постучали вторично. Кто так поздно?.. Он вышел в коридор и негромко спросил через дверь:

— Кто там?

— Федор Иваныч,— ответил голос Листопада,— это я, отворите.

Несколько секунд Уздечкин держал руку на замке и не знал: отворять или нет. Отворил. Еще какое-то время они стояли, один в передней, другой на площадке; потом Листопад усмехнулся и вошел, слегка отстранив Уздечкина.

— Не спите? Это хорошо, что не спите. Можно к вам? — Он прямо пошел на свет в столовую, скинул пальто, бросил на стул у двери... Уздечкин двигался за ним, не сводя с него глаз. Листопад сел к столу:

— Присяду, можно?

Уздечкин не отвечал. Глаза его спрашивали неистово: ну, что еще придумал?

На столе под лампой лежала папка с бумагами. Листопад открыл ее, прочитал бумажку, другую: заявления от рабочих; ссуды просят, ордера...

— Утопаете?

Уздечкин сказал с трудом:

— После войны у всех в быту обнаружились прорехи.

— И вы из своего завкомовского бюджета предполагаете все прорехи перештопать?

Глаза Уздечкина потухли. «Сейчас,— подумал он,— я возьму папку у него из рук и скажу: давайте завтра на заводе; я спать хочу...»— но Листопад сам отодвинул бумаги и спросил:

— Чаю дадите? Плохо встречаете гостей — даже чаю не предложите. Я бы выпил, откровенно говоря.

— Чаю предложить могу,— сказал Уздечкин,— только сладкого, кажется, ничего нет.

— Знаете, что я вам скажу? — сказал Листопад.— Жить надо так, чтоб было сладкое. Обязательно.

— Обязательно? — переспросил Уздечкин.

— Обязательно.

Оттого, что было уже очень поздно и все кругом спали, голоса у обоих были негромки и слова ронялись замедленно, по-ночному.

— Так-таки обязательно! — повторил Уздечкин с кривой улыбкой.

— Все-таки чаю дайте,— сказал Листопад.— Несладкого дайте, только горячего.

Ему нужно было хоть на минуту остаться одному: не получалось разговора с Уздечкиным! Трудно человеку одолеть собственный характер; пожалуй, это самое трудное, что есть на свете.

И Уздечкину хотелось остаться одному, чтобы привести мысли в порядок. Он нарочно долго возился в кухне, подогревая чайник. «Что это значит,— думал он,— зачем он явился среди ночи и зачем я буду поить его чаем, дурак я, и больше ничего!» Сердце у него дрожало и болело. Он налил стакан чая и пошел в столовую.

Листопад стоял на пороге детской и смотрел на спящих девочек. Они были укрыты стегаными одеяльцами до ушей; только две светлые макушки видел Листопад в слабом свете, падавшем из столовой, да слышал сладкое, безмятежное детское дыханье... Он обернулся на шаги Уздечкина, взгляд у него был растерянный и мягкий.

— Вот,— сказал Уздечкин отрывисто.— Согрел, пейте.

Листопад вернулся к столу, но не стал пить. Облокотился и, нахмурясь, глядел на Уздечкина с недоумением. И вдруг сказал тихо:

— Что это у нас с тобой происходит, а? Ты не можешь объяснить?..

— Все понятно,— сказал Уздечкин,— что тут объяснять! Ты имеешь счет на меня, я на тебя. Я тебе моего счета еще не предъявлял.

— И я тебе тоже!

— Нет, ты предъявлял. У тебя выдержки нет, чтобы держать в секрете. Я все знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, я мало даю... партии, народу... Ты думаешь, что ты много даешь, а я мало; и ты на меня смотришь как на муравья... Не спорь, я знаю.

Листопад не спорил, он молчал. Уздечкин перевел дыханье.

— Отсюда все и вытекает. Какие у тебя основания думать, что я мало даю? Потому что работаю тихо, без звона? Мне звона не надо!

— А что тебе надо?

— Много надо; только не звона.

— Так ты считаешь, что много даешь партии? Что же ты даешь?

— Все! — отвечал Уздечкин.— Все, абсолютно все, что имею. Последнее понадобится отдать — отдам последнее. А ты сколько даешь? Три четверти? Половину?

— Я тоже все, кажется.

— Нет, ты не все. Разве столько у тебя, сколько ты даешь? У тебя больше!

— Спасибо на добром слове, разреши считать за комплимент.

— Ты, может, и все отдаешь,— сказал Уздечкин, подумав,— так ты этого не чувствуешь. Ты радости много взамен получаешь. Сделка для тебя выгодная.

— Э, заговорил как подрядчик! Так бери и ты радость. Это ж у нас не нормированный продукт, бери, сколько можешь унести!.. Не умеешь? Так и скажи. Нескладно как-то все у тебя. Незграбно, как на Украине говорят.

— Я сочувствия не прошу, если кто сочувствует, так это просто глупость. Уходи с твоим сочувствием!

— Не уйду, Федор Иваныч. Потому что если уйду, то второй раз мне не прийти. Я пришел с тобой помириться раз и навсегда, окончательно. А ты меня гонишь.

Выражение лица у Листопада было отчаянно-упрямое, мальчишеское... Уздечкин улыбнулся невольно, ему вдруг стало легко: как будто и с его плеч упало двадцать лет, и он тоже мальчишка, который и ссорится напропалую, и мирится прямодушно.

— Вот ты пришел,— сказал он,— и с маху поставил на мне клеймо: нескладно все у меня, говоришь. Ты меня знаешь — сколько? Меньше двух лет?.. Ты хоть раз говорил со мной не как директор, а как человек?

«Да ведь и ты передо мной являлся не иначе, как председателем завкома»,— хотел сказать Листопад, но не сказал: мелки показались ему эти слова, и не стоило прерывать Уздечкина, раз уж тот заговорил.

Пусть выскажется.

— Я на заводе вырос. Я помню, как тут еще дореволюционное оборудование стояло... как начали строить новые цеха, повезли оборудование по последнему слову техники. Новые мартены ставил комсомол, я был в числе бригадиров. На месте нового поселка пустырь был, голое поле — я помню, как закладывали каждый фундамент... Сейчас, конечно, много у нас нового народа, а до войны — идешь утром на работу, так голова заболит кланяться: со всеми встречными знаком! И каждый тебя знает по имени-

отчеству, и каждому ты нужен!.. Тебе Кружилиха — что? Ты до нее, может, на десятках предприятий побывал. У меня тут и дом, и семья, и родина, и отцовская могила, и все!.. А тебя завтра переведут [redacted] Челябинск или Свердловск — ты и поехал! И хоть бы что тебе!..

— Постой, постой! — не выдержал Листопад.— По-твоему, значит, если я тут не родился, то уж и не могу любить завод так, как ты любишь?

— Не потому, что не родился. Потому что у тебя характер не тот. Таким, как ты, и здесь хорошо, и в Челябинске не хуже. Для тебя Кружилиха — один перегон, от станции до станции; а для меня — вся жизнь.

— Извини, пожалуйста! — сказал Листопад.— Ты о моих привязанностях суди по моей работе; [redacted] это все сочинительство — чепуха на постном масле.

— А хоть бы и сочинительство,— сказал Уздечкин.— Мало ли мы друг о друге сочиняем. Человек не книга, чтобы прочитать сразу; смотришь на него и сочиняешь... Ты мою мысль прервал,— добавил он.— Подожди, я вспомню.— Он как бы вздремнул, поддерживая голову рукой, вид у него был очень усталый. Листопад смотрел на него со смешанным чувством раскаянья и интереса.

— Да! — вдруг вспомнив, обрадовался Уздечкин.— Я о периоде реконструкции упомянул. Вот тогда уже, понимаешь, мне страшно много понадобилось от жизни. Страшно много! Я до тех пор представлял себе социализм и коммунизм абстрактно, как будто это не у нас будет, а я не знаю где, чуть не в межпланетных масштабах... Ну, [redacted] тогда мальчишкой был... А как стали кругом подниматься леса, я понял: какого черта! не на Марсе, [redacted] вот тут это будет. Вот тут! — он постучал ногой в пол.— И как представил себе конкретно... так уж меня взяло нетерпение! скорей, скорей!.. Пятилетка в четыре года — даешь; жалко, что не в три!..

Он оживился, глаза заблестели.

«А трудно тебе было с твоим нетерпением»,— думал Листопад, наблюдая его.

— И тогда все старое мне перестало нравиться,— сказал Уздечкин, глядя перед собой.— Все, что мешает, понимаешь... Быт, например: гиря на ногах!..

— А что ж быт? — сказал Листопад успокоительно.— Часть жизни. Чай вон пьешь? Бреешься? Детишки есть? Вот и быт. Ничего такого страшного...

— Хочу счастья для каждого человека! — сказал Уздечкин, не слушая его.— Хочу жизни ясной и светлой для всех...

Он что-то еще говорил, а Листопад смотрел на него по-хозяйски и думал: первым делом подлечить тебя нужно; куда бы тебе съездить, в какой санаторий? Подправить тебе нервы — будешь работник что надо... «Вот какой, оказывается, у нас на Кружилихе председатель завкома!»— мелькнула привычная весело-хвастливая мысль. Макаров-то прав оказался.

— Слушай,— перебил он Уздечкина, дружелюбно тронув его за плечо,— это все так, [redacted] ты мне вот что скажи: ты полечиться не думаешь?..

Ночь над поселком. Ночь подсматривает сны и подслушивает разговоры. Выключено электричество, молчит радио. Час отдохновения и для взрослых, которые устали работая, и для детей, которые устали играя... Спокойной ночи, люди добрые!

Глава пятнадцатая

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Накануне вечером пришла телеграмма [redacted] прибытии Маргариты Валерьяновны. Листопад велел выслать на аэродром машину и отрядить уборщицу, чтобы протопила квартиру. Машину послали, об уборщице забыли, никто, кроме шофера, не поехал встретить. Сам Листопад поехал бы на аэродром, если бы мог выкроить хоть полчаса. Но и четверти часа было не выкроить — готовился к докладу на заводской партийной конференции. Для доклада требовалось много цифр, фактов; плановый отдел, коммерческий директор, соцбыт, редакция заводской газеты — все сбились с ног в эти дни, поставляя материал для директорского доклада. А тут еще Макаров звонил, просил прислать тезисы. На тезисы, только чтобы продиктовать стенографистке, ушло полдня...

И Мирзоев никак не мог подступить к директору со своим разговором. В ту ночь, после встречи с комбатом, Мирзоев совсем уж было настроился уходить на учебу, но ему не удалось вовремя реализовать свою решимость, и она слабела изо дня в день,— он боялся, как бы она совсем не угасла... Нужно было заручиться кем-то для моральной поддержки. Каким-то человеком, которого он

уважал бы так же, как комбата. Оглядевшись кругом, Мирзоев нашел, что единственный человек поблизости, которого он уважает почти так же, как комбата,— это Анна Ивановна. Он встал утром пораньше, чтобы захватить ее, пока она не ушла в заводоуправление.

— Анна Ивановна,— сказал он, подкараулив ее на лестничной площадке,— слышали новость? Иду учиться на инженера.

— Что вы говорите! — сказала Анна Ивановна.— Очень рада.

«Ну вот,— думал Мирзоев, вздыхая.— По крайней мере мне уже нет отступления».

Маргарита Валерьяновна вошла в свою бывшую столовую. Там было холодно и неуютно; мебель прикрыта газетами, на газетах пыль. Ручками в пуховых рукавичках Маргарита Валерьяновна сняла пыльную газету с низенького кресла, в котором она когда-то так горько плакала, узнав об отъезде, и присела отдохнуть,— у нее все еще кружилась голова после воздушного путешествия... «Опять я сижу в этой комнате, в этом кресле,— подумала она.— Пусть я проживу здесь до смерти, не таскайте меня отсюда никуда, я ведь уже старая». В первый раз она подумала о том, что она старая. Это не испугало ее: что же делать, это бывает у всех. Одно ей было грустно: что в квартире нет телефона и нельзя сейчас же позвонить в завком и узнать, что там делается.

Часа в два Листопаду позвонила Нонна. Она спросила:

— Вы свободны сегодня вечером?

Он не был свободен сегодня вечером, но такая бодрая, радостная сила разлилась по всему телу от звука ее голоса, что он сразу ответил:

— Да!

— Я приду,— сказала она.— Часов в девять,— хорошо?

— Да, да, да! — повторил он с горячностью.

Когда она повесила трубку, он взялся за доклад с удвоенной поспешностью: скорей, скорей! Чтобы к девяти быть дома!

Вдруг бросил доклад и стал искать телефон директора столовой,— надо хоть ужин заказать...

К восьми управился с докладом. Было еще время приготовиться к приходу Нонны. Домой!..

Так что же я надену все-таки? Надену черное платье с высоким воротом, оно больше всех мне идет. Надену туфли, которые берегу для самых торжественных случаев. Я иду на великий праздник!

У Нонны горело лицо, ее даже знобило от волнения. Кончено! Она выходит из своей светелки — ни девичьей, ни вдовьей, не разберешь какой...

Возьму его руки и приложу к моему лицу. Он почувствует этот жар. И ему передастся этот жар.

Как он сказал: «Нониушка».

Она закрыла глаза и вспомнила его голос, говорящий:

«Нонпушка...»

Который час? Так можно собираться и бредить до полночи.

Часы стояли: она забыла их завести. Первый раз за восемь лет забыла.

Она перерыла ящики комода, выбирая все самое красивое. Туфли лежали, завернутые в шелковый лоскуток. Она их надела.

Громко и весело захлопнулась выходная дверь.

Что надо сказать — до свиданья или прощай? Может быть, она не вернется сюда. Вернется только на минутку — забрать тряпки.

Если он захочет, она останется у него, в его больших холодных комнатах, похожих на сарай.

О, захоти, захоти, чтобы я осталась в твоих больших холодных комнатах!

Ты захочешь.

За порогом был мрак. Она его не заметила. Ей было светло. Она не шла, светлая ночь сама несла ее.

Падал снег.

Нет смысла ждать трамвая, который всегда переполнен. Всего три остановки, двадцать пять минут ходьбы по прекрасной погоде — мороз небольшой, ветра нет, тихо и прямо падает снег.

Она не спешила. Нарочно замедляла свой полет: пусть не двадцать пять, пусть тридцать минут, даже тридцать пять — счастье никуда не уйдет, никуда от нас не уйдет наше счастье, наступит не на двадцать шестой, а на тридцать шестой минуте, вот и все.

Никогда у нее не было такой силы и легкости в руках, в ногах, в каждом мускуле. Она бы шла к нему сто километров на своих высоких каблуках и не устала. Сквозь падающий снег далекие, еще дальше отодвинутые падающим снегом, светились окна высоких домов. В окнах свет, в домах люди — и ничего нет, и никого нет: есть только он, ожидающий ее, и она, идущая к нему.

Листопад едва успел вернуться домой и немного приготовиться к приходу гостьи, как раздался звонок.

«Не дождалась девяти! — подумал он с торжеством, бросаясь отворять.— Пришла раньше. Ах, умница!..»

Он открыл дверь...

— Боже мой!

Маленькая черная фигурка с вызывающе закинутой головой стояла в слабо освещенном коридоре.

— Вы здесь?

— Принимаете гостей? — спросил главный конструктор, входя в переднюю.

Его длинная шея была обмотана шарфом до ушей, шапка-ушанка подвязана под подбородком тесемочками. Из котиковой оторочки шапки торчало сухое, чистенькое, ехидное личико, порозовевшее на морозе.

— Вышел наугад, вижу — у вас свет. Дай, думаю, зайду.

Он поставил в угол палку и долго разматывал шарф, задрав подбородок и поматывая головой.

— Вижу свет — ну, думаю, дома! И зашел. На огонек.

Кто мог подумать, что старик способен на такие шалости...

— Владимир Ипполитович,— сказал Листопад, обрадованный, тронутый, заинтересованный,— как же я не знал, что вы здесь? Как же мне ничего не сказали?..

— А очень просто: я запретил им говорить. Они меня слушаются, по старой памяти. Я хотел сделать вам сюрприз. Ведь сюрприз?

— Сюрприз,— рассмеялся Листопад.

— Я так и знал, что для вас это будет сюрприз,— с удовольствием сказал главный конструктор, входя в комнату и потирая ручки.— У вас угощение приготовлено, вы ждете кого-то. Я вам помешал.

Листопад придвинул мягкое кресло к столу.

— Усаживайтесь, Владимир Ипполитович. Вы мне не можете помешать. Ведь я вас ждал! Одну минуту только, простите.

Он вызвал столовую и сказал, чтобы прислали ужин на трех человек. Да, заказано на две персоны, совершенно верно, а пришлите на три. Да, сейчас. В термосе и чтобы все как следует.

— А пока, Владимир Ипполитович, выпьем — за что? За пятилетний план нашего завода. Пьем?

— За пятилетний план нашего завода,— повторил главный конструктор, отхлебнул и усмехнулся: — Сладкое вино. Дамское.

И Листопад усмехнулся, немного смутившись:

— Дамское.

— Она другого не пьет?

— По-видимому.

— Я тоже.

Холодным взглядом главный конструктор окинул комнату. Должно быть, он думает: «В этой самой комнате ты был с другой. Голубок, не прошло и года, как ты отвез ее на кладбище,— вот сроки твоей любви и твоего горя».

— Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий,— сухо и отчетливо сказал главный конструктор, глядя в рюмку, как будто в ней он прочитал эти грубые и благодатные слова. Медленно выпил вино, надел очки, достал из внутреннего кармана объемистый блокнот.— Так вот, Александр Игнатьевич: что касается *нашего* завода, я позволю себе, если вы не возражаете, занять ваше внимание некоторыми замечаниями, прожектами, расчетами...

Нонна пришла к десяти. Листопад встретил ее восторженным возгласом:

— Нонна Сергеевна, вы представить себе не можете, кто у меня!

Она остановилась: у него есть кто-то?..

— Вот вы увидите! Ни за что не догадаетесь!

Приняв высокомерный вид, она переступила порог и увидела главного конструктора.

Он поднялся ей навстречу с бодростью, какой у него не было до поездки на юг:

— Нонна Сергеевна, я рад вас видеть.

Может быть, это было сказано с ехидством, а может быть, и от всей души, не в этом дело. Дело в том, что там,

куда она шла, оказался третий человек, и присутствие этого третьего человека разбило все.

— Владимир Ипполитович, ну, разумеется, как я могла догадаться!.. Как вы себя чувствуете?

Он что-то отвечает. Она слушает и ничего не слышит.

— Надолго в наши края?

Он переглядывается с Листопадом, оба улыбаются, как дети.

— Не знаю, не знаю, не предрешаю ничего. Это *там* решат,— он показывает на потолок...

Каким-то образом перед нею оказывается рюмка с вином. Она машинально отпивает глоток. Вино горькое, как хина.

Что-то спрашивает у нее главный конструктор. О работе отдела. Кажется, она ответила связно...

— Да, а что с проектом Чекалдина? — спрашивает он у Листопада.— Помню, это было не без таланта... Продвинут проект?

— Как же, включен в план, работы первой очереди будут закончены в сорок шестом году...

Это Листопад говорит. Он с увлечением рассказывает, как проект Чекалдина обсуждался на технической конференции и как исполнители настаивали на удлинении сроков работ, а они с Рябухиным поддержали Чекалдина,— боже, до чего он длинно рассказывает... Бьют часы. Звонят, входят, вносят какие-то тарелки, отвратительно пахнет едой... И разговоры, разговоры... Никогда не предполагала, что главный конструктор способен так разболтаться... И она говорит что-то и что-то ест через силу, чтобы не заметили, как она разбита вся.

Опять пробили часы. Нонна встала.

— Вы что, уходите? — взметнулся Листопад.

— Да,— сказала она. У него было такое лицо, что ей стало жаль его; она утомленно улыбнулась ему. Простившись с главным конструктором, вышла в переднюю, Листопад — за нею, в полной растерянности: он надеялся, что она дождется ухода главного конструктора...

— Я приду завтра,— сказала она тоном, каким говорят с детьми.

— Не уходи! — сказал он.— Он скоро уйдет.

— Я приду завтра, милый,— повторила она.— Мы сговоримся по телефону.

— Завтра у меня доклад,— сказал он.

— Ну, что же делать, значит, послезавтра,— сказала она тем же тоном.

Она чувствовала себя больной и не могла тут оставаться.

— По крайней мере подожди: я вызову машину.

— Нет, нет! — сказала она.— Я пройдусь пешком, я люблю ходить, мне нужно еще зайти в заводоуправление...

Ей не нужно было заходить в заводоуправление, ей хотелось пройтись одной, чтобы собраться с мыслями, а то в ней все рассыпалось...

Надевая на нее пальто, он обнял ее и спросил:

— Так послезавтра?

— Да, да!

Она спускалась, держась за перила и нащупывая ногой ступени.

Открыла тяжелую дверь на улицу — ей в лицо бросилась метель, широкое крыльцо было завалено снегом. Она пошла, не замечая метели.

Она очень медленно шла. Трудно идти, когда под легким, еще не обмятым снегом — мерзлая, в рытвинах, земля. Ей очень мешали высокие каблуки.

Иногда она чувствовала страшную усталость. То вдруг засыпала на ходу и, очнувшись, не сразу понимала, где она и что с ней.

«Я просто больна,— вдруг догадалась она.— Просто у меня жар. Простуда...»

Больше всего на свете ей сейчас хотелось прийти домой и лечь. Где попало лечь, хоть на полу.

Неподалеку от дома, у подъема на горку, ей показалось, что она сейчас упадет. Она собрала силы, поднялась по деревянной лесенке, заваленной снегом, дошла до своей двери и позвонила Веденеевым — один раз: она не могла доставать ключи и отпирать все хитроумные веденеевские замки...

Когда Марианна отворила, Нонна сказала: «Я больна»— и опустилась в снег.

Она лежала с закрытыми глазами, голова у нее горела, а в спине было такое ощущение, словно ее посыпают снегом: очень холодно и щекотно. Один раз она не выдержала и, открыв глаза, с негодованием сказала Марианне: «Пожалуйста, перестаньте посыпать меня снегом!» Марианна не ответила и укрыла ее поверх одеяла чем-то большим, тяжелым, и Нонна вдруг сразу уснула, будто

провалилась в потемки. Когда проснулась, около кровати сидел Иван Антоныч, доктор.

— Вы что ж это, мадам? — сказал он, держа Нонну за руку.— Людей пугать вздумали. Придется вас в больницу.

— Не надо,— сказала Мариамна.— Незачем.

— То есть как, мадам, незачем? — спросил доктор.

— Знаю, была,— отвечала Мариамна.— Скребут полы с утра до ночи, а позовешь зачем — подойти некому. Пускай тут лежит.

Нонна никогда не лежала в больнице, но ей вдруг представилось, что там невыносимо скучно, одиноко, печально. Она сказала слабым голосом:

— Не хочу в больницу! — И заплакала, и Мариамна фартуком утерла ее мокрые щеки.

— Ах, медам, медам,— сказал доктор,— морока мне с вами, будьте вы неладны.

Он сел к столу писать рецепт, и Нонна не слышала, что он дальше говорил и когда ушел.

Еще два раза она просыпалась. Один раз оттого, что за дверью разговаривали два голоса: голос Мариамны и голос Кости. Мариамна называла лекарство неправильно, а Костя не понимал и переспрашивал, и они вдвоем на все лады уродовали незнакомое слово.

— Сульфатиазол, сульфатиазол! — прислушавшись, поправила их Нонна.

Ей показалось, что она крикнула это очень громко. Они как будто испугались ее голоса и замолчали, а ее снова свалило забытье...

В другой раз она открыла глаза, ■ между нею и лампой, горевшей на столе, большой, темный, сгорбившийся, прошел Никита Трофимыч. Он прошел на цыпочках к двери, и его не стало, одна Мариамна стояла в ногах кровати...

«Как это славно,— подумала Нонна, поворачиваясь к стене, чтобы опять заснуть,— как славно, что старик здесь был,— значит, он на меня больше не сердится, ах, как хорошо...»

Она очнулась вся в поту. В печке бурно потрескивали, словно взрывались, дрова. Солнце, поднимаясь, заходило в комнату, на окне сверкали морозные пальмы. Пока она спала, наступила настоящая зима.

— Какой сегодня день? — спросила Нонна.

— Четверг,— ответила Мариамна.

Нонна сосчитала: значит, всего один день и две ночи она провалялась в постели. Вспомнила во всех подробностях позавчерашний вечер...

— Ко мне никто не приходил? — спросила она.

— Ребята заходили, спрашивали. Доктор был два раза.

Мариамна переменила Нонне рубашку и наволочки на подушках, вымыла ей руки и расчесала волосы. Чтобы не думать о том вечере, Нонна попросила принести какую-нибудь книгу.

— И помирать будешь с книгой,— сказала Мариамна, но все-таки спустилась вниз и принесла толстую, растрепанную книгу.

— Все читают, растрепали,— сказала она.— Хвалят.

Это был «Обрыв». Нонна читала его в отрочестве, почти забыла. Она стала читать с середины. Трудно было поддерживать тяжелую книгу, Нонна опускала ее, и задремывала, и опять читала. Тихо прошел день, наступили сумерки. Мариамна ушла вниз готовить ужин, некому было зажечь лампу. Нонна лежала лицом вверх, смотрела на голубое, отдаленное сумерками окно и думала о том, как изменилась жизнь со времен Райского и Веры — и место любви в жизни изменилось, и отношение человека к любви. Тех преград, которые стояли перед Верой на пути к счастью, для Нонны не существует, время их опрокинуло. Но, видимо, какая-то плата все-таки положена за счастье, другая плата: ради любви приходится человеку поступиться кое-чем своим; это почти физический закон — там, где одному просторно, двум, естественно, приходится потесниться... Так думала Нонна, лежа одна в тишине и сумраке. Позвонили. Неясно донеслись голоса, потом шаги по лесенке. Она почувствовала слабость до обморока... Вошла Мариамна.

— Директор приехал, к тебе просится.

— Зовите,— сказала Нонна, положив руку на сердце.

Мариамна зажгла свет, оправила постель и вышла...

И вот он здесь, большой, страшно большой в ее маленькой светелке! Присел, провел по ее лицу ладонью, пахнущей кожей перчатки.

— Как же так! — сказал негромко.— Не прислала, не известила, исчезла — и всё. Я вчера закрутился с этим докладом, сегодня звоню — проститься,— говорят: второй день нету. А тут сказали — воспаление легких, и я не знал. Так нельзя!

Ее ударило слово: проститься. Она спросила шепотом:

— Ты уезжаешь?

— Да, в Москву,— отвечал он.— Наркомат вызывает,— кстати, надо заново оформлять Владимира Ипполи-

товича. Непоседливый старик: совсем было уволился, теперь все с начала. А другого не хочу. От добра добра не ищут.— Торжество светилось в его глазах; видно, очень близко принял к сердцу возвращение главного конструктора.

Так же покорно она спросила:

— Надолго ты?

— Дня четыре с дорогой,— ответил он.— Ну, может быть, задержусь немного... В общем — не больше недели.

Этот ничем не поступится ради любви. Не потеснится... Поступаться, и тесниться, и смиряться, и ждать будет только она. Он полетит в Москву, и пойдет в наркомат, и будет хвастать своей мотопилой, и рассказывать, какие возможности она открывает для лесной промышленности, и как он осваивает производство резьбонакатного станка, и все будут слушать его с удовольствием и любить его... Вечером он с приятелями будет ужинать в ресторане и опять хвастать — своим заводом, своим главным конструктором, своей молодежью,— и все будут любить его... Он вспомнит и Нонне и о том, что она больна, и пошлет молнию: «Телеграфируй здоровье...» Она взяла большую руку, лежащую на ее волосах, и поцеловала ее.

— Ноннушка,— сказал он беспомощно,— я полюбил тебя очень, Ноннушка...

Мимо двери, которую Мариамна оставила открытой, покашливая, прошел Мирзоев. Он умирал от законного любопытства. Он еще с утра решил, что сегодня состоится разговор между ним и директором. Он будет просить, чтобы его отпустили... Но невозможно уволиться, не узнав, чего ради директор помчался к Нонне Сергеевне.

Поразмыслив, Мирзоев оставил машину на попечении мальчишек и поднялся к Нонне. Присутствие директора не смущало его; кашлял он для того, чтобы предупредить влюбленных о своем приближении: успеют нацеловаться, вся жизнь впереди.

— Тебе что, Ахмет? — спросил Листопад весело.— Обожди, минут через десять поедем.

— Здравствуйте, Нонна Сергеевна,— нежно сказал Мирзоев, встав на пороге со своей улыбкой.— Душевно огорчен вашей болезнью.

— Подхалимничай хорошенько! — вскричал Листопад.— Травкой перед ней стелись, понятно?

— Вполне понятно,— прикрыв глаза, многозначительно сказал Мирзоев.

И, всячески показывая, что он сочувствует влюбленным и благословляет их, еще раз улыбнулся и отправился вниз — у хозяев разузнать подробности о новой директорше.

Нельзя было курить около больной, и Листопад с удовольствием закурил, уйдя от Нонны. Зажав в зубах папиросу, на ходу застегивая пальто, вышел он на улицу и взглянул вверх, на ее окна.

Мягко светились они сквозь белые занавески. Хорошо, когда светит человеку этот ясный свет. Хорошо знать, что кто-то о тебе вспоминает, кто-то тебя ждет, кто-то все тебе простит...

Ах, Ноннушка, милая...

Хорошо из натопленной комнаты, где нельзя курить, выйти на простор, под летящий снег. Вдохнуть чистый и крепкий, как спирт, морозный воздух. Затянуться всласть табачным дымом. Оглянуться на ласковые окна — и опять хозяин сам себе.

Снежинки налетели и погасили папиросу. Мирзоев ждал в кабине. «Ну-ну-ну-ну!»— стучал мотор.

— Кругом давай,— сказал Листопад.

Мирзоев знал эту команду. У каждого начальника своя фантазия. «Кругом»— это значит: гони по всему шоссе, вокруг всего города, а потом уже на завод. И не смей разговаривать — директор думать будет. На заводе его отвлекают: он думает в машине.

До чего не везет человеку: придется отложить решающий разговор на завтра...

Автомобиль тихо поплыл по крутой улице в гору, проплыл до поворота на шоссе и помчался прочь от поселка.

Трамвай взбирался в гору страшно медленно,— казалось, что он стоит на месте. Маленький трамвай, увешанный людьми. Это те, кто живет в поселке, а работает в городе; они возвращаются домой.

Если человек работает в городе, думает Листопад, то и квартиру ему нужно в городе; а в поселке пусть живут те, кто работает здесь, на заводе. А то ведь он по два раза в день вот так мучается: ждет подолгу на морозе, висит на подножке, руки стынут — держаться за поручни... Да, а если жена работает в городе, а муж на заводе,— где должна жить семья? Вот задача, действительно...

Пусть оба работают на заводе. На Кружилихе десятки

профессий требуются. Есть же такие семьи, где все на одном заводе. Вот семья Веденеевых...

Домов надо больше, домов. Только не этих безобразных кирпичных кубов на двести квартир каждый. Строят по пять этажей, без лифта. Либо с лифтом, либо и три этажа, не больше. А лучше всего — особняки, по две квартиры на особняк, каждая с отдельным входом. Где у них тот проект новой улицы, который отложили из-за войны? Время строить. Вернусь из Москвы, будем строить.

Надо же было заболеть тебе, Ноннушка. Была бы здорова — посадил бы тебя вот здесь рядышком и все бы это тебе рассказывал, чтобы ты меня слушала и смотрела на меня. И глаза бы твои блестели из-под меховой шапочки. Руку твою взял бы и вложил в свой рукав, чтобы согреть. И так славно мы с тобой прокатились бы. В полость всю тебя завернул бы, как ребенка...

— Ахмет,— Мирзоев поворачивается к директору.— Скажешь Аверкиеву: пусть достанет новую полость. Хорошую. Волчью.

— Хорошо,— отвечает Мирзоев и лукаво улыбается в темноту...

Вниз, вниз с горы! Летят за окном чугунные перила моста. Здесь была когда-то речушка, пересохла. Только весной, когда тает снег, ее русло наполняется водой. Летом на дне русла жидкая грязь, осока, комары. Вызвать гидрологов. Пусть подумают и дадут смету: во что обойдется, чтобы снова была река. Пусть будет река. Парк насадить по берегу, где сейчас мусорная свалка. Вода и зелень чтоб были вокруг поселка. Купальни поставить. Яхт-клуб. Белые мачты, алые вымпелы, ребята в майках, состязания по гребле и плаванию. А для домашних хозяек — там, пониже, по ту сторону моста,— поставить хорошие плоты для стирки белья. С навесами плоты, с брезентовыми навесами от дождя и солнца. Стирай, голубочка, наводи чистоту!

Сколько лет думаешь прожить, Александр Листопад? Не по щучьему веленью на месте мусорных свалок поднимаются парки. Миллионы выносливых рук трудятся многими годами, неустанно и терпеливо, чтобы еще насколько-то улучшить человеческую жизнь. Когда еще гидрологи принесут проект и смету, когда еще будет приведена в иссохшее русло вода! Потом придут школьники в красных пионерских галстучках, посадят тоненькие деревца, тебе по плечо деревца, смешной ты человек! А ведь ты не эти

деревца видишь перед собой. Ты видишь большие березы и липы с тяжелыми кронами, ты чуешь густой шум листвы и свежесть глубокой тени в летний день,— да сколько же это лет прошло с сегодняшнего дня?..

Ну и что же? Да, много лет прошло, ну и что же? Что из этого следует, собственно? Что меня, Александра Листопада, не будет на свете, когда разрастутся те, не посаженные еще деревца? Знаю, знаю,— был студентом, пел: «Умрешь — похоронят, как не жил на свете...» Коротковата жизнь, конечно,— хоть вдвое бы, если уж нельзя втрое... Коротковата, ничего не скажешь. Но можно успеть кое-что. Вот поселок дострою... И новую реку увижу, и пионерские деревца увижу,— а может, увижу и тот тенистый парк! Ты знаешь, что ли, что мне не дожить до девяноста лет? Наша порода живучая.

А не доживу, так другие увидят, Чекалдин увидит, Коневский увидит, мальчик Анатолий Рыжов увидит, увидят дети тех, что вот сейчас поехали с работы домой, держась за поручни окоченевшими руками... «Как не жил на свете»? Враки. Я живу на свете. Я на этом свете оставил мой след на веки веков!

Ноннушка, а ты меня поймешь, если я вот это все буду тебе говорить? Никому не говорю, не приходится к слову, и некогда, и неловко,— скажут: «Чего агитируешь за Советскую власть, знаем без тебя». И Клаше, бедняжке, не говорил, а тебе хочу говорить и хочу, чтобы ты поняла. Ты поймешь.

Ты умная, Нонна. Спасибо судьбе, что подослала умную подругу. Ты с твоим умом должна была разгадать, что я за человек. Меня хитрецом считают, говорят: «Хитрый хохол»,— а я, Нонна, самый простодушный человек. Я верую простодушно в свою цель, в твою цель, в цель моего народа, моего государства. Хотят, чтобы у моей веры была научная база. Что ж, база — хорошая вещь. У меня есть база, но вера моя не стала от этого менее простодушной, она не ушла из сердца в мозг, она душевная, вера моя! И исповедую я ее простыми словами, а не научными терминами. Солдат шел в бой со словами: «За Родину, за Сталина»,— все равно, была у него база или не было. И я живу с простыми девизами, хотя и знаю истмат и другие ученые вещи. Ноннушка, прими меня, открытого! Машин с тобой настроим, речку обводним, парк насадим — милая ты моя! — счастье народа будем строить, Ноннушка, так это называется попросту...

Машина шла по городу. Сквозь сетку снега замелька-

ли большие дома. Массивная темная глыба в колоннах — оперный театр, построенный еще руками крепостных. Чистые, стройные параллелепипеды университета, воздвигнутые лет двенадцать назад. Вместе с русскими здесь учатся дети северных кочевников — охотников и оленеводов, не знающих грамоты... Больничный городок, где умерла Клаша... Улицы, улицы — корпуса, светофоры, магазины, столбы, избы, леса построек, начатых минувшим летом и отложенных на будущее,— пестрое, многосложное, вечно собой недовольное человеческое общежитие — город!

Будет ли день, когда человек скажет: «Я всем доволен, премного благодарен, мне больше ничего не надо»? Никогда не будет такого дня. Всегда раскрыта земля для новых семян, и никогда не сняты леса для строителя. А кто произнес такие слова, тот мертв, от него нечего ждать живым.

Уже позади город. Разыгралась метель. На бешеной скорости гонит Мирзоев машину по шоссе. Мечется перед очами белый вихрь... Редко промчатся фары встречной машины, коротко и сильно прошумит встречная, обдав светом,— и опять только снег кругом, мечутся сумасшедшие белые полотнища... Пляши, пляши; гуляй, красавица, не знающая удержу русская зима!

И вот приближаются неясные сквозь метель светы, неясные сквозь шум мотора звуки — мое место на земле, кровиночка моя — Кружилиха. За что я полюбил тебя, Кружилиха? Не ты меня вскормила, не ты меня взрастила, а присох!..

Проступили сквозь метель высокие окна. Фонарь; резко освещенные, летят снежинки мимо фонаря. Все кругом завалено пуховым снегом. Лебедино чистая стоит обитель владыки мира — Труда. И на чистую обитель сеет, сеет, сеет летучие свои алмазы безудержно щедрая русская зима...

— Приехали, Александр Игнатьевич.

1947

Евдокия

ПОВЕСТЬ



1

На улице Кирова, бывшей Пермской, стоит двухэтажный бревенчатый дом Евдокима Чернышева, кузнеца. Евдоким воздвигал его почти двадцать лет. Сначала была изба на две комнаты, в три окна, потом пристроили угловую светлую комнату — ту, где переночевал последнюю ночь Андрей, а до отъезда в училище жил Саша и где на стене висит модель линейного корабля; потом ставили второй этаж,— это уже когда семья разрослась, стало тесно, а Павел и Наталья стали зарабатывать хорошие деньги.

На окнах белые занавески, шитые прорезью,— к этому вышиванью приложили руки все женщины семьи Чернышевых, даже недоброй памяти Клавдия, порхнувшая по дому недолговечной бабочкой... Белые занавески и китайские розы. Розы растила Катя. Уезжая на фронт, она долго наставляла Евдокию, как ходить за цветами. Евдокия до цветоводства не охотница, но ради Кати берется за ножницы и лейку и холит, и охорашивает оконный девичий сад.

В доме теплота натопленной русской печи, запах вымытого пола и горячих шанег, смешанный с запахом машинного масла от рабочего платья, висящего в сенях. Чисто в невысоких горницах с потертыми половичками, простеленными от угла к углу. Много портретов в узких рамках по стенам. И маленькая Лена спрашивает Евдокию:

— Бабушка, это всё твои дети?

— Ну да,— отвечает Евдокия.

— Столько много детей?

— Где же много? Всего четверо, Андрюша пятый был.

— Где же четверо? Тут одних девочек десятеро или двадцатеро.

— И всего две девочки: тетя Катя да мама твоя.

— А вон та, с косичками?

— Мама.

— А стриженая, с длинной шеей?

— Мама.

— А красивая, в бусах?

— Мама.

— И на пушке — тоже мама? — спрашивает Лена.

Евдокия вздыхает:

— Нет. На пушке — тетя Катя.

Лена закрывает глаза и говорит:

— Столько разных детей, что я устала на них смотреть.

2

В тысяча девятьсот двадцать втором году Евдоким Чернышев решил жениться.

Мать писала: «Долго ли еще будешь скитаться неженатым? Время, сынок!» До тех пор ему было не до женитьбы. Жизнь мотала его: из тесной отцовской кузницы в деревне Блины — в визг, лязг и грохот огромного цеха на уральском заводе, с завода — на войну. Война была долгая, она пронесла Евдокима от Урала до Карпат, с Карпат в Питер, из Питера во Владивосток, через тысячи километров железнодорожных путей, сквозь сотни площадей, деревень, станций, сквозь госпитали и пустыни. Бродя с товарищами-партизанами среди болот, он заболел лихорадкой; одежда, пропитанная пóтом, высыхала на нем; сыпь, сливающаяся в гнойные корки, обметала ему рот. И вот по ночам, на бездомном привале, в жару и ознобе, глядя на звезды и дыша со свистом сквозь зудящие, изуродованные губы, он стал мечтать о будущем гнезде, о семейном рае. Именно раем представлялась ему семейная жизнь: светлое место, где человек снимает тяжелые сапоги и передыхает после труда и битвы. Светлая, спокойная, разумная жена виделась ему — помощница и советчица; светлые, ласковые дети...

У его матери было детей одиннадцать душ. Чтобы за стол не садилось тринадцать человек, мать выписала из Кукуштана бабушку. Бабушке не хотелось уезжать из Кукуштана, но она пожалела дочку — тринадцать душ за столом каждодневно, ни на что не похоже! — и переехала в Блины. Было хлопотливо и весело. Когда лепили пельмени, от них некуда было деваться — пельмени лежали на столах и лавках, и на кроватях, и на подоконниках, мешки с пельменями висели в сенях на морозе. Молоко к столу

подавалось в ведре, шаньги — на блюде величиной с колесо. Вот такой дом и представлялся Евдокиму! Он строил его и украшал. Он нес в этот дом заработанный хлеб и гостинцы. Детские головки окружали большой стол, приветливая женщина господствовала у большой печи...

Отвоевав, Евдоким вернулся на Урал, на свой завод. С удивлением он отметил, что в усах у него седина, а вокруг глаз морщины,— рановато. Юность прошла, он стал солидным, серьезным, усердно работал, о пустяках говорить не любил. Раненая нога ныла перед дождем. От лихорадки его вылечили. Мечта о гнезде осталась, теперь она могла осуществиться. Он посматривал на девушек, но — та ему казалась грубой, а та некрасивой, а та любила гулять с парнями,— ни с одной не хотел он вить свое заветное гнездо...

— Скучаешь, Чернышев,— сказал однажды старик Авдеев.— Заходи вечерком, побеседуем, выпьем.

Авдеев был из лучших рабочих, держался важно. Евдоким надел праздничную рубаху и пошел.

Авдеев вдовел, подавала на стол его дочь Евдокия. У нее было большое белое лицо и большой улыбающийся рот, и это лицо с постоянной улыбкой, широкими скулами и тонкими высокими бровями напомнило Евдокиму красивый и непонятный лик Будды, который он видел во Владивостоке.

Она молчала весь вечер, все вставала, уходила и опять приходила, и над столом двигались ее белые полные руки. Евдоким разговаривал с Авдеевым и старался на нее не смотреть. Его поразило имя: он — Евдоким, она — Евдокия. Судьба? Покуда он обучался в отцовской кузне, вживался в завод, воевал с германцами и белобандитами, валялся в бреду по болотам,— для него безвестно, скрытно, как лесной цвет под листком, подрастала эта белолицая Евдокия. И негаданно, нежданно, будто за поворотом дороги, она открылась ему. Это ее, стало быть, он дожидался?..

С того вечера он все думал о ней.

Он ходил к Авдееву и с ней не разговаривал — стеснялся, и не смотрел на нее, но думал о ней и думал. И ночью она была в его снах, белая и горячая, с высокими дугами бровей.

В доме не было другой женщины, Евдокия все делала сама; все было в большом порядке, и сама Евдокия всегда такая чистая и убранная. За это Евдоким еще больше ее

любил и уважал. Вот именно такая ему нужна! Только такую жену он хочет! Но он боялся, что она за него не пойдет и что Авдеев будет против их супружества. Евдоким приучал их к себе и выбирал подходящую минуту для сватовства.

Как-то Авдеев позвал его, он пришел, а Авдеева не было дома.

— Придет скоро, велел обождать,— улыбаясь, сказала Евдокия.

Он вошел в парадную горницу и сел, положив шапку на колено. Перед ним в простенке висела картина: девица с голубями. Евдоким смотрел на картину, уже изученную во всех подробностях, и слушал, как Евдокия ходит в кухне. Потом она вошла и стала за его стулом. Он не повернул головы, все смотрел на девицу с голубями. Замер весь белый свет, в полной тишине тикали часы и дышала Евдокия. Она вздохнула прерывисто, тронула ладонью его затылок и прошептала:

— Ах, ты-ы...

Он повернулся и обнял ее, шапка упала ему под ноги, дверь отворилась, и вошел старик Авдеев.

— Очень прекрасно,— сказал он,— за родительской спиной... Ну что ж, по крайней мере — не мот, не франт. Непьющий. Пускай как она хочет.

Он снял с божницы образ и деловито помахал им перед дочерью и Евдокимом.

Сидели ужинали. Авдеев наливал из графинчика и говорил:

— Все бывает в жизни. Ты это запомни, Евдоким,— в жизни бывает все, и обижаться не надо. Деньгами дам десять червонцев, дал бы больше, да сейчас не могу.

Евдокия пояснила:

— Папаша сами жениться хотят.

Евдоким сказал:

— Прежде чем играть свадьбу, хочу дом поставить.

— Ну что ж,— согласился Авдеев.— Станови. Оно вернее. Будем здоровы!

И залпом выпил рюмку.

3

Горсовет разрешил Евдокиму построиться на пустопорожнем участке на Пермской улице. Завод дал лес, а Авдеев — пять червонцев в счет приданого.

Евдоким написал письмо в деревню Блины, и четыре брата приехали строить Евдокиму дом. Авдееву хотелось поскорее выдать дочь, чтобы самому жениться. Он тоже помогал: выхлопотал кровельное железо по дешевке и приладил шпингалеты и дверные ручки. Денег было мало, приходилось рассчитывать каждую копейку. Евдоким торопил братьев и даже поссорился с младшим, Сергеем, который повадился отлучаться с постройки и шляться по городу.

Евдокия братьям понравилась.

— Добрая,— говорили они,— хозяйка будет.

Она приносила им обед и разговаривала с ними ласково, по-родственному.

Был июнь месяц. Постройка подходила к концу. Днем Евдоким работал на заводе, а вечерами и длинными белыми ночами строил свой дом. Он сам ставил печь, оковывал кадушки, делал крышки для чугунов, ковши, жаровни, ковал крючья для вешалки и отделывал в подарок Евдокии дубовый комод. Всякая работа удавалась ему. Он мог бы стать, если бы захотел, и жестяником, и печником, и столяром, мог работать двадцать часов подряд, не уставая. Особенно весело было делать что-нибудь, когда Евдокия стояла рядом и смотрела на него.

Каждый день он видел ее, и она становилась ему все милей и ближе. Движения ее были круглы, неторопливы и точны, и, как у него, всякое дело спорилось в ее крепких руках. Все в ней было желанно, сердце горело, когда она подходила близко!

Иногда они на минуту оставались вдвоем, и он обнимал ее, но сейчас же она отстранялась, пугливо раскрыв губы, а он думал гордо и умиленно: «Голубка моя чистая!»

Наконец дом был построен.

В доме были расставлены новенькие некрашеные столы, лавки, полки. На кровать уложили Евдокиину перину и восемь подушек; верхняя подушка почти касалась потолка. Рядом поставили Евдокиин кованый сундук со звоночком.

Наступил день свадьбы. В доме Авдеева играла гармонь, ели, пили, танцевали. Евдоким сидел возле Евдокии. На голове у нее была красная лента. Лицо ее пылало, конец ленты щекотал ей шею, и она, опьяневшая, слабо отмахивалась от него, как от мухи. Приходил фотограф, снимал жениха и невесту. Худая женщина в зеленом платье распоряжалась и угощала. Это была будущая жена Авдеева. «Старая полюбовница папашина»,— сказала Евдокия.

Пировали весь день и всю долгую ночь. В окна заглядывали с улицы чужие лица. Евдоким сидел, держал Евдокию за руку и, когда кричали «горько», целовал ее в мягкие губы. Его Евдокия! Сейчас они, рука в руку, пойдут в свой дом, и это будет начало пути, длинного, счастливого, правильного пути, который закончится только с их смертью.

Вот уже они встают. Кто-то что-то говорит. Они идут по улице, потемневшей перед рассветом, гости и зеваки провожают их, играет гармонь — то будто очень далеко, то над самым ухом,— женщина в зеленом платье пляшет перед ними. Вот их дом. Их окружают, хохочут и шутят. Евдоким не понимает слов, вино и кровь шумят у него в ушах... Они входят в дом. Он запирает дверь.

Сразу становится тихо. В прохладные комнаты бледно глядит рассвет, пахнет свежим деревом, пихтой. Они одни, Евдоким и Евдокия, присужденные друг другу судьбой...

Через полчаса она крепко спала, а он лежал неподвижно, лицом вверх, чувствуя себя поруганным и одиноким.

4

Можно было осрамить, ославить, отвести обратно к отцу — мол, получай свое сокровище, думаешь — иконкой раз-два махнул, так и буду на нее, обманщицу, век работать, как дурак! Не на таковского напали, советская власть никого силком не принуждает жить...

Можно оставить при себе, скрыть ото всех, что его надули, как последнего мокрогубого мальчишку,— оставить при себе и держать в унынии, в молчании, в страхе, источить попреками: «Что?.. Да ты кто такова, чтобы мне отвечать? Ты — нечестная, ты обманом меня взяла, чтобы разврат свой покрыть. А полюбовник сбежал, что ли? Что ж так? Женитьбой, значит, не прельстился?» Вот так точить и точить, чтоб стала тоньше спички...

Да, а как же он будет со своим прекрасным домом, который заложен еще там, на гнилых болотах, в партизанском неустройстве? С домом, над которым вот уже возведена крыша?

С кем сладить жизнь, которую так хорошо обдумал и навеки полюбил в мечтах? Где она, его светлая жена?..

Как будто полегчает от того, что она вернется к отцу, а он один останется среди этих стен, для нее поставленных... Да он и жить тут не сможет от тоски!

А насчет того, чтоб извести ее попреками,— этого он и не умеет даже, это так, вообразилось в минуту горя и гнева,— и от одного этого воображения стало еще тошней.

Нет, не будет ему жены, кроме Евдокии.

Ведь вот и порченая, и улыбка у нее бабья, лукавая, блажная, и ума, как приглядишься, не палата,— а все тянется к ней душа и не хочет никакой другой.

Она будто и не понимает, почему он тоскует и хмурится; смотрит спокойно, улыбаясь. Эх, припечатать кулаком, чтоб не стало этой улыбки,— да больно жалко!..

Марьюшка, соседка, повстречалась ранним утром на пустой улице. Лицо у Марьюшки было длинное, смуглое, глазки черненькие, беспокойные. Славилась она своим степенством и совершенством манер, а также многими знаниями: знала все приметы, заговаривала зубы и толковала сны. Остановив Евдокима, Марьюшка сказала:

— Что, сосед, хочу спросить,— тебе-то, верно, известно,— Ахметка-то совсем уехал, что ль?

— Какой Ахметка? — спросил Евдоким. Не задай он этого вопроса, так и не заглянуть бы ему никогда в Евдокиино прошлое, и, может быть, скорей бы прошла боль в сердце, которая даже во сне не оставляла его.

— Нешто не знаешь Ахметки?! — непомерно изумилась Марьюшка.

— Не знаю я никакого Ахметки.

Марьюшка прикрыла глаз уголком платка и застонала от смущения. Потом поспешно, чтобы он не ушел, изложила все.

Татарин Ахмет, приказчик из бакалейной лавки, был Евдокииной зазнобой. Она сошлась с ним, когда ей было шестнадцать лет. И отец знал и допускал. Да об нем что́ говорить! Друг дружке не мешали. Ихняя авдеевская порода вся бесноватая... Как же, погуляла всласть, мои матушки. Ребеночек был, скинула ребеночка. Да неужто Евдоким не знает ничего? Марьюшка была в уверенности, что его предварили. Такого человека хорошего и не предварили, совести нет у людей... Да, скинула, года три назад, и с тех пор ничего боле не нагуливала, хоть и гуляла по-прежнему. Как лавку закрыли, Ахмет уехал; после, значит, в скором времени опять приехал и давай за старое; уезжает — приезжает, и прямо к ней, ужасти подобно...

— Что ж не поженились? — глухо спросил Евдоким.

— Дак — татарин! Нельзя ему. Он с самого начала ее предварил — мол, моя вера не допущает. Отец у него, вишь, шибко за веру держится. Лёгко у них все было, лёгко.

— Его нет? — спросил Евдоким каменными губами.

— Нету, сейчас нету. Еще до того времени, как ты стал к ней ходить,— пропал, совсем пропал куда-то.

Евдоким кивнул головой и пошел. Он шел широким, грузным шагом, слегка приседая, как человек, несущий на плече тяжелый мешок. Вот оно как! Вот, значит, как...

Прежде он думал, как, поженившись, они будут по вечерам всё друг другу рассказывать и советоваться. Ничего этого не было — ему не хотелось с ней говорить, он сидел молча, много курил, прочитывал газету и шел спать. Советоваться! Что с ней советоваться? Она пошла за него, любя другого.

И все-таки он любил ее. Она была такая же, как до свадьбы: ясная, красивая, опрятная. В доме было чисто, еда вкусная, сама — как из бани. Все она что-то делала, никогда не сидела без работы. Куря, он слушал, как она ходит и дышит. И ему нужно было, чтоб она ходила и дышала.

Чтобы не было так тягостно, он стал приводить своего товарища Шестеркина. Шестеркин на работе оглох и в разговоре кричал без надобности, но был человек чистый, простого сердца. Он думал, что Евдоким должен быть очень счастлив, имея такую жену, и кричал на весь дом:

— Страдал ты? Верно! Ну, да без страданья нет награды! За страданья тебе награда — она!

Евдокия любила, когда приходил Шестеркин. Без него очень уж тихо было в доме. Евдокия думала, что Евдоким, конечно, ничего себе человек, но скучно с ним. Молчит да молчит. Приласкает когда — и слова не скажет, а без слов что за любовь? Так ли любил ее Ахмет: он ей сказки сказывал, на коленях ее качал, как дитя, учил нежные слова по-татарски говорить. И все-то смеется — белые зубы, черные брови, рука узкая, ласка вкрадчивая... Хорош Ахмет!

Так прошло года полтора. Постепенно привыкали друг к другу, сживались. Детей не было. Евдоким хоть и по-

мнил мутный Марьюшкин рассказ, однако надеялся, что будут дети. Евдокия помалкивала, но про себя давно знала, что матерью ей не быть никогда.

5

У отца Евдокия бывала редко.

На именины и на пасху полагалось поздравить родителя, в прощеный день — попросить прощенья. Евдокия шла вместе с мужем, их принимали с почетом, угощали, но она чувствовала себя стесненно, как у чужих. Мачеха была слащавая, неискренняя, с завистливыми глазами; отец словно боялся, что Евдокия чего-нибудь у него попросит. А пуще всего Евдокию удручала Наталья.

Этой Наталье, мачехиной дочке от первого мужа, было лет десять. Глазастая, стриженная под гребенку, с длинной тощей шеей, она угрюмым и злым лицом была похожа на старуху. Когда приходили гости, она стояла у двери, водила глазами, и, оборачиваясь, Евдокия встречала ее недобрый взгляд.

В доме Наталью не любили. Мачеха говорила жеманно-ласковым, приторным своим голосом:

— У людей дети как дети, а моя — бог с ней! — неслухмяна, непочтительна. Читать научилась: от кого научилась,— так ведь ни за что не скажет, хоть пополам ее перебей, не скажет, вы подумайте! А кошку зачем ты, зачем кошку прибила, ну? Говори.

У Натальи покривились губы, по лицу прошла судорога. Глухо, ненавистно она ответила:

— А зачем она мышку мучила?

Мачеха притворно засмеялась:

— Глупая. Разве она мучает? Она с ней играет, забавляется...

Евдоким жалел Наталью. Идя с Евдокией домой, он говорил:

— До чего довели девчонку; не смеет к людям подойти, из угла глядит. По голове хотел погладить — шарахается. Даю ей пряник — она за него взяться не умеет, не умеет спасибо сказать, ровно бирюк.

И прибавлял с обидой:

— Другие ждут не дождутся детей... А этим, видно, ничего не надо, кроме своей утробы.

«Будь у нас дети,— думала Евдокия,— он хороший был бы отец». Чувство вины перед ним касалось ее сердца, и она старалась получше заботиться о муже, повкусней его накормить, чтоб хоть отчасти утешить.

Раза два Авдеевы приводили Наталью к Чернышевым, и тут Наталья держалась так же дико и неприязненно и, как видно, не получала никакой радости от того, что ее сажают и угощают вместе со взрослыми.

В начале зимы старик Авдеев заболел тифом. Мачеха отдала его в больницу. Евдокия ходила проведать отца, но ее к нему не пустили.

Было утро, Евдоким только что ушел на работу. Еще не развиднелось как следует, в кухне горела лампа. Евдокия, позевывая, щепала лучину, чтобы разжечь печь. Вдруг отворилась дверь и вошла Наталья.

На ней была материна кофта с длинными рукавами и большие валенки. Она захлопнула за собой дверь и остановилась у порога, кофта распахнулась, открылись голые коленки. Евдокия испугалась:

— Ты что? Случилось чего?..

Держась за дверную ручку, словно готовясь убежать, Наталья спросила шепотом:

— Дяденька Евдоким дома?

— Нету. Тебе зачем его?

— Так,— прошептала Наталья. Глаза у нее закатились, помутнели. Она выпустила дверь, сползла — опустилась на пол, ноги в валенках разошлись. Евдокия стала на колени, приподняла ее голову и услышала шепот:

— Маму в больницу увезли... Папа помер нынче ночью... Дров наколотых нет, истопить нечем... Я к дяденьке Евдокиму пришла...

От ее худого тельца дышало жаром. Она завела глаза, забылась.

Евдокия раздела ее и перенесла на сундук, подстелив овечью кошму. На тонкой руке Натальи, выше локтя, были два синяка, острые ключицы торчали. С болезненной жалостью Евдокия подумала: «Сиротка!»

Потом она вспомнила, что она теперь тоже круглая сирота, и заплакала. С отцом у нее никогда не было нежностей, он ничему ее не научил, ему было бы прибрано в доме да состряпано кушанье,— но все-таки он ее не бил, кормил, одевал и, когда она запуталась в своих любовных делах, пристроил ее за хорошего человека. Ей казалось теперь, что со смертью отца ушла ее главная опора и защита, и, всхлипывая, она причитала вполголоса:

— И на кого ж ты меня спокинул! И стою же я одна, как былиночка на ветру!

Наталья открыла большие, очень блестящие глаза и спросила:

— Где дяденька Евдоким?

И весь день, не то в сознании, не то бредя, она о нем спрашивала. А к вечеру стала Евдокию принимать за Евдокима. Ухватила Евдокиину руку своей жаркой цыплячьей ручкой и спросила:

— Дяденька Евдоким, дяденька Евдоким, ты меня маме не отдашь, нет?

— Нет! Нет, детка! — ответила Евдокия, ужаленная состраданием, ужасаясь этому детскому несчастью и беззащитности.— Не отдам никому, ничего не бойся!

Мачеха умерла на девятый день. Наталья, промаявшись полтора месяца на Евдокиином сундуке, поднялась, длинная, тощенькая, но с новым каким-то лицом, будто в этой схватке со смертью она обрела жизнь и получила к ней вкус.

Стриженная наголо, в старом платье, из которого выросла за время болезни, она ходила из кухни в спальню и рассматривала каждую вещь так, словно в первый раз ее видела. Подходила к окошку, смотрела, как вьюга несется над пустынной улицей, и чему-то смеялась тихо. Евдоким приносил газету — Наталья прочитывала ее всю, согнувшись над смутной печатью, шевеля губами. Евдоким сказал:

— Вот я тебе книжек принесу, дочка.

И принес. Наталья что-то уж очень быстро их прочла, Евдоким хотел ее проверить, но для этого надо было самому прочесть эти книжки, а у него не было времени: его выбрали председателем цехкома, от множества дел некогда было вздохнуть.

— В школу надо тебя! — сказал он.

Евдокия вступилась:

— Куда ей наукой голову трудить? Вон она какая слабенькая! Пусть откормится порядком, а там ее к портнихе отдать бы в ученье, золотое ремесло. Хочешь, Наташа, портнихой быть?

— Нет, не хочу! — сердито и резко ответила Наталья.

Она поправлялась быстро. Евдокия перешивала для нее платья покойной мачехи и помаленьку приучала ее к хозяйству. Наталья все делала без охоты,— норовила скорей кончить дело и бежать к книжкам,— но споро. Только вышивать она полюбила: сидит часами, аккуратно водит иглой и думает о чем-то. Как-то Евдокия услыхала: Наталья пела! Еле слышно пела она, и лицо у нее было

ясное, детское. Евдокия умилилась... Когда Евдоким однажды сказал: «Слышь, Наташа, зови меня папой, а Евдокию мамой, ты же у нас дочка», Наталья тихо сказала: «Ладно».

6

Евдоким приезжал с завода, с Кружилихи, поездом. Доехав до станции, он неторопливо шел домой, минуя центр города. С ним был Шестеркин. На углу Сибирской они услышали пронзительный женский визг:

— Держите! Держите вора!

Что-то метнулось в сумерках, пригибаясь. Сейчас же затопали десятки ног. Кто-то кинулся наперерез,— толкнули, схватили, навалились, прижали к земле небольшого мальчишку.

Женщина в котиковом манто, в фетровых ботах до колен, подбегала, неуклюже раскатываясь на льду:

— Украл! Украл! Ах, боже мой!

— Чего украл-то? — спросил чей-то голос. Другие голоса перебили, загалдели:

— Отдавай!

— Где у него?

— Кому передал, говори!

— Жулики проклятые, проходу нет от них!

Женщина в манто верещала:

— Сумочка! Сумочка! Ради бога!

На нее никто не обращал внимания — сбились в кучу, стремясь расправиться с мальчишкой... Евдоким подошел, обеими руками разгреб толпу:

— Ну, кончай базар. Самосуд ладите, что ли?

Рукой в великанской рукавице он вытащил мальчишку из толпы и поставил перед собой:

— Где сумка?

Мальчишка трясущимися детскими руками достал изпод тряпья, откуда-то с живота, сумку и подал. Евдоким показал ее женщине:

— Ваша?

— Слава богу! — всхлипнула женщина.

— У, распустила губы из-за дерьма,— сказал кто-то в той самой толпе, которая собиралась оттаскать мальчишку.— Паразиты чертовы, нэпманы, готовы удавиться за целковый...

— Пойдем-ка со мной, красавец,— сказал Евдоким.

— Дяденька,— заныл мальчишка,— отпусти! — Кровь текла у него по губам и подбородку, и он хлюпал носом, пугаясь алых капель, падающих на снег.— Дяденька...

— Ладно, давай печатай! — сказал Евдоким.

Он привел мальчишку к себе домой и сказал Евдокии:

— Принимай гостя. Дай умыться чертенку да покорми.

— Я холодной водой не могу мыться,— сказал мальчишка, видя, что Евдокия наливает в таз воду из кадушки.— Я малокровный.

— Скажи, какой нежный! — сказала Евдокия, но все же налила ему теплой воды. Мальчишка мылся так, словно боялся испортить свою красоту. Евдокия зашла сзади, одной рукой охватила его, а другой старательно и бесцеремонно вымыла ему лицо.

— Не дерись, зараза! — закричал мальчишка.— Дяденька! Тетка дерется!

Вымытый, он оказался блондином с бледненьким смышленым лицом. Ноздрю, из которой еще сочилась кровь, он зажал пальцем.

— Вшей-то на тебе, поди...— сказала Евдокия.— Всю квартиру зачумишь.— И она дала ему старые рабочие брюки и рубашку своего отца — Евдокимова одежа была бы велика непомерно. Весь чистенький, мальчишка нерешительно присел у края стола. Евдоким протянул ему ломоть хлеба; мальчишка так и впился в хлеб руками и зубами. На щеках у него проступили два круглых, как яблоки, красных пятна.

«Господи, много ли надо,— подумала Евдокия.— Умыли, согрели, глядишь — вовсе другое дитя, на человека похож...» Она отрезала ему кусок студня и спросила:

— Откуда ты?

— С Волги, из Самары,— ответил он, всей пятерней взяв кусок.

— Отец, мать есть?

— В голодовку померли.

— А звать как?

— Андрей.

Она уложила его на печке, чтобы он прогрелся хорошенько. Евдоким сказал, что утром отведет его в приемник.

Утром мальчишки на печке не оказалось, не оказалось и Натальиной шубейки на вешалке. Лохмотья свои, что

Евдокия накануне стащила с него, мальчишка забрал тоже.

— Ты больше води уркаганов в дом,— сказала Евдокия, расстроенная пропажей шубейки.— Еще не то будет.

Евдоким рассердился:

— Води, води!.. А тебе б догадаться, поснимать с вешалки, попрятать...

Месяца через два Евдокия, придя с рынка, увидела в кухне Андрея. Он сидел на полу — ворохом грязного тряпья — и хлебал щи. Наталья стояла и серьезно смотрела на него.

— Здравствуй! — сказала Евдокия.— Ты как, с ночевкой пришел?

Андрей поднял чумазое лицо и сказал:

— Я, тетка, больше не буду. Я могу тебе дров напилить, если хочешь.

— Он озяб очень,— сказала Наталья.— У него ботинки отняли.

Андрей, в самом деле, был совсем босой. У Евдокии сжалось сердце, когда она увидела его маленькие черные ноги. Она сама пришла с мороза и, хоть была в тулупе, валенках, пуховом платке и толстой шали, озябла так, что губы у нее одеревенели. Все-таки она не утерпела — попрекнула:

— А шубейку где девал? Шубейку небось загнал, а сам голый-босый явился?

— Ну мама! — строго сказала Наталья.— Зачем говорить, когда все ясно.

— Чего тебе ясно? — спросила Евдокия.

— Говори не говори — шубейки все равно нету,— ответила Наталья.— И нельзя голого и босого человека выгнать на мороз.

Евдокия озабоченно помолчала.

— Расселся! — повторила она снова, разматывая свой платок.— На полу собака ест и кошка ест; а человеку за столом сидеть указано... Неси, Наташа, таз, а я теплой воды достану. Вставай мыться, малокровный!

7

Наталью и Андрея отдали в школу. Евдоким сам купил им тетради, сумки, пеналы.

Наталья училась очень хорошо. Учителя ее хвалили:

— Очень способная девочка, надо ей дать хорошее образование.

Про Андрея они говорили:

— Ленив, дерзок, мученье с ним.

По вечерам Наталья в кухне готовила уроки, а Андрей дразнил ее:

— Чего стараешься? Все равно твое дело девчонское: подрастешь, выскочишь замуж, нарожаешь детей и все забудешь.

— Неправда, не забуду,— отвечала Наталья.

— Врешь, забудешь. Только замуж выйдешь, забудешь и арифметику, и географию, и все.

— Я не выйду замуж,— отвечала Наталья.

— Выйдешь. И ни к чему тебе ученье. Одно провожденье времени, чтоб поменьше дома помогать.

— Мама! — кричала Наталья, не вынеся несправедливости.— Зачем он говорит неправду?!

— Не трожь ее! Что ты к ней пристал, на самом деле? — вступалась Евдокия.

— Что делать будем? — хмуро спросил Евдоким, когда Андрей остался в четвертой группе на второй год. Ему уже было четырнадцать лет. Был он живой, вертлявый, острый на язык, охочий до всякой работы — только не до ученья. Он приносил воду, пилил дрова, разводил утюг, починял кастрюли и ведра. Евдокия не могла без него обойтись.

— Возьмите меня на завод,— сказал Андрей Евдокиму.— Скучно мне на парте сидеть с пацанами.

— А на заводе не будешь лодыря гонять?

— Не буду, честное слово.

Через несколько дней Евдоким сказал:

— Берет тебя Шестеркин в индивидуальное обучение. Будешь с ним на прессе работать. Только — смотри! Меня на заводе знают. Мне моя честь дорога. Ты — мой сын. Береги, смотри, сынок, нашу рабочую честь, понятно?

Андрей отвечал, что понятно. Действительно, Шестеркин был им доволен: даже удивлялся, почему такой сообразительный паренек плохо учился в школе. Андрей теперь уходил по утрам вместе с Евдокимом. Он возмужал, стал курить, щеголял своей испачканной рабочей одеждой. Когда он принес Евдокии свою первую получку, у него был такой гордый вид, что Наталья ему позавидовала.

Наталья ни за что бы не бросила ученье. Она себе поставила трудную цель: стать ученой женщиной. Как

Софья Ковалевская и Мария Кюри. Ей шел четырнадцатый год, она стала формироваться, у нее выросли густые короткие косы. Чтобы казаться старше, она заплетала эти косы на висках и укладывала их на темени. Стройная шея и руки ее округлились. Как-то она сфотографировалась с подругами, и Евдокия, разглядывая карточку, нашла, что Наталья становится очень хорошенькой.

Из деревни Блины письма приходили редко, и всегда в них были сообщения о важных семейных переменах: или женился кто-нибудь, или умер. О рождении детей писали вскользь, между прочим, потому что у Евдокима было в живых четыре брата и три сестры, и каждый год у них рождались дети, а жена брата Сергея два раза приносила по двойне. Не хватило бы времени докладывать о каждом прибавлении семейства. Мать только дивилась, что Евдоким ничего не пишет о своих детях, и раза два спрашивала: «Отпиши, сынок, кем же похвастаешь передо мной, старухой, внуком аль внучкой, и имя пропиши»,— но, не получая ответа на этот вопрос, перестала спрашивать. Один, один бездетный во всем чернышевском роде был Евдоким, а уж ему ли не хотелось иметь детей?..

Летом пришло письмо, в котором, после многих поклонов до сырой земли, было написано:

«Еще сообщаем вам, что старший ваш брат Петр Николаевич приказал долго жить по причине грызи и оставил после себя семь душ детей, старшей же, Афросинье, 15 лет, и вдовая его супруга Антонида Ильинична, сама будучи хворая, ума не приложит, что ей с этой безотцовщиной делать. Желательно было бы вашего совета, как вы после Петра остались старшим над братьями и живете в городе, то лучше нашего знаете все ходы и выходы, где можно устроить сирот на казенный счет, и ежели будете в силе-возможности приехать хотя на день, то было бы нам большое вспоможение».

Евдоким узнал затейливый и уклончивый слог брата Сергея — хлопотуна и хитреца — и задумался. Он вспомнил Антониду, вечно стонущую, с тряпкой на голове, сорную ее избу, недопеченные шаньги. Где ей воспитать семерых ребят! Хотел вспомнить ребят — и не смог: года четыре назад погостил он неделю в Блинах, видел и каж-

дой избе кучу детей, [redacted] которые из них были Петровы?.. Семь душ, шутка сказать...

Родственники уже нацелились перевалить заботу об этой ораве на советскую власть. «На казенный счет». Эх, родственнички, уважаемые! Молодому пролетарскому государству только-только удалось беспризорщину одолеть, бездомных сирот разместить по детдомам. Неужто мы, Чернышевы, так слабосильны, чтобы Петровых детей спихнуть на попечение государства? Не найдется у нас для них угла и куска?

Евдоким обвел взором свое опрятное жилье. Хорошо ли, худо ли, [redacted] живут же под его кровом Наталья и Андрей, [redacted] ему веселее с ними, и Евдокия, видать, им рада. Все-таки она — ничего баба: вон сидит, латает штаны Андрюшке. Что ей Андрюшка? Другая бы его поедом ела, [redacted] она ему ботинки купила шевровые, с шитым рантом. Говорит, мол, из Андреевой получки,— ну, пускай она это Андрею рассказывает. И зачем мальчишке такие ботинки? Чтоб на свадьбе у товарища, видишь ли, был одет не хуже других: председателя цехкома, видишь ли, приемный сын... Недаром Андрей на нее не надышится: мама да мама... Нет, определенно — хорошая баба. Своих детей лишена — к чужим жмется.

А ведь Петровы дети не чужие: племянники, родная кровь. Семь душ, гм... Двоих бы можно взять. Наталья [redacted] Андрей уже большие, и не оглянешься, как вырастут. Андрей уже работает, старается себя оправдать. Надо съездить в Блины.

Он взял отпуск и поехал. Хотел было Евдокию повезти с собой, да как подумал, что обсядут ее бабы и начнут допытываться, почему неплодна, как да что,— пожалел и оставил дома.

В Блинах все было по-старому, только мать сильно подалась и глядела в гроб. Весть о приезде Евдокима собрала всю семью, пришли братья, сестры, невестки, зятья — прямо сельский сход; всем сходом повели его к Антониде. Антонида уже знала и ждала, навертев полдюжины тряпок на голову. При виде Евдокима она разохалась, расстоналась — вот-вот помрет... А хозяйство неплохое — корова, две телки, овец десятка два: все брат Петр на себе тащил, недаром от грыжи помер.

Сидели до петухов, обсуждали, что делать с Петровыми наследниками. Антонида соглашалась оставить при себе троих: двух меньших — один только что начал ходить — и девочку Афроську, которая была уже так велика

и разумна, что можно было все взвалить на нее. Двух мальчиков постарше брала к себе сестра Пелагея, председательница сельсовета. Оставались двое: девятилетний Павел и пятилетняя Катя. Евдоким объявил, что забирает их к себе, усыновит и воспитает. Он думал, что братья обрадуются; но они как-то мялись и высказывались туманно. Он долго не мог понять, в чем дело, потом понял и рассердился: Антонида давала за детьми телку; братьям телки было жалко. Евдоким встал и сказал с досадой:

— Мне телка не нужна. А семью своим трудом оправдываю, и, слава богу, при советской власти мы, рабочий класс, обиды не видим. Не имея ни коров, ни овец, живу чище [redacted] здоровей против вашего, и братовых сирот прокормлю без телки, пропади она пропадом!

Братьям стало совестно, и они наперебой стали уговаривать Евдокима взять телку. Тем временем подоспели пельмени. Антонида, ахая, послала Афроську в погреб за брагой. Выпили с чувством на помин Петровой души по разу, выпили по другому — и браги целого бочонка как не было.

9

Евдокия вдруг затосковала. Андрей тоже уехал — в дом отдыха. Некого стало ждать по вечерам, не для кого стряпать. Вдвоем с Натальей они ленились топить печь: похлебают окрошки, поставят самовар — вот и сыты, и делать нечего. Во дворе был разведен огород, но для Евдокииных рук там и до обеда не хватало работы. Наталье добро: знай сидит целый день за книгами; [redacted] Евдокии куда девать себя?

Она придумывала себе дело: перештопала все чулки, даже такие старые, что не грех бы выбросить; набрала ситцу в мелких розочках — давно ей приглянулся — и пошила наволочки. Шила, позевывала [redacted] думала об Ахмете. Куда он исчез? С ним жизнь становилась праздничной. Как он всегда любовался ею, как нежил!.. Повстречать бы его, расцвести на недельку-другую всем телом, всем сердцем; натешиться, налюбиться всласть... А там опять вернуться к своей простой, привычной и по-привычному милой жизни... Но Ахмет как в воду канул.

От Евдокима пришла телеграмма. Никогда еще Евдокия не получала телеграмм, и мысль о том, что эти строчки дошли к ней по проволоке,— так Наталья объяснила,—

эта мысль наполняла Евдокию почтением и гордостью. Евдоким сообщал, что везет двух детей и телку и чтобы она все для них приготовила. Ей стало смешно: еще двух детей! Вот так та́к, да у нее скоро подушек не хватит!

С Натальей они осмотрели дом и решили, что дети будут спать пока на сдвинутых лавках, на сеннике; а потом надо будет купить кровать. Для телки Евдокия очистила дровяник во дворе. Ясно было, что на зиму он не годится,— придется ставить теплую пристройку к сеням.

Евдокия съездила в Курью и приторговала сена. Денег у нее не хватило, пришлось оставить задаток, а рассчитаться она посулила потом.

Некогда стало думать об Ахмете, когда приехал Евдоким с двумя детьми, приехала телка в телячьем вагоне, приехал Андрей из дома отдыха, и столько явилось забот, что за весь день не управишься.

Дети понравились Евдокии. Мальчик был славный, похожий на Евдокима, не баловник, все сидел и рисовал картинки. Он ко всему присматривался и очень скоро спросил:

— Тетенька, а почему Наташа и Андрюша зовут тебя мамой, а мы с Катей зовем тетенькой?

— У Наташи и Андрюши матери нету,— ответила Евдокия,— а у вас мать жива. А я вам тетенька и есть.

— Мама нас не захотела,— сказал Павел.— Она захотела только Афроську, Параню и Витьку.

Евдокия не придумала, что ответить ему на это, и сказала:

— Ну, молод ты еще мать судить.

Павел промолчал, а через несколько дней сказал:

— Тетенька, давай все-таки мы тебя будем мамой звать.— И сказал Кате:

— Катька, ты тетеньку Дуню зови мамой, слышь?

— Почему? — спросила Катя.

— Потому что наша мама нас не захотела.

— Она плохая? — спросила Катя.

— Плохая,— сказал Павел.— Только ты ее не суди, Катька, ты еще молода.

— Ладно,— сказала Катя.

Эта Катя, румяная, тугая, как новенький мячик, огорчала Евдокию. Евдокии хотелось кормить ее с ложечки,— Катя вырывала ложку и кричала:

— Я сама, сама!

Евдокия хотела водить ее в передничках и бантиках, но банты Катя теряла, передники рвала и отовсюду падала.

Только ее приоденешь, а она уже бегает грязная, в ссадинах и шишках. Евдокия терпеливо мыла ее, приговаривая:

— Вот послал бог счастье.

— Я сама! — кричала Катя, отнимая у нее мочалку.

Наталья смотрела на малышей свысока. Павел робел перед ней.

— Можно взять вашу книжку «Сочинения Пушкина»? — спрашивал он.

Наталья отвечала небрежно:

— Можешь, только ты там еще ничего не поймешь.

— Можно взять ваш красно-синий карандаш?

— Можешь, только не поломай.

Но однажды она застала его за рисованьем. Красным и синим карандашом была нарисована картина: Людмила в саду Черномора. Сад был голубой, светло-тенистый, и только Людмила была нарисована красным, как язычок пламени в волшебной синеве... Наклонив лоб, прикусив губу, Павел осторожно растушевывал голубую кисею листвы и не заметил, как Наталья заглянула через его плечо.

— Это ты нарисовал? — спросила она недоверчиво. Он мельком оглянулся на нее, заерзал на стуле и покраснел.

— А разве нехорошо? — спросил он немного погодя, поглядев на рисунок, и уже смело повернулся к ней и взглянул ей в глаза.

— Нет, очень хорошо,— сказала она серьезно. Он взял рисунок и протянул ей:

— На.

— А тебе не жалко?

— Нет. Я таких сколько хочешь могу нарисовать,— сказал он.— Только мне нечем.

Она посмотрела на рисунок и сказала:

— Ты бери мои краски. А этот карандаш пусть будет у тебя. Насовсем.

К годовщине Октября Андрей провел в доме электричество. Теперь в кухне и в спальне висели лампочки, дававшие чистый и яркий свет: в спальне — под стеклянным тюльпанчиком лампочка, в кухне — под зеленым жестяным колпаком. И в новой пристройке, где помещалась телка, тоже было электрическое освещение, и Евдоким рассказывал на заводе:

— Малый-то мой свет провел — сам, без мастера.

— Я тебе его еще не так выучу! — кричал Шестеркин.— Ты мне за него знаешь какой магарыч должен поставить? Знаешь?!

— Ну, какой? — спросил Евдоким.

Но Шестеркин сам не знал, какой магарыч ему полагается за обучение Андрея. Андрей уже работал самостоятельно, а Шестеркин по нескольку раз в день подходил к нему и учил его всему, что сам умел,— ему жалко было расстаться с таким понятливым учеником.

На демонстрацию 7 ноября ходила вся семья Чернышевых. Наталья шла со своей школой, Андрей — с заводской молодежью, Евдокия и младшие дети — с Евдокимом. Катю Евдоким нес на плече.

10

В цехе поставили новые машины, привезли пресс небывалой мощности. Шестеркин думал, что его уволят, потому что его уменье при новых машинах станет ненужным, и запил от огорчения. Но его не уволили, а поставили обучать подростков и даже прибавили ему зарплаты.

— Выгнать бы тебя за твою дурость,— сказал ему Евдоким,— да жаль: голова у тебя — когда трезва — хороша.

— Молчи, молчи! — кричал Шестеркин.— Думаешь, машина меня заменит государству? Машину государство купит и продаст, а голову мою никто не купит, ни за какие деньги!

Евдоким пошел учиться на курсы повышения квалификации: без этого не удержаться бы ему в рядах лучших рабочих при новой технике и новых нормах. Свободного времени стало у него еще меньше; но при всех своих заботах он успевал думать о семье, об ее нуждах. Он решил, что нельзя дальше жить в такой тесноте,— повернуться в доме негде.

— Корове у нас просторней, чем нам с тобой,— жаловался он Евдокии.— Андрей! Светелку пристроим?

— Безусловно пристроим,— отвечал Андрей.

— Вдвоем справимся?

— Определенно справимся.

— Составь-ка расчет! — приказал Евдоким.— Аккуратно составляй, без роскоши.

В те годы многие рабочие строили себе дома, нетрудно было достать материал в рассрочку, и за одно лето, при помощи Шестеркина, светелка была поставлена. Там стали спать Андрей и Павел. Туда приходили к Андрею товарищи. Они играли на гитаре и хорошо пели, и случалось — спорили о чем-то напечатанном в газете и кричали так, что казалось — вот-вот быть драке. Евдокия подавала им чай и закуску, ей было приятно, что Андрюша подрос и стал развитой и с лица симпатичный, свои у него знакомые, своя какая-то интересная жизнь. Павел, смирно сидя в уголку, слушал песни и споры и рисовал смешные портреты.

И вдруг опять появился Ахмет!

Словно что толкнуло и подняло Евдокию, когда она подошла невзначай к окну и увидела его. Он стоял на краю тротуара и глядел на ее окна. Должно быть, он давно уже тут стоял: его пальто и барашковая шапка промокли от дождя. Евдокия, сама не помня как, враз очутилась на крыльце. С мокрым лицом, сияя белыми зубами, Ахмет взял ее за руки выше локтей и крепко сжал.

— Ох, что ты... увидят... иди...— бормотала она как в тумане. А сама не уходила и не замечала, что потоки дождя с карниза льются ей на голову и на плечи.

Ахмет сказал быстро:

— Как стемнеет, приходи на Разгуляй, к булочной, буду тебя ждать.

И ушел, озираясь. Она смотрела вслед, пока он не свернул за угол. Потом вошла в дом медленно, ноги у нее стали будто из ваты.

Когда стемнело, она пошла на Разгуляй.

11

Возвращались поздно — не понять было в черной осенней мокряди, который час.

Ахмет сказал, что его часы остановились. Он провожал ее, они долго шептались и целовались под чужими воротами, прежде чем расстаться.

Дома во всех окнах было темно. Она постояла, потом постучала негромко в темное окошко. Она думала, что придется стучать долго,— и Евдоким, и дети горазды были спать,— но сейчас же в сенях по лесенке застучали босые пятки, громыхнул болт. Отворил Павел. Он был в одной рубашке и испуганно дышал.

— Ступай, я сама затворю,— сказала она шепотом.— Ты что не спишь? Ступай, ступай, простынешь.

Он не послушался, стоял рядом, пока она накидывала болт, и по его дыханию было слышно, что он дрожит. Она взяла его за плечи и повела с собой:

— Ложись, ложись, спать пора.

— Я не хочу спать,— сказал он громко.

На печке заворочалась Наталья. Евдокия зашептала:

— Тише! Перебудишь всех.

— Никто не спит, одна Катя,— сказал Павел.— Папа с Андрюшей пошли тебя искать. Где ты была, мама?

— Ложись, ну! — сказала она.— Экой неслух!

Она закутала его и сама быстро разделась и легла, не зажигая света. Лежала, не спала, глядя в темноту и прислушиваясь, не возвращаются ли Евдоким и Андрей. Дождь припустил, шумел по крыше... Было совестно, что они, проработав весь день, ходят под дождем и ищут ее и что дети не спали, дожидаясь ее. Она хотела убедить себя, что это — ее дело, что она никому не делает зла, что не может быть такого правила, чтобы человек отказывался от своей радости ради других. «Никто не велит ему за мной бегать, лежал бы да спал»,— думала она. Но что-то шептало ей, что она себя замарала, что она одна замаранная среди них, чистых. «Ах, господи, зачем он приехал!»— подумала она об Ахмете. И в то же время знала, что завтра опять пойдет на Разгуляй и потом опять будет красться по дому и замирать от стыда перед детьми.

Евдоким и Андрей пришли не скоро, мокрые, злые. Где они не побывали — и в милиции, и в морге... Евдокия сама отворила им и тоже прикинулась злой, обиженной.

— Ты где была? — спросил Евдоким. Она ответила, отвернувшись к стенке:

— Где была, где была! Товарку в родильный провожала, а тебе только бегать да срамить меня!

Товарку свою Машу Овчинникову Евдокия не видела уже полгода и только накануне узнала случайно, что Маша отправляется в родильный дом.

— Какую товарку?

— Овчинникову Машку. Проверить хочешь? Проверяй ступай. Андрюшку с собой возьми...

— Ты хоть объявляй, куда уходишь-то,— сказал он устало. Евдокия села на кровати, слезы стыда и упрямства подступили к горлу:

— Вот я тебе объявляю, что завтрашний вечер опять в больницу к Машке пойду, слышал?

— Не кричи! — сказал он сурово.— Дай детям покой.

Она затихла и до утра лежала без сна. Гнев на кого-то — не на себя ли? — и тоска, и другие чувства, которым она не могла бы подыскать названия, давили ей грудь...

На другой день Ахмета на Разгуляе не было. Евдокия ждала его, ждала возле булочной и пришла домой разочарованная и усталая.

Хорошо, что она пришла рано! Евдоким, против обыкновения, был уже дома — сидел в кухне и починял валенки. Катя и Павел крутились около него, он им что-то рассказывал — видно, смешное, потому что дети смеялись.

— Гляди, жена,— сказал он,— как я тебе ладно валенок зашил.— Он посмотрел на нее внимательно и спросил: — Ну, как там Маша, разрешилась?

— Не знаю,— ответила она упавшим голосом.— Я не была.

У нее не хватало сейчас силы лгать, ей было все равно. Или нехороша она показалась вчера Ахмету, что он так поступил с ней? Она пошла в коровник и поплакала.

Евдоким словно не замечал ничего, шутил с детьми и только после ужина, когда они остались вдвоем, сказал:

— Послушай. Сядь-ка, да обсудим, что же это у нас с тобой получается. Неважно получается. Что было раньше, то... Ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни! — сказал он и ударил по столу своей широкой твердой ладонью.— Хочешь Ахмета — будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай, слышишь? Я его сегодня чуть-чуть потрепал, а ведь если трахну серьезно, то ему живому не быть. И пойду я через тебя, дура ты баба, под строгую изоляцию, а детей куда денешь? По белому свету размечешь? Ты об этом подумала? Или у тебя ни души, ни рассудка нет, а только жадность бабья? Врешь — и рассудок есть, и душа, можешь себя придержать.

— Что ты с ним сделал? — шепотом спросила Евдокия.

Евдоким задумчиво разгладил усы:

— Ну... нашел его и говорю: забирай ее по-хорошему либо свертывай с дороги, чтобы тебя и близко не было! А он пьян, что ли, был, полез драться. Тоже!.. Отделал я его маленько: не лезь! Может, еще в суд подаст от большого ума-то.

Она закрыла лицо руками. Он продолжал:

— Погоди реветь, послушай, что я предлагаю. Я же не старорежимный насильник какой-нибудь, чтоб неволей тебя держать. Если так уж полюбила, что жить без него

нет возможности,— люби, что ж тут поделаешь. Но — меня при этом не будет!.. Может, боишься, что бездомной останешься? Не на улицу гоню, не бойся. Ты в этом доме как была, так и будешь,— он твой, дом этот.

Пораженная, она взглянула ему в глаза:

— А ты?..

— Обо мне разговора сейчас нет. Мы с детьми другой дом построим,— ответил он.— Дети со мной уйдут: Ахметке детей не оставлю. И тебя-то оставлю скрепя сердце: только если сама захочешь. Не верю этому прохвосту, на полкопейки не верю, безответственный человек... Ну, дело твое.

Евдоким встал. Увидел ее растерянное лицо, усмехнулся невесело:

— Вот, значит, Дуня. Такое мое предложение. И ты решай скорей. Ни мне, ни тебе так жить неинтересно, как Ахмет нам определил. Из меня, скажу откровенно, за прошлую ночь десять лет жизни ушло. Решай. А на свиданья бегать — не допущу. Я не покойный папаша твой, со мной этой легкости не будет, не жди. Я за тебя ответчик, понятно тебе?

Евдокия сидела не двигаясь. Он вышел. Не в спальню — к мальчикам в светелку пошел и затворился.

И затих дом, и она сидела одна в тишине, словно привыкая к будущему своему одиночеству.

Так вот будет она сидеть по вечерам и ждать Ахмета,— дождь будет шуметь по крыше,— а Ахмет придет ли, нет ли,— ненадежный человек, обманщик, хоть красивый, ах, красивый...

Бесконечно будет шуметь дождь, и дом будет тихий, мертвый.

А те, что вносили в него жизнь,— уйдут, и не понадобится им больше ее забота, и не будет она каждый день узнавать от них разные новости и обсуждать с ними их дела, и если, встретясь с ней, кто-нибудь по привычке назовет ее «мама»,— это уже ровно ничего не будет значить.

Евдокия горько заплакала.

Ей стало обидно за них и ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмета. Уйдут для того, чтобы она в этих комнатах миловалась с Ахметом.

А ужасней всего, что уйдет Евдоким, добрый, разумный, работящий Евдоким, без которого не было бы ни дома, ни семьи,— ничего бы не было.

Невозможно было перенести такую несправедливость, чтоб из-за Ахмета ушел Евдоким. Евдокия зарыдала в голос.

Наверно, Евдоким слышал рыдания. Но не вышел ее утешать. Она рыдала, рыдала, потом подумала: «Чего это я плачу, глупая; ведь Евдоким сказал — решай. Решай, сказал. Как захочу, значит, так и решу — кому тут быть, а кому не быть».

И, успокоенная этой мыслью, чувствуя, что гора свалилась с плеч,— умыла лицо, помолилась, улыбаясь счастливо и виновато, о здравии Евдокима, детей и своем собственном и легла спать. А утром, когда Евдоким и Андрей поднялись, чтоб идти на работу, уже топилась, как всегда, печь, был готов завтрак, и Евдокия степенно хозяйничала у стола.

Они никому не рассказывали об этой истории. Но неведомо откуда пошла по заводу молва — может быть, от всезнающей Марьюшки, она же и подшепнула Евдокиму, что Ахмет вернулся... Молва пошла, и однажды инструментальщик Мокеев, склочник и сквернослов, обозлясь за что-то на Андрея, назвал его: «шлюхин выкормыш». Андрей ринулся драться — не успели его удержать; откинутый тяжелым кулаком Мокеева, он бросался снова и снова. Сильный Мокеев испугался исступления мальчишки, попятился, крича:

— Ну чего ты, чего, чего?! Она с татарином гуляет, дурак!

Несколько человек схватили Андрея за руки, увели, усадили. Андрей выплюнул кровь,— Мокеев разбил ему зубы,— и сказал:

— Все равно изувечу подлеца.

Его вызвали в ячейку, уговаривали и ласково и строго,— он стоял на своем:

— Не могу его видеть. Она с меня вшей снимала...

И только когда Андрею пригрозили, что выгонят из комсомола,— он расплакался, кусая кулаки, и дал обещание не трогать Мокеева.

Евдоким не сказал жене, из-за чего Андрей подрался с Мокеевым. Больше у них не было разговора об Ахмете. И Ахмета не было: явился на миг, белозубый сатана, отуманил, ожег, набаламутил,— и нет его опять.

12

Кто-то постучал в окно. Был вечер, дети только что заснули. Евдоким еще не вернулся с завода,— верно, задержался на собрании. Евдокия вышла отворить. Улица была пуста, ни души, медленными хлопьями падал снег. Евдокия хотела уже закрыть дверь, как что-то вдруг пискнуло у ее ног. Она поглядела — на крыльце лежал небольшой серый сверток, в свертке пищало. Евдокия подняла сверток, внесла в дом и положила на мучной ларь.

Она развернула отсыревшее тряпье и вынула ребенка, мальчика. Ему было недель пять-шесть, он уже держал голову. Освобожденные ножки задвигались, подтянулись к животу. Ребенок поднес кулачок ко рту и потребовал еды. «Эге... эге... эге»,— говорил он, ворочая головкой, и заплакал. Евдокия зашикала и прижала его к груди, успокаивая. Лицо ее стало взволнованным, серьезным и важным, словно это был ее ребенок и она собиралась накормить его грудью. «Эге... эге...»— говорил ребенок, перестав плакать и хватая ртом ее кофту. Евдокия положила его — он опять залился отчаянным криком,— побежала к печке, налила теплого молока в пузырек, заткнула чистой тряпкой и дала ребенку. «Эге... эге...»— заговорил он яростно, почуяв запах молока. «Ага!»— удовлетворенно сказал он, поймав тряпку ртом, и стал сосать.

— Ишь, жадный! — с восхищением сказала Евдокия, любуясь им.

Накормив, она налила в таз теплой воды и стала купать ребенка. Он тряс ручками и ножками, но не плакал, и она ловко обмыла его и губами собрала воду со спинки, как делали другие женщины,— от сглазу, от наговора, чтоб рос здоровым да умным. Потом она отнесла его в спальню, на кровать.

— Вот мы какие чистенькие стали, какие красивые! — приговаривала она, вытирая его.

Ребенок молчал и все поворачивался к лампочке. Евдокия запеленала его в старую простыню. Спеленатый, он стал похож на белого червячка и так же ворочал головкой, как червячок; после мытья волосы на его темени стали черными.

— Вот так-то, лежи да спи! — сказала Евдокия, укрыла его своим стеганым одеялом и, потушив свет, пошла поглядеть, какое приданое получила за ребенком.

В сером свертке оказалась застиранная женская рубаха, обрывок байкового одеяла и грубый холщовый свивальник. Все это Евдокия вышвырнула в сени. На пол упала бумажка, Евдокия подняла ее. «Крещен Александром»,— было написано на бумажке. Евдокия подумала: хорошее имя Александр, можно кликать Шурой, Сашей, Саней, как понравится, а то еще Аликом.

Пришел Евдоким. Усталый и чем-то недовольный, он долго мылся под висячим рукомойником, и Евдокия заробела — вдруг он не захочет принять ребенка? Сменив одежду, он молча уселся к столу, а она, подавая ужин, все думала, как ему половчее сказать.

— Что собрание-то нынче так затянулось? — спросила она, чтобы начать разговор. Он ответил нехотя:

— Судили одного. Из заводского материала утварь делал, продавал в свой карман.

— Кто ж судил?

— Мы и судили. Собрание.

— Собрание?..— переспросила она задумчиво, думая о своем. Погодя, повела речь напрямик:

— Без света в спальне не будь, на кровать, не осмотревшись, не бухайся, не ровен час — придавишь дитя.

— Какое дитя?

— Мальчика бог послал.

Он кончил ужинать и пошел в спальню; она — за ним. Он зажег свет, откинул одеяло, посмотрел на спокойное розовое личико:

— Это чей же?

Она ответила храбро:

— Считай, что наш.

Ребенок спал, посасывая губами.

— Подкинули, что ли?

— Подкинули. Это счастье для дома,— вспомнила она и заторопилась.— На подкидыша господь пошлет!

От яркого света ребенок затревожился, завертел головкой, стал выпрастывать кулачки из пеленки.

Евдоким засмеялся:

— Мальчик, говоришь?

— Александром зовут.

— Почем знаешь?

— Записка была вложена.

Он сел на кровать и стал разуваться.

— Вот те раз! — сказал он весело, глядя на важного младенца.— А я где лягу?

— Ложись к стенке, а я с ним с краю.

— А вдруг задавлю ночью? — осторожно укладываясь под необъятное одеяло, сказал Евдоким уже не шутя.— Придется люльку ему сработать, а то на самом деле опасно, кости-то у него мягкие...

13

Приходили соседки поглядеть, что за прибыль у Чернышевых. Хвалили ребенка, хвалили Чернышевых, ругали беспутных матерей, которые ночью на снегу, у чужого порога, кидают безвинных младенцев...

Пришла и Марьюшка. Вошла чинно, без суеты. Негромко, но требовательно опросила притихших Павла, Катю и Наталью — хорошо ли учатся, слушаются ли названых родителей и зачем дома ходят в башмаках: дома тепло, башмаки поберечь не грех, у названых родителей расходов, поди, страсть на такую ораву. Потом начальственно, как доктор, Марьюшка приказала показать младенца.

Евдокия поднесла Сашеньку, спеленатого, в чепчике с кружевцем. Марьюшка вздохнула:

— Не жилец.

Евдокия испугалась:

— Ну, почему?

— В глазок посмотри ему,— шепнула Марьюшка.

Евдокия посмотрела в голубенький бессмысленный глаз и увидела в зрачке свое лицо, а больше ничего.

— В уголок,— шептала Марьюшка.— Который живуч человек, у того в уголку ровно пупочка сидит внутри, видна ясно. У богоданного твоего младенчика пупочки не видать. Жить не будет.

Приведя всех в уныние и угостившись пенным квасом с изюмом, Марьюшка удалилась.

На другой день у Саши заболел живот. Евдокия дала ему касторки, припарки ставила — не помогло. Пришлось понести Сашу в консультацию.

— Вы, мамаша, перекормили ребенка! — гневно сказала черная докторица в белом халате.— Мы дадим ему режим!

Она приказала кормить Сашу через четыре часа, ночью вовсе ничего не давать, молоко разводить рисовым отваром. Евдокия не смела ослушаться докторицы, но душа у нее изболелась, потому что Сашенька просил есть каждый час и, ничего не получая, кричал: «Эге! эге!»— пока не засыпал от изнеможения.

«Небось, твое было бы, не морила б его режимом,— думала Евдокия про докторицу.— Этак от голода протянет ноги дитя».

Но дитя не протянуло ноги, привыкло к режиму и стало спокойно спать по ночам. Это было в марте, а в апреле Павел подхватил в школе коклюш, от него заразились все дети в доме, и Саша в том числе. Старшие болели легко, а Саша так задыхался, что Евдокия при каждом приступе кашля с ужасом ждала — вот сейчас умрет. Она подолгу смотрела в Сашины глаза; но не находила той пупочки, которая дает живучесть человеку. Кончился коклюш — Катя и Саша заболели корью.

— Это так не пройдет,— сказал Евдоким, глядя на пылающего в жару ребенка.— Не может такая кроха столько перенести. Ждать, видно, горя, Дуня.

Он протянул свою большую руку и бережно пригладил ее волосы. Третий месяц она не отходила от ребенка, похудела и перестала улыбаться.

— Не хочу я этого горя, Евдоким,— сказала она новым каким-то голосом, какого он у нее не слыхал.— Вот не хочу и не хочу!

Ей казалось, что если Саша умрет, то в ее жизни уже никогда не будет радости.

Он болел всю весну и половину лета. У него была ветрянка, прорезывались зубы. Тихий и ослабевший, он лежал во дворе под навесом, который поставил для него Евдоким. Катя, Павел и Наталья по очереди подсаживались к нему, отгоняя мух и комаров. Особенно Катя его полюбила — приносила ему в кроватку свои игрушки, разговаривала с ним:

— А каков наш Сашенька! Умник наш Сашенька! Красавец наш Сашенька!

И, глядя в лицо девочки грустными глазами, слабо, нараспев поддакивал Сашенька:

— А-а-а!

Евдокия, хлопоча в доме, то и дело через окно посматривала на Сашеньку. Однажды, выглянув, она увидела, что возле Сашиной кроватки стоит чужая женщина и разговаривает с Катей. Евдокия услышала, как женщина сказала:

— Да нет, помрет. Плохой он у вас вовсе.

Евдокия вышла во двор и спросила женщину:

— Ты что ходишь, каркаешь? Твое какое дело тут?

— Мое дело десятое,— отвечала женщина.

— То-то и оно. Мне дитя сглазили, а теперь еще ходят, каркают,— сказала Евдокия чуть не плача.— С богом давай!

Женщина усмехнулась и пошла к воротам. Была она молода и собой недурна, только толстовата излишне и в лице нездоровая припухлость. Светлые стриженые волосы завиты мелкими колечками. На толстых ногах — разношенные туфли с кривыми каблуками...

К концу лета внезапно приехал Ахмет.

Несколько раз он прошел мимо чернышевского дома. Никто не окликнул его. Он заглянул в ворота — двор был полон детей. Девочка и мальчик копали картошку, другая девочка читала книгу, помахивая веткой над колыбелью, в которой лежал, ворковал младенец. Ахмет тихо свистнул и ушел, а на другое утро к Евдокии явилась Марьюшка:

— Ну что, Саша твой как?

— Слава богу, хорошо,— ответила Евдокия с задором. Она сидела и кормила Сашу киселем. У обоих лица были веселые.

— Закопалась ты, молодуха, в чужих детях,— посочувствовала Марьюшка.— А веку-то нам, красавица, дадено скупо.

Подбирая ложкой с Сашиного подбородка струйки киселя, Евдокия сказала нараспев, забавно:

— И какие мы такие молодухи, и какие красавицы? Наше дело старое.

— А-а-а! — отвечал Сашенька.

— Скоро будем дочек замуж выдавать, сыновей женить...

— А-а-а! — соглашался Сашенька.

— Ахмет приехал,— сухо сказала Марьюшка и для деликатности поглядела на потолок, а потом уже на Евдокию.

Евдокия докормила Сашеньку, утерла его мокрым полотенцем, поцеловала и сказала:

— Видала я его. Ходил мимо окон.

Марьюшка пожевала губами:

— Привалило ему счастье в Кунгуре — поступил в кооперацию закупщиком, большое жалованье получает, разбогател. Подарки тебе привез — шаль одну толстую, другую тонкую, с персидским узором; два отреза кашемировых, бордовый и темно-синий. Страдаю, говорит, не могу, говорит, забыть, хоть мало не убил меня Евдоким.

— Так вот мы еще какие! — сказала Евдокия, обращаясь к Сашеньке.— Нам еще подарки сулят, для нас из Кунгура приезжают! А мы им скажем,— продолжала она, похлопывая Сашенькиными ручками и балуясь,— и мы им скажем: поезжайте-ка назад в Кунгур с вашими персидскими узорами...

Все-таки Ахмет повстречался Евдокии на пути, когда она шла по воду. Загородил ей дорогу, маленькой жесткой рукой стиснул ее запястье:

— Что, Дуня? Что ты вздумала? Гонишь меня? Плохой стал Ахмет?

Щурясь от солнца, она спокойно, с улыбкой смотрела на него:

— Зачем плохой? Может, еще лучше, чем бывал. Да мне не надобен.

— Не надобен? — переспросил он с обидой и недоверием. И крепче сжал ее запястье смуглыми пальцами.

— Оставь руку,— сказала Евдокия и так поглядела, что его пальцы сами разжались,— равнодушно поглядела, издалека, как чужая.

— Дуня, жалко,— сказал он.— Хорошая была наша любовь.

— Семейная я стала. Дети у меня.

— Чужие дети! — сказал он и осекся, взглянув в ее лицо.

— Кто виноват-то, что чужие? — сказала она и пошла от него прочь, помахивая ведрами.

Он не стал догонять ее. Все тут было кончено.

В тот же день он уехал из города.

14

Если сосчитать, то огорчений от детей было куда больше, чем радостей...

Наталья, кончив школу, поступила в техникум и так о себе возомнила, что — матушки! Она совсем отбилась от домашних дел — дескать, мать сама управится; а она, Наталья, будет заниматься немецким языком.

— Зачем тебе? — спросила Евдокия.— Тебя ведь в техникуме твоем учат немецкому.

— Учат, так что же из этого?

— И довольно с тебя. И так уж заучилась совсем — кости да кожа...

Терпеливо Наталья объяснила: в техникуме учат недостаточно, а ей надо знать по-немецки очень хорошо, чтобы читать технические книги и журналы.

— И так весь день с книжкой, мало тебе чтения...— сказала Евдокия. И получила в ответ:

— Мама, ты не понимаешь!

Павел нарисовал картинку: коричневая трава, зеленое небо, на зеленом небе длинное лиловое облако. Евдокия усомнилась:

— Нешто бывает зеленое небо!

— Бывает.

— Бывает, да не такое. Уж больно у тебя ярко.

— Ты не понимаешь! — сказал Павел. И потом рассказывал, что учитель рисования хвалил эту картинку и забрал ее для какой-то выставки. Выходило, что Евдокия действительно ничего не понимала.

Катя била всех своих сверстников на улице, и матери приходили жаловаться и ругали Евдокию — зачем она потакает. Евдокия расстраивалась, щеки ее разгорались пунцово, она горой вставала за Катю:

— Она одна зачинщица, что ль? Все дети дерутся. А твой что смотрел? Взял бы да дал сдачи. Мальчик должен за себя постоять!

А когда матери уходили, она говорила жалобно:

— Вот видишь, Катя, что ты наделала! Все нас ругают,— как же так можно!

Она не позволяла детям браниться скверными словами и даже шлепала за брань, но они все-таки бранились. Однажды Павел рисовал и вышел из комнаты, оставив на столе незаконченный рисунок и карандаши. Пришла Катя, влезла на стул и красным карандашом зачертила, замалевала весь рисунок. Сделала она это не со зла, а чтоб рисунок стал еще красивей. Павел вошел, увидел и тихо, чтоб не услышала Евдокия, сказал:

— Ты сволочь.

А маленькая Катя, спеша замалевать пустые места, пока не отняли карандаш, ответила:

— Ты сам сволочь!

15

Наталья ночевала на сеновале. Ей там нравилось,— в окно светил месяц, от прохладного сена хорошо пахло, и можно было без помехи помечтать о будущем. Она

умылась на ночь холодной водой, чтобы не засыпать — мечтать подольше, поднялась по приставной лесенке и у лунного окна увидела черную фигуру с папиросой. Наталья узнала Павла и рассердилась:

— Ты с ума сошел — курить на сеновале!

Павел сказал кротко:

— Я пальцами потушу.— И он раздавил огонек в пальцах.— Наташа,— сказал он,— я растратил тетрадочные деньги, я подлец.

— Глупости! — сказала она.— Не может быть.

Павел обиделся:

— Дура! Говорю тебе — растратил, хорошие глупости!

Она посмотрела на него внимательно. Давно ли был маленький и говорил ей «вы». А сейчас — растратчик! И курит папиросы...

Он рассказал. Ему поручили собрать на тетрадки. Он собрал и хотел отдать Ольге Иванне, а Ольги Иванны не было, и ему велели отдать завтра. Он шел из школы и зашел в писчебумажный магазин купить карандаш, а там как раз привезли александрийскую бумагу и краски высшего качества. А александрийскую бумагу и краски высшего качества ужасно трудно достать, завтра их уже не было бы в магазине. Вот он и купил и краски и бумагу. На другой день не пошел в школу и все время, пока шли занятия, ходил по городу и думал, где достать денег. Хотел продать учебники на толкучке, но за них давали очень мало, полтора рубля. Заходил ко всем товарищам и у всех просил взаймы, но набралось всего рубль шестьдесят копеек.

— Сколько же ты растратил? — спросила Наталья.

— Шестнадцать рублей.

Они помолчали, подавленные громадностью этой суммы.

— Понимаешь, Наташа, я не могу прийти с этим делом к отцу и матери. Я знаю, что они дадут, но я не могу, понимаешь? Я не могу, чтобы они узнали, что я подлец. По-настоящему, самое благородное с моей стороны было бы покончить с собой. Я не знаю, как это случилось, но если это откроется — как жить? Но я не хочу умирать, и это самое подлое...

Совсем большой и, кажется, красивый — вон какой у него лоб умный и какой горячий голос! И он говорит о смерти! Наталью охватила сестринская нежность и страх за него. Она молчала, боясь, чтобы у нее не дрогнул голос.

— Какая ты, Наташка,— сказал он с тоской и обидой.— Я тебе все сказал, а ты даже разговаривать не хочешь. Эх, человек!..

Он сделал движение уйти.

— Постой, Паша,— сказала она.— Постой, я думаю. Я думаю,— сказала она медленно,— что ты еще не очень подлец. Понимаешь? Ты не совсем подлец, раз ты понимаешь, какой ты подлец... У меня есть двенадцать рублей,— продолжала она, радуясь, что может помочь ему,— я стипендию получила. И у тебя есть немножко. И я еще достану. Завтра ты отдашь эти деньги. И не говори никому, слышишь? Не будем говорить. Но помни, Паша, если это повторится хоть раз, хоть в самом маленьком размере, то я первая пойду в школу и все расскажу.

— Ну что ты за человек! — воскликнул Павел.— Как это может повториться? Такое выдумаешь... Наташка, я ведь почти совсем решил пойти утопиться в Каме. Я с тобой только решил поговорить, ты это знай.

Он заплакал, стыдясь, что плачет. Она сделала вид, будто не замечает. Стояла и смотрела, как плывут в светлом окне серебряные облака, и тихонько глотала легкие слезы, бегущие по щекам.

— Ложись здесь,— сказала она потом.— Здесь так хорошо спать, Паша.

И они заснули рядом на прохладном сене, утомленные слезами и волнениями. И до рассвета в окне над ними плыли серебряные облака.

16

Стал провожать Наталью из техникума молодой человек приятной наружности. Раз Евдокия их встретила, другой раз встретила. Наталья идет по улице независимая и строгая, под ручку ее взять и не суйся. Молодой человек шел отдельно, на расстоянии, и оба раза что-то ужасно горячо рассказывал и размахивал руками; и в азарте, сорвав с себя кепочку, в воздух подбросил и поймал. Понравился он Евдокии, такой молоденький да славный. Она порадовалась за Наталью, что вот, слава богу, и к Наталье пришла любовь. Баловства Наталья никакого не допустит, да и она, Евдокия, не позволила бы дочке баловаться, а честным пирком за свадьбу — это хорошо!

Она еще ласковей стала к Наталье, чтобы та без сомнений делилась с ней своими переживаниями, и зорко

присматривалась, что́ Наталья: задумывается ли, трепещет ли... Задумывалась Наталья часто, но не трепетала и переживаниями не делилась, а ходила себе в техникум и занималась немецким языком.

Как-то, когда ее не было дома, раздался звонок,— это был тот самый молодой человек, в руках он держал цветы, обернутые газеткой. Он сказал:

— Пожалуйста, передайте это Наташе.

И бегом убежал. Евдокия вынула из вазы бумажные цветы и поставила живые. От маленьких нежных белых хризантем стало в горнице так нарядно... Она подумала: «Счастливая Наташа; мне вот никто никогда цветочка не подарил».

Пришла Наталья, Евдокия сказала:

— Гляди, чего жених тебе принес!

Наталья удивилась:

— Какой жених? — Потом засмеялась: — Ах, это Вовка!.. Ну какой же это жених, что ты, мама!

— Что ж,— рассуждала Евдокия,— сейчас вас, конечно, не зарегистрируют, поскольку тебе восемнадцати нету; так можно подождать годик. А он симпатичный.

— Да не будем мы с ним регистрироваться, ни через годик, ни через пять годиков. Он товарищ, мама, товарищ, и все.

Евдокия оскорбилась.

— Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что! — сказала она.— Чего ты мне голову дуришь? Нешто товарищи букеты носят? Ты б видела, как он с крыльца ринулся, чуть каблуки не оторвал! И не говори мне, что нет у него любви, а одно товарищество!

— Не спорю, возможно,— сказала Наталья и, отвернувшись, стала нюхать хризантемку, хотя известно, что хризантемы не пахнут,— но оторванные каблуки — еще не причина, чтобы полюбить человека. Это несерьезно. И извини меня,— заключила она, хмурясь и пряча в пушистых цветах порозовевшее лицо,— мне об этом неприятно говорить. Извини.

Сказала — как отрезала. И вот разберись Евдокия в этих ее делах! Такой хороший молодой человек, и такой хороший букет, и имя милое — Вова, а ей даже говорить неприятно, подумайте. Чего же ей надо? Что она себе загадала, не чересчур ли многого добивается, не чересчур ли большие поджидают ее огорчения? «Ох, не надо! Пусть счастливой будет! Пусть сбудутся ее желанья, пусть все будет ладно у девочки моей!»

17

Однажды вечером — было это в первый год первой пятилетки — Андрей не пришел с завода.

Его подождали и поужинали без него. Случалось и раньше, что он приходил поздно, загулявшись с товарищами; а тут Евдокия что-то затревожилась необычно, без меры, и тревогой своей заразила Евдокима.

Сидели вдвоем, ждали, прислушиваясь. Было душно; комары звенели вокруг лампочки... В ночи пронеслась гроза с бурным коротким ливнем. После грозы Евдоким распахнул окошко,— в комнату хлынула влажная свежесть, по мостовой шумел поток, светало... Вдруг забарабанили в дверь. Евдокия вскочила, Евдоким не пустил ее:

— Я сам.

Тяжелой походкой он пошел отворять. Она — за ним; и выглянула из-под его руки. Ватага парней стояла на улице среди луж. Парни молчали, и Евдоким молчал. Какой-то паренек в засученных по колено штанах выдвинулся, кинул папироску в лужу.

— Евдоким Николаич, беда,— сказал он.

— Живой? — спросил Евдоким.

И опять ребята молчали, медленно светлело небо, шумел поток...

Андрей лежал в гробу, и гроб был большой, как для взрослого мужчины! То, что осталось от его головы, было укрыто кисеей и цветами. Евдокия стояла в изголовье и все не могла взять в толк, как же это вышло.

Он возвращался с завода, с Кружилихи, поездом — ну да, как всегда. И товарищи были с ним, и он первый, на ходу, соскочил. Было в нем это удальство, было! — споткнулся и с размаху полетел лицом о рельс... Его подобрали с разбитым черепом, явилась скорая помощь, врач сказал, что он умер, но ребята, что были с ним, не поверили. Они звонили в комитет комсомола и прокурору, требуя, чтобы их товарища взяли в больницу и лечили. Только увидев его в мертвецкой, вытянувшегося и застывшего, они поняли, что помочь нельзя ничем. Всю ночь они бродили по городу под грозой и спорили, кто пойдет скажет семье. Никто не хотел, наконец решили, что пойдут все.

Он лежал длинный, безликий, совсем взрослый, и взрослые люди говорили о нем как о равном. Его хоронил завод, за гробом шли старики в старомодных пиджаках, девушки с венками, дети в красных галстучках. Играл оркестр, несли тяжелые богатые знамена. Безутешно плакал Шестеркин, и обливалась бурными слезами Катя.

Евдокия на людях почти не плакала; тихо утешала Шестеркина, уговаривала Катю. Но, вернувшись домой и увидев на спинке стула его старый пиджачок с торчащим из кармана изгрызенным карандашиком,— упала головой на стол, и застонала, и запричитала...

И долго, долго мучили ее Андрюшины вещи, и траурный марш все будто слышался да слышался,— безжалостно ударяли медные тарелки. А пуще всего почему-то рвало душу воспоминание, как Евдоким привел его и велел умыть, и вместо черного, измаранного кровью, нечеловеческого лица к ней обернулось беленькое, умненькое лицо ребенка...

Может, она виновата? недоглядела? Может, надо было загодя что-то сделать, что-то ему сказать, чтобы этого не случилось, чтоб он был жив и здоров? Какое-то придумать слово, предупреждение, которое его уберегло бы?

Не подумала в свое время, нерадивая, упустила. И сейчас уж поздно.

18

Евдокия пошла за покупками и взяла с собой Сашеньку. Она боялась даже на час оставить его без присмотра,— вырос и такой стал самостоятельный, озорной, Евдокии день и ночь было за него беспокойно. И, кроме того, красив стал необыкновенно; Евдокия считала — таких красивых детей больше и нет; она боялась, как бы его не украли.

Они долго ходили по обувным и мануфактурным магазинам, потом зашли в кондитерскую и купили пирожное. Сладкое тесто Сашенька съел, а крема не захотел, крем съела Евдокия. Потом они взвешивались на весах, пили воду с сиропом и купили синего фланелевого медведя с пуговками вместо глаз. Сашенька не захотел нести медведя, несла Евдокия. Вернулись домой усталые. Саша как был, одетый, лег поперек Евдокииной кровати и заснул. Евдокия сняла с него ботиночки, подложила ему подушку под голову и принялась за стряпню. Вдруг постучались, и вошла та женщина.

У нее не было ни кудряшек, ни высоких каблуков. Она вошла смиренно и попросила Христа ради. Евдокия усадила ее у двери, дала шаньгу и стакан молока. Женщина

не торопилась есть, она непохожа была на голодную — толстая, щеки красные; только одежа была истрепанная и грязная. Хлопоча возле печи, Евдокия спросила:

— Молодая, здоровая,— почему не работаешь? Нешто так хорошо?

Женщина не смутилась:

— Однако ты тоже не работаешь.

— Я на пять душ варю, стираю, шью. Я себя оправдываю. При мне четверо детей содержится да муж.

— Не твои дети-то,— усмехнулась женщина.

Евдокия остановилась с ухватом:

— Ну? Что ж, что не мои дети?

— Приемыши,— сказала женщина.— Кто-то носил, кто-то родил, а тебя мамой зовут.— Она залпом осушила стакан молока.— Какая твоя заслуга?!— воскликнула она, с размаху ставя на ларь пустой стакан.— Ты мучений за них не приняла! Шаньгой глотку затыкаешь! — Она кинула шаньгу Евдокии под ноги, размотала рваный платок, отрыгнула,— Евдокия только тут догадалась, что она пьяна.— Вишь, какая разумная! Сто рублей давай, да еще возьму ли, нет ли, там видно будет!

— За что сто рублей? — изумилась Евдокия.

— Вона! — закричала женщина визгливо.— Безвинная какая, гляди на нее! Подавай сто рублей, а не то отдавай сына, слышь?! Пятый год сыном пользуешься, а мне шаньгу тычешь, вишь какова!

Евдокия поставила ухват и коротко вздохнула.

— Заберу, и не увидишь, у меня на него метрика есть!— кричала женщина.

— Прав твоих нету, никто его тебе, бродяжка, не отдаст! — сказала Евдокия.

— Погляжу, как вы не отдадите!

— Ты его бросила!

— Как не так! Я не в себе была, из больницы выписавшись; положила на приступку, сама под ворота отошла за нуждой, воротилась — его уж нет...

— Не ври, не ври! Ты его подкинула!

— Сама не ври! Ты его украла! На суде покажу, и метрика у меня, и свидетелей приведу, что мой! Ты — пустопорожняя, чужими детьми пользуешься, чтоб не работать, возле печки сидеть! Так наш же пролетарский суд правду видит! — сказала женщина торжественно, с подвываньем.— Он тебя, паразитку, на чистую воду выведет!

В это время вошел Павел, вернувшийся из школы, и, услышав брань и крик, замер от удивления.

— Паша,— сказала Евдокия,— побудь здесь. Никуда не уходи,— и пошла в спальню. Сашенька сладко спал, приоткрыв свежий рот. Между штанишками и туго натянутыми чулками было видно его крепкое, смуглое тельце, синий медведь лежал рядом с ним.

Страшно было подумать, что он уйдет с этой пьяной бабой, которая заставит его просить милостыню, будет его бить!.. Евдокия стала на колени и открыла сундук. Там на дне, в шелковом платке, лежали деньги, которые она копила Евдокиму на костюм. Когда Наталья будет выходить замуж, Евдокиму обязательно придется купить новый костюм, старый уже плох. Евдокия тайком от мужа продавала молоко и откладывала деньги. Она отсчитала сто рублей и вышла в кухню.

— Пиши расписку! — сказала она.— Подай, Паша, чернильницу, голубчик.

Женщина подобрела при виде денег.

— Не шибко я грамотна,— сказала она примирительно, берясь за перо. Евдокия и Павел стояли и смотрели, как она пишет.

— И напиши,— сказала Евдокия властно,— что ты от него отказываешься, что ты ему не мать, и ехидна.

Женщина подписалась: «К сему Анна Шкапидар» и поставила завитушку. Евдокия взяла расписку и спрятала в шелковый платок, на дно сундука.

19

Наталья, окончив техникум, работала на инструментальном заводе. Она думала поработать года три-четыре, потом идти учиться дальше — в институт. Но вдруг своей волей все переиначила и завербовалась строить город на Амуре.

— Стоило языки учить,— сказала Евдокия, которую печалил Натальин отъезд,— стоило, право, мучиться и по-немецкому и по-английскому, чтобы пни корчевать да кирпичи класть.

Наталья только улыбалась на эти слова. И уехала с комсомольским эшелоном бог знает в какую даль.

А Павел хотел стать художником.

Он не советовался с родителями и товарищами,— ему казалось, что они над ним станут смеяться; говорил о своих планах только учителю рисования Николаю Львовичу.

Николай Львович был стар, носил какие-то детские

распашонки и усы как у Атоса, Портоса и Арамиса. За его манеру разговаривать с учениками ему постоянно делали выговоры и даже грозили снять с работы.

— Ну, что ты нарисовал? — спрашивал он отрывисто, глядя на чей-нибудь неудачный рисунок.— Это что за кретиническая фигура? Что ты этим хотел сказать?

Об искусстве он говорил так:

— Смотрите! Первое орудие художника — его глаза, кисть и карандаш — второе. Учись глядеть не моргая. Возьми лист и смотри его на солнце. Запомни каждую жилку листа — она неповторима. Не фотографируй! Натуралистов, фотографов, жалких копиистов природы нужно расстреливать. Не фотографируй, но пойми механизм устройства, чтобы сотворить бессмертное. Тот лист, на который ты смотрел, изучая,— увянет и сгниет; лист, созданный художником, не увянет никогда: он вечен. Сомнительно, бессмертна ли богоматерь и существовала ли она вообще, но богоматерь Рафаэля существует, и она бессмертна. Будь творцом! Попирай смерть! Отделяй свет от мрака и твердь от воды! А если не можешь, то иди в водовозы.

Еще он говорил:

— Что такое красота? Мне говорят, что кудри — это красиво, а лысина — безобразно. Я утверждаю: лысина прекрасна! Она обнажает благородные выпуклости черепа. Она открывает гордый и мыслящий человеческий лоб. (Я, понятно, имею в виду не лысого кретина.) Только то прекрасно, что оплодотворено мыслью. Наплюй на красивость — она затуманивает мысль. Самая красивая картина, лишенная мысли, годится только для клозета.

— Можно ли говорить так с детьми?! — возмущались педагоги. Николай Львович отвечал:

— Они понимают. А у кого вместо мозга в голове куриные потроха, тому и понимать не нужно.

И действительно, ученики его понимали и гордились тем, что он так разговаривает с ними, и урок рисования был для многих самым любимым.

Вот этому чудаку сказал Павел о своих планах. Николай Львович выслушал его и сказал хладнокровно, как о самой обыкновенной вещи:

— Ну что ж. Кончишь школу — поедешь учиться в Академию художеств.

— Николай Львович, а как вы считаете, я смогу быть творцом? — спросил Павел волнуясь. Николай Львович кивнул и серьезно ответил:

— Сможешь.

Покраснев от радости, Павел сказал:

— Задайте мне какую-нибудь работу.

— Работу?

Николай Львович обвел глазами комнату, посмотрел в окно и спросил:

— Твой отец работает на Кружилихе?

— Да.

— А ты бывал на Кружилихе?

— Сколько раз!

— Ну вот и нарисуй мне Кружилиху.

Это было легкое задание. Павел съездил на Кружилиху, осмотрел ее с крыши дома, где жил Шестеркин, и зарисовал.

— Рисуй, рисуй! — кричал Шестеркин, стоя с ним на крыше.— Рисуй нашу маму Кружилиху!

Дома Павел разделал рисунок акварелью, добросовестно воспроизведя все трубы и дымы и для эффекта пустив на небо закатные краски. Кончив, побежал к Николаю Львовичу.

— Что ты нарисовал? — спросил пренебрежительно Николай Львович, глядя на рисунок.

У Павла похолодели уши. Он ответил еле слышно:

— Кружилиху. Вы сказали...

— Я сказал — Кружилиху. А ты нарисовал просто много труб.

— Это и есть трубы Кружилихи.

— Чепуха,— сказал Николай Львович.— А закат почему? Для красоты?

Он отбросил рисунок.

— На любой фотографии я могу увидеть лучшую Кружилиху — на закате, при луне, зимой и летом.

Павел взял свой рисунок, который теперь и ему показался отвратительным, и ушел посрамленный и несчастный. Как же ему написать Кружилиху, чтобы Николай Львович похвалил его?

Павел ходил на Кружилиху всю зиму. Шестеркин опасался за его здоровье: шутка ли, стоять часами на крыше на ледяном ветру! И в цехах бывал Павел, видел сотни машин и людей... молодых и старых, работавших на этих машинах. И он рисовал эти цеха, рисовал и рвал рисунки: это не была Кружилиха! Вот и станки стоят правильно, и люди похожи до портретного сходства, это и есть станки и люди Кружилихи, а Кружилихи на рисунке нет. Павел забывал об уроках, о еде, жил мучаясь и злясь. Кружилиха выматывала его, до мельчайших подробностей

знакомые очертания труб и перспективы цехов снились ему, самое название от бесконечного повторения теряло свое значение, приобретало какой-то другой смысл. Кружилиха... Кружилиха... Похоже на женское имя. Как говорят: Степаниха, Карпиха, Чернышиха... Кружилиха...

И вдруг простая мысль осенила его, стало так светло, словно в темной комнате повернули выключатель. У него задрожали руки, судорогой перехватило горло. Как просто, как просто!.. Не слишком ли просто? Но уже всем своим дрожащим от счастья сердцем он знал, что это хорошо, что просто,— хорошо, хорошо!

Кружилиха — это и была женщина, рабочая женщина, добрая и могучая. Павел увидел свой рисунок так ясно, словно он был уже готов. Вот она, Кружилиха: не молодая и не старая, с открытым лобастым лицом, с полуопущенными глазами, сосредоточенными на работе. Рука, обнаженная до локтя, лежит на рычаге, каждая мышца руки живет во всю силу. Все на свете может сделать Кружилиха этими руками! Любую тяжесть вынесут эти крутые плечи! А за плечом, в солнечном небе, видны дымящие трубы — трубы Кружилихи!

Каждую деталь он видел: борозду вдоль щеки, проведенную заботой, и прядь волос на виске из-под косынки, и твердый мускул у основания большого пальца... Она не была красива, не гналась за красотой, и никто не потребовал бы от нее красоты: она была Кружилиха!

Он шагал домой не по снегу — по воздуху. Не было тяжелых валенок, не было морозного ветра, обжигающего лицо, не было прохожих: ничего не было, кроме счастья. В одно мгновение он перенесся от дома Шестеркина в отцовский дом на Пермской. Он взял лист бумаги и карандаш и осторожно, боясь испортить неумелым штрихом, набросал то, что стояло, закрыв весь мир, перед его глазами... И снова мгновение перенесло его в комнату Николая Львовича, неряшливую холостяцкую комнату, где усатый старик в распашонке пил чай и намазывал на ломтик хлеба яблочное повидло. Павел вошел молча и положил рисунок на стол.

Николай Львович спросил, сощурясь:

— Кто это?

— Кружилиха,— ответил Павел.

Словно слетев с высоты, он ударился ногами о пол и проснулся. Тело стало тяжелым от простуды и усталости, буднично горела пыльная лампочка, собственный голос показался ему осипшим и грубым.

Он ждал. Николай Львович смотрел и молчал. У Павла начался озноб, по спине, по груди — дошел до сердца, лицо вспотело. «Если он выругает, я больше никогда ничего не смогу нарисовать»,— отчетливо и холодно, без боли, подумал Павел. И вдруг услышал странные квакающие звуки. Николай Львович отвернулся, сутулая спина его запрыгала.

— Николай Львович, что вы! Николай Львович...— пробормотал Павел в испуге.

Николай Львович высморкался в большой, как пеленка, платок.

— Не обращай внимания, Чернышев,— сказал он.— Видишь ли, милый, талант — это редкость и чудо, это трогает до слез...

Потом он сказал про рисунок:

— Не заканчивай его пока. Пусть полежит. Подожди, когда у тебя будут средства для полного выражения твоей мысли. Зачем спешить с тем, что от тебя не уйдет? Ты будешь большим художником.

20

Сашенька обожал моряков. Он признавал только те книжки, где были нарисованы корабли. Одно время он цепенел и забывал все на свете при виде речников Камского пароходства; но, узнав от Евдокима, что они не плавают в море, разочаровался в них. Глядя на Каму, он убито спрашивал Евдокию:

— Зачем она в море не течет?

— А не знаю, детка,— отвечала Евдокия.— Ты у папы спроси. Стало быть, не надобно ей туда, коль не течет.

Когда ему исполнилось семь лет, она затеяла сшить ему к весне новый костюмчик с длинными брюками. Сашенька страстно заинтересовался этой затеей и ласкался и ревел до тех пор, пока она не согласилась сшить в точности по матросскому фасону, с настоящим клешем.

В день, когда происходила последняя примерка, явилась Анна Шкапидар, Сашина мать, и потребовала триста рублей. Евдокия возмутилась и выгнала Анну, не дав ни копейки.

Через две недели Евдокима и Евдокию вызвали в народный суд.

Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными волосами, усталым голосом и

недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого черта все эти люди ссорятся. Направо и налево от судьи сидели заседатели: плотный мужчина с смешливым лицом и плотная седая женщина в мужской тужурке. На женщину эту у Евдокии было больше всего надежды.

Сперва разбиралось дело между мужем и женой, которые разошлись и никак не могли поделить имущество; а всего-то спорного имущества было — письменный стол да швейная машина. «А вы умеете шить на машине?»— спросил судья у мужа, болезненно морща лоб. В зале засмеялись, и судья позвонил в колокольчик.

Потом без конца разбирали, действительно ли дворник из коммунального дома украл дрова у жильцов. Жильцы выходили по очереди из соседней комнаты и высказывали свое мнение о дворнике, а попутно и о других жильцах. Судья обеими руками держался за голову и все повторял: «Это к делу не относится, отвечайте на вопросы». Евдокия слушала, слушала — у нее самой голова разболелась... Вдруг жильцы все сразу ушли, топоча ногами, и Евдокия услышала, что слушается дело о незаконном присвоении чужого ребенка Чернышевыми, мужем и женой.

Евдоким и Евдокия стояли перед судьей. Анна Шкапидар стояла тут же, поодаль. Она была трезва, повязана красной косынкой. Долго читал секретарь, упоминая статьи закона и слова «незаконное присвоение» так часто и с таким выражением, что Евдокия совсем упала духом — вот сейчас кончится чтение и судья прикажет ей отдать Сашеньку Анне без всяких разговоров...

— Как ваша фамилия? — спросил судья у Анны.

— Шкапидар,— ответила та.

— Не может быть,— сказал судья страдальческим голосом.— Такой фамилии быть не может. Скипидар! — сказал он внушительно и обратился к Евдокиму.

Евдокия знала, что муж у нее умный и о жизни судит правильно,— если б еще он верил в бога и святых угодников, она во всем решительно была бы с ним согласна. И тут на суде он говорил так складно и дельно, что, не будь кругом чужих людей, она обняла бы его от всего своего благодарного сердца! Он рассказал, как попал к ним Саша, как она, Евдокия, кормила его из рожка, и лечила от болезней, и голову ему чесала, и не отпускала от себя. Он сказал, что Саша привык называть Евдокию мамой и незачем отрывать ребенка от семьи, где ему хорошо.

— А вы что скажете? — спросил судья Евдокию.

— Я ребенка не украла,— сказала Евдокия.— Я его на крыльце, на снежку нашла. У меня расписка есть.

И она положила на красный стол Аннину расписку. Она очень ее берегла и думала, что это важная бумага, доказывающая ее права на Сашу. Но судья, прочитав, весь сморщился, как от укуса, и сказав: «Какая ерунда!»— велел Анне рассказать, как ребенок попал к Чернышевым. Анна победно поглядела на Евдокию и пошла плести! Через два слова на третье она называла судью: «дорогой товарищ судья». Она требовала, чтобы пролетарский суд поддержал ее, трудящуюся женщину, против домовладельцев и паразитов.

— Хорошо, достаточно,— сказал судья.— У вас вопросы есть? — спросил он заседателей.

Мужчина заворочался на стуле, а седая женщина спросила густым добрым голосом:

— А где ребенок?

Она спросила это, глядя Евдокии в глаза, будто укоряя ее за то, что она не привела Сашу. Румянец ударил в лицо Евдокии, она с радостью, с любовью посмотрела на старую женщину.

— Он тут! — сказала она.— Я его привела. Тут, в коридоре бегает! Я позову!

Она бросилась к двери, но ее остановили и послали исполнителя, который привел Сашу с Катей.

Саша был в новой матроске, в брюках клеш и в шапочке с золотой надписью «Аврора». Судья спросил, как его зовут и хорошо ли ему живется у отца и матери. Саша оробел, но сказал, что он — Саша Чернышев и что ему хорошо. Судья сказал, что у него есть другая мать. Саша ответил:

— Неправда.

Судья спросил, не хочет ли он перейти жить к этой другой матери, и показал ему на Анну. Анна стала всхлипывать и тереть пальцами глаза, а Саша кинулся к Евдокии и вцепился в ее юбку. Тем дело и кончилось. Судья и заседатели ненадолго ушли, потом вернулись, и судья стоя прочитал приговор, что Саша остается у Чернышевых.

Евдоким и Евдокия возвращались домой, ведя Сашу за руки. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала — какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу.

А Саша думал, что судья соврал: не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Са-

ша не мог понять одного: для чего судье понадобилось врать? Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что́ бы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого.

21

Несколько лет прошло.

Росли дети, учились. Павел после школы уехал в Ленинград [redacted] поступил [redacted] Академию художеств.

Наталья строила город на Амуре и только раз приезжала в отпуск. Должна была другой раз приехать, но вместо того очутилась в Крыму, ее туда в санаторий послали на поправку. И долго ее не было дома — успела за это время [redacted] на инженера выучиться, и замуж выйти, и сына родить.

И вот приехала наконец и сидела [redacted] кухне, возмужавшая, пополневшая, с здоровым ребенком на коленях, одетая как дама. Инженер! Невозможно было поверить, что это та самая Наталья, что вошла когда-то в эту кухню [redacted] материнской кофте — заморыш, дичок, сирота...

— Как же вы жить будете? — расспрашивала Евдокия.— Он в Комсомольске, [redacted] ты здесь?

— Да, меня сюда, [redacted] он пока в Комсомольске. Что же делать, сейчас многие [redacted] таком положении. Не хватает людей.

Евдоким спросил:

— Где работать будешь?

— У вас на заводе, папа, у главного конструктора.

— А Павел-то наш — в художники выходит!

— Да, он молодчина. Талантливый.

Наталья держалась суховато — видно, самостоятельная жизнь так ее научила. Когда нежностью вспыхивали глаза, она словно гасила эту вспышку, опуская веки. Евдоким спросил осторожно:

— Где ты думаешь поселиться? — Ведь кто ее знает, может — ей тут больно просто покажется, захочет жить в доме ИТР.

Наталья обвела взглядом кухню:

— А что, у вас очень тесно? Вы скажите прямо, без церемоний.

— Мы тебя вполне можем [redacted] угловую! — горячо вмешалась Евдокия.— Только Катю к себе возьми. А Саша тут, на печке.

Наталья прошлась по кухне, заглянула [redacted] комнаты:

— Пока можно так. Но долго так жить — трудно. Нас много, каждому нужен уголок, чтобы отдыхать и думать. Давай, папа, построим второй этаж.

— С материалом сейчас тяжеленько.

— Достанем. Купим какую-нибудь хибарку на снос.

— А деньги?

— Я буду зарабатывать, и Николай пришлет.

— Давай! — сказал Евдоким. Ему стало очень приятно, что она хочет жить [redacted] родном доме и сделать его больше, выше, просторней. Выросла дочь и стала рядом с ним как ровня, товарищ, помощник в жизненных делах. Новое чувство входило в душу, чувство горделивого покоя.

И они построили второй этаж. Но жить там Наталье почти не пришлось: ее муж, инженер Николай Николаевич Лукьянов, приехал [redacted] объявил, что ему надоели бревенчатые избы и палатки, он хочет пожить в цивилизованной квартире с ванной и ходить на работу пешком, [redacted] не ездить в поезде. Ему дали комнату [redacted] доме ИТР, близко от завода, и он перебрался туда, забрав Наталью и сына. Во втором этаже поселилась Катя со своими розами и геранями.

22

Катя была лакомка, любила танцевать и наряжаться. Она говорила:

— Больше всего [redacted] жизни [redacted] обожаю танго, потом шоколад «Золотой ярлык», потом красивые туфли, [redacted] потом уже все остальное.

Окончив семилетку, она пошла на курсы телефонисток. Ей хотелось поскорей иметь свой заработок. Ее приняли телефонисткой на Кружилиху. Домашнее хозяйство она терпеть не могла, но, чтобы облегчить Евдокию, бралась за самую трудную работу: носила воду, стирала, мыла полы,— все швырком, сердито сопя и молниеносно. С охотой занималась только цветами, развела их множество, и все они были такие же свежие и нарядные, как она сама.

Красотой она не отличалась — узкие глаза, нос и рот словно топором вырублены, широкоплечая, приземистая. Но это не мешало ей нравиться, вот нистолечко не мешало! Она была такая живая, так кокетливо одевалась и причесывалась, а в танцах становилась такой легкой и ловкой, что все находили ее очень привлекательной девушкой.

Молодые люди приглашали ее в театр, провожали домой и норовили поцеловаться. Она гордилась своим успе-

хом, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее по-настоящему, *глубоко* и *страстно,* как описывается в романах,— страдал, стоял на коленях, ревновал, не спал по ночам, мечтая о ней.

Она подружилась с Настей Нефедовой, машинисткой заводоуправления. У Насти была такая же шестимесячная завивка, и такие же небрежно, кое-как набросанные черты лица, и такая же жажда любви. В обеденный перерыв Катя с Настей, вымыв руки и попудрив носики, под руку вприскочку бежали длинным коридором в столовую, на бегу поверяя друг дружке свои секреты.

Очень хотелось Кате, чтобы ее полюбили. Ожидание любви, готовность к любви на ней были как бы написаны. И нашелся человек, который откликнулся на этот пламенный зов.

На завод поступил слесарь-лекальщик Дмитрий Колесов. Это был отличный мастер, артист своего дела, несмотря на молодость. Но из-за капризного характера нигде не мог долго ужиться — считал, что его мало ценят. Перебрал несколько заводов в разных городах и отовсюду уходил со скандалом.

Он познакомился с Катей в клубе, танцевал с ней и провожал домой. Прощаясь, задержал ее руку и спросил:

— Вы не видите, что я страдаю? Нет?

Голос у него был глубокий и страстный, он не отпускал шуточек, не говорил глупых комплиментов, сразу был виден культурный человек, понимающий, как надо любить.

Катя поднялась к себе на второй этаж будто на крыльях. Он страдает! Может быть, он не спит по ночам? Может быть, сейчас он идет шатаясь, как пьяный, оттого, что она засмеялась ему в ответ?

Ах, как прекрасно, если он шатается от такой причины!

Сама она эту ночь не спала. Думала о нем. Воображала его глаза, губы, прическу. Ворочалась, вздыхала, вставала — подходила к окошку и, как предписывается в романах, прижималась горячим лбом к холодному стеклу. В романах всегда в различных чрезвычайных случаях прижимаются лбом к стеклу. И обязательно стекло бывает холодное, а лоб горячий.

Дивная ночь начала любви!

Дмитрий Колесов... божественное имя, чистая музыка, только вслушайтесь: Дмитрий Колесов! Дмитрий Колесов был форменный Ромео, и форменный Отелло, и кто хотите! Он стоял на коленях! Он терзал Катю ревностью! В выходные дни он увозил ее за город — *прочь от шумного света.*

Что это было за счастье! Ни в одном романе не описано ничего подобного. И то, что оно было тайной для всех,— так думала Катя,— и то, что Митя капризничал и требовал, чтобы она ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела,— еще больше околдовывало и приковывало Катю.

Только раз, вдруг отрезвевшая среди поцелуев, она спросила, стыдясь своего вопроса, который казался неуместным и грубым, разрушающим *неземные очарования:*

— Митя, мы поженимся?

— Да! Да! — ответил он.— Но подождем еще немного, хорошо? Так ведь лучше, правда?

— Лучше,— прошептала Катя.

23

Это был хороший, удачный год.

Цех, где работал Евдоким, занял на заводе первое место. Рабочих премировали богатыми премиями, и Евдоким получил золотые именные часы. Евдокия была с ним во Дворце культуры на торжественном вечере. Сидела праздничная и солидная, в новом шерстяном платье с брошкой, и Катя надушила ее своими духами. А Евдоким был в президиуме, и Евдокия не могла налюбоваться на дорогого своего мужа, которого все уважают и хвалят.

Наталья родила здоровую девочку, назвали Еленой. Беременность и роды не помешали Наталье работать. Ее назначили в комиссию, которая разрабатывала какой-то важный проект, и даже по ночам ей звонили по телефону.

Сашенька, главный человек в Евдокиином сердце, был хороший мальчик — озорной, правда, но не сквернослов, не хулиган; играл в волейбол и все читал книжки про морские путешествия.

В конце мая приехал Павел, Павел Петрович Чернышев, художник. Он привез свою жену Клавдию — очень молодое, очень хрупкое создание с желтыми волосами и красными ногтями, в платьях невиданных цветов и фасонов.

Мыслимо ли носить такие высокие каблуки! Да еще мало ей было каблуков, она все время приподнималась на носках, вытягивалась, словно силилась совсем отделиться от пола и взлететь. Две минуты подряд не могла пробыть в одном положении, все меняла позы.

Стол был накрыт парадной скатертью, пили за моло-

дых. Павел краснел и глаз не сводил с жены, и было ясно, что он пойдет за ней, куда бы она его ни поманила.

— Вы все очень ей понравились,— сказал он потом,— и ты, Катя, тоже.

— И она мне нравится,— сказала Катя.— Она безумно интересная, Паша!

— А тебе, мама? — спросил Павел.

— Хороша, ничего не скажешь! — ответила Евдокия.— Одно мне немножко не понравилось — что она при всех достала помадку и губы накрасила.

— Ну что ты. Сколько женщин красят губы.

— Так не при всех же. И зачем курить? Вредно для здоровья и смотреть неприятно.

— Она красиво курит,— вступилась Катя.— Мечтательно.

— Я написал ее портрет с папиросой,— сказал Павел.— Лицо сквозь дымку...

— Что ж тут красивого? Молоденькая, а дымит, как паровоз.

Павел засмеялся и поцеловал Евдокию в волосы:

— Мама, милая, все замечательно!

Павел приехал на долгое время — писать картину, которую ему заказали для музея. Они с Клавдией поместились наверху в большой комнате, а Катя перешла в маленькую. С раннего утра Павел ходил на Каму и там писал, установив мольберт на берегу. Он носил синий берет, чтобы волосы не трепались на ветру и не мешали работать. Евдокия приносила ему завтрак. Почему-то ей было его жалко — что он какой-то не такой, как все, ходит в женском головном уборе, люди работают на заводах и в конторах, а он сидит один на бережку и рисует...

Нарисовавшись, он шел встречать Клавдию с работы: она поступила в горторг управляющей делами. По вечерам Павел и Клавдия ходили куда-нибудь или у себя принимали своих знакомых. Клавдия угощала гостей наверху, вниз не приводила. Евдокию это обижало. Она думала, что неизвестно, как там Клавдия управляет делами; а уж Павлом управляет шибко хорошо, он без нее не чихнет и не кашлянет.

24

Катя работала в вечерней смене.

Был партийный день, коммунисты ушли на собрания, звонков было мало. Катя сидела и вспоминала, что́ говорил ей на последнем свидании Митя и какое у него было при этом выражение лица. Вдруг в окошечко из коридора просунулась голова Насти Нефедовой.

— Катя! — сказала Настя.— Ой, Катечка!

Катя сразу поняла, что случилось что-то ужасное.

— Что? — быстро спросила она, бледнея. Настя оглянулась — кто-то шел по коридору — и бухнула сразу:

— К Мите Колесову приехала жена.

Зазвонили из диспетчерской. Катя сказала мертвыми губами:

— Дежурная...

Спрашивали главного инженера. Катя не ответила и не соединила, сидела без движения, глядя на щит с рядами блестящих дырочек.

— Ей уже всё доложили,— шептала Настя, боязливо глядя на Катю.— Она пошла к тебе.

Ах так! Катя распрямила плечи и твердой рукой соединила диспетчерскую с библиотекой. Битва так битва. Она будет сражаться за свою любовь всеми средствами, какие у нее есть! Митя обманул ее? Подумаешь! Обманул, потому что любил! Кому какое дело?! Хорош он или плох, она его никому не отдаст! Плевать ей на всех!

Шаги по коридору приближались. Кто-то шел тяжелой походкой, медленно, с остановками: читает надписи на дверях, ищет... Катя встала и вышла в коридор навстречу сражению.

Большие голые лампы освещали пустой коридорный туннель. Из гулкого туннеля подходила женская фигура. Высокая, простенькое маленькое безбровое лицо... Это жена Мити? Узел русых волос развалился, старый желтый полушалок спущен на плечи. Никакого изящества... Она беременна, несчастная! Яркая стена, белая и коричневая, закачалась в Катиных глазах.

Женщина подошла, скользнула взглядом по дверной дощечке и остановилась. Левую руку с горстью подсолнечных семян она держала под грудью, правой брала семена и бросала в рот; серая скорлупка прилипла к ее подбородку. Без ненависти — с тихим отчаяньем она посмотрела на Катю: признала. По каким-то ей самой неясным приметам признала.

«Беременна, как факт»,— тупо подумала Катя. Она не знала, что́ сейчас скажет. Только знала, что будет врать, потому что надо врать. «Ей рожать совсем уже скоро. Ребеночек будет. Без отца будет ребеночек. А она — простота отпетая. С кем сражаться, как тут сражаться!..»

— Что вам? — спросила она.
Женщина ответила негромко:
— Смотрю.
— Дело есть, что ли?
— Смотрю...— Митина жена задохнулась от волнения — ...какие бывают разлучницы.
Катя засмеялась:
— Разлучницы? Я, что ли, разлучница? С кем же это и вас разлучила?
— С мужем моим Дмитрием Иванычем Колесовым ты меня разлучила. Ты кто такая? Как твоя фамилия? Моя фамилия — Колесова, я с ним пять лет, регистрированная, по-честному прожила. А ты кто?
— Жила пять лет — живи шестой, мне не горе! Нужен мне твой Дмитрий Иваныч! Никогда не был нужен и вперед не польщусь. И откуда ты взялась? — вдохновенно продолжала Катя.— Налетела, привязалась со сплетней какой-то!
Колесова возмутилась:
— Сплетней? Ой, девка, от людей не скроешься! Люди, спасибо им, всё рассказали! Под ручку с ним гуляла...
— Мало ли с кем я ни гуляю под ручку! До моей ручки охотников много.— Ложь душила Катю, но надо было доврать до конца.— Нехорошо, дорогая: поверила сплетне и пришла меня срамить. Я замуж собираюсь, и ты меня ославить хочешь неведомо за что. Не веришь? Так вот же, с сего дня не подойдет ко мне твой Дмитрий Иваныч! на пушечный выстрел не подойдет! Можешь у людей своих проверить! Не посмотрю на него и «здравствуйте» ему не скажу! Бери его себе! — сказала Катя и ушла в телефонную.
— Врешь! — растерянно сказала Колесова, стоя у запертой двери.
Катя выглянула из окошечка:
— Ты еще здесь? Иди, все сказано, не о чем говорить больше.
— Ты обманываешь,— нерешительно сказала Колесова.
— Да не мешай мне тут! — воскликнула Катя.— Работа не ждет, пока я тебе отбожусь! Иди, иди, живи с мужем, регистрированная, роди ребеночка без страха!
— Не обижайся на меня,— попросила Колесова и заплакала.
— Я не обижаюсь,— сказала Катя.— Не реви. Тихая ты... Другой раз — слышишь — не так воевать-то надо за свое счастье.

— А как? — простодушно спросила Колесова, уже доверчиво глядя на Катю.
— Не знаю,— отвечала Катя.— Мне не доводилось. Только — не так.
Она заметила, что диспетчерская до сих пор соединена с библиотекой, и разъединила их. Завтра она получит выговор. Может быть, ее даже уволят с работы. Все равно!
Колесова ушла. Катя прислонилась головой к щиту с дырочками и словно уснула.
— Катечка! — сказала Настя.— Ты же это не серьезно, что на пушечный выстрел?..
— У нее будет ребенок,— сказала Катя.— Ты видела.
— Как ты можешь! — сказала Настя.
— Иди отсюда,— прошептала Катя, повернув к ней осунувшееся, серое, не свое лицо.— Не трогай меня. Дуры мы, ох дуры...
Она не вполне сдержала обещание, данное Колесовой. И недели не прошло, как Митя подошел к ее окошечку, и она не прогнала Митю и разговаривала с ним, только не «здравствуй» сказали они друг другу, а «прощай».
Встреча с Колесовой была в июне тысяча девятьсот сорок первого года, за несколько дней до двадцать второго числа, когда началась война. Митю мобилизовали сразу. Подошел он к Катиному окошечку в плохонькой одеже — идя в военкомат, надевали что ни есть постарей, хорошие костюмы оставляли дома,— в плохонькой одеже, с противогазной сумкой через плечо, враз повзрослевший, будто впервые задумавшийся о вещах, которые прежде не приходили ему в голову...

25

И Павел получил повестку. Стараясь быть веселым, он сказал Евдокии:
— Ну, мама, пошли воевать!
Клавдия, придя с работы, застала в доме сборы. Павел разбирал свои рисунки, Евдокия месила тесто, Катя стирала Павлу белье. Клавдия ахнула, побледнела, возмутилась:
— Ты же художник... Я не понимаю... Ты должен хлопотать... Просто нелепо, чтобы талантливый человек шел под пушки!
Очень тихо Павел сказал:
— Подумай, что ты говоришь, Клаша.
Клавдия заплакала, бросилась ему на шею:

— Не сердись! Я тебя люблю! Неужели это конец нашему счастью?

— Не знаю,— сказал он.— Но пока я буду жить, я буду любить тебя. Помни.

— Ничего не конец,— сказала Катя от корыта. Распрямившись, она откинула мокрой рукой упавшие на лоб волосы, вымытые ромашкой, с завивкой «перманент».— Ничего не конец. Распустили нюни.— Она схватила корыто и грубо сказала: — Убирайтесь, не то ноги оболью. Крутитесь тут...— и выплеснула помои в ведро, обрызгав весь пол.

— Ну чего ты, чего? — сказала Евдокия, когда Павел и Клавдия ушли наверх.— Брат на фронт уезжает, а ты грубишь.

— Подумаешь, разнежничались! — ответила Катя.— Я сама еду на фронт. Не говори мне ничего! — крикнула она.— Вот уеду и вернусь, посмотришь — обязательно вернусь!

— Тьфу, верченая,— сказала Евдокия с негодованием.— Ты не знаешь, как и ружье-то держать.

— Во-первых, мама, знаю; только оно называется не ружье, а винтовка.

— А кроме того,— сказал четырнадцатилетний Саша, находившийся тут же и напряженно слушавший,— Кате самое правильное идти по своей части: связисткой.

— Ты знаешь, что́ ей самое правильное! — сказала Евдокия.— Это же бог знает что — чтобы девушка на войну шла.

Катя молчала, только вода плескалась в корыте.

— Отец знает? — спросила Евдокия.

Он уже знал. Ему на заводе сказали, что Катя подала заявление о своем желании отправиться в действующую армию. Евдоким только кивнул — говорить было нечего. Зато другие говорили о Кате, и некоторые спрашивали:

— А как же насчет танго и туфель?

— А это — для мирного времечка,— отвечала Катя.— Отвоюемся — опять надену мои туфельки чудненькие и пойду танцевать.

Прощанье с Павлом вышло печальным, хотя все крепились. В старом костюме, с рюкзаком за плечами, Павел уже не был похож на художника, человека, отмеченного особым даром и особой долей,— самый обыкновенный был призывник, как все молодые люди. Клавдия в своей модной шляпе из прозрачной соломы стояла рядом с ним. Она одна, по его желанию, шла проводить его до призывного

пункта, остальные прощались дома. Пришла и Наталья с мужем. Присели на дорогу. Павел поцеловался со всеми и сказал:

— Мама, родная, никогда...

Он не договорил, взял Евдокию за обе руки и, низко склонившись, одну за другой поцеловал эти крепкие ласковые руки. Потом вышел, неловко задев плечом за притолоку, а Катя зарыдала и бросилась за ним. Вся семья стояла у калитки и смотрела, как он шел по улице, удаляясь от дома. Клавдия шла с ним и держала его за руку, но он уже чем-то был отделен от нее, как от них всех.

Потом и Натальин муж уехал, а там и Катя. Опустел чернышевский дом.

26

Евдокия не знала географии и никогда не предполагала, что в СССР так много городов. Есть Урал, а на Урале ихний город, еще Челябинск, Пермь, Свердловск и разные не столь большие поселения, вроде Курьи, где Евдокия в былые времена покупала сено для коровы. Еще есть Новосибирск, Киров — бывшая Вятка, Горький и — очень далеко — Москва и Ленинград. И вдруг оказалось, что городов у нас великое множество, и немцы их забирали и забирали. Как же так? Где ж им остановка, окаянным?

Она не любительница была хныкать и держалась спокойно, как раньше, но сердце ныло не переставая. Дети, дети! Паша! Катя! Молодые, милые! Сашенька подрастет и тоже уйдет воевать, он и теперь уже ждет не дождется своего дня,— Сашенька, главная боль, главная утеха в жизни!.. Ворочая чугуны в печи, Евдокия шептала псалом царя Давида: «Не убоишася от страха нощного, от стрелы, летящая во дни, от вещи, во тьме приходящая, от нападения и беса полуденного... На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия...» Но аспиды всё катились да катились вперед, они забрали Украину, обложили Ленинград, стояли уже под Москвой.

Из Ленинграда, Москвы, Киева понаехали эвакуированные. Они жили во всех домах. У Евдокии комнату наверху забрали под приезжих ленинградцев — профессора, его жену и двух жениных сестер. Профессора, седого и деликатного, Евдокия жалела. Тихо и косолапо спускался он сверху в своих валенках, которые не умел носить, и, стараясь не шуметь и не брызгать, умывался в сенях под висячим рукомойником. А с бабами — про-

фессоршей и ее сестрами — Евдокия с первых же дней вела негромкую, но ожесточенную войну за чистоту. Они хвастались, какие у них в Ленинграде были квартиры и какая мебель, и как они ходили по музеям и театрам,— а теперь, жалобились, приходится жить в невыносимых условиях. Ни одна из них не была приучена к простому обиходу, к домашней работе, ни одна не умела варить в русской печи. Евдокия скрепя сердце помогала им стряпать и убирала за ними,— грязи и беспорядка она не могла перенести. Она убирала, и они же на нее обижались и ставили ей на вид, какая она некультурная и какой у нее плохой, неблагоустроенный дом. Евдокия считала недостойным с ними связываться. Да и не переговорить бы ей троих таких тараторок. Но она их терпеть не могла. Одного профессора уважала и старалась ему услужить.

Как ни удивительно, вражда с тремя жиличками смягчала Евдокиину горесть и помогала пережить тяжкое время.

А Шестеркин опять запил. Как-то явился пьяный, плакал, буянил, грозил Евдокии, что скоро немцы и на ее дом станут бомбы кидать; и, показывая, какие тут будут опустошения, разбил два цветочных горшка. Евдокия разгневалась и вытолкала его вон. Он кричал:

— Дура набитая! Ты считаешь, я пьяница! Я от унижения пью! От скорби! Дура!..

Зима в тот год грянула рано и была лютая, грозная. Неистовые метели неслись над черными лесами, над суровым городом, над денно и нощно дымящими трубами Кружилихи. К тучам взвивались метели, от морозов и несчастий костенела душа. Когда ушел пьяный Шестеркин, Евдокия села на ларь, стеная без слез и ломая руки. Не о детях было в ту минуту ее горе,— она, как и Шестеркин, исходила скорбью о чем-то таком огромном, чего даже не могла уразуметь хорошенько.

— Проклятые,— шептала она.

Такой застал ее Евдоким. Обнял ее, бережно погладил по спине:

— Ну чего, Дуня? Ну, не надо. Переживем, Дуня...

Он был мастером кузнечного цеха, и работы ему хватало, не каждую неделю домой удавалось выбраться. И, как депутат, он занимался эвакуированными, их устройством, болезнями, претензиями. Он не уставал, верней сказать — не чувствовал усталости: некогда было. Но иногда ему изменяло его рассудительное отношение к жизни, он начинал раздражаться по пустякам и покрикивать на людей. «Спокойно, спокойно! — говорил он себе.— Это ведь только начало, впереди еще много чего будет, побереги нервы давай!»— и опять срывался. Чаще всего его сердили эвакуированные, которые всё на что-то жаловались и чего-то просили. Он раздражался и повышал голос, а потом ему становилось стыдно: вспоминал, что эти люди оставили свои жилища, друзей и многие семью, что вот у этого человека, на которого он сейчас кричал, дети, жена и мать за тысячи километров отсюда, в осажденном городе,— может, умерли от голода и холода, может, их изувечила бомба,— а он-то, человек, стоит у станка и работает... И Евдоким говорил отчаянным голосом:

— Ну, не обижайся. Ладно, поговорю с директором, поищем тебе новое жилье...

Встречаясь иногда на заводе с Натальей, он наскоро перебрасывался с ней парой слов — что пишет Николай, как дети... Однажды заметил, что она исхудала и пожелтела; пригляделся — а у нее на виске седые волосы... Евдоким спросил:

— Ты чего такая?

Она нахмурилась:

— Такая, как все.

— Что мужик пишет?

— Ничего особенного. Жив.

— Ты детей к нам приводи. Пусть у нас живут.

— Хорошее дело. Нарожала да матери спихну?

— А ты давай не разговаривай! — закричал он, уже убегая.— Давай приводи, сказано тебе!

День и ночь дымили трубы Кружилихи.

Шли на запад сквозь пургу эшелоны с танками и орудиями.

Однажды Евдоким, придя домой, сказал Евдокии:

— Ну, Дуня, немцев отогнали от Москвы.

27

Идут дни. Идут годы.

Враг отбит. Полчища аспидов откатились на запад. Где-то у самых границ фашистской Германии сражаются теперь Павел и Екатерина Чернышевы. Радио передает, что ни вечер, приказы о победах. Люди ходят повеселевшие и подобревшие.

Сашенька дождался своего часа — записался добровольцем. Но не добился, чтобы послали на фронт. И на

корабль не попал, а держат его, к великому облегчению Евдокии, в тылу, в сухопутном училище.

Наталью назначили помощником главного конструктора. Детей, Володю и Лену, она давно перевела на улицу Кирова, к Евдокии, а сама живет на заводе — ночует в дежурке, завтрак и обед ей приносят в конструкторскую. Она стала как будто еще выше, в ее голосе и осанке выражение властности. Сбываются ее мечты. Ей кажется, что вся ее жизнь — здесь, что дети ей — помеха, напрасно она их родила... Но вот дети заболели корью, и Наталья с трудом сосредоточивается на работе и не дождется вечера, когда можно съездить к ним, своей рукой дать лекарство, поставить градусник, приласкать. И, равнодушная к еде, презирающая разговоры о пайках и карточках, она приходит в восторг от того, что в заводскую лавку привезли варенье — настоящее сахарное варенье, вишневое! Она несет полную банку и улыбается, предвкушая, как обрадуются дети, как Лена завизжит, а Володя крикнет: «Бабушка, где моя ложка?»

Дни идут.

В газете, в списке награжденных орденами, напечатано имя Чернышева Павла Петровича. Евдоким и Евдокия только собирались написать поздравление,— а от Павла письмо из госпиталя: ничего, мол, серьезного, рана пустячная, потерял немного крови, но ему сделали переливание, и он уже поправляется. Хорошо, коль правда!.. Он просит не беспокоиться, только писать почаще. Что-то от Клаши редко приходят письма... Тут Клавдия отводит глаза, а Евдокия вздыхает потихоньку. Уже два раза приходил тут какой-то в модном пальто, с черными усиками, ничего, приличный, вежливый — встретив Евдокию в сенях, посторонился и поднял шляпу... Но Евдокия готова побожиться, что брови у него подбритые, как у женщины, и не понравился он ей, бог с ним! Она спросила Клавдию:

— По делу приходил?

— По делу,— так же коротко ответила Клавдия, и весь день они не разговаривали — дулись друг на друга.

После этого красавец с подбритыми бровями больше не показывался. Зато Клавдия совсем перестала бывать дома по вечерам.

И еще большая неприятность. Евдокия недоглядела и Катину меховую горжетку побила моль. Катя думала сделать из этой горжетки воротничок и муфту, а моль проела три плешины на самых видных местах, и Евдокия ума не могла приложить, как написать Кате об этом несчастье.

Москвичи, ленинградцы, киевляне разъехались по своим местам. И профессор со своими тараторками уехал осенью сорок четвертого года. Все четверо горячо благодарили Евдокию за гостеприимство — да, подумайте, эти вздорные старухи тоже благодарили ее со слезами на глазах и целовали, счастливые, что возвращаются домой. Евдокия собирала их в дорогу и связала на память профессору шерстяные носки.

28

Клавдия пришла из театра, встала коленями на стул, прилегла на стол головой и грудью и томно сказала:

— Ну вот, я уезжаю.

— В командировку, что ли? — спросил Евдоким. Клавдия поднялась, вся вытянулась — вот сейчас отделится от пола и полетит; достала портсигар, скрутила папироску.

— Нет, совсем. Дайте огонька, Евдоким Николаич.

Держа перед ней зажигалку, Евдоким переспросил:

— Как совсем?

Евдокия замерла с полотенцем и тарелкой в руках. Клавдия изо всех сил затянулась дымом:

— Так... Приходится.

И заплакала:

— Как будто я виновата. Разве прикажешь чувству? Я хочу счастья... Это не жизнь! Молодость уходит...

Евдоким сказал тихо:

— Ну хорошо. Ну, допустим, увлеклась. Но ты же хоть возьми во внимание, что Паша еще в госпитале.

— Вы меня сами вчера уверяли, что с ним ничего опасного. Что он там в госпитале здоровей, чем многие здесь в тылу.

— Все-таки не так же просто — нынче с одним счастье, завтра с другим. И сразу — нате вам — уезжаю!

— Он несчастный,— всхлипывала Клавдия.— Он из Литвы, у него фашисты всех убили.

— Зачем торопиться уезжать? — уговаривал Евдоким.— Обожди несколько месяцев, вернется Паша, теперь уже недолго; обсудите между собой, может, Паша тебе покажется лучше.

Клавдия зарыдала и захохотала, все сразу.

— Какой вы чудак, Евдоким Николаич. Что же тут обсуждать? Старая любовь умерла. Он уезжает на родину, я еду с ним...

— Ты послушай! Клаша!
Но тут Клавдия взвизгнула:
— В конце концов [redacted] ему жена!
Евдоким встал и ушел в спальню.
Евдокия сказала:
— А зачем он брови бреет? Несчастный, а брови бреет.
— Замолчите! — еще пронзительнее взвизгнула Клавдия.— Что вы понимаете!
И убежала наверх, дробно стуча каблуками по лестнице. Евдокия подумала, сняла передник, обтерла руки, стала натягивать пальто. Вошел Евдоким:
— Куда ты, Дуня?
— К Наталье. В завод.
— Зачем?
— Может, она ее уговорит.
— Сиди дома,— сказал Евдоким.— Наталья об такое дело мараться не станет.
И прибавил, помолчав:
— Сама слыхала — жена она ему. Этому...
Евдокия вздохнула и стала снимать пальто.
В молчании прошел час. Евдокия сказала:
— Я ее позову.
— Зачем?
— Она не ужинала ничего.
— Зови,— грустно сказал Евдоким.
Евдокия взошла наверх, отворила дверь. Клавдия лежала на кровати одетая, читала книгу.
— Клаша,— сказала Евдокия,— поужинай иди.
Клавдия опустила книгу и посмотрела на нее заплаканными глазами.
— Мама,— сказала она,— мне, правда, ужасно тяжело, что так получилось. Ах, бедный Паша, бедный! Но я ничего не могу поделать,— сказала она с восторгом, закрыв книгой лицо,— [redacted] люблю!

29

В старой жестяной коробке от монпансье хранятся письма Павла, Кати и Саши. Каждое из этих писем Евдоким и Евдокия знают наизусть.
Вот письмо Саши:
«Милые мама и папа!
Пишу вам в чудовищном настроении, и может ли быть веселым человек, у которого все висит на волоске по той дурацкой причине, что он на год или на два опоздал родиться, ведь война идет к концу, [redacted] нас продолжают держать [redacted] училище, и нам угрожает, что мы не примем участия в военных действиях, [redacted] будут нас водить на занятия [redacted] в столовую, так что даже [redacted] шапочному разбору не попадем, как пессимистически выразился один мой товарищ, с которым мы написали заявления, требуя, чтобы нас пустили на линию огня, мотивируя, что мы шли добровольцами не для того, чтобы нас держали в тылу, но эти заявления ни к какому результату не привели, так что мы написали также в ЦК ВЛКСМ, надеемся, там отнесутся более чутко, о результатах вам сообщу.

Любящий сын
Александр Чернышев».

Письмо Кати:

«Милые папа и мама, до чего меня расстроило ваше письмо! До чего жаль Пашу!!! Что касается Клавдии, то скатертью дорога! Больно ненадолго хватило ее любви! Черт с ней!!! Я бы на месте Паши не стала плакать! Но он будет безумно страдать, [redacted] знаю! Он ее любит глубоко и страстно!!! Папа и мама! Вы мне обязательно пишите, как он реагирует! Мамочка! Отнеси Нине Калистратовне мое белое платье, что разорвалось на спине! Пусть она мне из него сделает блузку! К костюму, понимаешь? Желательно помоднее!!! Только я не знаю, как теперь носят! Гоним фашистов в хвост и [redacted] гриву! Да вы по сводкам знаете! Мамочка, попроси Нину Калистратовну, чтобы не очень копалась! Целую вас крепко-крепко, папа, мама, Наташа, Володя и Леночка!!! Кланяйтесь всем знакомым девочкам! Пишите как можно чаще и подробнее!

Ваша Катя.

Уверена, что вы ей ничего не сказали! Напрасно! Уж я бы ей отпела! Я бы все ей сказала, что думаю о ней!!!»

Письмо Павла:

«Мои дорогие.
Спасибо за сердечные письма. Я уже совершенно здоров и возвращаюсь [redacted] строй. Пришлю новый адрес. Самочувствие у меня хорошее, не беспокойтесь обо мне. Горячо вас целую.

Павел».

И [redacted] Клавдии — ничего, будто не было ее...

30

Вечером в субботу приходит с завода Наталья.

Нахмуренная, с сжатыми губами, она приносит воду на коромысле, топит баню, купает детей — все быстро, молча. Потом сама купается и выходит повеселевшая, румяная, в красивом халате. Целует детей и говорит:

— Всю усталость с себя смыла.

Дети сидят на лежанке и болтают босыми ногами. Наталья укладывает их и по узкой лестнице с крутыми ступеньками поднимается в комнату Павла. С тех пор как уехала Клавдия, там никто не живет. На стенах висят рисунки. На одном пейзаже надписано мелко: «Клаше, любимой, в вечно памятный день 18.III 40 г.». Кроме этой надписи, ничто здесь не напоминает о Клавдии. Она забрала все до нитки, только этот пейзажик, дареный, с посвящением, видно, некуда было сунуть...

Наталья зажигает настольную лампу и садится писать письма мужу и брату Павлу. После отъезда Клавдии она пишет Павлу каждую субботу. Ни слова о Клавдии, ни слова об усталости, о том, как трудно. Написать о детях, об отце с матерью; о работе; о том, что скоро конец войне, разлукам, несчастьям...

Воскресным утром Евдокия идет на рынок. Там толкотня, продают свиную тушенку и колбасу в жестянках, молочницы и торговцы сластями зазывают покупателей, певцы поют о громах победы, о верности жен и геройстве мужей, гадатели предсказывают будущее. Евдокия не прочь бы погадать и на картах, и на бобах, и в таинственных книгах, по которым предсказывают плутоватые слепцы, но ей совестно: увидят знакомые, подумают —«а жена Евдокима Николаича, Натальина мать, совсем некультурная баба, темнота». Неприятно будет и Евдокиму, и Наталье. Евдокия отвернувшись проходит мимо женщин, теснящихся возле гадателей: может — наверно даже — среди этих женщин есть знакомые; им тоже неловко будет, если она их увидит за этим занятием.

Евдокия возвращается домой. Печь уже вытоплена, и они садятся завтракать впятером — Евдоким с Евдокией, Наталья и дети. Не по-воскресному просторно за большим столом, пусто в чернышевском доме! Но белы как снег занавески, пышно цветут Катины цветы, в полном порядке всё — словно только что вышли молодые хозяева и сейчас войдут опять. В чистой рубахе сидит, отдыхая, на всегдашнем своем месте Евдоким. С прежней степенной

повадкой движется между печью и столом Евдокия. Как прежде, чуть-чуть лукаво смотрят ее светлые глаза в легких морщинках, чуть-чуть улыбаются полные губы, но новым светом светлы этот взгляд и эта улыбка — светом материнской любви и материнского терпения. Прямая, красивая, с первыми ниточками седины в гладко причесанных волосах, сидит Наталья, присматривая за детьми — чтобы не вертелись, не вскакивали, чтоб правильно держали ложку.

— Уж ты их муштруешь, как солдат,— говорит Евдокия.— Когда же ребятам и повольничать, как не в эти годы.

— Они и есть солдаты,— отвечает Наталья.— Мы все сейчас солдаты.

Володя поджимает ноги под стул и делает суровое лицо.

— А ты не помнишь, Дуня,— спрашивает Евдоким,— от какого числа последнее Катино письмо: от шестнадцатого или от семнадцатого?

Евдоким знает, что письмо от шестнадцатого; но он спорит с женой, чтобы, придравшись к случаю, достать письмо из жестяной коробки и в десятый раз прочитать его вслух. И неподвижно глядя куда-то далеко-далеко — в дальние поля, куда ушла дочь,— будет слушать чтение Евдокия. Ласково задумается о сестре строгая Наталья, и затихнет мальчик Володя, с горящими глазами представляя себе танки, битвы и загадочную тетю Катю — что-то она делает сейчас?..

— Почтальон! — кричит Лена, глядя в окно.

— О господи, спаси! — говорит Евдокия. И все спешат в сени.

Девушка-почтальон, низенькая, толстенькая и рябая, роется в сумке и достает два письма.

— От Кати и Николая,— говорит Евдоким.

— От папы и тети Кати! — радостно-испуганно кричат Володя и Лена.

— Зайди,— говорит Евдокия почтальону.— Зайди, поешь горячего, ишь, отсырела вся.

— Некогда мне,— отвечает почтальон.

И идет дальше скорыми шагами в своих грубых мужских ботинках, зашнурованных веревочкой. Идет во всякую погоду по улице Кирова девушка-почтальон с полной сумкой фронтовых писем и стучится в окна, как судьба.

1944—1959

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое посмертное Собрание сочинений Веры Пановой в 5-ти томах наиболее полио представляет литературное наследие писательницы. Оно включает основные художествеиные произведения — романы, повести и рассказы, а также пьесы, опубликованные при жизни автора и помещенные в составе пятитомного Собрания сочинений В. Ф. Пановой (Л.: Художественная литература, 1969—1970).

Кроме того, в настоящее Собрание сочинений включены законченные художественные произведения, публиковавшиеся в последние годы жизни писательницы (1971—1973), а также увидевшие свет после 1973 года — года смерти В. Ф. Пановой. К их числу относятся автобиографическая повесть «О моей жизни, книгах и читателях» (при жизни автора печатались лишь отдельные отрывки и главы), роман-сказка «Который час?», пьеса «Свадьба как свадьба», исторические «мозаики» — «Голод», «Гибель династии», «Черный день Василия Шуйского», «Болотников. Каравай на столе», «Марина. Кому набольший кусок» и др.

Произведенин В. Пановой распределены по томам в жанрово-хронологической последовательности. В первые два тома включены романы и повести («Спутникн», «Кружилиха», «Евдокия», «Времена года», «Сентиментальный роман», «Который час?»); в третий том — повести н рассказы; в четвертый — пьесы; в пятый — историческая и автобиографическая проза.

Тексты произведений, публикуемые в настоящем Собрании сочинений, даются по основным прижнзненным изданиям, а в необходимых случаях — по рукописям, хранящимся в личном фонде В. Ф. Пановой в ЦГАЛИ СССР.

Исправленные при сверке ошибки и редакционные уточнения в текстах произведений, как правило, не оговариваются.

В примечаниях указываются время и место первой журнальной или газетной публикации и первого отдельного издания каждого художественного пронзведения, сообщаются сведения об истории создання, историко-литературном коитексте и литературно-общественном значении произведения.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЛГ —«Литературная газета».

«О моей жизни...» — П а н о в а В. О моей жизни, кингах и читателях. Л.: Сов. писатель, 1980.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

«СПУТНИКИ»

Впервые —«Знамя», 1946, № 1—2; Спугники. Повесть. Молотов: Обл. изд-во, 1946. Первоначальиое авторское названиe повести — «Санитарный поезд». История замысла и обстоятельства работы над «Спутниками» подробио изложены Пановой в ее воспомииаииях «О моей жизни...», статьях «Китайским читателям „Спутников“», «Немного о себе и своей работе». В декабре 1944 г. Панова получила неожиданное приглашение отправнться из Перми в длительную командировку в составе действующего военно-санитарного поезда № 312. Поезд считался одиим из лучших в стране, он нес свою службу с самого начала войны.

Панова провела в коллектнве ВСП-312 два месяца — с декабря 1944 г. по февраль 1945 г. За это время поезд успел совершить четыре дальних рейса — два порожних, к фронту, в Двинск и Червонный Бор, и два груженых, когда раненых отвозили глубоко в тыл. Пановой было предоставлено маленькое отдельное купе в аптечном вагоне. Здесь, в стернльной чистоте, она написала брошюру, ради которой была прикомандирована к поезду. И здесь же под перестук колес начала писать повесть «Спутники».

В своих воспоминаниях Панова оставила выразительный портрет комиссара поезда Ивана Алексеевича Порохина, многие черты которого были воспроизведены в «Спутниках» в образе комиссара Данилова. В течение многих лет после войны Панова сохраняла дружескне отношения с И. А. Порохиным, переписывалась с ним (см.: Забытые письма. Вера Паиова — И. А. Порохин//Нева. 1984, № 5. С. 191—200); а на кннге «Спутннки», подаренной ему в конце 40-х годов, сделала такую надпись: «Ивану Алексеевичу Порохину, доброму спутнику раненых, воспитателю многих хорошнх советских людей, вдохновителю этой книги — с уважением и признательностью — от автора. *В. Панова*».

В феврале 1945 г. Панова приехала в Москву переполненная желанием пнсать новую повесть, начатую в санитарном поезде. Весь 1945-й, год долгожданной Победы и радостного подъема сил, прошел у иее под знаком этой главной, всецело захватившей ее работы. 25 марта того же года Панова писала А. Я. Бруштейн из Перми: «Я закоичила две первые главы первой части повести «Саиитарный поезд»; они составили

свыше двух печатных листов... Мне нравится то, что [redacted] пишу! У меня звенит [redacted] серединке, когда [redacted] это пишу. Я себя не узнаю в этой вещи. У меня новый голос. Я позволяю себе все, что хочу. А хочу [redacted] ужасно многого! Я резвлюсь в этой повести, как жеребенок на лугу,— что мне и не пристало бы: пять дней назад мне исполнилось, слава богу, 40 лет. Я так хочу показать Вам это!» (ЦГАЛИ. Ф. 2546, оп. 1, ед. хр. 470.)

Летом 1945 г., через два месяца после окончания войны, в областной комиссии Союза писателей СССР состоялось обсуждение творчества Веры Пановой — тогда еще малоизвестной начинающей писательницы из Перми. Панова представила на обсуждение первую часть повести, пьесы «В старой Москве» и «Метелица» и опубликованную [redacted] альманахе «Прикамье» повесть «Семья Пирожковых». [redacted] печати появилась информация [redacted] творческом разговоре, состоявшемся в те дни. Участники обсуждения в Москве, критики и писатели, особо отметили первую часть повести «Санитарный поезд». «Конечно, трудно говорить [redacted] вещи, располагая только первой ее частью, в которой дана лишь экспозиция романа,— сообщалось в отчете.— Но почти всех участников обсуждения подкупила уверенная и свободная манера лепки характеров основных героев, свежесть формы, оригинальность творческих приемов В. Пановой» (см.: ЛГ. 1945, 30 июля).

С рукописью Пановой тогда же ознакомились члены редколлегии журнала «Знамя» — критики Л. М. Суббоцкий и А. К. Тарасенков, Н. С. Тихонов и главный редактор журнала В. В. Вишневский. Мнение всех членов редколлегии было единодушным. Н. С. Тихонов писал в редакцию «Знамени» по поводу прочитанной части «Санитарного поезда»: «В. Панова несомненно талантлива. У нее уверенный голос, ясное повествование, она знает своих героев и любит их.

Меня страшит только, как бы вся повесть не осталась в рамках документальной правды, то есть не была бы только воспоминанием [redacted] войне.

Ведь герои повести должны жить еще жизнью, преобразующей их заданность, войти в соприкосновение с художественной правдой и измениться, вернее, изменяться под ее воздействием.

Как это одолеет автор? Я верю, что она одолеет, потому что у нее хорошие реалистические задатки, душа есть в характере хотя бы Лены Огородниковой. Страх у Супругова — это обычный явный прием. Есть что-то горьковское в повести — и это хорошо.

...Напечатать нужно. Вопрос — дождаться ли другого куска, где будет больше действия. А если даже его и не будет, а будет действовать внутренний мир героев, то и это уже то, что нам очень нужно. А то у нас пошел страшно много действующий герой, без объяснения его социального лица, не говоря [redacted] мироощущении.

...Я всецело за эту повесть» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 356).

Всеволод Вишневский 19 июня 1945 г. писал [redacted] редакцию: «Нашего полку прибыло!.. Свежий, чистый прозаик появился среди нас. Повесть читается с большим интересом. Характеры обрисованы мастерски,— вспомните, напр.— Огородникову, ее удивительно точную, несколько необычную биографию... Или старика — начальника поезда... Автор пишет непринужденно, «без агитации»,— что м. б. является некоей типической чертой ряда новых авторов (я вспомнил бы тут Г. Николаеву и др.). Повесть,— когда получим 2-ую часть — будет приобретением для журнала... Что-то свежее и хорошее в ней. Видимо, в дальнейших частях повести автор сумеет хорошо осветить отдельные стороны самой войны» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 130).

[redacted] Пермь из Москвы Панова вернулась окрыленной. Теперь она должна была развернуть повесть [redacted] закончить ее так же свободно и сильно, как начала. 18 августа 1945 г. Панова сообщила в письме к А. Я. Бруштейн: «Пишу сейчас исключительно «Санитарный поезд». Кое-что получается, кое-что — нет. Во всяком случае, в первый раз в жизни я не могу писать ничего другого, живу в одной вещи. Это большое удовольствие, еще не испытанное» (ЦГАЛИ. Ф. 2546, оп. 1, ед. хр. 470).

Работа над «Спутниками» заняла в общей сложности около восьми месяцев. Никакая другая книга, по признанию самой Пановой, не писалась так счастливо и легко. А ведь большую и сложную повесть приходилось заканчивать, не прерывая текущей ежедневной работы в местных газетах и на радио. Тем не менее писательница ушла целиком в созданный ею мир; она училась критически оценивать свой текст, жертвуя лишними подробностями и длиннотами ради целого.

[redacted] начале октября 1945 г. авторская работа над «Спутниками» была окончена [redacted] рукопись повести передана в редакцию журнала «Знамя». Стилистическое совершенствование текста «Спутников» продолжалось до последних журнальных корректур. Особенно полезной оказалась совместная работа с редактором журнала С. Д. Разумовской — дружбу с ней Панова сохранила до конца дней.

Публикация «Спутников» в 1946 г. стала крупным событием послевоенной советской литературы. Повесть вызвала множество читательских [redacted] критических откликов, в большинстве своем взволнованных и одобрительных. Тысячи людей, прошедших через войну, узнавали в «Спутниках» Пановой самих себя. [redacted] 1947 г. за эту повесть Панова была удостоена Государственной премии СССР.

[redacted] конце 1948 г.— в разгар «холодной войны» — французский коммунистический еженедельник «Леттр франсез» начал публикацию «Спутников». Каждую неделю газета давала полосу из повести Пановой с иллюстрациями к тексту. Затем в переводе Мадлен Перю «Спутники» вышли в Париже отдельной книгой.

За сорок послевоенных лет «Спутники» переиздавались десятки раз на русском языке и языках народов СССР. Суммарный тираж этой книги исчисляется миллионами. Повесть переведена также на многие иностранные языки и хорошо известна читателям самых разных стран мира. К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне издательство «Книга» выпустило миниатюрное иллюстрированное издание повести

«Спутники» в серии «Книга и время» (вступительная статья Е. В. Стариковой, иллюстрации и оформление А. Н. Панченко), приуроченное также к 80-летию со дня рождеиия Веры Федоровны Паиовой.

К героям и сюжету «Спутннков» в разные годы обращались деятели театра, кино и телевидеиия. Первую (и наиболее удачную) постановку «Спутников» на театральной сцеие осуществил в 1947 г. режиссер А. М. Лобанов. Поставлеиный им спектакль в течение нескольких сезонов с успехом шел в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Тогда же инсценировка по «Спутникам» была показана в Ленинградском Новом театре.

При участии Пановой на киностудии «Ленфильм» по «Спутникам» в 1964 г. была снята полнометражная картина «Поезд милосердия» (режиссер-постановщик И. Хамраев).

Новую экранную версию «Спутников»— четырехсерийный телевизионный фильм «На всю оставшуюся жизнь...»— осуществили в 1975 г. режиссер Петр Фоменко совместно с сыном В. Пановой, писателем и киносценаристом Борисом Вахтиным. Миого раз показаиный по Ленинградскому и Центральному телевидению, фильм этот быстро завоевал миогомиллиониую аудиторию телезрителей и был по справедливости признан одной из лучших советских картин, посвященных Великой Отечественной войне. Усилия режиссера и сценариста были поддержаны оператором-постановщиком В. Бабенковым и композитором В. Баснером, соединившим движение фильма с песней и музыкой.

Повесть «Спутники» продолжает жить в современной художественной культуре, сохраняя в памяти поколений правду о минувшей войне и заветы братства фронтового «на всю оставшуюся жизнь».

«КРУЖИЛИХА»

Впервые —«Знамя». 1947, № 11—12; отрывки: «Мать и сын»—«Известия». 1947, 8 марта; «Лукашин»—«Лениигр. правда». 1947, 11 июля; «Лидочка» — ЛГ. 1947, 27 сент.; «Любовь» — «Вымпел». 1947, № 21; Кружилнха. Роман. Молотов: Обл. изд-во, 1947. Первоначальное авторское назваиие — «Люди добрые». Работа над романом о людях Кружилихи была начата в 1944 г. на Урале, в Перми; по существу, это первое крупное проиэведение прозы Пановой. К замыслу своего романа Панова вернулась в конце 1946 г. после завершения «Спутников». В новогоднем письме к В. В. Вишневскому от 31 декабря 1946 г. Панова сообщает, что собирается поведать ему о «новой повести, которой заннмаюсь со страстью» (ЦГАЛИ. Ф. 1038, оп. 2, ед. хр. 462).

21 марта 1947 г. в письме к С. Д. Разумовской и А. К. Тарасеикову в редакцию журнала «Знамя» Панова сообщила о своих новых планах: «...Я помаленьку пишу повесть «Люди добрые». Хотела бы прислать кусочки поглядеть...» (ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597.)

Чтобы обновить и освежить свои впечатления, летом 1947 г. Панова вновь поехала в Пермь, в те места, где развертывались основные события ее повествования. Сюжет романа тогда еще не выстроился. Были написаны отдельные главы и эпизоды, наброски промелькнувших в войну характеров, городские и заводские пейзажи. Писательиице иадо было заново разобраться с накопленным материалом, отчетливее выявить виутренние связи между героями и логику общего замысла. Панова припомнила потом, как в Перми, в номере гостиницы, сев на пол, оиа раскладывала, как пасьянс, рукопись «Кружилихи». «С заводов приходили ко мие люди, рассказывали много интересного, что пригодилось при описании Кружилихи. Я с утра до вечера ходила по городу, впитывала его пейзажи, заходя в разные места, которых не зчала» («О моей жизни...», гл. «Как складывают из кубиков»).

По возвращении в Ленинград Панова дописала последиие главы повести, но то, что получилось, не вполне удовлетворяло ее. 13 июля 1947 г. она телеграфировала В. В. Вишиевскому: «Повесть закончеиа. Осталась недовольна. Дорабатываю...»(ЦГАЛИ. Ф. 1038, оп. 2, ед. хр. 462.)

В начале августа 1947 г. Паиова отвезла свою рукопись в Москву, в редакцию журнала «Знамя».

После успеха «Спутников» с главным редактором «Зиамени» Всеволодом Вншневским у Пановой установились наилучшие отношения. Он был однии из первых читателей рукопнси романа, однако при решающем разговоре в редакциоином кабинете Панова услышала от Вишневского неожиданные упреки, предвосхитившие во многом последующую дискуссию о «Кружилихе» в критике.

Вишневский не принял поначалу основиой конфликт романа между Листопадом и его антагонистом Уздечкиным — тут он явно посягал на авторский замысел, но его отношение к рукописи было заинтересованным, искренним.

В архиве Пановой сохранилось письмо В. В. Вишневского от 16 августа 1947 г., написанное как раз после этого разговора: «Привет, Вера Федоровна.— Продолжаю думать над Вашей работой.— Хочу предложить на обсуждение некий план реконструкции, вернее, *доработки*... Все 16 глав, в сущности, остаются в композиции; передвигается чуть ближе одна глава (о Клавдии), дописывается *одна* глава («На конвейере»)...— Вводится дополнительный сюжетный мотив: новый весенний заказ (февраль 45). Усилнвается тема Победы (май — июль 45).— Вещь — я уверен — приобретет бо́льшую конкретность исторического порядка. Затем событнн *драматизируются*,— коллектив трудится, и, одолевая вражду Листопада — Уздечкина: Победа (н коллектнв) приносят разрядку и отчищают души и сознание этих двух партийцев... (Тут дайте *настоящие* слова секретарю обкома... Он добавит свет человеческий, принесенный матерью. Она — ведь поивится в новой композиции, как образ *мира* и *любви*! А секретарь обкома усилят эту линию).

Уверен, что Вы сделаете все отлично... Роман раздвинется... Заберет советского читателя...» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 130.)

Панова решила осуществить собственную программу доработки: роман был сокращен на одну главу (в окончательной композиции осталось лишь пятнадцать глав), в текст вошла новая сцена — одна из лучших в «Кружилихе»— неожиданный ночной разговор Листопада с Уздечкиным. Были найдены и дописаны некоторые новые подробности и детали, которые придали большую законченность отдельным эпизодам и всей конструкции в целом.

8 сентября 1947 г. Панова предупредила В. В. Вишневского, что в рукописи, привезенной из Ленинграда (она называлась еще «Люди добрые»), не хватает следующего:

«1) В конце 14-й главы (место точно указано в рукописи) будет сцена прихода Листопада к Уздечкину и их примирения;

2) В заключительный монолог Листопада будет вставлен еще один абзац — о том, как ощущает себя Листопад в качестве члена партии;

3) Где-то — я не нашла места — надо двумя-тремя фразами рассказать о том, что Лукашин отдал свой дом сельсовету (мотивы уже иные, чем в 1-м варианте: полное неумение владеть недвижимостью)» (ЦГАЛИ. Ф. 618, оп. 13, ед. хр. 56).

Вместе с последними поправками было найдено и новое название. Вместо «Люди добрые» возник вариант «Люди Кружилихи», и наконец остановились на самом емком: «Кружилиха». «Мне тоже вдруг показалось,— вспоминает Панова,— что это будет хорошо, что помимо названия завода это слово передает взвихренность, стремительность нашего переходного бытия» («О моей жизни...», гл. «Как складывают из кубиков»).

Публикация «Кружилихи» в двух последних номерах «Знамени» за 1947 г. вызвала почти немедленно острую и разноречивую реакцию в критике. В письме к А. К. Тарасенкову 22 декабря 1947 г. Панова писала, что «Кружилиха» в Ленинграде «имеет горячих сторонников и горячих врагов. Никаких лавров за нее не жду, тем не менее думаю, что у меня хватит сил продолжать работать в той манере, которую избрала, и не пленяться никакими соблазнами» (ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597).

Дискуссия о «Кружилихе» обнаружила не только обычные для критики различия в оценках и взглядах на новую книгу, но и усилившиеся в ней в конце 40-х годов нормативно-догматические тенденции, которые наносили литературе прямой ущерб (см.: Тарасенков А. Критики не увидели главного//ЛГ. 1948, 3 янв.).

Одностороннее противопоставление «Спутников» и «Кружилихи» проявилось также в интересном критическом очерке А. Гурвича «Сила положительного примера» (Новый мир. 1951, № 9). Автор очерка без достаточных оснований упрекал Панову в «объективизме», то есть безучастном натуралистическом изображении жизни. Возражая против такого подхода к роману, А. Фадеев тогда же заметил: «То, что А. Гурвичу кажется «объективизмом», на деле не является объективизмом с точки зрения идейной,— это только особенность манеры, особенный почерк Пановой среди многообразия форм социалистического реализма» (Фадеев А. Письмо М. М. Корнееву, Н. В. Лесючевскому. Июнь 1951 г. //Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. М., 1971. С. 292).

Роман «Кружилиха» выдержал испытание временем. Он переиздавался почти так же часто, как «Спутники», переведен на основные европейские языки и выпущен во многих странах мира.

«ЕВДОКИЯ»

Впервые — Ленинградский альманах. 1959, кн. 16; ранняя редакция под названием «Семья Пирожковых»: альм. «Прикамье». Молотов. 1945, кн. 8; Евдокия.— Сережа.— Валя.— Володя.— Времена года. Л.: Лениздат, 1960.

Повесть «Семья Пирожковых» написана Пановой в Перми, в 1944 г. Сюжет повести был подсказан газетной работой — на исходе войны многие семьи брали на воспитание осиротевших детей, причем нередко это были многодетные семьи. «Помню одного милиционера и его жену,— пишет Панова,— у них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире, а между тем как они добивались получить из детдома еще одного ребенка. Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство, а они продолжали, что называется, обивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку девочку, держа ее за руки, как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку (свои дети у нее были мальчики). Все увиденное показалось мне таким важным, что захотелось написать не очерк, а повесть, хотя бы совсем маленькую» («О моей жизни...» С. 199).

Задуманная повесть из жизни рабочей семьи — о судьбе Евдокии и ее приемных детей — создавалась в очень трудных условиях эвакуационного быта. После чтения рукописи в кругу нескольких литераторов Панова переделала малоудачную сентиментальную концовку повести, а весь текст постаралась сделать крепче, жизненней, доходчивей. Уже тогда ей очень помогли наблюдения над собственными детьми, некоторые сценки повести были целиком списаны с натуры.

В феврале 1953 г. Панова предложила Ленинградскому отделению издательства «Советский писатель» подготовить книгу из шести очерков, в которых были бы продолжены судьбы некоторых знакомых героев ее прежних книг. «В одном из них описывается дальнейшая судьба моего «старого» героя — молодого рабочего Анатолия Рыжова из «Кружилихи» («Толька»). Другой представляет собой переработанный и дописанный мой очерк «Семья Пирожковых», напечатанный в 1945 г. в городе Молотове, в альманахе «Прикамье». В остальных очерках новые герои.

...Мне трудно изложить более подробно содержание этой книги. В процессе работы сюжеты меняются много раз. Задача — чтобы каждый очерк был лаконичен, насыщен действием и событиями («судьбой»), чтобы он рассказывал о вещах, главных для нас всех, чтобы читать его было интересно,— и, по мере возможностей автора, чтобы он был художественным, то есть хорошо написанным» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 77).

Намеченная программа была осуществлена Пановой лишь частично. В 1958 г. она все-таки вернулась к ранней своей повести «Семья Пирожковых» и еще раз переписала ее по просьбе тогдашнего редактора «Ленинградского альманаха» Б. М. Лихарева, решившего напечатать это произведение в новой редакции. «Переписывая,— сообщает Панова,— я поняла, что она неправильно названа, что главное драматическое лицо в ней и несомненно главный характер — Евдокия, и назвала повесть ее именем. Под этим именем повесть с тех пор и переиздавалась, и на экраны вышла, и переведена на многие языки. Эту скромную повесть я считаю подлинным моим дебютом в литературе, с нее я уверовала в себя и стала писать более свободно» («О моей жизни...» С. 200).

В 1961 г. по сценарию Пановой повесть «Евдокия» была экранизирована на Мосфильме молодым тогда режиссером Т. Лиозновой; роль Евдокии с большим успехом исполнила известная киноактриса Людмила Хитяева. Под впечатлением от повести Пановой и созданного на ее основе фильма писатель В. Семин верно заметил в свое время, что «Евдокия» заключает в себе особую авторскую идею человеческого счастья: «Неторопливое, как в жизни, течение событий, которые на первый взгляд движутся лишь за закрытой домашней дверью, постепенно увлекают вас развитием очень ясной и очень гуманной авторской мысли. И счастье, о котором говорится в фильме, перестает казаться вам таким уж простым, а домашняя дверь — закрытой» («Веч. Ростов». 1961, 10 мая). В работе над экранизацией «Евдокии» Панова открыла для себя некоторые важные стилевые особенности кинопрозы, развитые ею затем и в других сюжетах, например в киноповести «Рабочий поселок».

СОДЕРЖАНИЕ

Панова В.

П16 Собрание сочинений: В 5 т. / Редкол.: С. Баруздин, А. Нинов, Л. Рахманов. Т. 1. Спутники: Повесть; Кружилиха: Роман; Евдокия: Повесть/Сост. и подгот. текста А. Нинова и Н. Озерновой-Пановой. Вступ. ст., примеч. А. Нинова.— Л.: Худож. лит., 1987. 512 с., 1 л. портр.

П $\frac{4702010200\text{-}067}{028(01)\text{-}87}$ подписное — ББК 84.Р7

Вера Федоровна Панова

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ 1

Составители
Александр Алексеевич Нинов,
Наталья Арсеньевна Озернова-Панова

Редактор *Т. Степашова*
Художественный редактор *М. Шафрова*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректоры *А. Борисенкова, Л. Никульшина*

ИБ № 4759

Сдано в иабор 10.10.86. Подписано в печать 21.05.87. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88 + 0,05 вкл. = 26,93. Усл. кр.-отт. 26,98. Уч.-изд. л. 29,16 + 1 вкл. = = 29,21. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛIII-159. Заказ № 593. Цена 2 р. 20 к. Ордеиа Трудового Красиого Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Зиамеии Ленинградское пронзводственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфни н книжиой торговлн. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15